



ОЛЕСЬ ГОНЧАР

ПЕРЕКОП



Annotation

Роман посвящен завершающему этапу гражданской войны — прославленным в песнях боям у Каховки, легендарному штурму Перекопа. В нем убедительно и ярко показана руководящая роль Коммунистической партии в организации защиты завоеваний Октября, боевое единство украинского, русского и других народов в борьбе с врагами.

В романе наряду с историческими героями гражданской войны (М. В. Фрунзе, Иван Оленчук — крестьянин, проводник красных частей через Сиваш, и другие) выведена целая галерея простых тружеников и воинов.

- [Олесь Гончар](#)
 - [Книга первая](#)
 - [Книга вторая](#)
 - [Книга третья](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
-

Олесь Гончар
Перекоп

Книга первая

Дредноуты на горизонте

I

Какого черта вы притащились к нам, греки?

Произнес это кто-нибудь вслух или всадники только подумали об этом? Нет, в самом деле сказал, глядя на море, вон тот хмурый, с худым смуглым лицом фронтовик. Хищно сгорбившись, сидит на не остывшем еще от бега коне. Рука его нервно сжимает, как нагайку, ветку дикой колючей маслины, сломанную где-то на скаку.

Небольшой отряд вооруженных ревкомовцев на заляпанных грязью лошадях тесно сбился вокруг него, своего жоака. Длинные утренние тени от лошадей, от сгорбившихся в седлах фигур неподвижно лежат на степных кураях. Влажный ветер освежает обросшие суровые лица. Все молча смотрят в сторону Хорлов, в сторону родного тополиного порта, только что подвергшегося обстрелу и уже занятого греческим десантом.

Снова в порту звучит чужая речь, снова хозяйничают чужие люди. Кого только не перевидал порт за эти годы! Видел зуавов, бенгальцев, сенегальцев, здоровенных чернокожих марокканцев, видел французскую морскую пехоту и долговязых английских офицеров, как к себе домой Сбегавших здесь по трапам на берег. Теперь вот еще греки, эти несчастные прислужники Антанты... Чего их принесло сюда? Что надо им здесь, на Украине?

Самого порта отсюда не видно, маячат лишь высокие тополя над ним. Кто и когда их посадил? Еще и порта не было, а они уже шумели на этой глухой, отдаленной рыбацкой косе.

Порт молодой, один из самых молодых портов украинского Юга. Незадолго до войны построили его для себя степные миллионеры, овечьи короли да «чумазные лендлорды» — хуторяне, и за короткий срок, за несколько предвоенных лет, дорогу в этот порт уже знали барышники всего мира. Экспортеры, хлеботорговцы, всяческие дельцы толклись тут каждое лето. Большие и малые торговые корабли под флагами всех стран охотно заходили сюда.

Высокие тополя — это было первое, что могли разглядеть с моря иноземные капитаны, приближаясь через Каркинитский залив к Хорлам. Еще не видно было берега, еще не видно было портовых амбаров и рыбацких халуп, а тополя уже поднимались стайкой на горизонте, высокие и стройные, одни в необъятном просторе между небом и морем. Казалось, что не на суше они, не на берегу, а вздымаются ввысь прямо из морской синевы.

Б морские бинокли разглядывали их капитаны всего мира. Откуда эта живая тополиная готика в краю беспредельных степей, в краю полынно-седых украинских прерий? Растительность здесь жесткая, колючая и низкорослая от постоянной борьбы с ветрами. И только тополя гордо возвышаются надо всем.

Тополя, тополя... Есть что-то грустное в их задумчивых силуэтах, есть что-то девичье-беззащитное в их тополиной стройности. словно девчата-батрачки, пришли они через жаркие степи откуда-то с севера и в задумчивости остановились на одинокой рыбацкой косе высоким дозором родного края. Весной одеваются в зелень, а осенью до белой коры раздевают их

пронизывающие норды да осты... Нежные песенные деревья, где берут они эту мощь, эту упругую силу, чтобы противостоять вечным ветрам и буранам? Лето и зиму тоскливо гудят на открытом берегу, до самых вершин обстрелянные солеными брызгами штормов.

Небо — да море — да клонящиеся под ветром тополя...

Вот все, что видели иноземные капитаны, приближаясь к этим берегам. Однако не столько манила их взор живая красота украинских тополей, сколько привлекало то, что открывалось перед их глазами потом, уже при входе в порт. Ряды огромных амбаров и лабазов тянулись вдоль берега, горы степного золота, горы налитой солнцем пшеницы, которую не вмещали хранилища, высились прямо под открытым небом, золотясь между тополями по всей территории порта. Три мощных моста-эстакады были переброшены с берега далеко в море, на глубину, чтоб удобнее было грузиться океанским судам.

Год за годом бесконечным потоком двигались сюда из степных экономий обозы скрипучих чумацких мажар, груженных отборным экспортным зерном и тюками тонкорунной шерсти. В задубелых постолах, в истлевших до швов сорочках мрачно брели рядом с воловьими упряжками батраки, приумножая чьи-то, за морем, богатства... Океанские суда не успевали заглатывать щедрую дань Таврии. Вряд ли где-нибудь в Индии или на Африканском материке первые завоеватели-колонизаторы имели такие баснословные барыши, какие получали их потомки здесь, на светлом таврийском берегу.

Радостная лихорадка трясла экспортные конторы. Открывались отделения банков, день и ночь грохотали на эстакадах подводы и обливались черным каторжным потом грузчики, спотыкаясь по трапам с семипудовыми ковшами или чувалами на плечах.

Поломал там смолоду хребет, потаскал до седьмого пота душными летними ночами ковши по трапам и вот этот худощавый, что, насупившись, сидит сейчас на коне, — вожак отряда. Дмитро Килигей звать его. Из-под кустистых бровей — недобрый блеск серых глаз. Под смуглой кожей разлилась нервная бледность. В прошлом году, при гетмане, сидел он в херсонской цитадели, в камере смертников; оттуда вынес он эту бледность, с тех пор не гаснет в глазах его этот жаркий, лихорадочный блеск.

Еще молодым парнем пришел он из степной Чаплинки на работу в Хорлы да так уже потом и не разлучался с горьким грузчицким хлебом, здесь и женился на дочери портового грузчика. На фронте служил в кавалерии, получил «Георгия» за солдатскую доблесть, а вернувшись с румынского фронта домой, первым взялся с товарищами наводить новые порядки, создавать ревком. Верят ему товарищи, как себе: из тех он, что головы не пожалеет, только бы революция жила!

Ходили в народе слухи, что не кто другой, как он, Килигей, был причиной смерти степной миллионерши Софии Фальцфейн, одним своим видом будто бы отправил старую лиходейку на тот свет, когда, увешанный бомбами, явился к ней в гости с товарищами-фронтовиками в Хорлы, явился как раз в то время, когда она, собравшись бежать за границу, в окружении своих приживалок ждала благоприятной погоды.

Менялись власти. Крутыми поворотами шла жизнь. Гетман Павло Скоропадский не нашел с Килигеем общего языка: каменная стена цитадели встала между ними. Из камеры смертников Килигея освободили восставшие херсонские рабочие.

После возвращения из тюрьмы был Дмитро в Хорлах председателем ревкома, и вот теперь пришлось, бросив

и ревком, и жену, и детей, оказаться в положении бездомного — с горсткой товарищей в чистом поле.

Все произошло внезапно: едва забрезжил рассвет, один за другим загрохотали в порту тяжелые снаряды, посыпались стекла из окон рыбацких халуп, и не успели люди прийти в себя, как несколько темно-серых стальных акул уже мчались с моря на порт.

Греческие миноноски!

Зачем они пришли сюда? Что им здесь надо?

Налитый ненавистью взгляд Килигея из-под кустистых бровей устремлен в сторону порта. Челюсти крепко сжаты, перекошены, точно навек, гневом или болью. Не может спокойно думать о тех, что сейчас хозяйничают там, в его родном порту. Разбойники. Гости непрошеные. Гонят их в дверь, а они лезут в окно. Только что выперли их из Херсона, а они уже сунулись в Хорлы. Налетели, подняли пальбу, разворотили снарядами ревком...

Куда ж теперь?

Выпрямившись в седле, Килигей огляделся. Как необъятный артиллерийский полигон, раскинулась степь. Мартовская ростепель. Летошние кураи, просыхая на ветру и солнце, буреют, становятся похожими на клубки фронтовой колючей проволоки. Вот ветром сорвало с корня один такой клубок, и стал он уже перекасти-полем, понесся, подскакивая, степью все дальше и дальше.

Товарищи ждут команды.

Килигей, дернув повод, круто повернул коня на север, на Чаплинский тракт:

— За мной!

Перемешанная со снегом земля, разлетаясь, застреляла из-под копыт.

Все меньше становятся фигуры уходящих в степь всадников. Только небо над ними — высокое, нежно-

голубое, предвесеннее — остается все таким же постепенному огромным.

//

На околице Чаплинки — вооруженная вилами крестьянская застава. Дорога при въезде в село перегорожена вздыбившимися баррикадой боронами, грозно ошетижилась железными зубьями — не проскочить никакой коннице. Мужики в кудлатых чабанских шапках толпятся на обочине, укрывают брезентом деревянный воз с наведенным куда-то вверх — в сторону моря — дышлом.

— Ну что, Дмитро, похоже издали на шестидюймовку? Напугается француз?

Килигей скептически оглядывает мужицкую «шестидюймовку».

— Не так их надо пугать.

Среди дозорных заставы — его, Килигея, отец. Сухой, легкий, как джигит, несмотря на свои семьдесят лет. Зрение как у орла: сам вдевает нитку в иголку. Поздоровавшись с сыном, останавливает взгляд на взмыленных, дрожащих лошадях:

— Чего так гнали?

— Беда, батя... — Лицо сына потемнело. — Гости в Хорлах, непрошеные гости...

Старика словно крапивой кто стегнул:

— А зачем пустили?

Сын молча стерпел укоризненный, едкий отцовский взгляд. Старый солдат, отец и поныне — еще с японской — сохранил унтерскую бравую осанку: весь как пружина. После смерти жены живет при младшем сыне Антоне, что недавно привез отцу в хату невесткой какую-то севастопольскую кралю, по его словам, чуть ли не адмиральскую дочку. Старик признал ее, однако

сорочки сам себе стирает, не разрешая невестке ухаживать за собой.

— А это что у вас тут? — обращается к крестьянам Килигеев друг, бородатый матрос Артюшенко. — Боронами обложились, возы вытащили на позицию...

— Они на нас жерлами дредноутов, а мы на них хоть этим, — кивает на поднятое дышло старший заставы — великан-фронтовик в старой шинели с обожженными полами.

— Порешили, что лучше пропадем, а волков в кошару не пустим! — говорит Явтух Сударь, кряжистый, заросший, как медведь. — Кадеты налетели было с Перекопа, хотели людей набрать, мы их... взашей.

— Без сапог, без погон вытурили мы ихнюю комиссию из села! — ввязываются в разговор и другие. — Думаем, уж коли идти на мобилизацию, так лучше самим себя мобилизовать.

— Теперь вся наша Чаплинка, — поясняет старый Килигей сыну, — считай, мобилизована.

— Против кого?

— Против белополяков, и против француза, и против грека.

— Тогда нам с вами по дороге.

Дядьки растаскивают бороны, освобождая дорогу лошадям.

— Карателей ждем, — кивнув в сторону Перекопа, объясняет Дмитру отец. — Возы петель из манильского каната будто бы уже готовят на нас там, чтоб вешать всех подряд.

— Ну да и мы не дремлем, — заметил Явтух Сударь, — разослали гонцов по селам, ударили в набат. Хотели и к вам посылать...

— Выходит, мы аккурат к авралу? — выпрямился в седле Артюшенко.

— Поезжайте прямо к волости. Там сейчас сход собирается, — обращаясь к сыну, посоветовал старый

Килигей. — Поможете нашим.

— А то никак диктатуры себе не подберем, — прибавляет, криво улыбаясь, Сударь. — Какую ни примеряем, все не подходит: та широка, а та жмет.

Отряд двинулся рысью к центру села. Село огромное, в несколько тысяч дворов, из одного такого можно полк сформировать. Прямо через село проходит старинный Чумацкий тракт — из Крыма на Каховку. На площади, где раньше устраивались ярмарки, сейчас бурлит боевой табор. Горят костры, пахнет чабанской кашей, везде шумно, многолюдно.

Заметив прибывших хорлян, из толпы к ним уже спешит руководитель восстания Баржак, старый товарищ Килигея. Шершнем когда-то дразнили его на селе. Низкорослый, крепкий. Скуластое серое лицо, подбородок всегда вздернут. На голове заношенная, видно, еще окопная, шапка.

— И вы к нашей каше? Ну, спасибо, товарищи, — говорит он, крепко пожимая Килигею руку. — Глянь, Дмитро, как на дрожжах растет повстанческое войско! Прибыли маячане, каланчацкие, теперь вы, вон еще кто-то едет...

Люди уже смотрели в степь. На горизонте возникли какие-то странные силуэты.

— Кажись, по двое в седле? — удивились женщины.

И верно, вроде как по двое. Или уж столько на свете вояк поднялось, что по двое на одного коня садятся?..

— По двое на одном коне, ну и ну! — захохотал стоявший рядом Мефодий Кулик, извечный пастух, всю жизнь выпасавший в фальцфейновских имениях табуны рабочих верблюдов. — Да это ж они на двугорбых едут!

— Строгановцы!

Вскоре на подводах в верблюжьих упряжках въехали на площадь строгановские повстанцы. С передней подводы соскочил коренастый мужчина в замызганном коротком колушке без ворота; шея его,

покрытая густым загаром, торчала из колушка по-бычьи сердито, словно он только что вырвался из ярма или снова собирается в ярмо. Человека этого тут все знали: Оленчук Иван Иванович — сивашский солевоз, виноградарь и, как брат его, мастер находить сладкую воду в солончаковой присивашской степи... Голова у него после фронтовой контузии свернута немного набок, жилистая шея почти неподвижна; впрочем, несмотря на контузию, мужик еще, видно, крепок, руки дубленые, сильные, чувствуется, обоймут — не легко будет вырваться. Здороваясь с Куликом, своим однополчанином, Оленчук шутя так сжал его пальцы, что тот даже крякнул.

— Значит, есть еще, дядько, силушка в руках? — смеялась молодежь.

— Коли кто рассердит, тогда вроде бы есть... — ответил Оленчук и, повернувшись к возу, принялся вытаскивать со дна его увесистый, чем-то туго набитый мешок. Вытащив, бросил его к котлам.

Парубки сразу окружили Оленчуков мешок, стали пробовать силу: а ну, кто поднимет? Один пытается, другой... Хохот разносится вокруг.

— Не поевши, за дядьков мешок не берись!

— Что же там такое?

С любопытством разглядывают.

— Соль!

— Мы думали, дядько патронов нам привез, а он — соли...

— Чем богат.

— Без соли человек тоже не проживет, — заметил Баржак, подходя с Килигеем к подводе. — Вот если бы нам к этой соли да еще патронов несколько пудиков! Очень было бы кстати.

— Патроны теперь в цене, — хмуро бросил плотный усатый мужик, командир маячанских, Петро Кутя. —

Слышали, Антанта с беляков по пуду пшеницы за один патрон берет.

— Ну, перед нами она и так в долгу, — взглянул на Килигея Баржак. — Много за ней числится... За те ковши, что мы таскали для нее по хорлянским трапам, а, Дмитро?

Килигей посмотрел туда, где за горизонтом скрывалось море:

— М-да, в долгу... С душой вытрясем.

Они двинулись к волости. Только подошли к волостному крыльцу, чтоб начинать сход, как вдруг где-то за церковью зазвенела, все ближе и ближе, песня. Остановились, поджидая.

Толпа всколыхнулась, расступилась, давая дорогу вновь прибывшим: верхом на конях въезжала на площадь асканийская батрацкая молодежь. На груди — красные ленточки, за спиной — у кого берданка, у кого винтовка, а у кого и самодельное копье на веревочке.

Впереди на мохнатом одре едет худощавый, повесенному обветренный юноша: в картузике набекрень, в обтрепанной австрийской шинельке. На длинной шее торчит острый хрящеватый кадык. Веселый, задира на вид, он, должно, здесь и командир и запевала.

— Ярьсько?! — присматриваясь к хлопцу, в удивлении окликнул его из толпы чаплинский атагас Мануйло. — Вместо герлыги взял карабинку?

Хлопец широко улыбнулся:

— Как видите!

— Право слово, еле узнал! — не унимался чабан. — Кажется, вчера еще у меня в подпасах ходил...

— А теперь боец против Антанты? — оглядывая Ярьсько, вмешался в разговор Баржак. — Или, может, вы еще какую программу с собой привезли?

— Да какую же? — Ярьсько на миг задумался, потом снова просиял улыбкой: — Программа наша ясная: за волю и свободу на всем земном полушарии!

Как жить дальше?

Какую власть провозгласить в Чаплинке?

Ради этого и собралась сходка.

— Не надо нам никакой власти! — выскочив с герлыгой на крыльцо, закричал Мефодий Кулик, как только началась сходка.

Должно быть, впервой довелось ему стоять перед народом, и выглядел он чудно, похожий на подстреленную птицу в своей перехваченной обрывком веревки, порыжелой от дождей свитке. Острая мочальная борода его тоже порыжела за годы пастушьей жизни, вылиняла от солнца и непогоды, приняв какой-то травянисто-полынный цвет.

— До живого мяса натерли холку всякие хомуты, — он ударил себя по шее, — новых не хочу! Без хомута еще хочу пожить! Вольным на воле! Сам себе властью буду!

— Безвластную власть давай! — весело крикнул из толпы Антон, моряк, младший брат Килигея.

Безвластную власть? Дмитро Килигей, стоявший на крыльце среди чаплинских вожаков, при этом выкрике как бы случайно поймал на себе насмешливый взгляд Баржака. «Слышишь, чего твоему братухе захотелось? Анархистского душка во флоте набрался».

А вокруг Антона уже раздавались новые голоса:

— Чаплинскую республику даешь!

— Как Висунская! Баштанская!

— Своего чаплинского президента выберем!

Один из чаплинских вожаков, пучеглазый, с рубцом во всю щеку, артиллерист Житченко толкнул Килигея локтем!

— Ну и орлы... Перепелиную республику им подавай...

На площади, заглушая крикунов, которые поддерживали Антона, уже звенели женские голоса:

— Республика в Чаплинке? А тю на вас!

— Это чтоб сами-одни среди степи широкой?

— А какие ж деньги ходить будут?

Кулик, все еще стоявший на крыльце перед народом, взмахнул герлыгой:

— Да я вам сколько хошь денег напечатаю! Дайте только машинку.

Его подняли на смех:

— Фальшивомонетчик! В кутузку его!

— Ну, воля ваша, — обиделся Кулик, под общий хохот спускаясь с крыльца. — Мне что, прокукарекал, а там хоть не рассветай!

К крыльцу, бесцеремонно работая локтями, уже пробивался другой оратор — Серега Белоусенко, или, по-уличному, Хлопешка. Здоровенный, мордастый, в смушковой шапке и в перетянутой ремнями венгерке, он, поднявшись на крыльцо, стал так, чтоб всем видны были бомбы, болтающиеся у него на боку. Ожидая, пока народ утихнет, Хлопешка небрежно отставил ногу, выпятил губу, точно вот-вот плюнет. Баржак, стоя в глубине крыльца, следил за ним настороженно и неприязненно. Что ему здесь надо, этому Хлопешке? Сын чаплинского лавочника, буян и скандалист, Хлопешка почти не жил дома, пропадая по месяцу и по два, возвращаясь в Чаплинку каждый раз с новой песней. Какую-то он сегодня запоет...

— Народ села Чаплинка! — заорал Хлопешка, блуждая взглядом где-то поверх толпы. — Раздумывать некогда! Каждую минуту может ударить в набат тот, что стоит на колокольне, сторожит Перекопский шлях! Говорят, целые возы готовых петель из морского каната везут на нас, чтобы перевешать всех! А как до того дойдет, вы знаете, мне первому у них петля, потому как я первый был среди тех, кто свистел на офицерскую

ихнюю комиссию и гнал ее из села. Так для того ли мы восстали, чтоб молодую свою жисть погубить? Я знаю, Баржак будет вас тут склонять к Советам, уговаривать держаться до прихода красных, а где они? Где его Красная Армия? Пока она здесь, в нашей степи, покраснеет, мы с вами, братва, семь раз посинеем.

— А мы, по-твоему, кто? — раздался голос из толпы фронтовиков, стеной стоявших перед самым крыльцом. — Мы и есть Красная Армия!

Хлопешка, будто не слыша, заорал еще громче:

— От дедов-прадедов была наша Чаплинка украинской, И власть в ней должна быть наша — украинская!

Баржак, до сих пор сдерживавший себя, рванул из глубины крыльца, как в бой:

— Не тебе, Хлопешка, об Украине печалиться!

Хлопешка, казалось, только этого и ждал.

— Ты что мне рот затыкаешь, диктатура? — втягивая голову в плечи, свирепо обернулся он к Баржаку. — Еще ты, астраханский каторжник, про Украину трепаться будешь. — Он намекал на прошлое Баржака, который после событий тысяча девятьсот пятого года несколько лет отбывал ссылку на соляных промыслах в Астраханской губернии.

— Про каторгу ты помолчи, — слышались в толпе возмущенные голоса. — Разве не такие, как твой папаша, кандалы на него надели?

— За папашу я не ответчик! — огрызнулся Хлопешка. — А перед революцией у меня свои собственные заслуги.

— Довольно тянуть волынку! Выкладывай, чего ты хочешь!

— Опомнитесь, пока не поздно! Опомнитесь, ежели не желаете, чтобы Баржак затащил вас в петлю! — снова затянул свое Хлопешка. — Выход еще есть.

Народ притих.

Хлопешка торжественно надулся и, переждав минуту, наконец брякнул то, ради чего и вылез на люди:

— Поднимем над Чаплинкой наш родной желто-блакитный флаг! Подадим знак на Днепро казакам украинской Директории, их атаману Савелию Гаркуше!

Площадь при имени своего земляка зашумела, заволновалась:

— С кем сегодня он гавкает, твой Савка?

— От кайзера уж к французам переметнулся?

— Не приняли. В алешковских плавнях вшей плодит со своими казаками.

Хлопешка налился кровью.

— Дожили, в плавни загнали Украину! Когда-то степями владела, а теперь в камыши днепровские затиснули ее всю. Только такие еще, как Савелий Гаркуша... — и не договорил: на крыльцо, словно ветром, вынесло опять Кулика.

Решительно оттолкнув плечом Хлопешку, стукнул герлыгой, завопил в каком-то буйном отчаянии:

— Люди добрые! Миряне! Товарищи! В Гаркушину тарахторию зовет нас Хлопешка... Черт его батька знает, что оно за тарахтория, только коли подходит она Гаркуше, так нам с вами уж никак не подойдет! Что ему сладко, то для нас будет горько! Меняю свой флаг! Не хочу безвластной власти! Диктатуру на Гаркушу давай!

Фронтовики, со смехом провожая Кулика с крыльца, тоже дружно загудели, заколыхались:

— Диктатуру! Диктату-у-ру!

Баржак, улучив момент, выступил вперед.

— Может, хватит нам тут всяких петлюровских недобитков слушать? — Он метнул презрительный взгляд в сторону Хлопешки, который, выставив бомбы, стоял перед самым крыльцом. — Может, послушаем тех, кого привела к нам революционная солидарность и с кем плечом к плечу нам на врага идти?

Сход, притихнув, почему-то обратил взоры на Килигея, героя-прапорщика, о котором, в связи с таинственной смертью Софьи Фальцфейн, еще ходили по селам всякие легенды. Килигей не заставил себя ждать, привычным движением кавалериста примяв на голове папаху, ступил вперед.

— Про Петлюрину Директорию тут говорилось, — твердым голосом начал он. — Про ту самую, что в ногах у одесской Антанты валялась да драила в Киеве казармы, готовя их для англо-французских войск. Холопка, марионетка, вот что она такое, ваша Директория. Еще тут про Украину шла речь. Мы тоже за Украину, да только не за такую, мы за другую. Хотим Украину не французскую, не греческую, не английскую, не американскую... Хотим Украину украинскую, красную, свою!

Одобрительный гул прокатился по площади.

— Красную даешь! Червонную! — звонко доносилось оттуда, где стояли асканийцы во главе с Яресько.

Килигей, выпрямившись, только собрался продолжать, как вдруг, будто прямо над головой у него, гулко ударил колокол. Все стихло на миг, застыло.

«Бо-оу... — тревожно, мрачно гудела над степью литая чаплинская медь, — бо-оу... бо-оу...»

Жутко становилось на душе. Никто еще не знал, что вещает Чаплинке этот загадочно-суровый, как зов самой судьбы, гул набата, но все вдруг почему-то обернулись в сторону Перекопа.

От колокольной, запыхавшись, бежал подросток-дозорный, бинокль болтался у него на шее.

— Идут! На конях, с тачанками! В Чумакову Балку спускаются!

Каратели? Так скоро их не ждали. Не успело еще организовать стихийно возникшее войско, еще все здесь как на ярмарке, еще и командира над ними нет... Баржак? Злой, как шершень, но сколько он там в окопах

пробыл? Газов наглotalся, да и домой... Все взгляды — в том числе и Баржака — сами собой сошлись на фигуре Килигея: он! Прапорщик! Грудь в боевых крестах, против гетмана, против кайзера людей поднимал... Правда, левша он, левой, говорят, рубит, но рубит так, как иной и правой не сумеет!

— Принимай команду, Дмитро, — негромко сказал Баржак.

Килигей окинул суровым взглядом сходку, словно взвешивая силы, словно мысленно выстраивая в единый боевой порядок всех этих чабанов и необстрелянных батрачат, вчерашних окопников, батарейцев, пластунов, гусар. Давно ли бросали фронты, загоняли штыки в землю, а теперь их снова ждет борьба. В серых шинелях, с винтовками всех систем обступили крыльцо, мрачно дымят махоркой, исподлобья посматривают на Килигея: давай, мол, води!

По-командирски выпрямившись и сразу став как будто еще выше, он громко скомандовал:

— Сходка закрывается! Командиры отрядов — ко мне!

IV

Тишина... Тишина.

Опустела площадь. Опустели улицы. Притаилось, точно вымерло, село, только чабанские папахи да солдатские серые шапки сторожко торчат повсюду из-за глиняных оград, из-за хлевов и заготовленных на топливо куч курая.

Знал Килигей, что делает, когда предложил командирам разбаррикадировать Перекопский шлях, нарочно впустить врага в село, чтобы здесь, а не в поле, дать ему бой. Сюда только замани, а здесь и стены помогут. Вместо тынов и плетней в Чаплинке везде, как

и в других южных селах, тянутся от двора до двора толстые, сбитые из глины и курая валы — загаты.

За одной из таких загат, посреди убогого Куликова подворья, стоят Оленчуковы верблюды — жуют курай. Невдалеке, в узком проходе между копной курая и поветью, притаились с герлыгами в руках Оленчук и Кулик. Удобную заняли позицию. Так в таврийских селах устраивают засады на волков и лисиц, которых за годы войны много развелось в одичавшей, заросшей бурьяном степи: с вечера притаятся мужики с герлыгами где-нибудь за хатой и часами ждут, пока зверь приблизится, пробираясь в кошару или курятник...

Серьезны, задумчивы оба — Оленчук и Кулик. Время от времени то один, то другой выглядывает через загату на шлях — не показались ли.

Улица пуста. Никого.

Итак, снова пришлось им стоять на посту. Вместе под Карпатами воевали, в одной служили батарее. Думалось, когда, бросив фронт, голосовали ногами за мир, до смерти уже больше не придется воевать, а вот довелось: заместо царской, видно, другая, мужицкая война начинается! И хоть не в шинелях, а в своем, домашнем, оба — один в свитке, а другой в колушке — и хотя вместо царских трехлинеек чабанские герлыги у обоих в руках, а все-таки это война. Только их война, мужицкая, народная. Там воевали — не знали, за что, а тут дело ясное — за себя, за тех вон бледных да сопливых малышей, что испуганно из окон выглядывают. Что им, чужеземцам, здесь надо? Кто их трогал? С дредноутами да сверхдредноутами пришли, в Севастополе, говорят, видимо-невидимо чернокожих высадилось. И черные, и белые, и французы, и греки — все навалились. По Геническу бьют, береговые села расстреливают из морских орудий, Килигея выгнали из Хорлов со всем ревкомом. Тучей с моря надвигаются, лезут в степь, как саранча.

— Слышал, Иван, — вполголоса заговорил Кулик, — что греки в Херсоне при отступлении натворили? Дивчина наша чаплинская прибежала оттуда ночью, у аблакаты там служила, страхи, говорит. Облавы на людей. Тысячи жителей города согнали в портовые амбары, заперли, как заложников, а потом из корабельных пушек по ним. Такого зверства не бывало еще. Видно, решили-таки всех истребить, чтобы и звания нашего не осталось.

— Всё умирят, — с горечью отозвался Оленчук. — У себя там, говорят, давно уже без царей живут, а как мы поднялись, так сразу умирять.

— Они нас будто бы и поделили уже меж собою: Кавказ англичане себе берут, а мы на сто лет не то французу, не то Америке отданы.

— Ой, не рано ли затеяли они нас делить, — сказал Оленчук и задумался.

— И чем им наша Украина так приглянулась?

— Разруха, бесчинства, беспорядки, дескать, у нас тут, сами собой управлять не умеем, — неторопливо, как бы размышляя вслух, сказал Оленчук. — А я про себя так полагаю: какой бы ни была наша власть, пускай молодая, пускай и неумелая, неопытная, а только против ихней, заморской, она всегда будет лучше. Свободу людям в подарок не привезешь, с десантом не высадишь. Кто бы ни пришел с оружием в наш край — Франция ли, Америка или Англия, ни одна из них никогда не станет матерью нашим детям, Мефодий, всегда она будет для них мачехой злою.

— Мачехой — это верно, — согласился Мефодий, — однако ж силища у них какая! На дредноутах, говорят, пушки, что и человек сквозь жерло пролезет!

— Степью дредноут не пройдет — здесь мы с тобой хозяева.

Между хат за огородами им видна степь. Оба молча смотрят туда. Степь открыта на все четыре стороны —

на восток до самого Сиваша и тридцать верст безлюдной пустыни до Перекопа. Стелется, как море, не за что глазу зацепиться.

— Ох, нелегко, нелегко будет справиться с ними, Иван, — вздохнул Кулик. — Да еще бог при сотворении мира поскупился для нашего края, не дал нам защиты ни с моря, ни с суши. Святыми горами, высокими, как те вон Карпаты, обложил бы ее со всех сторон, нашу Украину!

Оленчук засопел, помолчал.

— Горами, горами бы высокими от них заслониться, — сказал он раздумчиво. — А то на раздолье на вечном живем. — Он снова помолчал. — А коли уж с горами не вышло, — голос его внезапно стал более уверенным, — коли уж для нас бог пожалел каменных гор, надо, выходит, другой какой защиты искать. Если нельзя горами от них заслониться, то хотя бы...

— Грудью?

— Грудью край родной заслонить.

— Ой, какую же, Иван, грудь надо...

Оба вдруг насторожились. На другой стороне улицы, где еще минуту назад повстанцы дымили махоркой, стоя по двое, по трое у хат, внезапно прошло какое-то движение: замелькали стволы винтовок, шапки одна за другой скрылись, уже только верхушки их виднеются в засадах да торчат дула винтовок, направленные на шлях. «Идут, идут!» — слышались приглушенные тревожные голоса.

Оленчук выглянул из-за загаты. Отряд карателей медленным шагом уже двигался по опустевшей улице. Опустив поводья, всадники недоуменно озираются по сторонам, должно быть дивясь безлюдью и той странной тишине, какой их встречает эта бунтарская, уже третий год не перестающая бурлить Чаплинка.

Топ-топ, топ-топ... все ближе, ближе. Кокарды, кокарды, кокарды! Одно офицерье. Добрые кони под ними сторожко стригут ушами, как-то нехотя ступают вперед. Немолодой, с обвислыми щеками офицер, едущий во главе отряда, вдруг, сердито надувшись, дал шпоры коню. Все перешли на рысь. Сотни глаз зорко следят за ними из засад, а каратели еще никого не видят. Вот они уже совсем близко, слышно, как тревожно всхрапывают кони, плавно проплывает на уровне окон пулеметная тачанка.

И вдруг — словно небо раскололось над селом: гулко, отрывисто ударил большой колокол, и точно от удара этого офицер впереди, взмахнув руками, свалился с коня.

Ударило второй раз — и упал второй.

Кадеты оторопели. В первый момент, видно, никто из них не мог понять, почему падают передние. Удары колокола, видимо, заглушали одиночные выстрелы с колокольни, и потому казалось, что передние падают сами собой, от одного этого звона, раскалывавшего небо над ними. Не успели каратели опомниться, как вся улица уже загремела, затрещала выстрелами: то притаившиеся в засадах стрелки по данному с колокольни сигналу дружно открыли по всадникам огонь.

Падают убитые, испуганно встают на дыбы лошади. Кто-то кричит: «Развернуть тачанку!» — но ее уже не развернуть — все сбилось в кучу, всадники мечутся, как в западне. Одни, отстреливаясь, повернули назад, другие кинулись по дворам, пуская коней вслепую через загаты...

— Ату их, ату! — катится вдогонку скачущим, и Оленчук, насторожившись, сердито кричит Кулику:

— Не зевай! — и, пригнувшись за кураем, нацеливает герлыгу так, словно ждет нападения зверя или разъяренного всадника на вздыбленном коне.

А колокол все гудит и гудит — победно, торжественно, и медный гул его широкими волнами катится над селом, уплывает вдаль, тает в весенней степи.

По всему селу — шум, пальба, возгласы людей, по огородам скачут обезумевшие, без седоков, кони, с грохотом проваливаясь в заброшенные погреба.

Двое спешенных беляков, петляя огородами, оглядываясь, бегут куда-то с ручным пулеметом. Время от времени они на миг останавливаются, один подставляет плечо для упора, другой, припав к приделу, бьет короткой очередью по преследователям, по чаплинским кураям и поветям. Жужжат пули, со звоном сыплются стекла из окон... Отстрелявшись, беляки подхватывают пулемет и бегут дальше.

Яресько неотступно гонится за ними. Дядьки с вилами, тоже преследовавшие пулеметчиков, уже один за другим отстали, а он все гонится. Решил во что бы то ни стало отнять у них пулемет, который так здорово бьет.

Когда пули визжат над ним, он с лету зарывается носом в землю, а когда те, отстрелявшись, бросаются бежать дальше, он тут же вскакивает и, не чуя ног, опять мчится за ними, то и дело стреляя в них на бегу из своей берданки. Бьет, бьет — и все мимо! Откуда-то из засады, из-за хлебов по ним и другие палят, кто-то кричит: «Догоняй, перенимай!»

«Догоню, — проносится мысль у Яресько. — Хоть до Перекопа гнать придется, а пулемет будет мой!»

Вот один из них уже упал — его подбил не Яресько, кто-то другой, а тот, второй, подхватив пулемет, свернул в сторону и бежит дальше! Не стреляет больше, нет плеча для упора! Спотыкаясь на бегу, он

оглядывается, и тогда видно его бледное как смерть лицо... Ярьсько выстрелил вдогонку еще раз, и тот наконец бросил пулемет и, освободившись от тяжести, припустил еще шибче, кинулся куда-то прямо в степь.

Подбежав к пулемету, Ярьсько радостно схватил его, крутнул сюда, крутнул туда — новехонький! Никогда не виданный! — и, не найдя поблизости ничего пригодного для упора, распластался прямо на земле, прицелился вслед убегающему. Клац! Клац! — не стреляет! Что за черт? Снова — клац, клац, клац... А тот уже далеко. Уже кто-то верхом, выскочив из-за крайних строений, быстро настигает его...

Ярьсько, полежав, еще раз досадливо щелкнул, чертыхнулся и в сердцах плюнул.

— Что, не стреляет, браток? — где-то за спиной у него послышался насмешливый голос. Обернулся — у колодца кучка раскрасневшихся, распаленных боем повстанцев...

— А ну дай-ка я попробую, может, у меня стрельнет? — подходя к Ярьсько, весело говорит младший Килигей, изрытый оспой рыжебровый моряк. Круглолицый, раздобревший на морских революционных харчах, он и сейчас еще щеголяет в бескозырке с надписью на околыше «Дерзкий», за что его повстанцы, прибывшие из дальних деревень, так уже и окрестили: Дерзкий... — О, не диво, что не стреляет, — взяв в руки пулемет, причмокнул моряк. — Он же без патронов! — И насмешливо покосился на Ярьсько зеленым глазом. — Как же это ты, браток, а?

Ярьсько сконфуженно покраснел.

Пулемет уже пошел по рукам.

— «Люйс» называется. Английский... Приходилось на фронте и с такими дело иметь. — И, возвращая пулемет Ярьсько, посоветовал: — Береги. Он нам еще пригодится.

Вскинув пулемет на плечо, Яресько направился с товарищами к площади. Только сейчас он заметил, что бой уже кончился. Шум спадает, стрельба утихла, по огородам девчата и подростки, весело перекликаясь, гоняются за лошадьми, ловят.

Несмотря на конфуз с «люйсом», легко и радостно было у Яресько на душе. Получил боевое крещение. Пули звенели так близко, как никогда раньше, но знал, почему-то был уверен, что не убьют они его, нет, нет, нет! Пригибался, падал под их повизгивание, но страха не чувствовал, только щекотный трепет пробежал от свистящего воздуха — воздуха боя.

Победа! Взволнованно бьется сердце, и все тело дрожит от радостного напряжения, играет каждая жилочка от полноты бурлящих в нем молодых сил. Так хорошо вокруг! Ветер и солнце! И пахнет весной!

Шагая за Дерзким, Данько то и дело с затаенной гордостью косился на свой трофей. Добыл! А что без патронов — не беда: еще и патроны добудет!

На площади — радостный гомон, всюду толпится, бурлит разношерстное, возбужденное боем повстанческое войско.

Килигей, взбудораженный, повеселевший, осматривает с командирами захваченную пулеметную тачанку. Дядьки притащили ее сюда на себе: раненых лошадей пришлось выпрячь, сейчас промывают им раны.

Коней на площади становится все больше. Девчата и шумливая детвора ведут со всех сторон только что выловленных по огородам кадетских скакунов.

— Принимайте! — ведя подраненную лошадь на поводу, задорно кричит Килигею какая-то смуглянка.

За ней уже толпятся перед командиром и другие девчата, поймавшие измыленных, загнанных, а то и раненых, со съехавшими на бок седлами офицерских лошадей.

— Нет, так не пойдет, девчата, — скупое усмехнулся Килигей. — Вы ловили, вы и вручайте.

— А кому?

— Сами выбирайте кому. Каждой из вас предоставляю такое право.

Девчата, видно, не решаясь при всем народе воспользоваться неожиданным этим правом, застенчиво поглядывают из-под ресниц на толпу, где среди пожилых сверкают улыбками хлопцы, в их числе и Ярьсько, только что подошедший с Дерзким к тачанке.

— Ну чего же вы ждете? — подзадоривают девчат командиры. — Выбирайте!

Девчата еще постояли, пересмеиваясь между собой, потом, потянув коня за повод, двинулась вперед, к хлопцам, одна, за ней вторая, третья...

— Что ж меня минуете? — весело приставал к девчатам Дерзкий. — Не смотрите, что рыжий и глаза зеленые, кадеты с мушки не спущу!

— Тебе, женатому, пускай твоя ловит!

Перед Ярьсько, залившись горячим румянцем, остановилась... Наталка-цесарница.

— Бери, — ткнула ему в руку повод.

А Ярьсько, радостно вытаращив глаза, смотрел не на повод, не на коня, а на нее.

— Наталка!.. Откуда ты? Ты же, я слышал, в Херсоне...

— Была, да не стало. — Она уже немного смелее взглянула на него своими синими-синими глазами. — От греков сюда удрала.

Данько смотрел на нее и не верил. Неужто перед ним та самая Наталка, которую он знал еще девчушкой, которую на руках выносил, сомлевшую от серного угара, из овечьих фальцфейновских сараев! И не виделись-то всего сколько, а как изменилась, расцвела, что маков цвет!

А толпа уже снова заколыхалась, с хохотом расступаясь, давая кому-то дорогу. Все головы повернулись туда: вооруженные герлыгами Оленчук и Мефодий Кулик, пробираясь сквозь гущу народа, вели к тачанке пленного кадета. Очутившись перед Килигеем, Кулик с места затараторил про какого-то капитана Дьяконова, про их благородие, про батарею, про наводку...

— погоди, что ты мелешь? — остановил его Килигей. — Какая наводка? Что за благородие?

В разговор вмешался Оленчук.

— Да это ж они... ихнее благородие, — произнес он, указывая на понурого, без кровинки в лице — то ли сроду, то ли с перепугу — офицера. — Мы их с Куликом еще с фронта знаем: нашим батарейным были.

— Здесь я их, само собой, не узнал, — лихорадочно затарахтел снова Кулик, — вижу, какой-то беляк во двор влетает, ах ты ж, думаю, стервец! Не успел я прицелиться, как Оленчук уже из-за угла его герлыгою да за портупею — раз, и к себе! Так и выдернул из седла!

— Вот это здорово! — захохотали в толпе. — Герлыгою! Как овцу из отары!

Оленчук не смеялся. Рассудительно пояснил:

— Когда уже на земле были, гляжу — наш батарейный. Капитан Дьяконов.

— Аж совестно стало, — не в силах устоять на месте, частил Кулик. — Наше благородие, а мы на нем верхом сидим!

— Хоть раз да прокатился, — снова всколыхнулась от хохота толпа. — Всю жизнь он на тебе, а теперь ты на нем!

— Нежданно-негаданно верхом на благородии поездил!

Килигей приказал взять офицера под стражу.

— Туда его, — кивнул он в сторону волостной кутузки. — Пусть он там прохолонет маленько, этот... грек доморощенный.

Дьяконова увели, а Кулик все еще не мог успокоиться, — размахивая герлыгой, витийствовал перед толпой:

— Подымаются ихнее благородие из-под меня, да такие удивленные — видно, не узнали, — и сразу до Ивана: «Оленчук — ты?» — «Я». — «Так ты ж в Карпатах убит?» — «Нет, извиняйте, ваше благородие, — говорит Иван, — не убит я, живой я, живехонький. Только шею вот скрутило трошки, тем и отделаюсь...»

Оленчук стоял и молча слушал рассказ Кулика, слушал даже с любопытством, словно речь шла не о нем, а о ком-то другом, постороннем.

Последний раз Ярьсько видел Наталку года два назад в Аскании, когда сброшен был царь и жители окрестных сел пришли громить главное имение Фальцфейнов.

Незабываемые то были дни! Жилось и в будни как в праздник, ощущение какой-то крылатости, простора все время не покидало Данька. Ходил как во хмелю, упивался наконец-то добытым счастьем свободы, молодости. Выйдешь в степь — твоя степь, глянешь в небо — небо и солнце твои! После митингов во все горло распевал с хлопцами «Варшавянку», и казалось, что слышат его звонкий голос и родные Кринички, и вся Украина, и весь мир!

Митинговали с утра до вечера. Панский каретный сарай был превращен в клуб, настлана сцена, и после выступлений приезжих агитаторов — эсдеков, и эсеров, и лохматых анархистов-индивидуалистов — молодежь распевала революционные песни или разыгрывала пьесы. Развлекал там по вечерам уважаемую батрацкую публику и Данько Ярьсько, выступая то в роли писаря Финтика из «Москаля-чародея», то, чаще, в комических

женских ролях, где он не без успеха — под общий хохот присутствующих — представлял недавнюю хозяйку имения, Софию Фальцфейн.

Крепкие помещичьи тенета, захватив Данька мальчиком на каховском человеческом рынке, так с тех пор и не отпускали его назад в родные Кринички. Сестра осенью вернулась домой на Полтавщину, а он, передав через нее матери поклоны да убогий свой заработок, завязанный в уголок платка, остался еще на одну весну в степях. Так и пошло с тех пор — сезон за сезоном, марево за маревом.

Первые неудачи на фронте сказались и на судьбе Данька: звонкоголосый асканийский хор мальчиков был распущен. Пани София нашла себе другую, более отвечающую времени забаву: организовала в своем имении лазарет «для солдатиков» и сама, нацепив белую косынку с красным крестом на лбу, стала первой в Аскании сестрой милосердия.

В жизни Данька вместо камертона регента снова на первый план выступила чабанская герлыга. Как и другим разжалованным хористам, ему был предоставлен широкий выбор — на все четыре стороны!

Дружок его, Валерик Задонцев, увязав свои книжечки, подался поближе к школе, в Херсон, а перед Даньком снова легла дорога в степь — побрел искать счастья по отдаленным таборам и кошарам. Вскоре, по старой дружбе, взял его атагас Мануйло Кравченко к себе подпаском.

Никогда не забыть ему эту картину: закованная гололедью степь, разбросанные до самого моря кошары... А он, сгорбившись, плетется с герлыгой за своей отарой среди бескрайних пустынных просторов. День за днем бредет вот так в неизвестность, в царство неумных вечных ветров, пронизывающих до костей.

Мертвое безлюдье присивашских равнин. Птицы, замерзающие на лету. Целодневные скитания с отарой

на холоде и тоскливые вечера в кошарах, под завывание лютых степных буранов — вот из чего складывалась его жизнь.

Потом нагнали в степь австрийцев. Гнали их теми же шляхами, что и батраков с каховских ярмарок, размещали в тех же батрацких казармах. На разных языках перекликались теперь косари в сенокос, кроме близких, родных с детства песен, зазвучали теперь летними вечерами в таборах и на гумнах еще и другие, незнакомые, печальные. Австрийцы, чехи, мадьяры, карпатские гуцулы — кого там только не было! — полтавские, орловские — все они смешались в этом степном Вавилоне.

Докатилось пополнение и до мануйловского шматка^[1] — одного из пленных дали им в отару на подмогу. Молчаливый, худой — кожа да кости, — лет на пять старше Данька, был он родом откуда-то из Карпат, из Мадьярщины, и звали его Янош. Когда уже пообвык и кое-как научился по-нашему, скупно рассказывал летними вечерами у костра о своих далеких краях. Служил в пастухах у помещика; такая же и там у них жарынь, такое же безводье, такие же роскошные марева колышутся летом. «Только и разницы, что по-вашему — *пастух*, а по-нашему — *пастыр*. По-вашему — *степь*, а по-нашему — *пуста*».

А колодцы там, оказывается, с журавлями высокими, и хаты по селам белые, в садочках вишневых, совсем как на Даньковой Полтавщине. Хорошо было об этом беседовать.

Мечты сдружили их, а совместные скитания с отарой в безлюдной сивашской степи еще больше сблизили, сроднили меж собой. Даже одеждой поменялись: Данько отдал Яношу свою батрацкую

свитку, а Янош ему — цесарскую шинель, чтоб не напоминала ему больше про окопы.

Однажды в степи к их огоньку подошел какой-то неизвестный, одетый по-городскому. В степи, как и в море, встретив человека, не спрашивают, кто он и откуда. Обычай велит сперва накормить его ужином, а потом он до поздней ночи беседовал с чабанами об их жизни, об их доле.

— Гляжу я на вас, хлопцы, — говорил он, — и думаю, что один вам жребий на двоих достался. Этого капитал сызмалу в степной плен захватил, другого — царская война сюда под конвоем пригнала... — И, подбрасывая сухой кизяк в костер, задумчиво добавил: — А только вызволяться из неволи, видно, придется вам вместе, хлопцы.

Исполнилось его слово. Вместе с Яношем прямо из степи пришел Яресько в революцию.

Что тогда творилось в степи! Словно весенним ветром с неба повеяло, душу освежило. С песнями, с флагами шли крестьяне ближних сел на Асканию, к ним на ходу присоединялись чабаны, австрийские пленные, батраки и батрачки из таборных казарм.

— Царя сбросили!

— Война дворцам!

— Свобода всем, всем, всем!

Дышалось легко, небо улыбалось людям, пламенем полыхал алый флаг на башне асканийской водокачки, и словно светлее стало от него по всей Таврии.

В радостном опьянении ворвались людские толпы в Асканию, и затрещали вольеры, упали ограды, раскрылись клетки — чтоб не только у людей был праздник, звери и птицы были выпущены на волю. Как из Ноева ковчега высыпало все, что до тех пор жило взаперти, поднялись к небу редкостные птицы, помчались в степь быстроногие олени и полосатые зебры, дикие монгольские кони и сайгаки, могучие

бизоны американских прерий и беловежские зубры. Все живое радовалось в тот день, несло степью куда глаза глядят, ошалелым ревом трубя о своем освобождении, оповещая всех, что долгожданная воля настала.

Одну только клетку не отворил восставший народ — ту, самую большую, что стояла в имении под окнами панских покоев на специально насыпанном для этого степном кургане со скифской каменной бабой — на таких курганах любят в степи отдыхать орлы. Один из них и сейчас жил здесь.

Огромный, с саженным размахом крыльев степной хищник уже второй год томился в этой клетке, на удивление гостям, на утеху хозяевам. Целыми днями дремал он на вершине кургана, равнодушный ко всему, не обращая внимания на свою тысячелетнюю каменную подругу. Только я оживал, когда приходил час кормежки. Панский любимец, он ежедневно получал в знак милости пани Софии щедрый рацион — живую, взятую из отары овцу. Сгребет, вмиг рас терзает жертву железными когтями и, наглотавшись горячего мяса, сидит, забрызганный кровью, на вершине кургана и снова дремлет, отдыхает.

Всем существом ненавидел Данько этого кровопийцу. Каждый раз, когда случалось проходить мимо него, вспоминалось хлопцу, как, еще по пути в Каховку, однажды на привале прилег он, усталый, на обочине дороги и сразу задремал, а проснувшись, увидел над собою в небе вот такого хищника, который, распластав крылья, казалось, целился ему своим клювом прямо в грудь. Как страшный сон врезалась ему в память на всю жизнь эта первая его детская встреча с крылатым степным разбойником. Порой казалось Даньку, что это именно он, тот самый крылач, что хищно вился когда-то в степи над его бурлацким детством, теперь терзает свои жертвы у всех на глазах.

Не раз, проходя мимо, Данько грозил ему кулаком, да все не мог исполнить своей угрозы.

Когда же настал день, что можно было наконец поквитаться, хлопец не упустил случая. Под одобрительный гул бурлящей толпы вошел с герлыгой к хищнику в его пропахшую падалью, кровью забрызганную клетку:

— А ну-ка, царь пернатых, может, и тебе с трона пора?

Толпа насторожилась, притихла. Противник, даром что отяжелел на панских харчах, был еще опасен — такой одним ударом крыла сбивает человека с ног, одним ударом своего стального клюва проламывает череп...

То был первый враг, павший от руки Яресько. Словно ярмарочного борца, приветствовала возбужденная толпа молодого чабана, когда он, веселый, довольный, победителем вышел с герлыгой из орлиных хором. Светлана Мурашко, смеясь, приколола ему тогда на грудь красную ленточку, а Наталка-цесарница... Наталка только посмотрела на него своими небесно-синими глазами, но так посмотрела, что и до сих пор он не может забыть этот взгляд.

С Наталкой у них вскорости разошлись пути: после того как остались ее вольеры без цесарок, подалась девушка в Херсон искать себе другого места, Яресько же остался в Аскании.

Не успели еще надышаться новой жизнью, как замелькали в степи рогатые кайзеровские каски — пришли немцы с гайдамаками. Первым делом похватали рабочкомовцев вместе с председателем рабочкома механиком Приваловым и, отправив в Геническ, учинили там над ними изуверскую расправу: набили арестантами старую баржу, вывезли в море и живыми пустили ко дну.

После падения гетмана был создан в Аскании новый рабочий комитет и несколько вооруженных боевых дружин для охраны степи и отдаленных таборов от кулацких налетов. Ярьсько сел на коня. За славный голос да за веселый нрав — больше за это, чем за какие-нибудь там подвиги, — его даже выбрали в одной из дружин старшим.

Так во главе батрацкой боевой дружины и летал он по необозримой асканийской степи, сдерживая разгул кулацкой ненасытной жадности. Ничего не щадило кулачье: растаскивали не только постройки, даже деревянные срубы у колодцев разбирали, развозили по хуторам, а колодцы пусть рушатся, гибнут. Однажды как-то примчались в табор Кураевый, а там уже все идет вверх дном: старый Гаркуша с агайманскими старообрядцами за бороды схватились, готовы горло друг другу перегрызть из-за какого-то маховика... Пришлось разводить их арапником. Так и жил Ярьсько, месяцами не слезая с коня, охраняя со своей дружиной степь, пока не ударил в набат чаплинский колокол.

И вот теперь — после первого настоящего боя — стоит с Наталкой на людной чаплинской площади, освещенной ярким заревом заката, не отрывая глаз смотрит на девушку, радостно взволнованную встречей, и, словно зачарованный, слушает ее грудной, воркующий, как у горлинки, голос.

Солнце зашло, по все небо на западе еще горит, бросает на окна Чаплинки красные блики. Неумолчно играет гармошка, веселится на площади молодежь. Ярьсько с Наталкой, беседуя возле ограды, не замечают никого, чувствуют себя среди этой толчеи точно наедине.

Так вот, как ушла она в Херсон, служила нянькой у адвоката, может, и до весны бы продержалась, но, когда случилось там несчастье — греки людей

попалили в портовых амбарах, вырвалась и в чем была прибежала в Чаплинку к тетке...

— К тому же, говорят, землю тут будут делить, не прозевать бы мне свою, — засмеялась она.

Глядел на нее Яресько и любовался. Как изменилась! Уже и косы под косынкой уложены по-городскому, и кофта — на кнопках — плотно, красиво облегает высокую грудь. За время, что не виделись, стала как будто нежнее вся, тоньше, смотрит в лицо смелей. Разрумянилась, щеки горят, а глаза все время смеются, светятся, искрятся, и все небо в них переливается.

— На кого же ты своих аблакотов бросила?

— А ну их! — Она весело махнула рукой. — Такие нудные да злющие! Они там суд над Лениным было устроили. Собрались как-то вечером все ихние прокуроры, понацепляли на нос очки, бумага у каждого в руках — судят... Комедия, да и только!

Вдруг откуда ни возьмись подходит к ним Хлопешка, запросто кладет девушке руку на плечо.

— Это что за новости сезона? — Возмущенно дернув плечом, она стряхнула его руку.

— Пошли на польку, — пробасил Хлопешка, наливаясь кровью и будто не замечая Яресько.

— А может, я... не желаю? — ответила ему девушка с необычной для нее раньше смелостью.

— Не пойдешь?

— Не пойду. — И она посмотрела на Данька так, словно между ними все было уже договорено.

Хлопешка исподлобья взглянул на Яресько:

— Ты что? Уже занял здесь позицию?

— Занял.

— Ишь какой прыткий.

— Да уж какой есть.

Хлопешка, насупившись, постоял, поразмыслил и, небрежно языком перекинув мундштук из одного угла

рта в другой, поплелся к кружку танцующих.

— Такие вот и там, в Херсоне, — вновь заговорила возмущенно девушка, словно жалуясь Даньку. — По улице, бывало, не пройдешь... Французы так и липнут... Греки с ножами гоняются...

Слушая ее, Данько вместе с ней переносился мыслью в Херсон, вместе с ней переживал трагедию этого поруганного интервентами города.

Наталка, склонившись к нему, все рассказывает о переживом, и голос ее звучит то жалобой, то гневом. Вступая, образцовый порядок обещали навести, а потом такой навели, что до сих пор весь город голосит. Высадились они под вечер; говорят, петлюровские лоцманы провели их с моря по путаному фарватеру днепровского гирла. Из порта шли к городу с такими тулумбасами, что ну! Впереди английский оркестр с трубами через плечо, французские офицеры вышагивают, во все стороны бросая улыбки, а позади всех вооруженные ножами греки мрачно тащат артиллерию на ослах, и херсонская детвора шумно бежит за ними, выкрикивает на все голоса:

— Иисусова кавалерия!

— Ишаки Антанты!

Всюду, где с музыкой проходили заморские гости, на стенах зданий появлялись свежие разноцветные прокламации, в которых херсонцев заверяли, что отныне каждая семья может жить спокойно, так как союзные войска прибыли сюда не для войны, а для мира, для поддержания законного порядка — ни для чего другого. А не успело стемнеть, как по всему городу, особенно по рабочим его слободкам, уже загрохотали в двери приклады, начались повальные облавы. К утру тюрьмы были переполнены, а на фонарных столбах на Говардовской качались молодые рыбаки, захваченные ночью с рыбой на Днепре. В Монастырской слободке без суда, без следствия, по

одному только подозрению в связях с большевистским подпольем была расстреляна группа матросов и рабочих.

Жизнь стала невыносимой, с наступлением темноты на улицу не выйдешь, город точно вымер, только кованные каблуки по булыжнику грохочут. Дороговизна страшная, надвигался голод, в трущобах порта и в подвалах Забалки уже пухли дети, а «спасители» тем временем под метелку выметали все запасы хлеба, хранившиеся в порту. Один только английский пароход погрузил будто бы за раз пятнадцать тысяч пудов муки.

А самое страшное началось, когда интервенты увидели, что не удержаться им тут: на кораблях у французов вспыхнули волнения, со стороны Николаева приближаются красные, в самом городе смута. Тогда они стали хватать всех подряд, на улице и по квартирам, и, как заложников, толпами гнали в порт. Тысячи согнали — и стариков, и женщин, и детей, набили людьми полные амбары, те самые амбары, из которых перед тем подчистую вымели хлеб. А в последнюю ночь, когда уже совсем не вмоготу им стало и они вынуждены были перейти с берега обратно на корабли, они ударили оттуда из пушек прямо по набитым людьми амбарам.

До сих пор еще на том месте тлеют огромные кучи пепла, до сих пор еще голосят на пожарище обезумевшие от горя женщины, разыскивая кто сына, кто мужа, кто брата...

VII

Оленчук всю ночь стоял на часах у кутузки и всю ночь, как рассказывали другие часовые, вполголоса вел через щель какие-то переговоры со своим благородием. О чем они там перешептывались? О чем тихонько

исповедовался молодой золотопогонник своему бывшему подчиненному?

Утром Оленчук явился в штаб и без долгих объяснений заявил Килигею, что готов взять капитана Дьяконова на поруки.

— Жалко стало? — прищурившись, подозрительно бросил Баржак.

— Ты меня этим не пугай, — спокойно возразил Оленчук. — Почему же не пожалеть человека, если он того стоит. Все вы здесь фронтовики, и я перед вами засвидетельствовать могу: были их благородие командиром совестливым, нас, солдат, зря не обижали. Кулик тоже может подтвердить.

— Так-так, — слегка побарабанил Килигей пальцами по столу. — Сам, значит, поймал, сам и выпущу?

— Неплохим, видно, оказался кадет оратором, — насмешливо заметил Баржак. — За одну ночь мужика в дым разагитировал.

— Это еще не известно, кто кого, — буркнул Оленчук недовольно.

— О чем ты там ночью с ним шушукался? — как бы между прочим поинтересовался Килигей.

— Да обо всем понемногу. О войне, о жизни. Про семью меня расспрашивал.

— Ой, гляди, Иван, чтоб он снова из тебя денщика не сделал! — шутя предостерег Житченко, артиллерист.

— Скорее, пожалуй, я из него человека сделаю.

— Ты нам из него хорошего молотобойца сделай! — посоветовал Килигей. — Сегодня начнем лошадей ковать, молотобойцы нам как раз понадобятся.

— О, это занятие аккурат для благородия! — покручивая ус, сказал Кутя маячанский. — Пускай потрудится для революции, помашет молотом хоть день.

— Ну, так как? — взглянул Килигей на членов штаба. — На таких условиях... отдадим Оленчуку его благородие?

— Пускай берет, — пробасил Кутя. — Да только пасет пускай как следует, чтоб к своим не переметнулся.

— Слышишь? — Килигей сурово посмотрел на Оленчука.

— Слышу.

Так решилась судьба его благородия, так, прямо из кутузки, перешел он в закоптелую чаплинскую кузню, стал с молотом у наковальни в паре с бывшим своим батарейцем. В расстегнутом френче английского сукна, без погон и без пояса трудится, добросовестно ухаёт молотом по раскаленному железу, напряженно следя за тем, чтоб не угодить великодушному своему Оленчуку по пальцам.

Когда пришла нора полдничать, Оленчук накормил офицера из своего узелка, поделившись с ним домашними коржами, которые старуха положила ему в дорогу. Поев, офицер тут же, на дворе, закурил с дядьками, угощаясь самосадам из их радушно протянутых кисетов.

Покурив, снова стали к наковальне, снова заухали молотами попеременно: раз Оленчук по железу, раз благородие, раз Оленчук, раз благородие...

Кулик, случайно забредя на кузню и увидев это зрелище, шумно обрадовался:

— Кует! Ей-же-ей, кует! Когда мне сказали, я и не поверил. А оно таки правда. Таки сделал Иван из нашего благородия молотобойца.

Каждый, кто приходил сюда потом, не мог без улыбки смотреть на эту необычную картину: у раскаленного горна дружно бьют молотами по наковальне, как бы разговаривая между собой языком металла, Оленчук и его благородие. А пока они гнут

спину за работой, Кулик, усевшись на пороге, делится с крестьянами своими мыслями о капитане Дьяконове, нисколько не смущаясь его присутствием.

— Такого отчаянного картежника, как их благородие, не найти было на всем румынском фронте, — с гордостью рассказывает он. — Как ночь, так уже и сходятся к ним офицеры с соседних батарей, запрутся в блиндаже и режутся до утра!.. А нас, вестовых, все, бывало, за новыми картами в город гоняют. Транжиры, скажу я вам, были, поищи таких: что ночь, то новую колоду распечатывают... Но даром что все ночи картежничали, командиром был справным, наводку лучше их никто делать не умел! Как наведут — так и там!.. И с нашим братом тоже умели как-то полюдски. У других — рукоприкладство да мордобой, а у нас на батарее этого — ни-ни-ни!

Дядьки, слушая разглагольствования Кулика, поглядывали на Дьяконова все с большим уважением. Почти все окопники, годами на себе испытывавшие нелегкую власть командиров, они хорошо понимают цену Куликовой похвалы.

— А как-то их благородие, — продолжает Кулик, — нашему батарейному ковалю два серебряных рубля дали: на, говорят, Севастьянов, да выкуй мне из них шпоры к вечеру...

Явтух Сударь при упоминании о серебряных рублях хитро прищурился на Дьяконова:

— Богатые, видно, были, ваше благородие, что так серебряными рублями разбрасывались?

Офицер, опершись на молот, смахнул обшлагом пот со лба.

— Был и тогда небеден, — медленно произнес он, — но сейчас... — он взглянул на Оленчука, — сейчас богаче.

В один из ближайших дней, когда работы в кузне поубавилось, Оленчук снова явился к Килигею с неожиданной просьбой: отпусти домой, ведь там...

— Что там?

— Весна!

— А у других не весна?

— Ну, у других, может, есть кому... А я ж тебе, Дмитро, и сына привез.

— За сына спасибо.

— Надо будет, так и я... Да сейчас... Ты ж кавалерию формируешь, а я, видишь... — Он как-то по-бычьи выгнул свою контуженую шею, словно собирался кого-то боднуть.

— Ну ладно, — согласился Килигей. — Иди, сей.

— Только ж я и офицера своего заберу.

— А он тебе на что?

— Найду и ему работу, чтоб не скучал. На винограднике будет помогать или...

— Ой, гляди, Иван! — сурово перебил Килигей. — Не то нынче время, чтоб ихнюю белую кость жалеть! — Подумав, махнул рукой: — Ну да забирай, черт с ним... Надо будет — позову.

VIII

Рано начинается таврийская весна!

Объявляют ее жаворонки. Никто не знает, где они зимуют, где укрываются от злых буранов, но можно думать, что степи они не покидают, потому что только пригреет первое солнышко — пускай даже посреди зимы! — как они уже и зазвенели повсюду за селом, распевая свою песнь земле, и небу, и солнцу, и людям.

Первые нежные певцы весны, сегодня они уже перезваниваются над Чаплинкой. Слушают их часовые на чаплинских заставах, слушают дядьки, что дымят

цигарками у кузни да поглядывают в степь: вот-вот земля позовет сеятелей в поле...

Молодой конник едет Чаплинкой. Издалека узнают его чаплинские девчата: асканийский вихрастый запевала Яресько. Едет не спеша, покачиваясь, небрежно перекинув обе ноги на одну сторону. В руке — связка запасных, только что выкованных подков, он играет ими, зачарованно оглядываясь вокруг, словно впервые здесь очутился, словно не глиняной облупленной Чаплинкой едет, а каким-то невиданным царством...

День как умытый: с солнцем, с ветерком, с первыми жаворонками. Земля оттаивает, и талый винный дух полей, разбавленный солоноватой влажностью недалекого моря, уже ясно чувствуется в воздухе. Не узнать сегодня Чаплинки: саманные, оббитые буранами халупы нарядились уже совсем по-весеннему, стоят в хрустальных сережках тающих сосулек, с которых на землю медленно капает и капает солнце.

Как не узнать эту хрустальную, всю в самоцветных каплях Чаплинку, так не узнать и Наталку сегодня: красуется у теткиной кураевой загаты в ярком платке — голова наполовину открыта. Стоит, щелкает семечки, издали улыбается, заметив Данька.

— Тпру!.. Стой!.. Кого это ты тут выглядываешь, дивчино?

Покраснев, лукаво повела бровью:

— Весну!

— Ну и как?

— Идет.

Данько закинул голову, прислушивается:

— Н-да... Голосистый какой-то поднялся...

Дивчина тоже прислушалась:

— Жаворонок!..

Вот они уже его разглядели в светлой ясной высоте. Свежая яркая синева и он, пока еще один на все

огромное небо. Трепещущей чуть заметной точкой медленно движется куда-то над Чаплинкой. Будто угадав, как радостно слушать его внизу Даньку и Наталке, залился еще задорней, еще звонче.

Тюи!.. Тюи!.. Тюи!..

Далеким перезвоном кузнечных молотов отвечает ему расцвеченная солнцем, охрусталенная Чаплинка.

С жаворонка девушка снова перевела взгляд на Данька:

— Ты это откуда?

— В кузне был. — Данько помахал, позвенел в воздухе связкой запасных подков.

— Все еще куете?

— Одному — перековать, а другому — заново подковать. Тот заказывает зимнюю ковку, а тот — летнюю, а мне, говорю, — весеннюю сделайте! — засмеялся он.

Небо над ними уже снова звенело песней.

— Из всех птиц я почему-то жаворонка больше всего люблю... А ты, Данько?

Парень загляделся в небо: любит ли он жаворонка, эту первую весеннюю, самую радостную птичку? Да если б мог, в сердце бы у себя ее укрыл, чтоб всегда она там пела!

Сквозь нежную песню жаворонка до их слуха вдруг долетел с севера, из-за горизонта, далекий орудийный гул.

Оба удивленно переглянулись.

— Наши, видно, наступают, — догадался Яресько. — Красная Армия идет! Распинался Хлопешка, что не удержаться нам до ее прихода — брешет, удержимся!

— А сам-то Хлопешка — ты слышал? — исчез, говорят, ночью... В алешковские плавни, верно, к Гаркуше подался.

— Туда ему и дорога... Только недолго им там казаковать. Вот как разольется Днепр, их тогда, как

крыс, из плавней повыгоняет!

Черноземной брагой пахнут поля. Звенит небо. Скачет улицей знакомый чабанок из маячанских.

— Айда к волости! — кричит он Яресько. — Сбор играют! Из Херсона нарочный прибыл!

Яресько, повернув коня, еще на какой-то миг задержался взглядом на девушке.

Стала сразу серьезна, а глаза еще искрятся смехом, и губы невольно трепещут, точно сами хотят поцеловать.

IX

Когда Яресько примчался на площадь, повстанческое войско было уже в сборе.

С крыльца волости, где стояли члены штаба, как раз говорил какой-то незнакомец, с виду рабочий, в кепке, в порыжелой, потертой кожанке. Лицо землистое, измученное, только глаза обжигают толпу болезненным огнем да голос звонким эхом разносится вокруг.

— Не одни вы — вся Украина сейчас поднимается на крыльях восстания, народной войной идет на интервентов, — гремит далеко над площадью его голос. — Из Херсона мы их выгнали, теперь они в Хорлы перебрались. А почему? Чем привлек их этот заброшенный степной порт? База — вот чем. Любой ценой хотят зацепиться за наш берег! Для того и нужны им Хорлы, чтоб, получив передышку, развернуть оттуда вторую оккупацию Причерноморья, еще раз попробовать углубиться на север, в степи!

— Привязались же! — возмущенно гудит толпа. — Ты их в дверь, а они в окно!

— Осиные гнезда! Пора уже выкурить их с наших берегов!

— Выкуришь, когда четырнадцать держав за ними!

— В открытой степи от них мокрое место бы осталось! А они из-под крыла своих дредноутов не вылазят!

— Есть сведения, — продолжал херсонский посланец, — что греки сейчас берут хлеб в Хорлах, дочиста решили все выместить, как сделали уже это у нас, в Херсонском порту. Товарищи повстанцы! Херсонский Совет рабочих депутатов обращается к вам с братским революционным призывом: не дайте интервентам вывезти хлеб из Хорлов! Это ваш хлеб! Лучше бедноте раздать его, чем позволить вывезти интервентам.

— Флот бы нам! — крикнул из толпы Дерзкий. — Мы б тогда с ними померились!

— Да где же быть флоту в нашей Чаплинке? — завопил Кулик. — Спокон века сухопутная она!

— Флота и у нас нет, — объяснил херсонский товарищ. — Все, какие были, суда те же грабители увели, погнали за море с народным добром... Что же касается нашей красной артиллерии, то она тоже прикована к суше. Провожала их сколько могла, с днепровского лимана выгнала, ну а дальше...

— А дальше, — громко подхватил Килигей, обращаясь к запруженной повстанцами площади, — это уже наша с вами забота. Херсонцы их в хвост, а мы — в гриву! Они их выперли из порта и из лимана, а наше дело — выкурить из Хорлов!

— Конницей на дредноуты? — весело, недоверчиво спросил кто-то из толпы.

— Революция не спрашивает, чем и на кого! — желчно выкрикнул из кучки штабистов Баржак. — Ждать, что ли, будем, пока здесь под окнами ослы Антанты заревут?

— Гнать их в три шеи! — заволновались хлопцы.

— На добром коне грека и в море переймешь!

— Даешь Хорлы!

— Дае-о-ошь!

X

И вот уже мчатся они на рассвете по степному приволью, мчатся атаковать море, голыми саблями рубить бронированные военные корабли.

Было безумием идти в такой рейд, было сумасбродством с такими силами выступать на Хорлы — отрядом легкой конницы при двух пулеметных тачанках атаковать военные корабли интервентов. Конницей на корабли! Не укладывалось это ни в какие уставы, противоречило всем тактикам и стратегиям, и если вчерашний прапорщик Килигей пошел на такое вопиющее нарушение военной науки, то только потому, что твердо верил в счастливую революционную звезду свою и своих хлопцев.

Вечером, перед тем как выступить в поход, Килигей построил на площади все повстанческое войско.

— Перед нами не простой рейд, — обратился он к бойцам. — На Антанту идем, на гибель, может, идем, потому надо, чтобы дисциплина в наших рядах была железная. Я никого не принуждаю, все мы добровольцы, но если кто встал уже под наше знамя, так не фордыбачь, выполняй свой революционный долг до конца. Пока еще не вышли — предупреждаю всех, что у меня, если кто отстанет в бою хоть на шаг, тому — смерть. За случай невыстрела — позор и изгнание из отряда. Мародеров я ликвидирую на месте. Если кто к такой дисциплине не готовый или, может, чует в душе страх перед дредноутами, такой лучше пускай сразу скажет, чтоб потом паники нам не разводил.

Он помолчал, послушал.

— Ну, коли кто есть — говори. Отпущу. Все равно коней на всех не хватит.

Воцарилась тишина.

— А ничего за это не будет? — слышалось вдруг из рядов.

— Ничего!

Качнулась шеренга, и по всей форме — три шага вперед — выступил подпоясанный путом, с герлыгой вместо винтовки... Мефодий Кулик!

— Люди добрые! Пытал тут Дмитро, кто чует страх на душе. Я чую страх на душе. Ну куда я с этой вот герлыгой да против их дредноутов? У них же там орудия такие, что и человек в стволище пролезет! Как ахнет, как шарахнет...

— Довольно, — оборвал его Килигей. — Оставайся, высиживай дома цыплят к весне... Больше охотников нету?

— Не-ету! Не-ету! — весело, стоголосо раскатилось в ответ.

Килигей подал команду на перекличку.

— Первый! Второй! Третий! — громко, отрывисто стам выкрикивать с правого фланга фронтовики.

Килигей стоял перед строем и с затаенной радостью слушал расчет: десятый... двадцатый... сотый... двухсотый! Это уже сила! Пускай еще плохо вооружены, пускай даже по одной на каждого не хватает тяжелых, окованных белой херсонской жестью гранат, которые повстанцы назвали уже «гусаками», пускай! Зато есть руки, что сами рвутся в бой, есть сердца, пылающие революционным огнем, жгучей жаждой очистить родную землю от интервентов!

Светает, светает над степью...

Грозно топчет по тракту конница, покачиваются в предраассветной мгле серые солдатские шапки да косматые чабанские папахи — по три в ряд.

С детства знаком этот путь Килигею. Когда-то шел этим шляхом в неволе, батрацкими ногами месил он

здесь горячую пыль, а сейчас возвращается мстителем, борцом за свободу, командиром повстанческого отряда.

Рядом едет Баржак, едут в первых рядах хорлянские ревкомовцы, больше все бывшие грузчики, все те, с кем проходила его молодость на портовых фальцфейновских эстакадах... Эстакады, тяжелые ковши, пот заливает глаза... Даже в такую пору, перед рассветом, когда, обессиленные после целой ночи работы, они падали с ног под тяжестью груза, в Морском саду пани Софьи еще, бывало, гремит оркестр, парусные яхты катают по заливу гостей, безудержно бушует пьяная оргия. Пили там французские вина, а закусывали живыми хорлянскими устрицами, которые пани Софья специально разводила неподалеку от порта на собственном так называемом устричном заводе.

Вспомнилось, как собирались они, рабочие порта, на тайные сходки, как спасли однажды совсем юного матроса, бежавшего с военного корабля... По обычаю грузчиков, пустили шапку по кругу и на собранные деньги подкупили капитана английского судна, как раз бравшего в порту хлеб; так отправили тогда своего юного друга Леню Бойко за границу. Иначе каторга бы ему или петля. Позже слышал, что матрос тот перед самой войной снова объявился в степи, на далеких таборах машинистом у паровика работал.

Все светлее небо, все шире горизонт.

Хорлов еще не видно, только верхушки тополей показались на светлом фоне неба. Что там сейчас? Вряд ли дети и жена ожидают его сегодня. Нелегко будет овладеть Хорлами. Только смелый, безудержно смелый удар может обеспечить успех. Победа их ждет или, может быть, смерть?

А в степи — весна... И уж ветер навстречу, что девичья ласка, и уже не один, а тысячи жаворонков звенят над Яресью, что скачет с товарищами в

головном дозоре, прямо в утреннюю зарю, на тополиный порт.

Все выше встают далекие тополя на горизонте. Даньку не приходилось еще бывать в Хорлах, и сейчас, когда он впервые увидел перед собой стайку одиноких задумчивых тополей там, далеко, на грани земли и неба, взволновался так, точно встретил вдруг в незнакомом краю кого-то сызмала близкого, кого-то родного до боли — мать или сестер. Такие же тополя стояли в его родных Криничках на Полтавщине, гнулись и шумели над его далеким детством.

Уже пахло морем: вот-вот покажется оно из-за горизонта.

Данько, вырвавшись с хлопцами далеко вперед, был в это утро в числе тех, кто первым увидел море, у кого восходящее солнце раньше всех заиграло косыми лучами на белом, притороченном к седлу «гусаке».

Где-то у самого небосклона дымил чужой корабль. Один на всем горизонте, темный, мрачный, как призрак... Хлопцы переглянулись между собой:

— Дредноут!

— Как монастырь на море!

— Чей же он?

Яресько стало не по себе. Словно только теперь заметил он неуловимую настороженность, царившую вокруг. И утренняя, прорезанная лиманами степь, и открытое небо над ней, и по-девичьи беззащитные тополя — все точно замерло в ожидании беды, точно оцепенело под жерлами наведенных с моря орудий... Внезапно появившийся на море чужак и впрямь напоминал мрачный монастырь... Вместо куполов — башни, вместо крестов — жерла орудий. Данько чувствовал, как поднимается в нем ярость к пришельцам, явившимся из-за моря разбойничать на его родной земле. По какому праву вторглись они сюда, в этот степной беззащитный порт? Чего они пришли

сюда, что им здесь надо? Было что-то глубоко оскорбительное в самом их присутствии здесь, у берегов земли, никогда им не принадлежавшей, под высокими тополями, что, как сестры Данька, стоят над морем!

Щемило в груди, сердце жаждало боя, ноги сами пришпоривали коня.

XI

Припав к гривам лошадей, повстанцы с топотом перелетели через узкий перешеек на косу и, чтоб враг не заметил их в свои бинокли, сбились во рву, под защитой колючих маслин, полосой тянувшихся вдоль запущенного помещичьего сада.

Здесь Килигея уже поджидали представители местных жителей: несколько угрюмых рыбаков в зюйдвестках да инвалид-фронтовик на деревяшке, подвижный, быстрый — минуты не мог устоять на месте.

— Дмитро, Дмитро! — возбужденно кинулся он к Килигею, как только тот соскочил с коня. — Скорей разворачивай своих! Грек перепился. Аккурат самое время его глушить!

— Не пори горячку, Степан, — осадил его Килигей. — Толком докладывай: где, сколько?

— До гибели, до черта! — затанцевал перед ним фронтовик на своей деревянной ноге. Оглядевшись по сторонам, почему-то вдруг перешел на шепот: — Как раз берут хлеб на третьей эстакаде под охраной двух миноносок!.. А там дальше еще баржа, бронекатера, а еще дальше — ты, может, видал — флагман дремлет на рейде!

— Есть, значит, с кем воевать, — нахмурился Килигей.

— Есть, есть, — заплясал фронтовик. — Мы уже и факелы приготовили! И бомбы найдутся, только действуй!

— Вы сперва на устричный завод ударьте, — степенно вступил в разговор пожилой рабочий атаман. — Всю ночь там их офицерня гуляла, еще до сих пор оттуда пьяные крики слышать...

— Распоясались, — процедил сквозь зубы Баржак. — Видно, не ждали они нас?

— Дозорный у них был на этой стороне, — басовито заговорил молодой рыбак в брезентовой куртке. — Глаз со степи не сводил, да только дело такое... валяется он уже во рву с перерезанным горлом.

Килигей молча бросил взгляд в ту сторону, куда указал рыбак, и, отвернувшись, тут же стал распределять боевые задания: Баржак с частью отряда атакует устричный завод, а остальных повстанцев Килигей сам ведет в атаку на причалы.

Прозвучала команда — взять факелы.

— Все, кто с «гусаками», — вперед!

Теперь уже сколько угодно могли смотреть на них интервенты в бинокли, вволю мог любоваться ими с внешнего рейда адмирал Яникоста, столбенея при виде того, как среди бела дня, не таясь, вылетает из-за колючих маслин степная конница и, вздымая в воздух сверкающие клинки, вихрем несется прямо в море, на жерластые его корабли!

Чего-чего, а налета отсюда адмирал Яникоста совсем не ожидал: ведь ему доподлинно было известно, что в пустынном этом районе красных войск не значится... Правда, доходили слухи, что не так давно взбунтовались здесь села, подняли мятеж чабаны и какой-то прапорщик царской службы формирует, собирает в отряд недовольную голытьбу. Но разве ж это сила? Можно ли было принимать всерьез этот полумифический чабанский отряд таврийской

вольницы? Что они значили для него? Не могли ж они голыми своими клинками достать с берега его флот, его бронированные корабли!

И вот на тебе: летят, летят, летят!

Земля не кончилась для них крутыми обрывами берега, как на крыльях вынесло коней прямо на железные эстакады, и уже падают оттуда, сверкая на солнце, большие белые птицы прямо на палубы его судов! Слышно, как душераздирающе взревели в порту сирены, сзывая с берега команду; видно в бинокль ему, как лихорадочно матросы рубят швартовы, а с круч берега и с эстакад все падают и падают на них эти загадочные белые птицы и один за другим вспыхивают на палубах огненные фонтаны взрывов, обволакивая дымом суда... Уходить! Скорее уходить! А то, пожалуй, не от их степных партизанских бомб взлетишь на воздух, а от взрыва своих собственных, начиненных боеприпасами трюмов!

Словно ветром вынесло Ярьсько в первых рядах атакующих на высокую гулкую эстакаду, и, с грохотом промчавшись по ней, конь его встал на самом краю.

Так бы и мчался дальше, но дальше было море, повесенному сияющее, голубое!

Оглянулся — в порту уже кипит бой. Всадники, сгрудившись и на эстакадах, и на обрывистой круче берега, дружно бомбят оттуда лимонками и «гусаками» палубы зажатых внизу судов. Ярьсько сорвал с пояса и своего «гусака» и, размахнувшись что есть силы, швырнул туда, в дым, в крики, в самую гущу чужих матросов, метавшихся по палубе... Грохнул взрыв, и конь под Ярьсько, вздыбившись, подался назад. Взрывы, вой сирены, стрельба — сущий ад... В клубах огня и дыма матросы остервенело рубят канаты, с паническими воплями втаскивают в люки раненых. Наконец вспенилась вода, заработали машины. Повернув коня к берегу, Ярьсько вдруг заметил слева от

эстакады еще какое-то судно, неуклюжее, пузатое, с горой пшеницы прямо на палубе...

«Хлебное!» — мелькнуло в голове.

На судне ни души, только сияет над ним огромный круглый прожектор, направленный сюда — на Яресько, на степь. Бьет в глаза, слепит, наведенный прямо на него, круглый, яркий, как солнце.

Выхватив из-за плеча карабин, Яресько прицелился и в упоении выстрелил в это проклятое заморское солнце.

XII

В паническом беспорядке — с обрубленными концами, с поредевшими командами — суда интервентов покидали порт. Долго еще им будут чудиться белые эти «гусаки», что, как живые, со злобным шипением летели на них с эстакад и с крутых берегов, долго еще будет слышаться им отчаянный крик «пали!» и вслед за ним — клубки огня, клубки пылающей смолы, которая падает, льется прямо на головы! Под градом бомб содрогались палубы, вспыхивали от смолы пожары — выход оставался один: поскорее рубить концы и бежать без оглядки, бросая на произвол судьбы тех, что, загуляв, разбрелись по берегу. А оставшиеся, которых так надрывно сзывали сирены, лежали уже зарубленные у лимана, возле устричных бассейнов, или как раз в это время подымали свои офицерские, в перстнях, руки перед обнаженными — сама смерть — саблями повстанцев. В черных беретах, носатые, с блестящими морскими кортиками на боку... Сверкая исподлобья белками, ломаным языком угрюмо просили пощады, а хлопцы, отбирая у них кортики и обыскивая, так крепко встряхивали их

заморские души, что устрицы, которых они наглотались, — ей-же-ей — попискивали у них внутри.

В качестве трофеев повстанцам досталось несколько бронекатеров с совершенно исправными английскими пулеметами, баржа с шерстью да груженный пшеницей океанский транспорт, который так и не успел развести пары.

Просторнее стало в порту после боя, облегченно вздохнул, поднявшись на знакомую эстакаду, Килигей.

Выгнали!

Удар конницы был настолько внезапным и ошеломляющим, что ни одно из вражеских судов, поспешно отступая, не попробовало даже огрызнуться, хотя повстанцы, насколько могли достать, провожали их с берега пулеметным огнем с тачанки.

Очутившись на внешнем рейде и только здесь наконец опомнившись от столбняка, интервенты, чтобы хоть как-нибудь отомстить за позорную свою ретираду, стали беспорядочно обстреливать Хорлы из корабельной артиллерии. Да не было еще, видно, ни у Антанты, ни у самого черта таких снарядов, которые могли бы выковырять хлопцев, укрывшихся на родной земле в портовых подвалах и погребах! Бей, сади себе сколько хочешь, если снарядов не жалко!

Через какой-нибудь час-два обстрел прекратился, и повстанцы снова высыпали на берег, покуривая да поплеывая в синее море, наперебой разглядывая в трофейные цейсы незадачливую Яникостову флотилию, заякорившуюся на горизонте. Жаль, что не было у них таких коней, чтоб морем проскакали, чтобы туда добрались!

Под вечер в небе застрекотал гидроплан и, покружив над Хорлами, сбросил в пакете, похожем на воздушного змея, подписанный адмиралом Яникостой ультиматум.

Ультиматум был адресован командиру, но читали его вслух всем.

«Командиру степной партизанской вольницы

Милостивый государь!

Вы с отрядом своей конницы имели дерзость напасть сегодня на мои корабли, пребывающие здесь с высокого соизволения держав Антанты. Вы неслыханно оскорбили флаг, который я имею честь защищать и который я готов защитить всей мощью находящихся в моем распоряжении средств — пушками, гидропланами, а если угодно, то и десантными войсками. Меня не испугают таинственные просторы ваших степей. Я разрушу дотла все села, на базе и в районе которых вы действуете.

Однако должен оговориться: я пришел сюда не как враг, и я не хотел бы никому причинять зла, в том числе — рабочим и крестьянам, которых считаю полезным элементом для страны. Вот почему, если вы желаете поддерживать со мной корректные отношения, я предлагаю вам и требую: а) немедленно освободить лиц, захваченных вами на берегу, находящихся под защитой моего флага; б) немедленно вывести свой отряд с территории порта Хорлы, назначенного местом стоянки моих судов.

Жду вашего ответа до завтрашнего утра в Бакале.

Командующий *Яникоста*».

— Ну не сукин ли сын? — зашумели бойцы, выслушав ультиматум.

— Он еще и грозитя!

Весь берег, усыпанный народом, забурлил, заволновался.

— И кто ему назначил в наших Хорлах стоянку?

— У кого он спрашивал?

— Еще и пугает, шкура!

— Эй, а ну скубента сюда!

Вытолкнули вперед долговязого парня в студенческой тужурке — Алешу Мазура, дружка Яресько по Аскании.

— Накатай этому сукину сыну ответ.

Кто-то подал Алеше листок из конторской книги, кто-то ткнул огрызок карандаша:

— Послужи и пиши!

— Пиши: калимера — это по-ихнему «здравствуй»...

Студент пристроился на эстакаде, свесив ноги.

— Куда же писать?

— Вот еще! Не знает куда!.. Адрес известный? Украина — Черное море — крейсер «Отчаливай»!

— «Отчаливай»! Ого-го!..

— Написал «Отчаливай»? Ну, катай дальше!

— Катаю, по что?

— Калимера, Яникоста...

— Нет! Ты ему таким манером, как запорожцы турецкому султану когда-то! Забыл?

— Пускай Дерзкий подскажет! Он то письмо наизусть вместо «отче наш» заучил!

— Дерзкий, а ну!

Прокашлялся Дерзкий, поправил бескозырку над рыжей бровью, обернулся с серьезным видом к морю, посмотрел в сторону чуть видного на горизонте вражеского флагмана.

— Ты, шайтан турецкий, — начал он таким тоном, точно адмирал Яникоста и в самом деле мог его слышать в этот момент, — проклятого черта брат и самого Люцифера секретарь! Какой из тебя рыцарь, если ты голою той самой ежа не убьешь?! Вавилонский ты кухарь, — произносил он чем дальше, тем все энергичнее, в нарастающем темпе, — македонский колесник, иерусалимский пивовар, александрийский козолуп, великого и малого Египта свинарь, татарский сагайдак, херсонский кат, Антантин подлипала, самого аспида внук и всего земного и подземного царства

скоморох! Никогда тебе нас под себя не согнуть: и сушей и водою будем биться с тобою! Вот так тебе красные повстанцы отвечают! Числа не знаем, потому — календаря не читаем, месяц в небе, год в книге, а день у нас, что и у вас, — поцелуй за это вот куда нас!

Дерзкий, отвернувшись от моря, показал Яннкосте куда.

Бойцы хохотали до упаду.

— Ох и начитается же, ха-ха-ха!

— Ты ничего там не пропустил, Алеша?

— Адмирал — он любит чины!

— Там, где козолуп, еще и жабоеда добавь!

— Верно, он же из тех, что головастика глотают!

— Что для тебя головастик, то для пана устрица.

— Так и пиши: македонский ты жабоед, херсонский катюга, английской королевы холуй, мирового капитала прихвостень!

— Отчаливай, пока не поздно! — неслись веселые угрозы в море. — Катись колбасою за горизонт!

— А день у нас, что и у вас...

— Месяц в небе — ха-ха!..

— Год в книге — го-го!

До самого вечера шумел берег, гремел над причалами раскатистый хохот степовиков. Наконец письмо было составлено, и Алеша-студент вывел под ним официальный титул: «Дмитро Килигей, командир повстанческого отряда имени Т. Г. Шевченко, со своими бойцами».

Для передачи ответа Яникосте решено было использовать захваченных греков. Отобрав несколько греческих матросов, повстанцы выделили им старый рыбачий баркас и, пожелав в другой раз не попадаться, с миром отпустили в море, к своим. Когда они отплывали, Килигей, стоя на эстакаде, нарочито громко отдавал Житченку приказ — в течение ночи подкатить

из Каланчака артиллерию и до утра установить ее на косе Джарылгач с тем, чтобы закрыть завтра флоту Яникосты выход в море.

Никакой, конечно, артиллерии в Каланчаке не было, однако из могучей глотки Житченка только и вылетало:

— Есть подкатить! Есть установить!

Упоминание о мифической партизанской артиллерии — это своего рода дополнение к письменному ответу на ультиматум, — видно, подействовало кое на кого из отплывающих именно так, как и рассчитывали повстанцы: утром кораблей на рейде уже не было.

XIII

Слух о том, что отряд Килигея, выгнав из тополиного порта интервентов, отбил при этом большие запасы хлеба и шерсти, быстро разнесся по южным селам и хуторам, и уже на следующий день на хорлянскую косу спешили из степи брички, возы, фургоны. Ошалевшие от жадности подводчики, больше всё бородатые хуторяне в чумарках, не видя ничего вокруг, наперегонки гнали лошадей прямо к причалам.

— Стой! — перехватывали их бойцы. — Куда разогнались?

— Как это — куда? — тяжело переводили дух подводчики. — А за хлебом, за шерстью! Разве уже растащили?

— Нет, вас поджидаем: как же без вас?

— Вы не шутите! Скорее надо разбирать, а то еще вернутся! Думаете, вы их далеко отогнали? Давайте делить скорее!

— Грабь награбленное, так, что ли? Нет, этот номер не пройдет!..

Насчет этого у Килигея было строго. После захвата порта, пока они с Баржаком огляделись, пока Килигей

сходил проведать семью, вернулся, повстанцев уже не узнать: все в новеньких шинелях табачного цвета, все переоделись в греческое обмундирование.

— А ну снять! — накинулся на них Килигей. — Чтоб ни на ком не видел! В холсте и ситце армия моя будет!

Такова она и сейчас — в холсте да в ситце.

Все захваченное зерно Килигей приказал взять на учет, и затем сам с командирами занялся его распределением. В первую очередь из полученных запасов выделено было зерно полупролетарскому населению Хорлов, которое дружно помогало отряду выкуривать интервентов. В числе прочих получила свою долю и Килигеева жена, получила не больше и не меньше, чем семьи других фронтовиков. Решено было также оказать помощь бедноте Чаплинки, Каланчака и других сел, проследив за тем, чтобы помощь эта попала кому следует: вдовам, да сиротам, да многодетным и неимущим селянам, которым, может, и посеять нечего.

Среди них к Килигею явился... — кто бы мог подумать? — Мефодий Кулик! Притопал пешком из самой Чаплинки, в задравших полозьями носы постолах, с порожней сумой через плечо, как у сеятеля.

Можно было ожидать, что после недавнего случая на чаплинской площади, когда он при всем честном народе объявил себя трусом и выбыл из отряда, Кулик будет чувствовать себя перед Килигеем смущенно, что посовестится Он смотреть в глаза тем, кто без него выкуривал здесь осиное гнездо интервентов и отбивал у них народное добро.

Однако Кулик, видно, был твердо убежден, что из только что отвоеванного хлеба и ему по праву принадлежит соответствующая часть. Здороваясь на ходу с односельчанами, он разыскал на далекой эстакаде командира отряда и, в двух словах доложив ему, что в чаплинских тылах все в порядке, тут же

скинул свою облезлую баранью шапку я вытащил оттуда засаленную, сложенную вчетверо депешу.

— На, разбирай, Дмитро.

— Вот пошли меморандумы, — взяв бумажку, сказал Килигей. — Тот — от Яникосты, а этот от кого же?

— А это лично-персонально от меня, от чаплинского гражданина Кулика.

— Что же ты тут нацарапал?

— Ты читай, читай...

Килигей неторопливо развернул густо исписанный закорючками листок.

*«Начальнику побережья Черного моря,
защитнику труда, тов. Килигею*

С детства мыкаясь по наймам, много лет проработав на собственницу-помещицу, называемую в народе Фейншею, я хоть в жизни не пил и не мотал, однако остался и поныне в великом убожестве. Нарожденный в степи, в кибитке чабана, работая сызмала пастушком-верблюжатником и сильно забитый и задерганный со всех сторон панскими холуями, не имел я в сердце львиной отваги, чтобы героически выступить в рядах красных повстанцев на бой с душительницей Антантой.

Однако есть хочется каждому, голодных ртов полна хата, дети малые, они ни в чем не повинны, а как вырастут, так еще послужат революции достойно. Так что я прошу красную державу рабочих и крестьян помочь мне посевным зерном, которое с лихвою при первой возможности верну.

Проситель Кулик».

— Вот так закрутил, — сказал Килигей вполголоса, прочитав Куликов меморандум. — И складно и жалобно... Кто ж это тебе так, не к дьяку ли ходил за помощью?

— Своим умом живу.

Килигей, улыбнувшись, обратился к бойцам, которые как раз перетаскивали зерно с парохода на

берег:

— Ну как, хлопцы, дадим Кулику на посев?

— Оно после всего и не следовало бы, — зашумели в толпе. — Как-никак выбыл из наших рядов... За печкой отсиживался...

— А дети есть? — спросил дед — вожак хорлянских рыбаков.

Кулик выпрямился:

— Если говорить по правде, так больше, чем у меня, потомков ни у кого в Чаплинке нет! Целая босая команда в хате! Иван Кулик, Демьян Кулик, Петро Кулик, Федор Кулик!.. Мал мала меньше! Есть еще и такие, что в люльке.

Бойцы засмеялись.

— В летах дядько, а потомков, вишь, нажил...

— Да так уж случилось, — словно оправдываясь, заговорил Кулик. — Это как при севе бывает: один выйдет рано, до рассвета, сюда горсть, туда горсть, до обеда, глядишь, уж и отсеялся. А я, хлопцы, — голос его как-то жалостно дрогнул, — из-за бурлацкой своей жизни поздно вышел, когда солнце юности моей к закату уже повернуло...

— Не журишь, — хлопнул его по плечу Житченко. — Поздно посеял, да густо взошло.

— Что густо, то густо, — усмехнулся Кулик в свою полынно-кураевую бороду. — Днем и не видно, а вечером как сбегутся к миске, так и не разберешь, все ли мои или соседских еще половина... А ну, стройся на перекличку! По порядку номеров! Иван! Демьян! Федько! Петько!.. Проверишь — выходит, что все свои, всех кормить надо.

— Да пусть растут на здоровье, — весело зашумели бойцы. — Еще нам солдаты во как понадобятся!

Дали Кулику зерна. Даже закрихтел Мефодий, вытаскивая из трюма пятипудовую свою долю на берег.

Килигей тем временем приказал снарядить красный обоз с зерном в подарок бедноте Чаплинки и других сел. Закипела работа! Насыпали мешки по самую завязку, наскоро надписывали на них, кто кому посылает, а потом, взяв за углы, кидали с размаху в кулацкие возы, так что они только поскрипывали и стонали, оседая под этой тяжестью. Кидали пожилые фронтовики, кидала молодежь, кинул, захваченный общим настроением, и Яресько вместе со своим другом Яношем. Подводчику, старому Гаркуше, хлопец долго и строго наказывал, куда, под чье окно доставить.

— А мне? — жадно обводил глазами мешки Гаркуша. — Добудь что-нибудь и на мою долю, а?

— Наша, дед, пшеница у вас не взойдет, — ответил Яресько.

— Ишь ты! Это почему?

— Сорт такой. Пролетарский!

— Ну где же это правда на свете! Не дали ни зернышка, да еще и фурманов из нас сделали, — никак не мог успокоиться Гаркуша. — Хоть шерсти тюк под задницу деду дайте, чтоб мягче в дороге сиделось!

— Кому это здесь шерсти зандобилось? — грозно спросил Килигей, появляясь из-за возов.

Гаркуша угодливо засуетился:

— Это мы, фурманы... Нам и шерсть годна, абы кишка полна.

— На вашу кишку вовек не напасешься, — нахмурился Килигей. — Сын и по сю пору петлюровской мотнею Украину метет?

— Да что ж сын...

— Отчаливайте, обоз уже двинулся!

Тронулись, поскрипывая, возы; задумчиво смотрел вслед им Килигей. Впервые с тех пор, как существует этот тополиный порт, обозы с хлебом идут не из степи, а в степь, не в темные трюмы чужих судов таврийское льется зерно, нет, оно подымается из трюмов на-гора к

солнцу, к весне, снова возвращаясь к тем, кто его вырастил, кто его посеет...

Подошел Баржак, стал рядом и тоже засмотрелся:

— Что же, сбылось, Дмитро?

— Сбылось.

Их волей, их силой свершилось наконец то, о чем не раз, обливаясь горьким потом, мечтали они тайком в годы своей юности, проведенные здесь, на каторжных этих эстакадах.

XIV

Из тополиного порта отбитый у греков хлеб дошел и до Строгановки, отведал пшеничного и капитан Дьяконов в Оленчуковой хате.

Дьяконов попал в Строгановку как раз в разгар весенних работ. Оленчук с первого же дня взялся за виноградник. Он вовсе не собирался превратить свое благородие в батрака, но Дьяконову не сиделось без дела, и вскоре село уже видело их обоих — и Оленчука, и бывшего его батарейного на винограднике рядом: с утра и до вечера трудились они. Оленчук научил офицера обрезать кусты, окапывать, и Дьяконов оказался не совсем бездарным учеником. Сын отставного офицера и сам с юных лет офицер, он в первый раз в жизни так близко столкнулся с трудом простого человека, в первый раз в жизни сменил оружие на садовый нож и лопату, впервые испытал здесь высокое, никогда раньше не изведенное им наслаждение трудом.

Виноградник Оленчука — над самым Сивашом, на пологом склоне, обращенном к солнцу. Оленчук рассказывает, что еще при дедах его на этих местах, над Сивашом, где сейчас огороды и виноградники, была мертвая земля, один кермек да солонец рос, которого и

верблюды не едят. Мертво было, пока кто-то из Оленчукова рода не докопался здесь до сладкой воды. Вода тут все: где она — там жизнь.

— Будто и много ее, а не напьешься, — глядя на разлив Сиваша, с горечью говорит Оленчук. — «Зато тебя и много тут, что волы тебя не пьют», — шутили когда-то чумаки, удивляясь, что волы не желают пить соленую здешнюю воду. Из-за нехватки воды тут и дерево у нас никакое не растет, одна только жилистая акация маловодье это выдерживает.

— А вон те? — указал Дьяконов на группу высоких серебристых деревьев, одиноко высившихся далеко за Сивашом.

— Так то ж осокори на поповой усадьбе. Где осокори — там как раз колодец: еще перед войной мы с братом копали. И на Сиваше тоже примечайте, где кустик камыша темнеет, там, значит, пробивается понемногу из глубины, из трясины сладкая вода...

Сиваш, это таинственное Гнилое море, не перестает удивлять Дьяконова. Чудо природы. Геологическая загадка. Лежит болотистым мертвым простором, с сизоватым налетом соли, раскинувшись до самого горизонта, до чуть темнеющей там вдали полосы Крымского берега.

— Это Литовский полуостров?

— По-ученому — Литовский. А мы его Турецкой батареей называем. Когда-то там турецкая батарея стояла. Когда мальчишкой был, — неожиданно улыбнулся Оленчук, — бегали мы туда птичьи гнезда искать. Много птиц на той батарее гнездились.

— Через Сиваш бегали?

— А что ж, летом он, бывает, пересохнет, аж пыль встает. Кто знает, тот и на возу проедет, а если кто так, наобум, пустится, то... — Оленчук глянул на офицера как-то искоса. Дьяконову показалось, что даже с подозрением: не бежать ли, мол, надумали, ваше

благородие? — Один пошел, не спросясь броду, да и поныне нету. Вот он — Сиваш.

Странное море! Изменчивое, коварное. То покроется водой, то снова сгонит ее ветром назад в Азовское, и останется тут на сотни верст голое болотистое дно с тысячами ловушек, трясин и промоин, топей и ни на какие карты не нанесенных гнилых ям. Вязкий вонючий ил чуть подернут сверху сивым налетом.

— Сивый от соли, оттого и Сиваш, — объясняет Оленчук.

Верить глазам здесь нельзя. Вот среди сизого открытого пространства темнеет какое-то растение, может быть, водоросль, занесенная во время прилива с Азова, или курай, пригнанный ветром из степи. Свежему человеку не угадать, далеко оно или близко, велико или мало. Все здесь какое-то ненастоящее, призрачное, все — обман зрения... Чтоб понять что-нибудь, Дьяконову снова и снова приходится обращаться к Оленчуку. Для того загадок тут нет: бесчисленные тайны, которыми Сиваш поражает Дьяконова, Оленчук читает свободно, они для него — открытая книга. Истинным владыкой этого края, мудрым знатоком здешней природы предстал перед Дьяконовым бывший его подчиненный. По Сивашу, поглотившему столько людей, между страшными его топями и трясынами, где иной и днем не пройдет, Оленчук и темной ночью проберется! Соль всю жизнь тут тайком от стражников по ночам собирал. Землю эту, кажется, видит под собой насквозь. По росе на былинке, по каким-то своим тайным приметам угадает, где сладкая пробьется вода, где горькая... На безводье, у самого мертвого моря, где ничто не растет, виноградник вон какой вырастил — на плечах носил чубуки из Крыма через Сиваш.

— Скажите, Оленчук, чем привлек вас этот суровый, безрадостный край? Бураны всю зиму свищут, мертвые водоросли все лето гниют. Тундра. Южная тундра!

— Не я себе это место выбирал.

— Предки? А они почему решили именно здесь поселиться?

— Не сами поселились. Неволей их поселили. — И, нахмурившись, рассказал: — Из казаков мы родом. Как разгромила Катерина Сечь Запорожскую, одному из куреней назначены были эти места под поселение. — Оленчук закурил, задумался. — Еще и в песне поется:

Дарувала Катерина луги та лимани:

— Ловіть, хлопці, рибу та справляйте кафтани...

— «Ловіть, хлопці, рибу», — горько повторил Оленчук. — Насмешка одна, и все! Потому никакой, известно, рыбы тут нет и не было никогда в Сиваше: мертвая вода, ни одна живая тварь в ней не выдерживает...

Слушая, с какой горечью рассказывает Оленчук историю своего села, с каким суровым, давно выношенным осуждением произносит имя царицы Екатерины, Дьяконов чувствовал и себя в чем-то виноватым перед ним, точно сам когда-то загнал сюда Оленчуков род на горемычное это поселение: с Днепра, синего, как небо, с привольных, роскошных степей на самый край света... И какую же надо иметь силу, каким живучим надо быть, чтобы и здесь пустить корни, чтобы неусыпным трудом своим оживить этот мертвый, безрадостный край!..

Только здесь, в Строгановке, Дьяконов как бы открыл для себя Оленчука. Сколько мудрости во взгляде на жизнь, сколько человечности, доброты в сердце! Соседи идут к нему со своими заботами, и он, хмурясь, каждого выслушает и, так же хмурясь, каждому что-то посоветует, поможет, как помог и самому Дьяконову, протянув ему руку в беде.

Раньше, когда Оленчук служил у него на батарее, Дьяконов по юношеской своей беззаботности и не подозревал, какие сокровища таятся в душе этого простого, всегда немного замкнутого, работающего батарейца. Ему, Оленчуку, он теперь обязан жизнью. Видно, сама судьба послала ему в мятежной Чаплинке из-за копны курая бывшего его подчиненного с чабанской герлыгой! И до сих пор не может до конца понять: чем он, собственно, заслужил милость Оленчука? Во время той ночной беседы сквозь щель в дверях кутузки напомнил ему Оленчук один незначительный случай на фронте. Напомнил, как он, Дьяконов, заступился однажды перед другим офицером, курляндским бароном, за своего солдата Севастьянова. Барон поднял руку на солдата, а Дьяконов не дал, заступился. Случай мелкий, Дьяконов уже почти забыл о нем, а Оленчук не забыл, может быть, даже из-за этого случая и на поруки взял белое свое благородие.

С каждым днем работа на винограднике все больше сближала их, за работой они словно забывали о том, что принадлежат к разным воюющим лагерям. Никогда не думал Дьяконов, что работа может действовать на человека так целительно. Оленчук, казалось, почувствовал, что больше всего сейчас нужно его благородию в неопределенном его положении не то пленного, не то перебежчика, казалось, понял, что только труд может помочь ему, облегчить вызванный этим внутренний разлад, заглушить сомнения и горечь. Дьяконов как будто и в самом деле здоровее становится здесь, за работой. Не столько усталость, сколько глубокое душевное удовлетворение испытывает он, когда, хорошенько поработав вместе с хозяином, возвращаются они с виноградника домой обедать.

Степь тогда раскрывается перед ними, весеннее марево по ней течет. На дне призрачного океана где-то

далеко пастух бредет с отарой, верховой проскачет, сверкающая водная гладь обманчиво заблестит в степи.

— А поглядите-ка, ваше благородие, — шагая рядом, загадочно улыбается Оленчук, — что это там в степи виднеется?

Дьяконов, остановившись, удивленный, щурясь, вглядывается в даль:

— Что-то непонятное... Сабли? Откуда сабли?

— Эх вы, — веселеет Оленчук, довольный своей шуткой, — вашему брату даже воловыи рога саблями кажутся.

Дьяконов, поднявшись на носки, приглядывается внимательней. И верно, стадо по степи идет, рогами в мареве колышет, а ему показалось, что лес сабель.

На дворе, когда перед обедом Дьяконов соберется мыть руки, детвора наперебой кидается поливать ему из кружки. Оленчук тем временем ходит по двору, там что-нибудь молча приладит, там землю ковырнет, тут внимательно взглянет на какую-нибудь веточку.

— Знаете, как нашего татку на селе зовут? — сбившись в кружок вокруг Дьяконова, таинственно шепчут дети.

— А как?

— Ведун.

— Почему же это?

Дети оглядываются на отца и с опаской и с гордостью:

— Потому что он... что-то знает!

Дьяконову тоже подчас кажется, что Оленчук не все договаривает, что есть у него на уме что-то свое, тайное, заветное, хранимое лишь для себя. Особенно чувствует он это, когда, пообедав, присядут они на завалинке покурить и виден им вдали за Сивашом Перекоп с одинокой колокольней, поблескивающей под ярким солнцем. Еще недавно был там, на перешейке,

довольно большой городок с гимназией, казначейством, тюрьмой, но теперь осталось от городка немного, почти весь он разрушен, уцелела только уездная тюрьма да эта вот, издалека видная в ясный день высокая колокольня в белой чалме своего купола. Полоса Крымского берега, которая утром почти совсем прячется в тени, сейчас, освещенная высоким полуденным солнцем, тоже видна гораздо отчетливее.

Посасывая люльку, смотрит в ту сторону Оленчук и всё о чем-то думает, думает, думает...

— Напрасно, ваше благородие, пошли вы в эту Доброволию, — нарушает он вдруг молчание. — Напрасно. Никогда она не победит.

— Это почему же?

— Против народа войной идет. Чужеземцам ваша Доброволия служит.

— Выдумки! Подлинно русская она!

— А дредноуты за нею чьи? Разговаривают в вашей армии по-русски и звания как будто бы русские, а на деле чужая, наемная она.

Наемная! Чужая... Это больше всего уязвляет Дьяконова. Никак не хочет он согласиться с такой оценкой белой армии. Созданная великим Корниловым, она — единственная сила, которая защищает дорогие Дьяконову идеалы, единственная сила, которая способна вывести страну из пагубной всенародной смуты. А терпит она неудачи за неудачами не потому, что антинародная, не потому, что якобы куплена она Антантой, нет! Дьяконов знает истинные причины поражений и неудач. Души она лишилась после смерти Корнилова, души ей сейчас не хватает — это главное. Вождя, настоящего, равного Корнилову вождя, — вот чего она сейчас страстно жаждет! Вот что ей сейчас всего необходимее, армии рыцарей белой идеи на Руси! Вождя, вождя! Дьяконов испытывает что-то похожее на жгучую тоску по вождю, по тому вождю, которого еще

нет, но который непременно будет, — сама армия неминуемо выдвинет его из своих недр... Он придет, новый Корнилов, и снова вдохнет живой дух в войска, и с его появлением Дьяконов не колеблясь отдаст в его руки свою жизнь!

А пока, покуривая и думая каждый о своем, они невесело смотрят через Сиваш на Перекоп, смотрят, как в свое будущее.

XV

Степным бездорожьем, вдоль моря — из Хорлов на Скадовск — конные конвоиры гонят пленных греков.

Странно было в этой светлой прозрачной степи, где до сих пор, кроме местных пастухов, пожалуй, ничья не ступала нога, вдруг увидеть этих обожженных нездешним солнцем людей, увидеть, как бредут они угрюмой толпой, волоча по жестким кураям да по нежным, только что показавшимся из земли диким тюльпанам свои пудовые английские башмаки.

Посулами легких завоеваний поманила их и погнала на Украину Антанта. Не желая отставать от своих старших партнеров по будущей колонизации Украины, греки до весны прислали сюда десятки тысяч войск. Их полно сейчас в Крыму, где они заняли Симферополь, Джанкой, Таганаш... Тысячи их полегли в эти дни в боях под Одессой; их пропитанные кровью береты валяются по всему берегу у Хорлов.

Кто убит, кто бежал, а эти семнадцать человек (среди них несколько офицеров) бредут сейчас под конвоем на Скадовск. Мелкорослые, молчаливые, плетутся, понутив черные как смоль головы, устало вышагивают незнакомой степью, оставляя здесь следы своих кованых английских каблуков.

Конвоиров пятеро. Пленных сопровождают Алеша Мазур — с одной стороны и Янош-мадьяр — с другой, а сзади, на некотором расстоянии, отпустив поводья, едут Явтух Сударь, Дерзкий и Ярьсько, которого командир отряда назначил старшим. Вышло это совсем неожиданно для Ярьсько. Когда, отправляя их в путь, Килигей оглядел конвоиров, чтоб выбрать среди них старшего, взор его сперва остановился было на Дерзком, и никто не сомневался, что именно его, своего брата, он и назначит. Однако, молча смерив брата взглядом, командир отряда почему-то перевел глаза на Ярьсько: «Ты будешь».

Дерзкого это, видно, нисколько не обидело, едет себе да посвистывает, да время от времени то кивнет, то мигнет Явтуху Сударю о чем-то своем. О чем это они? Ярьсько не очень-то по душе их перемигивания, похоже, что есть у них какой-то тайный сговор. Один едет посвистывает да неопределенно усмехается, а дядько Явтух, болтая ногами, хриплым голосом потихоньку мурлычет и мурлычет, точно нанялся:

Ой, пасіться, сірі воли, не бійтеся вовка,
А я піду на той хутір, де бабуся ловка...

Греки впереди понуро спотыкаются о кураи, сгорбившись, плетутся, словно гонят их на расстрел. Зачем они сюда пришли? Чтоб умереть на этой незнакомой земле? Самых дешевых своих наймитов, одела и обула их Антанта, послала на позор и на гибель... А теперь вот идут, обезоруженные и униженные, может быть, впервые почувствовали весь позор и безнадежность своего дела. Постепенно даже что-то похожее на сочувствие просыпается в душе Ярьсько к этим хмурым, одурманенным врагам. В пылу боя, там, в порту, разил их без колебаний, с радостью и

наслаждением посылал на их головы «гусаков», а сейчас, глядя на них, жалко сгорбившихся — будто каждую минуту ждут удара в спину, — хлопец чувствует, как постепенно тает ненависть к ним. Тоже ведь люди. Где-то оставили и матерей, и любимых девушек, и родной кров. Кому охота умирать, да еще не зная за что? Молодые все, жить им хочется, даже по спинам, по этим их ссутулившимся плечам видно, как им не хочется умирать.

Время от времени догоняет греков дядько Явтух и, поравнявшись с крайним из них, знаками спрашивает у него, который час. Тот — молодой курчавый парень — достает из кармана серебряные часы-луковицу и, щелкнув крышкой, молча, с немой мольбой показывает Явтуху циферблат. Он долго держит часы перед конвоиром, и серебряная крышка ослепительно горит на солнце, а Явтух, склонившись с седла, все смотрит на нее, как зачарованный. Наглядевшись, дядько наконец выпрямляется в седле, кивает греку, и тот, все с тем же умоляющим, страдальческим выражением на лице, закрывает часы и, спрятав их, догоняет товарищей.

Так повторяется несколько раз. Наконец Яресько не выдерживает:

— Что вы, дядько, все на стрелки поглядываете? Или очень спешите куда?

Явтух, переглянувшись с Дерзким, как-то чудно, одним уголком рта усмехнулся.

— А тебе не надоело еще? Не хотел бы скорее избавиться? — И, наклонившись, прибавил вполголоса: — Доколе мы их гнать будем?

— Как это — доколе? — удивился Яресько. — До самого места, куда приказано!

Дядько, хитро прищурившись, кивнул в сторону Дерзкого:

— Его вон женушка в Чаплинке ждет, молодая, недавно оженился... И мне не мешало бы домой завернуть. Да и тебя уже, сдаётся, там дивчина выглядит, а?

Ярьсько насторожился: к чему это он?

— Так что ж, по-вашему? Бросить, отпустить их?

— Зачем отпускать? Разбегутся, да и перстни свои по степи разнесут... Можно и не отпускать... — И, двусмысленно улыбаясь, Сударь снова переглянулся с Дерзким.

Теперь и Дерзкий вступил в разговор.

— Он их, видно, хочет на нашу сторону сагитировать, — насмешливо кивнул Сударю на Ярьсько. — Революционеров из них, видно, хочешь сделать? Нет, брат, это тебе не французы, — Голос его вдруг стал холодным. — Тут, брат, темнота — не пробьешь. Французов распропагандировали, англичане зашевелились, а эти... и вправду ослы... Из всех наемников Антанты — самые упрямые.

— Так что ж, по-твоему?

— Как — что? Доведем до того вон кургана и... в расход.

Ярьсько взглянул на Дерзкого, потом на Сударя и по их лицам понял, что это между ними уже заранее договорено.

— Нет, так не пойдет, — сказал твердо, решительно.

Дерзкий скосил на него зеленоватый, холодно поблескивающий глаз:

— Почему?

— Во-первых, есть приказ командира доставить их в Скадовск... — Ярьсько примолк, о чем-то думая.

— А во-вторых?

— А во-вторых, — Ярьсько повысил голос, — есть директива Ленина: пленных не убивать, а обменивать через Красный Крест!

— Пускай, значит, в Грецию возвращаются?

— Пускай.

Дальше ехали молча. Вскоре подъехали к кургану.

— Привал! — скомандовал Ярьсько.

Греки устало свалились, прилегли на полынном склоне кургана. Тоскливо глядели в небо, в незнакомые просторы огромной, никогда не виданной степи; не обмениваясь между собой ни словом, сторожко прислушивались к непонятному им спору, вспыхнувшему между конвоирами, сгрудившимися на лошадях в сторонке. О чем они так горячо толкуют? В чем несогласны меж собой?

Дерзкий, чтобы склонить на свою сторону Алешу и Яноша, открыто выложил им свое предложение: в расход — и крышка!

— Ухлопаем! — зверея от алчности, поддерживает его Сударь. — Ухлопаем. Никто никогда и не дознается!

— Самосуд? — впился в него глазами Алеша-студент.

— Революция — это и есть самосуд! — с досадой крикнул Дерзкий.

— Ложь! — горячо возразил студент. — Революция — это как раз над всяким беззаконием закон!

В руках у него уже блестит снятый с плеча карабин. Янош, молча переглянувшись с Ярьсько, на всякий случай снимает свой.

Увидев, что замысел его провалился, Дерзкий попытался свести все к шутке:

— Ну, тогда братайтесь тут с ними, а мы с дядьком поехали. Чаплинку проведем, — и, насмешливо помахав Ярьсько на прощание, прибавил: — Считай, командир, что ты нас отпустил на побывку. В Хорлах встретимся.

Стегнув коней, они помчались степью на север.

В Скадовске — флаги, музыка, многолюдный митинг бурлит перед ревкомом на самом берегу моря.

С трибуны выступает пожилая, в белой косынке женщина — солдатка, может, или рыбачка.

— Всем народам — белым, и черным, и желтым — посылаем сегодня свой революционный привет из красного Скадовска! — горячо бросает она через головы людей куда-то, кажется, за самый горизонт.

— Не нас ли это они за черных и желтых принимают? — не удержался от шутки Ярьсько и, подъехав с хлопцами к толпе скадовчан, легко соскочил с коня. — Что это у вас тут? Митингуете по случаю пасхи?

Их сразу окружили тесным кольцом любопытные.

— Килигеевцы? Пленных греков пригнали? О, так вы еще, верно, ничего не знаете?

— Скажите — узнаем...

— Революция в Венгрии!

— Да неужто?

— Советскую республику объявили!

— Бела Кун уже по радио с Лениным разговаривал!

Янош слушал, расцветая на глазах, и, казалось, не мог поверить. Хлопцы с минуту радостно смотрели на него, потом кинулись его поздравлять.

Среди скадовчан между тем уже пошло-покатилось к трибуне:

— Мадыар!

— Красный мадыар с килигеевцами прибыл!

Янош стоял в толпе, растерянно улыбаясь, а его разглядывали со всех сторон. В полотняной украинской сорочке, в измятом австрийском кепи, которым когда-то оделил юношу старый император Франц-Иосиф, посылая его на войну... Таким и подхватил народ Яноша на руки и с криками «ура», под звуки скадовского оркестра понес над головами к трибуне.

И вот уже он стоит, смущенный, счастливый, над взволнованным человеческим морем, так неожиданно взнесенный его волной... Тепло смотрит на него толпа, улыбаются, радуясь за него, товарищи. Улыбки уже и на лицах у греков, из которых за всю дорогу никто ни разу не улыбнулся.

На трибуне снова звучат речи. У кряжистого рыбака ветер треплет седину.

— Слава красной Венгрии!

— Черноморский привет героическим пролетариям Будапешта!..

В прозрачном весеннем воздухе, под гулким небом далеко слышен голос растревоженного, митингующего Скадовска.

Попросили и Яноша выступить. Вся площадь притихла, ожидая, что он скажет, а он, густо покраснев, подошел к краю трибуны, снял свое измятое кепи, из которого давно уже выдрал императорскую кокарду, и, улыбаясь, поклонился с трибуны народу... Радостные, счастливые слезы брызнули у него из глаз.

Это и была вся его речь.

После митинга хлопцы сдали греков в ревком для отправки в Херсон. На прощание греки, взволнованно бормоча что-то по-своему, крепко пожали руки Ярьсько и его товарищам.

Тут же, в ревкоме, от представителя из губернии хлопцы услышали еще одну радостную новость: неподалеку от Одессы, в боях под станцией Березовка, войска Второй Украинской Армии наголову разбили французов и греков и захватили у них пять французских танков, один из которых послали в Москву, в подарок Владимиру Ильичу Ленину^[2].

На следующий день возвращались к себе в тополиный порт.

Легко, радостно, выполнив приказ, рысать степью вместе с жаворонками, что звенят и звенят у тебя над головой, с клубком спящего солнца, что все время бежит, бежит по морю рядом... Степь уже кое-где цветет. Полной грудью дышит вокруг весна. И разве бывает весна где-нибудь краше, нежели здесь, в открытой приморской степи, где жаворонки так вольно перезваниваются в поднебесье, где едва сойдет снег — и земля уже зацветает, где нежной, вечно движущейся дымкой переливается весеннее море!

Янош едет и то и дело улыбается, охваченный какой-то светлой задумчивостью. Неразговорчив он, этот Янош, нечасто от него слова добьешься, но и без слов Данько хорошо понимает сейчас его настроение, догадывается, где витают в эти минуты радостные мысли друга. Там, за Карпатами, в грохоте боев, в колыхании знамен, в солнечном блеске рождается сейчас его, Яноша, революция.

— Хлопцы, послушайте! — потрянув длинными волосами, говорит Алеша. — Выкурим интервентов, развяжем себе руки — давайте тогда коммуной жить! Построимся хотя бы на этих вот землях и заживем по-братски...

Ярьсько окинул глазами степь: какая земля! Целина нетронутая... Гвозди посеи — и те взойдут! Кинь борону посреди поля — и та корни пустит.

А студент уже пристает к Яношу, уговаривает:

— Оставайся у нас навсегда. Тут и виноградники можно развести, как у вас там, на Мадьярщине.

— Мы тебя здесь и оженим, — шутит Ярьсько. — Украиночку такую высватаем, что ну!

При упоминании о женитьбе Алеша хмурится, недовольно морщит лоб: он против этого. Чудак парень этот Алеша! Киевский студент, попал он в таврийские

степи далеким кружным путем — через заполярную тундру, где отбывал ссылку среди эскимосов, да через штрафной фронтовой батальон, Перед самой революцией его, раненного, вместе с другими привезли в Асканию, в лазарет. После выздоровления так уж и застрял здесь, берясь за любую работу, на митингах сбивая ораторов своими ядовитыми вопросами. Местные эсеры и анархисты еще при керенщине не раз пробовали залучить студента к себе, соблазняли обещаниями, что у них, мол, он может выдвинуться даже в вожди, но Алеша — даром что волосы до плеч, как у анархистов, — за почестями не гонялся, в керенские не метил и после своей тундры предпочитал принадлежать к «партии беспартийных». Однако, когда ударил чаплинский набат, Алеша одним из первых выразил желание стать в ряды тех, кто выступил на помощь восставшей Чаплинке. Неловкий, нескладный, с дьяконской гривой, он часто попадает в смешные положения, но, несмотря на это, повстанцы любят его, знают — в бою не подведет.

Подъехали к кургану, где вчера Сударь и Дерзкий хотели расправиться с греками. Вот здесь пленные отдыхали. Хлопцы, придержав коней, молча посмотрели на это место. Здесь бы, под курганом, пленным воронье сегодня уже и глаза повывлеало...

И вдруг легко стало у них на душе. Резвясь, как мальчишки, взлетели на лошадях на самую вершину кургана. Видно отсюда полмира: и степь и море.

Алеша, сгорбившись в седле, неуклюжий, длинноногий, не отрываясь смотрит куда-то в слепящую морскую даль, говорит о них, о греках:

— Где-то там их объединенная козами земля... Пустынные, каменистые острова... Представьте себе город, где даже тротуары из белого мрамора... Мраморные ступени ведут на высокую гору. Это — Акрополь. Белые священные руины. Оттуда все пошло.

Словно в волшебном полусне говорит он о храмах каким-то богиням, о юноше, который хотел долететь до солнца, но не долетел — солнце растопило скрепленные воском крылья...

Взволнованные его речью, погруженные в мечты, что походили на сказку, двинулись они дальше.

— Настанет время, — говорил Алеша, словно думая вслух, — и мы придем друг к другу не как враги, а как друзья, как братья... Увидим тогда своими глазами Олимп, и древние Афины, и взнесенный в небо Акрополь, и странной покажется нам нынешняя вражда...

Ехали-ехали, и вдруг во все горло запел Яресько:

Ой, пасіться, сірі воли, не бійтеся вовка,
А я піду у то село, де дівчина ловка...

Горланил на всю степь, казалось, хотел, чтоб его и в Чаплинке услышали. Янош, ехавший рядом, хохотал, и даже Алеша, косясь на него, дерущего глотку, скупно улыбался.

Под вечер заметили на море вдали чуть различимый силуэт корабля. Вскоре встретили верховых — знакомых повстанцев-пикетчиков, охраняющих побережье. Остановились, закурили.

— Ну как, дядько Самойло, не лезет Антанта?

— Близо не лезет. Видишь, заякорилась аж на самом гарнизонте.

Попросив у пикетчиков бинокль, Яресько стал смотреть на «гарнизонт». Грозная стальная гора встала перед ним, с серыми башнями, со страшными хоботами орудий на борту. Дредноут!

Молча посмотрели в бинокль все трое по очереди. Потом снова затрусили рысью — пикетчики своей дорогой, Яресько с хлопцами — своей.

Сколько еще потом ехали, а дредноут все маячил на горизонте, как призрак.

Когда вернулись в Хорлы, Дерзкий и Явтух Сударь уже были там.

Командир отряда напустился на Яресько:

— Ты их отпускал?

Яресько, на миг замаявшись, ответил, что да, отпустил.

— Ну ладно, — успокоился Килигей, — а то я уже хотел им тут всыпать. — И, взяв из рук Яресько расписку о сданных греках, стал внимательно вчитываться.

XVIII

День за днем по-над морем, в бескрайних просторах, разъезжают конные пикеты, охраняют от дредноутов степь.

После того как отряд Килигея окончательно закрепился в Хорлах, на него, по решению губернских властей, была возложена охрана всего Черноморского побережья между Скадовском и Перекопом. Хлопцы теперь почти не вылезали из седла: на парные их пикеты легла ответственность за огромный край, с его всем ветрам открытыми просторами, с рыжими саманными селами, — с его настоящим и будущим.

Опасность грозила ежечасно. О ней непрерывно напоминали и мрачные силуэты дредноутов, которые то исчезали, то снова появлялись на горизонте, и надоедливое стрекотание вражеских гидропланов, чувствовавших себя над Хорлами как дома. Не проходило дня, чтобы хоть один из них не наведлся в тополиный порт. Правда, хлопцы быстро привыкли к их посещениям и теперь не давали им спуска: встречали

этих проклятых заморских коршунов яростным огнем из всех видов оружия.

Несмотря на сравнительно небольшие силы, отряд повстанцев чувствовал себя подлинным хозяином края. Степь патрулировали конные разъезды, а прилегающие к ней морские пространства бороздили быстрые, захваченные у Яникосты бронекатера.

Как-то в пасхальные дни команда одного из таких катеров пригнала с моря большое парусно-моторное судно, набитое узлами с барахлом и перепуганными одесскими буржуями, бежавшими от Красной Армии морем на Крым; сбившись ночью с курса, они и опомниться не успели, как оказались в руках партизанской «морской кавалерии».

Мрачно сходили буржуи по трапу на хорлянский берег, спотыкаясь в тяжелых своих шубах (будто щедрое пасхальное солнце уже не греет!), в блестящих дождевиках с натянутыми капюшонами (будто ждут дождя с ясного неба!).

Сошли, а вслед им полетели и тугие их узлы, за море приготовленное добро. От удара один узел лопнул на глазах у всех, и вылетели из него... куличи! Пышные, румяные, присыпанные сверху разноцветным горошком!

— Разговеемся! — весело загомонили бойцы. — Спасибо вам, православные!

Стали тут же отламывать, пробовать, и вдруг один из бойцов отшатнулся от своего куска:

— Эй! Они золото в хлеб позапекали!

И он показал товарищам свой ломоть: из сдобного желтоватого кулича, испеченного, видно, на молоке и яйцах, торчал кончик золотой цепочки с брелоком. Бойцы кинулись ломать остальные куличи и в каждом из них что-нибудь да находили: здесь дамскую безделушку какую-нибудь, там золотое кольцо, а то вместо изюма вдруг поблескивал в пышной мякоти блестящий камешек.

— стыда у вас нет, варвары, — укорял буржуев Хрисанф Кульбака, известный в отряде своей набожностью. — В святой хлеб камни запекать!

— Э! Да они не только в хлеб, они и в мыло!

Оказалось, что в куске самодельного, черного и клейкого, сбившегося в ком мыла кто-то из бойцов тоже обнаружил золото.

— Ишь, мыловары!

Буржуев обступили теснее, стали ощупывать.

— А под шубами тут у вас что? Свои пуза или, может, тоже контрабанды напихали?

Допрос был в самом разгаре, когда к причалу спустился Килигей с председателем местного ревкома, тем самым фронтовиком, что прыгал перед ним на деревяшке при вступлении отряда в Хорлы. Выяснив, в чем дело, Килигей презрительно поморщился, ковырнул носком сапога кучу давленного мыла.

— Додумались... Ну что же. Посадить их, пускай все назад выковыривают!

Послушно сели буржуи, нахохлившись, стали выковыривать из мыла буржуйские свои побрякушки.

— Только у меня без фокусов! — предупредил Килигей. — Замечу, что валюту кто глотнет, — сразу требуху выверну! Теперь это не вам — это уже республике принадлежит!

В тот же день конфискованные ценности были отправлены в Херсон и сданы губернскому казначею по акту.

Как-то вечером Килигеева «морская кавалерия» подобрала в море, в рыбацкой байде, двух чуть живых крымских партизан из мамайских каменоломен. Оправившись немного в Хорлах, они рассказали повстанцам о страшных днях разгрома их партизанского отряда «Красные каски». Организованный большевиками Евпатории, партизанский их отряд долгое время успешно боролся

против беляков и интервентов. В январе его окружили. С моря корабли интервентов блокировали каменоломни артиллерийским огнем. Под его прикрытием белогвардейцы стали взрывать динамитом входы, замуровали отдушины, а когда и это не сломило «Красные каски», тогда контрреволюция пустила в подземелье удушливые газы.

То была жуткая минута, когда во тьме каменоломен по далеким подземным галереям вдруг пронеслось страшное, самое страшное за все время борьбы их отряда:

— Газы!

Люди бежали, задыхаясь, прижимали ко рту мокрое тряпье, падали, бились в страшных конвульсиях...

— Откуда ж у них газы? — угрюмо допытывались повстанцы.

— Англичане будто бы доставили в Крым. Всех бы нас передушили, если б могли.

В конце концов отряд вынужден был подняться на поверхность и принять неравный бой. Погиб в бою командир их отряда, большевик Иван Петриченко, а они только чудом спаслись в море.

Были они кожа да кости. Лица такие, как будто всю жизнь провели под землей, без солнца и света.

Глядя на них, хмурились повстанцы, закипали злобою на врагов, которые душили этих людей газами на их собственной земле.

Килигей, выслушав страшный рассказ, долго, неподвижно смотрел туда, в сторону моря, из-под своих кустистых насупленных бровей.

— С вами у нас будет не такая еще война, — сказал погода, обращаясь куда-то туда, в сторону Крыма. — Вы нас газами душите, баржами на дно морское пускаете, а мы, думаете, будем вам в зубы глядеть? Нет, господа, настоящая с вами война еще впереди!

Украина, на которую столько месяцев с моря целились жерлами своих пушек дредноуты, в портах которой всю зиму хозяйничали интервенты, была этой весной близка к полному своему освобождению. Еще по зимней пороше красные полки Щорса и Боженко вступили в Киев, заняв те самые казармы, которые так старательно драила петлюровская Директория для греков, зуавов и других антантовских войск. Выгнав Директорию, народной войной шли теперь с севера вооруженные рабочие и крестьяне, упорно очищая от врага родной край. По всему Приморью клокотали восстания.

Слава килигеевского отряда быстро росла. Одно имя Килигея теперь нагоняло на врагов страх. О нем знали в Крыму, о нем прослышали уже и на кораблях Антанты. Из глубины степей к Килигею прибывали все новые и новые группы повстанцев. Самые большие отряды прибыли из Каховки, Серогозов, Днепровки, Ушкалки, Рогачика, Казачьих Таборов. Лепетихинские партизаны прикатили с собой даже трехдюймовую пушку, и, хотя было к ней всего несколько снарядов, отряд торжествовал: есть теперь своя артиллерия!

Вскоре столько собралось партизанского войска, что решено было, не дожидаясь прибытия наступавших с севера регулярных красных частей, объединенными повстанческими силами ударить на Перекоп.

На Перекопском перешейке в это время хозяйничала крупная полуофицерская-полубандитская часть под командованием хорошо известного в этих краях полковника Леснобродского, карателя и авантюриста, который еще два месяца назад стоял за петлюровскую Директорию, а после ее падения перебрался с остатками своей, части из Приднепровья в Крым, где

под крылом иностранных дредноутов в это время отсиживались тысячи таких леснобродских.

Пригретый и обласканный новыми хозяевами, сменив петлюровские шаровары на французские галифе, Леснобродский вскоре появился со своими молодцами на Перекопе, на этот раз уже как поборник «единой, неделимой». Оседлав перешеек, отряд Леснобродского теперь то и дело тревожил оттуда степные села своими татарскими набегами. Несколько раз он пытался угнать в Крым стада из фальцфейновских и других имений, но партизаны каждый раз отбивали скот, за что Леснобродский сыпал на них с Перекопа проклятиями и угрозами: «Поймаю вашего Килигея, на цепь посажу! В клетке его, как Пугачева, по Крыму возить буду!»

— Спасибо за честь, — усмехался Килигей, когда ему это передавали.

— Видно, здорово их там скрутило, — смеялись повстанцы, — когда уже полковники за воловьими хвостами по степи гоняются.

— Промышляют кто как может!

— Будто бы и соль стали уже за границу продавать...

— Им бы теперь только вывеску на весь Крым: «Торгуем солью и отечеством».

Повстанческие силы стягивались к Перекопу. Оставив в Хорлах надежную береговую заставу, Килигей перебрался со своим отрядом на заброшенный фальцфейновский хутор, расположенный в степи как раз против Перекопа. Отсюда хорошо была видна линия Турецкого вала, который тянется через весь перешеек, и высокая белая колокольня, подымающаяся над городишком Перекоп. Единственное высокое строение на всю округу, колокольня поблескивала на перешейке, будто дразня всех разведчиков и дозорных. Килигею

было известно, что противник установил на ней свой наблюдательный пункт.

Прежде всего надо было сбить кадетов оттуда, лишить их этого зоркого ока. Пришло время пустить в ход партизанскую свою артиллерию — лепетихинскую трехдюймовку с ее тремя снарядами. Необходимо было найти артиллериста-виртуоза, который попал бы с такого расстояния в колокольню хотя бы одним из трех. Никто из партизанских артиллеристов не ручался, что ему это удастся. Вот тут кто-то из чаплипцев и вспомнил о капитане Дьяконове, о том, как Кулик и Оленчук расхваливали его артиллерийское искусство.

Килигей распорядился немедленно доставить Дьяконова сюда. В тот же день двое килигеевских хлопцев — один из них сын Оленчука — на тачанке примчали офицера вместе со старым Оленчуком из Строгановки прямо на позицию.

— Есть работа, ваше благородие, — обратился к Дьяконову Килигей, когда хлопцы привели офицера к пушке. — Вот вам случай искупить свою вину перед трудовым народом...

Дьяконов насторожился: к чему он ведет?

— Видите — маячит колокольня: надо рубануть по ней.

Офицер улыбнулся. Так вот оно что! Вот для чего галопом мчали его сюда! Нужен вдруг стал золотопогонник, понадобились его знания, его ум, его артиллерийское мастерство! Профессиональная офицерская гордость проснулась, заговорила в нем.

— Колокольня... Но при чем тут я?

— Сбейте нам эту их шапку.

— Разве среди вас нет артиллеристов?

— Артиллеристы есть, — выступил вперед Житченко, — да только беда — снарядов у нас в обрез: Антанта, знаете, нам не поставляет. — Он открыл снарядный ящик: — Видите? Раз, два, три. И все.

Дьяконов, взяв у ближайшего из бойцов бинокль, привычным движением навел его на перекопскую колокольню. Пока смотрел, бойцы напряженно следили за ним, и им показалось, что офицер чуть заметно улыбается белому своему Перекопу. Терпеливо ждали, что он скажет. А он, в своем вылинявшем английском френче, все смотрел туда, на своих, потом небрежным офицерским жестом вернул бинокль бойцу.

— Ну как? — спросил после паузы Килигей. — Можно сковырнуть?

— Думаю... можно.

— Одним из трех?

— Одним из трех.

Бойцы, оживившись, зашумев, стали подтрунивать над своими артиллеристами. Даром, мол, хлеб едите, поучитесь хоть у ихнего благородия.

— Однако вы меня не поняли, — проговорил вдруг Дьяконов, обращаясь к Килигею. — Дело в том, что стрелять туда я... не буду.

Это всех ошеломило. На миг воцарилась гнетущая тишина.

— То есть как это — не будете? — темнея, спросил Килигей. — Вы что — барышня, которую нужно уговаривать?

— У нас, знаете, разговор короткий, — вмешался, еле сдерживая ярость, Баржак. — Кто не желает склонить голову перед трудом, тому наклоним, а которая не наклоняется, ту снимем!

— Дело ваше, — спокойно возразил Дьяконов. — Только силой вы меня не заставите.

Стоявший в стороне Оленчук поймал на себе колющий взгляд Килигея: «Так вот оно какое, твое благородие? Пригрел змею на груди?»

Повстанцы, окружив Дьяконова, уже поглядывали на него с неприкрытой враждой, с гневом и презрением.

На плечах погон нет, а в душе все-таки золотопогонником и остался!

— Натуральная контра! — кинул из толпы Дерзкий. — Я еще тогда это говорил. Ишь какой чистоплюй: рука у него на своих не подымается.

— А вы что, и на своих могли бы? — бледнея, обернулся к нему Дьяконов.

— Не там вы своих ищете, ваше благородие, — укоризненно пробасил Шитченко. — Свои-то свои, да только в чьих они штиблетах?

Килигей хмуро разглядывал офицера, как бы решая, что с ним делать.

— А я еще думал... Эх вы, патриот! — презрительно бросил он и отвернулся, как бы сразу потеряв к офицеру всякий интерес.

Патриот! При этом последнем слове Дьяконова будто передернуло. Он стоял бледный, с горькой, застывшей на лице болезненной гримасой. Ждал, что Килигей еще, может, скажет что-нибудь, а тот уже повернулся спиной, отошел к пушке. Дьяконов хорошо понимал, что значило в такой ситуации повернуться к нему спиной... «Убьют, убьют», — жгла мысль. Достаточно теперь Килигею сделать малейший знак рукой, достаточно повести бровью, и уже его, Дьяконова, нет, — возьмут под конвой, отведут в сторонку, не очень даже далеко, и заставят самого рыть себе яму. Яма! Вот здесь, в виду Перекопа. Через каких-нибудь полчаса наступит конец всему — солнцу, революции, сомнениям, белой перекопской колокольне...

Какие-то широкоплечие парни уже понемногу, будто ненароком, оттирают его в сторону, кажется, безмолвно толкают куда-то в небытие, в никому не ведомый вечный мрак. Случайно встретился взглядом с Оленчуком, который, ссутулившись, стоит в сторонке, где-то далеко-далеко — шагах в десяти от него. С

глубокой грустью, укором и разочарованием смотрит он оттуда на Дьяконова, смотрит уже как на погибшего.

Все, однако, ждут, что решит Килигей, ждут, что вот-вот он подаст знак. Суровый бессловесный знак... И Килигей наконец подал его. Махнул рукой:

— Все, кто в артиллерии служил, ко мне!

Угрюмые мужики в латаных пропотелых сорочках, с жилистыми загорелыми шеями столпились вокруг Килигея, вокруг пушки. Даже Оленчук двинулся туда. А он, Дьяконов? Что же будет с ним? Точно забыли о нем, точно он уже для них не существует?

— А как же с этим? — кивнув на Дьяконова, через головы обратился Дерзкий к брату. — Кому прикажешь ликвидировать?

Густые брови Килигея сошлись на переносице.

— Кто сказал — ликвидировать? В шею — и на все четыре!

Дьяконов сам себе не поверил: в шею! В шею! Не может быть! Неужто это о нем? Значит, его не убьют! Его — и на все четыре стороны?!

Повстанцы тоже, видно, были в недоумении.

— Как? Живым выпустить?

И снова тот же Килигеев голос:

— А что ж... Пускай чешет к своим — живая прокламация будет. Пусть посмотрят, какую он морду тут, у нас, наел... на твоих, Оленчук, харчах.

Кровь ударила Дьяконову в лицо. Вдруг встала перед ним Оленчукова хата и дети, которые, поблескивая голодными глазенками, делятся с ним последним куском... Ждут, как изголодавшиеся зверюшки, пока его благородие пообедает, а потом наперебой кидаются подбирать после него крошки на столе.

— Чего ж вы стоите, благородие? — уже издеваясь, бросил кто-то из толпы. — Не слышали, что ли? Топайте! Собачьей рысью на Крым!

— Антанта новые галихве даст!

Под градом насмешек Дьяконову стало вдруг душно, жарко. Они смеются над ним! Они уже смотрят на него свысока! Это было слишком. Хотелось немедленно, тут же взять над ними верх!..

Растолкав бойцов, он решительно шагнул к пушке.

— Снаряд!

Мигом поднесли ему снаряд. Сам заложил, сам навел, молча взялся за шнур.

Первый снаряд разорвался недалеко от колокольни.

Послал второй...

Второй ахнул в самую колокольню, подняв облако пыли.

— Вот это всадил! — зашумела молодежь в восторге. — Так бить — поучиться надо!

Еще долго вокруг пушки стоял довольный гомон, а Дьяконов, вытирая руки, молча отошел в сторону, не испытывая никакой радости от своего успеха.

XX

Ослеп после того Перекоп. Лишенный самого выгодного своего наблюдательного пункта, не видел больше, что делается там, в загадочных просторах повстанческих степей...

А там уже всё в движении: дрожит в вечерних сумерках земля, играют под всадниками кони, щелкают в воздухе бичи, с мощным величавым топотом идут степью со всех сторон, тучами надвигаются на Перекоп стада круторогих.

Что за странное такое передвижение? Почему в эту ночь далее скоту не дают покоя?

Началось это после того, как была сбита с Перекопа его белая шапка и Оленчук, отозвав Килигея в сторону,

долго что-то толковал ему, рисуя рукой в воздухе размашистые вензеля.

Всю ночь из близких и далеких имений гонят теперь верховые к Перекопу стада, всю ночь над степью — хлопанье бичей, тяжелое сопение, идут и идут волы, покачивая на разлогих своих рогах звездный купол неба.

На рассвете перекопские часовые забили тревогу, в панике подняли на ноги еще очумелого с ночного перепоя полковника Леснобродского.

— А? Что такое? Килигей? Где Килигей?

— Килигей!!!

Из степи надвигалась зримая смерть. Раскинувшись до горизонта, поигрывая над папахами оголенными саблями, мчались впереди конники Килигея, а за ними, сколько охватит глаз, — сабли! сабли!.. Заполонив всю степь, властно выплывали они из дымки степного рассвета, надвигаясь все ближе на перешеек, и не было им ни счету, ни удержу: казалось, сто тысяч казаков поднялись и идут в атаку на Леснобродского и его гарнизон.

— Шрапнелью! Огонь!

Ударили по наступающим шрапнелью. Передняя лава сразу рассыпалась, точно в землю провалилась, а вместо нее шла, приближалась... туча серых круторогих волов.

Полковник Леснобродский, стоя на батарее, недоуменно протер запухшие поело ночной попойки глаза. Не до чертиков ли он уже допился? Ведь только что были повстанцы, и вдруг... Неужто они прямо на глазах в волов обернулись? Сто тысяч круторогих, серой украинской породы? Было что-то грозное и неотвратимое в их величавом шаге, просто не верилось, что это идут и идут, окружая Перекоп, те самые, что годами ходили в скрипучих ярмах и которых он, полковник, не раз пытался угнать из степных таборов в

Крым, чтобы перепродать в Севастополе корабельным закупщикам. Получил бы за степную говядину и доллары, и фунты, и греческие, на всякий случай, драхмы! А теперь вот дрожит под их копытами перешеек. Точно живые степные дредноуты, надвигаются могучие, бесстрашные, неодолимые... А лохматые чабанские шапки килигеевцев уже мелькают где-то за ними, за воловьим авангардом, словно глумятся над господином полковником, что на глазах у всех так опростоволосился.

— Прямой наводкой — огонь!

— По волам, вашбродь?

— По волам!!!

Ударила по гуртам батарея, задымилось кровавое месиво, поднялся неистовый рев, встала пыль... Не предвидел полковник самого страшного, того, что ему мог бы подсказать любой пастух: запах свежей крови раздражил животных, как громовой удар, разбудил в смирных волах дикого, разъяренного зверя. Рассвирепевшие гурты, обезумев, сразу запрудили собой весь перешеек, в тучах поднятой пыли, с грозным топотом, с трубным ревом устремились на Перекоп. Не нашлось у полковника такой силы, что могла бы сдержать эту лавину, не было у него такой власти, чтоб погнать своих подчиненных на этот рогатый живой ураган! Кинулась врассыпную батарея, а кто замешкался, того закололи, затоптали на месте.

Сам полковник, вскочив в седло, едва успел вырваться с группой офицеров за Турецкий вал. Там уже в бессильном бешенстве металась господа офицеры, видя, как хохочут на конях, позади воловьего войска, белозубые, покрытые пылью степняки.

Недолго удержались белые и за Турецким валом: как раз в эти дни подошли с севера регулярные красные части под командованием матроса Дыбенко, подошли со стороны Чонгара эшелоны Интернациональных полков и, установив связь с таврийскими повстанцами, вместе ворвались в Крым.

Гнали беляков без передышки. Вихрем пролетели степной Крым, одним ударом освободили Симферополь, за которым уже открылись глазам Крымские горы, вставшие на небосклоне живописной синеватой грядой. Подошли к Севастополю, а навстречу уже гудят гудки — бастует севастопольский пролетариат, на улицах манифестации, братание с иностранными матросами.

Солнце и море! Песни и флаги!

Братался в эти дни и Яресько с французскими моряками, в обнимку ходил с ними — марсельцами, алжирцами, корсиканцами — под красными знаменами по залитому солнцем Севастополю. Никогда в жизни он столько не пел.

— Ты понимаешь, — изливал Яресько душу своему новому другу, маленькому французскому матросику-кочегару, — Никогда мы не знали свободы, ни отцы наши, ни деды, — от самых времен казачества, и вот теперь вдруг... как птицы! Понимаешь?

И тот весело кивал в ответ: понимаю, мол, понимаю. И, к свою очередь, рассказывал Яресько, как они там, у себя на кораблях, утихомиривают своих офицеров, когда те начинают на них кричать. С ними так теперь... Улыбаясь, он водит пальцем перед носом и, слегка картавя, вдруг произносит тоном черноморских матросов, на их языке: «Бгатишка, ша! Не забудь, что у тебя мама в Магселе!»

Данько смеялся от души: научились от черноморцев, как со своими офицерами разговаривать!

Триумфальным маршем шли в эти дни красные войска по весеннему цветущему Крыму. Карой народной

врывались загорелые степовики на белые буржуйские виллы, с песнями пролетали верхом по царскому побережью, высоко над морем. Мимолетным сном представлялось им сказочное это побережье, сияющее морской синевой внизу, с шеренгами высоких, вечнозеленых кипарисов, стройностью своей вызывавших у многих из них воспоминание об оставленной — там, далеко — красе родных тополей.

Казалось, никогда не кончится этот светлый весенний поход. Передовые части красных подходили уже к Керчи, когда вдруг на их пути встал непроходимый барьер: у станции Акмонай противник соорудил целую систему укреплений, поддерживаемую с моря непрерывным артиллерийским огнем кораблей Антанты, в частности английской эскадры адмирала Сеймура. Образовался Акмонанский фронт. Уничтожающий огонь корабельной артиллерии не давал возможности прорвать укрепления.

Как раз в это время, далеко за спиной, в просторах степной Екатеринославщины, взбунтовался Махно, открыл фронт перед деникинскими добровольцами.

Пришлось спешно повернуть коней назад.

XXII

Как на галопе прошли килигеевцы Крым, так на галопе и выскочили через Перекопский перешеек обратно в степь, едва успев вырваться из крымского мешка.

Крым остался позади.

Вся Таврия в это время была уже в тревоге, замерла в оцепенении под зловещими деникинскими тучами, надвигавшимися с востока. В воздухе чуялась близкая гроза. Подымала по городам голову контрреволюция, наглело в степях кулачество. Из охваченной пламенем

пожаров Мелитопольщины, из разгромленного союзническим флотом Геническа, из десятков степных волостей, истекая кровью, отступали на запад поставленные на колеса красноармейские лазареты, потрепанные в боях караульные команды, беженцы. Туда же, на запад, к днепровским переправам, партизанские пастухи гнали из степных имений отары овец, волов и рабочих верблюдов. Каждому из отступающих Днепр казался в эти дни тем спасительным рубежом, который задержит деникинскую казачню, остановит беду.

Через перешеек вывел отряд из Крыма, вместо Килигея, Баржак. Килигей в последних боях был ранен пулей в грудь навывлет, и еще неизвестно было, выживет ли он. Сейчас его везли на командирской тачанке, погруженного в полузабытье.

Отступали старинным перекопским трактом, который проходил как раз через Чаплинку, деля ее на две части, так что пройти мимо повстанческой своей столицы было невозможно, хотя на сей раз Баржак охотно сделал бы это. Тревожные мысли не оставляли Баржака с того самого момента, как отряд вошел в полосу чаплинских земель и по обе стороны зашумели молодым колосом чаплинские нивы.

Была ночь, лунная, ясная, с ветром. То ли эта светлая бескрайняя ночь, то ли густые, волнующиеся под ветром хлеба, что, поднявшись за время их отсутствия, так изменили облик родных мест, — только все, к чему с детства привык глаз, предстало сейчас, в лунном сиянии, каким-то не похожим на себя, все было проникнуто суровым очарованием, точно люди вдруг очутились где-то среди волнующегося незнакомого моря. Сколько видит глаз, блестят колеблемые ветром хлеба, сколько слышит ухо — шумят, переливаясь под призрачным лунным светом. Выкинули колос,

наливаются, зреют. Как выросли, как поднялись они здесь, пока отряд ходил в свой крымский рейд!

Баржак едет впереди колонны нахмуренный, губы его горько сжаты. Изредка оглядывается: за ним сутулятся в седлах конники, едут тачанки, тянется шляхом между хлебов артиллерия — добытые в Крыму французские гаубицы. В передней тачанке везут Килигея. Он с самого вечера мечется в жару, рубашку на себе порвал, хрипит: «В капусту их кроши! В капусту!» Жутко ехать рядом с ним.

А вокруг вся ночь полна мерного шума хлебов, их разреженного ветром аромата. Давно не было такого урожая. Будут и копны обильные, и снопы богатые. Косарей бы теперь только, косарей, а косари — в седлах. Баржак подавил вздох. До самого небосклона, до самого месяца разлив урожая, а собирать кому? Думалось, до жатвы и пошабашат с войной, а не вышло. Так и было бы, в эту весну с войной покончили бы, если б не раздувала пожар Антанта. Только и оставалось их, что за Акмонаем. А теперь? На сколько же теперь все это затянется? Опять придется брать Перекоп, только во второй раз Оленчуковой воловьей атакой его уже не одолеешь.

Притихшие, задумчивые едут среди хлебов повстанцы. Отпустили поводья, сгорбились от дум, а хлеба касаются седел, льнут и льнут ласковым колосом прямо к рукам. Поныню да васильками позарастили межи.

Нетрудно было Баржаку догадаться, что творится сейчас в душах его бойцов. Все одна мысль грызет: не растаял бы в Чаплинке отряд. Отдал приказ пройти село без остановки, но у всех ли хватит выдержки проехать под родными окнами и не забежать домой? А стоит лишь забежать, стоит лишь на миг почувствовать себя человеком домашним, человеком, которому никуда можно больше не идти...

Такая ветреная, такая лунная, такая тревожная ночь! И у многих ли в такую ночь хватит сил вырваться из судорожных женских объятий, у многих ли хватит сердца оттолкнуть от себя детей, заливающихся плачем, и, бросив их на произвол судьбы, уйти неведомо куда, неведомо на сколько?

Баржак знал, что есть в отряде такие настроения, чтоб дальше Чаплинки не отступать, рассыпаться, пересидеть лихой час в хлебах и по сеновалам, а если туго придется — снова поднять восстание, создать в деникинском тылу свою, чаплинскую, республику. Брат Килигея, Антон, не далее как вчера разглагольствовал на этот счет. Но партийный приказ Баржаку был отступать с отрядом за Днепр, вести его на защиту красного Херсона, а сколько своих бойцов он туда приведет, уж это покажет сегодняшняя ночь. И никакими уговорами тут не уговоришь и никакими угрозами не испугаешь, так как сила отряда как раз в его добровольности, в том, что до сих пор каждый действовал так, как ему подсказывала его революционная совесть.

«Разбегутся или нет?» — с этим обращенным к самому себе вопросом Баржак ввел отряд в Чаплинку.

Была она какая-то необычная в этот поздний час, в эту ветреную ночь, среди колышущихся хлебов, окутанная таинственными тенями и лунной дымкой.

Баржак ехал впереди серединой дороги, настороженно прислушиваясь к тому, что делается в колонне за ним. Слышал, как глухо ударило копыто о землю, затрещала акация, захрапел чей-то конь, прыгнул в сторону через канаву; слышал, как вслед за тем стали отделяться другие — один сюда, другой туда, тайком, по-дезертирски, скрываясь по дворам, за хатами, поветями, в потемках тенистых улочек. Слышал, как тают его силы, как одного за другим

поглощает его бойцов взбудораженное ветряным шумом село, все слышал, но ни разу не оглянулся.

В разбуженной Чаплинке тем временем уже поднялся гомон, где-то плакали женщины, дети. Как по ножам, ехал Баржак сквозь терзающую эту печаль, и в горьких ночных причитаниях слышались ему голоса его собственных детей, что с надрывным плачем, казалось, зывали к нему: «Татку, куда ты? Куда?»

По всему селу вспыхивали в окнах огоньки, видел Баржак, как блеснуло вдруг, засветилось и в его оконце. Хата его всего за несколько дворов от дороги, и, когда поравнялись со знакомой улочкой, конь его сам попробовал завернуть туда, но Баржак, сердито дернув за повод, снова направил его на шлях.

Он ехал, все еще чувствуя за собой колонну, которой уже, собственно, не было.

При выезде из села наконец оглянулся... Горсточка! Словно после тяжкого боя поредел отряд! Повесив головы, молча ехали за ним каланчацкие, хорлянские, брели рядом с орудием лепетихинские, а чаплинских... Рассеялись, как тени, кто куда. Ненадолго же васхватило, однако! Злоба душила его. Дезертиры! Стихийщина! Хотел бы жесточайшей бранью хлестнуть им в лицо, хотел бы стоголосым криком рассеять воздух, чтоб созвать их всех, чтоб всех вернуть в колонну... Ищи их теперь! Где-то, верно, зарываются в сено по чердакам... До утра в хлебах, как перепела, попрячутся... Ну, пускай их там разыскивают деникинские шомпола, он никого искать не станет. Лучше отыщет среди других золотое оконце своей хаты, где его напрасно ждет сейчас жена, ждут дети, разбуженные гомоном взбудораженного села...

Уже и в степь вывел свой до неузнаваемости поредевший отряд, а все видел позади золотое оконце, что так и не дождалось его в эту прощальную ночь.

Среди тех, кто при въезде в Чаплинку украдкой свернул со шляха в тень акаций, был и Яресько. Перемахнул на коне через ров, заросший чапыжником, миновал один двор, другой, тихонько постучал в низенькое перекошенное оконце.

Увидел, как метнулось за окном в волнах распущенных кос бледное при лунном свете лицо, стукнула деревянным засовом дверь, и вот появилась на пороге знакомая девичья фигурка. Сердце его готово было выскочить от волнения из груди.

— Данько! Откуда? — с радостным испугом крикнула Наталка, пораженная его неожиданным появлением.

— С неба свалился, — пошутил Данько и, соскочив с коня, приблизился к девушке пьяным шагом всадника, отвыкшего ходить по земле.

Наталка глаз не могла от него отвести. И свой, такой желанный, и вместе какой-то страшный, возмужалый, в этой косматой — как у Килигея — папахе... Похудел или вырос? Весь как-то вытянулся за это время, прядь русых волос лихо выбивается из-под шапки, вылинявший, с нагрудными карманами френчик так славно сидит на нем... На боку еще обнова: сабелька поблескивает...

— Кубанская, — заметив Наталкино любопытство, хлопец коснулся сабельки рукой, — в бою, брат, добыта.

— Какой же я тебе «брат»!

— Ну, сестра...

Они засмеялись.

— А мы уж вас тут ждем-ждем, — тая от волнения, говорит она и сама прислоняется к его груди. — Полсвета, должно, облетали?

— Эх, где нас только не было! — Он с неловкой, грубоватой нежностью обнял ее. — По таким горам носило, на такие подымало вершины, что словно в раю побывали! А небо там какое, эх, Наталка! Синеет, ну совсем над тобой — встань в стремях и рукой достанешь!

— Снились мне те горы, Данько...

— Далеко они теперь... Скинули нас оттуда, как архангелов. Ну, мы духом не падаем.

— Серогозы вон уже, говорят, калмыки заняли...

— Да, здорово напирают, черти. Казачня, офицерье прет, с английскими советниками при штабах... А там еще Махно взбунтовался, черный свой флаг выкинул...

— И куда же вы теперь?

— За Днепр, больше некуда.

Она прижалась к нему, съежилась вся и сразу стала какой-то маленькой, беззащитной.

— Данько, а вы... надолго от нас?

Надолго ли? Кабы он знал! Кабы он мог так сделать, чтоб никогда уже больше не разлучаться с нею. Глянул в ее широко открытые такие доверчивые очи, и все в душе у него перевернулось от боли. Совсем бледная стоит под луной, такой он раньше никогда ее не видел. Голова склонилась на плечо, и тяжелая коса лежит на шее, наспех свернутая тяжелым узлом, как у замужней... Вот он уйдет за Днепр, и останется она здесь беззащитной, и чьи-то загребушие руки потянутся к ее девичьим косам...

— Недаром же снилось мне вчера, — вздохнула дивчина, — точно черный дождь над степью идет... Черными, как деготь, потоками — на хлеба, на хаты, на меня... Вот он и есть черный дождь — наша разлука.

До шляха она провожала его огородами. Шли стежкой и видели оседланных коней во дворах и слышали громкий плач в настежь отворенных дверях. Ветер шелестел подсолнечниками, шуршал листьями

кукурузы на огородах, и вся Чаплинка была в ветряных шумах, в легком текучем сиянии, что переливалось, как свадебная фата.

Когда вышли уже за околицу, туда, где тянулся ров и заросли чапыжника, когда придорожные акации тенью своей заслонили их от луны, девушка вдруг остановилась, обернулась к Даньку, в жарком порыве повисла у него на шее:

— Не пущу!

Она, казалось, потеряла голову. Исступленно осыпала его поцелуями, льнула к нему всем телом, и он чувствовал, как и сам теряет уже над собой власть, как растет в нем жгучая сила, буйная, необоримая нежность к ней. «Наталонька! Горлинка моя! Серденько!» Самые нежные для нее были у него слова, всю весну вынашивал их в походе, слышал их шепот в степи, когда ехал сюда, а теперь не мог произнести, застревали в горле. А она уже билась у него на плече, плакала, и сквозь плач ее, сквозь шум ветра он услышал вдруг невозможное, точно пригрезившееся, точно нашептанное ветром:

— Ничьей... Только твоей, твоей пусть буду!

Страшно и радостно стало ему за себя, за нее. Словно стебелек гибкий, была она в грубых его руках, что с нестерпимой нежностью сами уже тянулись к ней, рвали полотно сорочки, безудержно голубили ее тело, горячее, как огонь, и такое доступное ему впервые в жизни.

Шум катился над ними, когда они снова пришли в себя. Подсолнечники и кукуруза шумели, а казалось — лес. Поблескивает седло на коне, когда луна проберется сквозь ветви акаций. Конь стоит рядом, поглядывает на них как-то искоса, грызет сквозь удила бадыль, сердится. Все это будто сон, нельзя поверить — и листья подсолнечников над ними, и конская морда, и шум ветра вверху. Луна такая странная, и так странно

шумят подсолнечники над головой. А они лежат опьяневшие, лежат в гущавине огорода, под придорожными кустами... Арбузные плети вокруг, пахнет сухая земля...

Данько повернулся к ней лицом. Белое, бесстрашно обнаженное тело светилось под луной. А она, не стыдясь уже ни его, ни коня, ни луны, лежит усталая от ласк, плачет, улыбаясь, и, кажется, вся еще там, в той бездне счастья, куда они только что провалились... Данько смотрел на нее, и от безмерной нежности, от безмерного чувства любви к ней таяло сердце, захватывало дух. После всего, что произошло, он точно и сам вырос в своих глазах: муж! Теперь он ей муж! Таким доверием, таким неизмеримым счастьем наградила она его здесь, под ветряные шумы чаплинские, у придорожного колючего куста... И теперь бросить ее? На погибель? В чужие руки? Деникинская казачня вот-вот захватит село, ворвется и сюда, кто ее здесь защитит? В отряд женщин не разрешается брать. А взял бы! Подхватил бы к себе в седло и помчал бы куда-нибудь, где нет никого-никого! Чтоб одно только небо над ними да высокие горы кругом, как там, в Крыму, за Симферополем...

По всему селу не утихает тревожный гомон. Двое верховых промчались шляхом. Протопотало, замерло... Данько вскочил, поймал за уздечку коня, который повернул было голову тем двоим вслед.

Подошла Наталка, поправляя косу, не глядя в глаза, прижалась к груди хлопца:

— Не забудешь меня?

Он крепко обнял ее на прощание:

— Пока жив буду...

Ветви акаций грустно шумят над дорогой, роняя на гриву коня свой привядший цвет.

Через минуту она уже одна стояла посреди шляха, глядя, как взвилась при луне пыль из-под копыт. Пыль...

Пыль сейчас встает, а может, еще и снега заметут его след... Хоть бы оглянулся, хоть бы оглянулся еще раз!

Данько оглянулся. Блеснул под луной зубами, и это вознаградило ее за все.

...Своих Ярьсько нагнал уже в нескольких верстах от села, когда и луна уже улеглась в хлебах и потемнело кругом. Догнав, молча пристроился в конце колонны к тем, что тащили пушки. Сейчас партизанская артиллерия поразила его своим видом. Голодная, бесснарядная, она, и отступая, словно бы грозилась кому-то, целилась на Перекоп.

Прошло некоторое время, снова застучали на дороге копыта, и, догнав колонну, пристроился к ней еще кто-то — украдкой, молча, виновато. Потом еще догоняющий топот, и еще...

К Каховке отряд подходил уже в полном своем составе.

XXIV

В районе Каховки килигеевцы вошли в соприкосновение с деникинскими авангардами. Завязались бои. Сдерживая противника, рвавшегося вперед, чтобы захватить днепровские переправы, отряд повстанцев не только оборонялся, но и сам наносил удары, в результате чего ему удалось выбить противника из нескольких степных хуторов за Каховкой.

Неудержимо, как степной, подгоняемый ветром пожар, надвигалась беда. С каждым днем главные силы деникинцев подходили все ближе.

Как-то под вечер бригада генерала Ревина ворвалась в Серогозы. Застигнув не успевший отступить красноармейский лазарет, размещенный в тени акаций возле школы, казаки с налету стали топтать лошадьми живые тела, лихо приканчивали

шашками тяжело раненных, не способных даже подняться бойцов. При этой okazji чуть не зарубили заодно и молодую учительницу Светлану Ивановну Мурашко, которая, не помня себя, кинулась защищать раненых, безоружных людей и которую поэтому озверелые рубаки сгоряча приняли за сестру милосердия.

— Сестра? — И уже трещит белая блузка под обжигающими ударами нагаек.

— Комиссарка? — И чей-то дымящийся свежей кровью клинок взвился над девичьей головой.

Спасли учительницу школьники. С криком окатились к ней с крыльца насмерть перепуганным табунком, облепили, заслоняя, как мать родную.

— Это не сестра! Это учительница наша!!!

— Сестра я, сестра! — рыдая, выкрикивала учительница, исступленно кидаясь на оторопевших вояк. — Убивайте, рубите и меня, звери вы, палачи, изверги...

Подъехал калмык-есаул, и казаки, насупившись, молча расступились перед ним.

— Закопать! — указал есаул нагайкой на зарубленных и, гарцуя на коне, приблизился к учительнице. — Ну-с, чего нюни распустила, красotka? Жалко? Милосердие душил? А если б наши головы здесь валялись? Нюнила б, пролила б по мне слезу, а?

— Не трогайте! — отчаянно крикнул кто-то из ребят. — Это учительница наша, Светлана Ивановна.

Есаул как будто только сейчас заметил детвору.

— А вам что здесь надо? Кыш отсюда, комбедовское отродье!

И для пущего эффекта сделал вид, что вытаскивает из ножен саблю.

Дети бросились врассыпную.

Светлана с красным, распухшим от слез лицом повернулась к есаулу:

— Герои... Раненых добиваете, с детьми воюете!

— Испугалась? — захохотал есаул, все наступая на девушку на своем гарцующем коне и вытаскивая саблю. — Да я же шучу! Я не страшный!.. Кто посмеет обидеть эту прелестную золотую головку? — И, перегнувшись с седла, он ловко поддел кончиком сабли у самого уха Светланы золотистый завиток. — Позволь чикнуть себе на память этот хорошенький локон...

Девушка отшатнулась, гневно выпрямилась:

— Не для вас мои локоны!

— Да-а? — Есаул на миг осекся. — Не для нас? А для кого же?

И не успела девушка отскочить, как сабля мелькнула у ее груди легким, молниеносным росчерком. Посыпались пуговицы.

Казачня захохотала.

— Поняла, как у нас делается? — пряча саблю, победоносно выпрямился в седле есаул. — И сорочка цела, и блузка цела, а кнопки все сразу расстегнуты! Возьмешь такого молодца на постой?!

Светлана, бледная, прикрыла руками грудь:

— Сырая земля тебя возьмет...

Видели дети, как есаул подал знак своим спешившимся головорезам и они, подкравшись из-за спины, схватили учительницу за руки и с гоготом повели-поволокли по ступенькам в школу...

В это время к школе подъехал со своим штабом генерал, командир бригады.

— Что за бесчинство? — указал он на грудь тел. — Снять бинты! Сжечь! Мы раненых не убиваем!

А услышав донесшийся из школы девичий крик, сердито послал адъютанта узнать, в чем дело.

— Здесь будет мой штаб, — кинул, соскакивая с седла, и, не ожидая возвращения адъютанта, торопливым шагом направился к зданию.

Белая акация цветет вокруг школы. И хотя пышные, сверкающие кисти заметно привяли за день, покрылись поднятой копытами пылью, к вечеру они снова неудержимо заструили свой густой, пьянящий аромат. Из открытых окон несется рев граммофона, ему подтягивают пьяные голоса:

...Дам коня, дам кинжа-ал,
Дам винто-о-овку сво-ю...

Веселится, гуляет офицерье.

А когда совсем стемнело и пьяный рев стал еще громче, от штабной коновязи под акациями у школы незаметно отделился всадник, неслышно выскользнул в степь и устремился куда-то в сторону Днепра. Мелькнул, как тень, бесследно растаял во мраке теплой июньской ночи.

Далеко в степи старые пастухи видели потом этого необычного всадника: девушка сидела в седле.

Проскакав мимо них, мимо их пригасшего костра, на миг придержала коня, спросила:

— На хуторе Терновом кто?

— Покуда наши.

— Вы точно знаете?

— Точно, дочка, точно. Врать не станем.

— Спасибо!

И снова ринулась сквозь тьму дальше — напрямик к хутору Терновому — на добром калмыцком скакуне.

Глухой ночью той же степью по направлению к Серогозам беззвучно двигалась конная колонна. Шли на рысях, однако ни стука, ни топота не слышно было: как по мягкому ковру, ступали кони, бесшумно катились пулеметные тачанки. Присмотревшись, можно было заметить, что копыта лошадей старательно обернуты войлоком, колеса тачанок — сеном и шерстью.

На одной из тачанок, кутаясь в грубый крестьянский платок, сидит Светлана Мурашко. Бойцам, едущим за тачанкой, даже сквозь ночную темь видно, как смертельно бледно ее лицо. Съежившись, будто ее знобит, равнодушная ко всему, застыла в немом, суровом оцепенении. Широко открытыми, налитыми горем глазами смотрит на степь, на далекие зарева, неподвижно багровеющие слева и справа в необъятном море тьмы.

То, что пережила Светлана в эти последние несколько часов, казалось ей невыносимым, кошмарным сном, все живое в ней словно выветрилось, осталась лишь пустая оболочка. Ее сил, ее возмущения, ее страшного горя хватило только, чтоб вырваться от деникинцев, чтоб, добравшись до своих, передать им все, что она не могла им не передать... Затем наступила эта опустошенность, полное оцепенение души, равнодушие к себе и другим. Рассказывая Баржаку о зверстве бежавших, отвечая на вопросы разведчиков о том, что ей своими глазами довелось увидеть в деникинском штабе, Светлана будто передала другим и тяжесть своей боли, и огонь своей девичьей мести.

Что ей теперь остается? Как она теперь будет жить? Стать красной маркитанткой? Сестрой милосердия? Или наган в руки и воевать? Еще вчера ей в голову не могло прийти воевать, никогда не думала об этом, считая, что всякое убийство — преступление. Всем сердцем полюбила школу, полюбила детвору — им, таким жадным к знанию мальчикам и девочкам, хотела посвятить свою жизнь. Серогозы — глухое, закинутое в степь село, с ним связала она свою судьбу... Легендами, из уст народных услышанными, увлеклась... Рассказывают, когда-то, в давние времена, появился на Сечи какой-то испанский гранд, еле спасшийся из захваченной маврами Сарагосы. Здесь, на Сечи, стал набирать рыцарей-запорожцев, чтоб помогли выгнать

вон мавров, вернуть Сарагосу испанцам. Несколько сотен их согласилось поплыть на байдах через море в далекие, невиданные края. Поплыли, напали ночью на завоевателей, выгнали из города. А вернувшись на Сечь, все они, герои Сарагосы, вместе поставили зимовники в степи и назвали их в память похода: Серогозы. Легенда? Но молодой учительнице хотелось верить в нее.

Там, в сельской, вьюгами исхлестанной школе, прошла для Светланы первая трудовая зима. Волки воют в степи, буран сечет землю, бьет в окно снегом пополам с песком... А ты до поздней ночи сидишь, склонившись над тетрадками и книгами, и тебе так хорошо-хорошо. Теперь все это светлое где-то в прошлом, как в прошлом осталась и она сама, энергичная, веселая, полная кипучей жизни, мечты, идеалов. Все промелькнуло, как сон, скрылось за черным кошмаром, на все сейчас смотрит она безучастно с высоты своего непоправимого горя.

Подхваченная волной, целиком отдалась течению событий. Иногда словно просыпалась, выходила на миг из своей окаменелости. Это, верно, какое-то недоразумение, что она вдруг едет степью в пулеметной тачанке, что она идет... в бой? Первая пуля, может, ее уже поджидает? Никакого страха она не испытывала, а сознание того, что эта ночь может быть для нее последней, смертной ночью, как-то даже успокаивало ее.

Пожилой боец-пулеметчик, покачивающийся рядом в тачанке, попробовал было заговорить со своей неожиданной пассажиркой, но Светлана не проявила ни малейшей охоты поддерживать беседу, и боец, вздохнув, в конце концов оставил ее в покое. Пускай, может, она дремлет?

Данько Яресько, высланный с разведкой вперед, всю дорогу поддерживал связь с Баржаком и командиром

эскадрона. Съехавшись, некоторое время двигались рядом.

Тишиной встречала их степь.

— Не нравится мне что-то эта тишина, Яресько, — говорил, вслушиваясь в степь, Баржак. — Что, если прямо на засаду скачем, а? Не заведет ли нас твоя учительница в ловушку?

Данько, как всегда перед боем, был заметно возбужден, взволнован. Весь этот в полной тайне снаряженный ночной рейд на Серогозы, бесшумные тачанки, только шуршащие в траве, беззвучные копыта, обмотанные войлоком, таинственность и острота момента — все это так отвечало пылкому характеру Данька! Но подозрительное отношение командира к Светлане обидело его.

— Послушаешь вас, товарищ командир, так на свете никому и верить уже нельзя!

— Что поделаешь, такие времена. Могла ж она перед тем в контрразведке ихней побывать?

Рассудительные, холодные слова командира заставили Данька призадуматься. И в самом деле, так ли уж хорошо он знает Светлану, так ли уж уверен в ней? Далеким, солнечным маревом поплыло перед глазами батрачье детство. Праздничный июньский день; полный солнца, полный лазури небесной. Взявшись за руки, идут они, трое маленьких друзей, целинной асканийской степью, и светлые ковыли пенятся вокруг них ласковыми, текучими шелками, и невидимые жаворонки мирно журчат ручейком в воздухе... Дива дивные раскрывает перед ними степь. Тут постоят над птичьим гнездом, притаившимся в траве, там подивятся каменной скифской бабе на степном кургане, заглянутся на овечек, бредущих в дальнем мареве, как по воде... И снова идут вперед, искать свое сказочное море, свою счастливую мечту. Но

если не верить даже им, самым светлым мечтам детства, то чему же тогда верить?

— Насчет другого кого еще подумал бы, а за нее... ручаюсь, — говорит Яресько Баржаку.

— Смотри, хлопче, — предостерегает командир эскадрона. — Здесь не до шуток.

— Знаю, что не до шуток. Но если что — она ж возле меня будет: сам вот этой рукой порешу!

— Стоп! — насторожился вдруг Баржак. — Слышите?

Где-то далеко впереди в темноте чуть слышно запели петухи.

XXV

Заслышав петухов, Светлана встrepенулась: Серогозы!

Нервная дрожь пробежала по телу.

Рядом уже звучали приглушенные слова команды, колонна стала быстро таять, разворачиваясь двумя крыльями от шляха в степь. Светлана догадалась: заходят, чтоб со всех сторон охватить село. Из темноты все яснее выступали круглая белая церковка в глубине села, ветряк на пригорке, силуэты школьных акаций.

Перед тачанкой вдруг выросло несколько бойцов, и один из них, в черной, как ночь, папахе, перегнулся с седла к Светлане. Данько! Такое недоброе, хищное у него было сейчас лицо, что Светлана невольно отшатнулась.

— Чего пугаешься? — кинул почти глумливо, жестко. — Показывай, где тут она, твоя школа?

Светлана протянула руку к темным куполам акаций:

— Вот.

Яресько рванул коня в ту сторону. Светланина тачанка, окруженная конниками, понеслась за ним. Все

ближе школа. Вот уже повеяло навстречу медовым теплым духом акаций.

— Стой! — донеслось вдруг из-под дерева. — Пропуск!

И угрожающе щелкнул затвор.

— Ты что, пьян, чертова кукла? — выругался Ярьсько. — Своих не узнаешь? — И смело продолжал двигаться вперед прямо на часового. — Раненого полковника везем!

— Откуда?

— Из Непытайки!

И вслед за тем прошелестели ветки, слышался хруст, хрип, и Светлана закрыла глаза. Чей-то разгоряченный конь уже похрапывал перед ней, и сильная рука — рука Ярьсько! — грубо встряхнула ее за плечо:

— Веди!

Ей было непонятно: отчего он сегодня с ней так груб? Однако это оказало на Светлану удивительное действие. Силы ее точно сразу вернулись к ней, и она упруго, легко выскочила из тачанки:

— Идем!

Ярьсько уже спешил.

Обогнав ее, он ловко, по-кошачьи, скользнул, исчез под колючими акациями. Светлана, пригибаясь, едва поспевала за ним.

— Данько, — прошептала она, — вон еще, кажется, у крыльца часовой...

— Это уже наш стоит... Где то окно?

— Сюда... Вон, открытое... Крайнее слева...

Где-то на другом конце села поднялась вдруг страшная суматоха: затрещали выстрелы, диким лаем залились собаки. Данько оттолкнул Светлану:

— Беги! Тикай отсюда!

И, зажав бомбу в руке, одним махом вскочил на подоконник и скрылся внутри.

Светлану подхватила волна бегущих к дому бойцов. На крыльце, где с вечера бессменно стояли часовые, сейчас никого уже не было, двери настежь, на пороге темнела куча порубленных тел. Внутри школы все ходуном ходило: топот, брань, выстрелы. Когда Светлана, на миг заколебавшись, перебралась через темную грудку и очутилась в набитой повстанцами учительской, там один из бойцов уже держал над головой горящий бумажный жгут, а напротив, припертые штыками к стене, стояли, подняв руки, штабисты. Среди них Светлана сразу узнала приземистую фигуру генерала Ревина в подтяжках и другого, сухопарого, перед которым они все так лебезили, — английского инструктора при штабе. Долговязый, как гусак, с презрительным выражением на лице, он стоял перед Яресьюко без пояса, широко расставив ноги в блестящих крагах и неловко подняв руна над головой. Он пытался застрелиться, но не успел — револьвер был выбит у него из рук.

— Что, осечка? — насмешливо спросил Яресьюко, подымая с пола револьвер англичанина.

Ткнув револьвер себе за пояс, он принялся обыскивать инструктора.

— Ну ты ж, брат, и сухоребрый, — сказал он, не слишком деликатно поддавая англичанину под бок. — Харч там у вас слабый, что ли?

Англичанин молчал.

Рядом сопел генерал. Его как раз обыскивали, когда он вдруг заметил в толпе повстанцев Светлану.

— Ваша работа? — прохрипел он, наклоня вперед, как для удара, свою квадратную, стриженную ежиком голову. — Я вас спас от бесчестья, а вы...

Светлана смело взглянула ему в глаза:

— Я тоже спасла вас, генерал...

— От кого?

— От бесчестья командовать бандитами... От проклятий народных...

Генерал тяжело опустил голову.

— Готово! — закончив обыск, сказал Яресько. — Выводите, хлопцы, их во двор. Только глаза, Грицко, этому лордику завяжи, а то еще сглазит нам Украину.

В глубине села еще похлопывали выстрелы, а школьный двор уже быстро заполнялся повстанцами. Тут назначен был сбор. У сарая, где стоял генеральский автомобиль, слышался гомон, смех — повстанцы пробовали завести мотор.

Светлана, остановившись в стороне под акациями, потрясенная всем пережитым, зарылась пылающим лицом в свежие прохладные кисти цветов. Скоро они, как обильной росой на рассвете, заблестели чистыми девичьими слезами. Сама толком не знала, отчего плачет, но чувствовала, как все легче становится на душе, словно изливалась вместе со слезами и печаль, словно половину горя, ее девичьих обид, по-сестрински брала, перекладывала на свои плечи эта нежная, любимая ею с детства акация — белая колючая королева юга.

Здесь, под этим жилистым, отягченным цветами деревом, вскоре и нашел Светлану Яресько.

— Светлана, — а я думаю, где ты! — обратился он к девушке, сияющий, полный бурной радости, и стал вытирать своей кудлатой шапкой потное лицо. — Хочешь на антонобиле прокатиться? С ветерком, а?

— Чего вдруг?

— Субчика того... английского инструктора повезем, командир поручил.

— Куда?

Данько, плутовато оглянувшись, понизил голос:

— В Каховку. А там, может, и дальше, в Херсон. Сдадим, — потому ты его, считай, тоже брала, — а там как хочешь... Антонобилем, представляешь! Хвиат!

Светлана не удержалась от улыбки: перед ней опять был тот самый Данько, охочий до всяких выдумок, веселый, задорный парнишка, кидавшийся, бывало, с целой ватагой ровесников на дорогу вслед за промчавшимся барским автомобилем, чтобы понюхать пыль...

— Ну так как, Светлана? Едем?

— Ладно. Едем.

Выбираясь из-под акаций, Данько на ходу потерял щекой о тяжелую, прохладную, густо усыпанную белым цветом ветку.

— Здорово пахнет, верно? — И засмеялся.

На рассвете, когда заря на востоке загорелась и пастухи выгоняли на пастбище скот, мчался степью по направлению к Днепру открытый блестящий автомобиль. Напрямик, без дороги, видно, мчался — измятые стебли репейника, васильки и ковыль висели на нем, забились во все щели. На переднем сиденье, рядом с водителем, откинувшись, сидела золотоволосая круглолицая девушка, а позади нее сверкали улыбками навстречу пастухам хлопцы-повстанцы в лохматых шапках, с саблями наголо. Между ними вытянулся, словно аршин проглотил, какой-то долговязый, с завязанными тряпицей глазами.

Удивлялись пастухи, ломали в догадках головы:

— Кто он?

Верно, важная птица, если и сабли наголо, и глаза ему завязали, чтобы не сглазил расстилающуюся вокруг степь, чтоб не увидел ни золотых хлебов, ни румяных вишен, ни синевы Днепра...

XXVI

Весь Херсон в эти дни кричит объявлениями:

«ГРАЖДАНЕ!

Появилась угроза холеры — не бойтесь холеры, но берегитесь ее! Не пейте сырой воды, а тем паче самогона. Пейте лучше чай! Доверяйте врачам, фельдшерам, не скрывайте от них заболевших!

ХОЛЕРА, КАК И АНТАНТА,
БУДЕТ ПОБЕЖДЕНА!»

И тут же рядом, на порыжевших от солнца, оставшихся еще с весны афишах:

«ГАЛА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ!
КИНО „БОМОНД“ —
„ТАЙНЫ НЬЮ-ЙОРКА“!
ГОЛОВОЛОМНЫЕ ТРЮКИ!
ЖУТКИЕ МОМЕНТЫ!!!»

У афишных столбов толпятся загорелые, увешанные оружием степняки, спокойно читают грозные предостережения. Одни читают про холеру, а другие раскатисто хохочут у витрин, разглядывая полуобнаженную, выгоревшую на херсонском солнце американскую кинозвезду на афишах.

Весь город в эти дни пропах кизяком и сеном. Повсюду шумным лагерем расположились войска, ржут кони, режут верблюды, а вечерами на высотах Форштадта звучат раздольные, из степей принесенные песни.

В Херсоне килигеевскому отряду, вступившему в город одновременно с другими повстанческими войсками, население устроило бурную встречу. Херсонцы еще с весны слышали об атом бесстрашном отряде, покрывшем себя славой в борьбе с интервентами, вместе с матросами Дыбенко и Интернациональными полками штурмом бравшем Крым.

По решению херсонских властей и по желанию самих тавричан отряд вскоре был переименован в Первый Таврийский революционный полк.

Лучшие врачи города не отходили от раненого командира отряда Дмитра Килигея.

Лохматым чабанским папахам, как и матросским бескозыркам, повсюду был почет, повсюду честь. Объединенные в профсоюз, парикмахеры города объявили, что степных героев они будут брить бесплатно и вне всякой очереди. Сапожники тоже вывесили на своих мастерских объявления, что, «несмотря на гром канонады», они берутся чинить повстанцам обувь «быстро, прочно и аккуратно». А в починке нужда была: чабанские сыромятные постолы, не сменяемые еще с весны, засохли, заскорузли на ногах так, что их невозможно было снять — приходилось разрезать ножом.

Расположился килигеевский отряд на горе, заняв старинные укрепления Военного Форштадта и одну из самих больших каторжно-пересыльных тюрем, пустовавшую с первых дней революции.

Вероятно, ни в одном из южноукраинских городов не было столько тюрем, сколько в Херсоне. Тяжелые каменные здания, мрачные старорежимные остроги, они занимали на солнечных херсонских холмах лучшие места, господствуя над степью, над Днепром, над живописными зарослями плавней, что, синея, расстилались в заднепровской дали.

Теперь тюремные дворы были переполнены повстанческими войсками, обозами да скотом, которого партизаны нагнали из степи столько, что хватило бы прокормить целую армию.

По-ярмарочному шумлив, кишит войсками ослепительно залитый ярким южным солнцем Херсон — так, словно и не собираются над ним тучи, так, будто и

не погромыхивают где-то на север от него глухие деникинские громы.

На второй или третий день после прибытия Яресько неожиданно встретил на Форштадте Оленчука; он стоял у обрыва и смотрел куда-то за Днепр.

— Эй, дядько Оленчук! — обрадовался ему хлопец. — Вы здесь откуда?

Оленчук обернулся к нему: он был чем-то огорчен.

— Да круторогих я вам пригнал.

— Один или... с благородием?

Оленчук стал набивать трубку самосадам.

— До самого Днепра все при мне был, череду гнать помогал. А там, когда уже у переправы сгрудились, пропал где-то, как в воду канул.

— А может, и правда его в сутолоке... того... вниз головой?

— Э, нет, не скажи. Кабы упал, так выплыл бы.

— Заговорило, значит, беляцкое нутро! Своих встречать остался!

Оленчук, щурясь, смотрел куда-то за Днепр, в затканые солнечной дымкой таврийские просторы.

— Я до самого вечера его на этом берегу поджидал, все думал — догонит... Один раз там даже и показалось было на кучугурах что-то вроде него. Постоял-постоял, посмотрел-посмотрел сюда, будто искал кого-то... Потом повернулся спиной и медленно побрел обратно.

Даньку даже грустно стало, когда представил себе, как стоят они друг против друга, разделенные небесно-голубой ширью Днепра, офицер и бывший его подчиненный... Один на высотах правого берега, а другой где-то там, в раскаленных солнцем заднепровских кучугурах.

Молчал Оленчук. Молчал и Яресько, засмотревшись на ту сторону.

Синеют плавни за Днепром. Там, за синими плавнями, за алешковскими песчаными наметами уже

хозяйничают кадеты, бесчинствует деникинская казачня... К самому Днепру подошли, в Алешках на первомайских арках коммунистов вешают... Быстро надвигаются тучи, зловещие тени бегут по земле, обложили город, а тут, над Херсоном, еще светит солнце, и двое их молча стоят на этом солнечном острове.

XXVII

Ночью Яресько разбудили суэта, гомон. Выскочил с хлопцами на место сбора — на тюремный плац. Там, среди волнующейся толпы бойцов, поблескивают кожанками какие-то незнакомые, как видно местные, комиссары. Голос одного из них, объяснявшего бойцам положение, напоминал голос Бронникова. Неужто он?

Данько протиснулся ближе: так и есть — Леонид. Темень, общее тревожное настроение придавали голосу его непривычную суровость, а холодно поблескивающая кожанка делала каким-то неприступным.

— Этой ночью, — говорил он бойцам, — с лимана в воды Днепра неожиданно прорвались бронированные катера противника. Сейчас они уже рыщут по всему Днепру — едва удалось снять наши заставы с плавней. Здесь, со стороны степи, — он махнул рукой куда-то в темноту, — положение тоже не лучше. Уже возле самого города кулацкие банды валят телеграфные столбы. В пригородных селах бесчинствует атаман Гаркуша, поголовно вырезая наших сельских коммунаров. Под угрозой железная дорога на Николаев. Партийный комитет города возлагает на вас, таврийские коммунары, задачу во что бы то ни стало удержать железную дорогу, этот последний живой нерв, связывающий нас с красным миром. Готовы ли вы выполнить это задание революции?

— Готовы! — четко ответил Баржак, который стоял здесь же, в группе комиссаров, в своей большой заломленной назад солдатской шапке.

Через каких-нибудь полчаса повстанцы уже летели на конях из города — патрулировать железную дорогу, отгонять от нее кулацкие банды.

Весь день после того слышали херсонцы, как далеко за городом прострачивают горизонт чьи-то пулеметы, а к вечеру на измученных, еле плетущихся лошадях вернулись из степи килигеевцы, гоня перед собой десятка два понурых, со связанными руками бандитов. Впереди шагал долгогривый, в подоткнутой рясе здоровяк с бычьими, налитыми злобой глазами. Многие из тех, что толпились по тротуарам, узнавали его, долгополого верзилу.

— Водолаз! — кричали вслед долгогривому дети. — Водолаза ведут!

— Бандитский «агитпроп» Арсений!

Херсонские матросы, оказывается, давно уже за ним охотились: еще будучи в Безюковском монастыре, монах этот отравил вином в подвалах больше десятка черноморских матросов. И вот теперь наконец попался он в руки килигеевским хлопцам. Ряса в пыли, глаза, как у быка, набрякли кровью.

В Форштадт Яресько и хлопцы вернулись в отличном настроении. Хотя и лошади заморились, и сами до смерти устали, почернели, только зубы блестят, но зато и бандитов пуганули, рассеяли по степи, отогнали от железной пороги куда-то за самый горизонт.

В этот день Яресько так и не пришлось поговорить с Леонидом, хотя Бронников тоже, вместе с килигеевцами, участвовал в операции. Не до разговоров там было как тому, так и другому — пыльное облако боя стояло меж ними весь день...

Лишь сегодня, отгоняя обнаглевшую банду от города и железнодорожного полотна, бойцы со всей

остротой почувствовали, как близко нависла опасность — опасность быть полностью отрезанными от своих. Впрочем, сейчас, после удачной операции, даже это не пугало. Чего им в конце концов бояться, пока оружие в руках? Весело, уверенно оглядывали хлопцы каменную свою цитадель на опаленных солнцем херсонских холмах.

XXVIII

Только уснули, как снова тревога. Куда? Зачем?

— На станцию!

— Строить бронепоезда!

Мысль о сооружении бронепоездов зародилась среди матросов, ее охотно подхватили Бронников и другие руководители обороны города, и вот она уже воплощается в жизнь. Бронепоезда нужны были войскам для прорыва на север. И хотя об отступлении пока не говорилось, но что отступать отсюда рано или поздно придется — ясно было каждому.

Ночами теперь мало кто спал: пролетарский Херсон, засучив рукава, не за страх, а за совесть ковал бронированный кулак для будущих боев. Работа была несложная: обыкновенный паровоз ставили между двумя платформами, орудие — вперед, орудие — назад, по стволу на борта, и вот уже такой «сухопутный крейсер» готов в далекое, неведомое плавание!

На помощь железнодорожникам и рабочим судоремонтных мастерских и порта пришли матросы, вчерашние чабаны, пастухи. Пока одни обшивали борта боевой корабельной сталью, пока другие на руках перетаскивали на платформы снятую с судов артиллерию, красная пехота и даже кавалеристы, превратившись в грузчиков, таскали на себе шпалы и

тяжеленные мешки с песком, строя из них бойницы, защищая ими наиболее уязвимые места.

Потаскал тут на себе мешки с днепровским песком и Ярьсько, не жалел для революции хлопец своего хребта! Всю ночь не просыхала на нем сорочка. Уже перед рассветом, идя за очередным грузом, неожиданно столкнулся под фонарем с Леонидом, который с группой нагруженных матросов медленно шагал навстречу, тоже с мешком песка на плече. Когда Данько окликнул его, он даже покачнулся:

— Черт возьми, как будто ярьськовское что-то! Ей-же-ей! — И бросил мешок на рельсы. — Ты откуда?

Сгреб Данька, крепко прижал к себе, потом снова оттолкнул, радостно, жадно оглядывая его с головы до ног.

— Выгнало же тебя, парень, ну и ну!

И, положив Даньку на плечо свою тяжелую ладонь, пристально-пристально стал вглядываться в юношеское обветренное лицо, словно искал в нем родные ему девичьи черты, словно находил в блестящих его глазах затаенную, неуголимую Вутанькину нежность.

— Садись, рассказывай.

Присели на рельсах.

— Я тебя еще вчера видел, — улыбнулся Данько. — Вместе бандюков за городом гоняли.

— Что ж не признался?

— Да разве до того там было? И нам пришлось жарко, да и тебе тоже.

— Килигеевец, значит. Здорово! — Он посмотрел на хлопца с той же жадной, нескрываемой нежностью. — Ну, а как... от наших, от Вутаньки ничего не слышать?

Данько махнул рукой:

— Куда там. Разве дозовешься?

— Ну а я ведь побывал в ваших Криничках. Сын там такой растет, что ну! Все не хотел меня за отца признавать, — засмеялся Леонид как-то невесело, и его

широкое, в блестках пота, в пятнах сажи лицо через миг уже снова стало серьезным. — Понравились мне ваши Кринички... Как раз весна была, за речкой в вербах кукушки куковали...

Заречные луга, лес и первая светлая зелень плакучих ив над водой, кукушки где-то в чаще кукуют — отрывисто, звонко... Все полузабытое ожило, далекое приблизилось, повеяло на Данька чем-то родным, волнующим. Как хотелось бы ему сейчас побывать там, увидеть, какими стали теперь Кринички! Ведь и над ними гроза революции пронеслась...

— Гаубицу на третий давай! На третий! — закричал кто-то из темноты, размахивая фонарем.

Спотыкаясь о блестящие рельсы, группа матросов бегом пронесла на руках пушку, какие-то ящики; с лопатами прошли вооруженные грабари; неподалеку на платформах все что-то клепают, клепают, и голова уже гудит от стального этого грохота.

— В суровое время встретились мы с тобой, Данько, — дружески коснулся Леонид его плеча и задумался. — Весь Донецкий бассейн уже у них, на днях шкуровцы Екатеринослав заняли.

— Выходит, они теперь у нас... кругом?

— Ну ты же видел: к самым предместьям уже прорываются. А ведь могло быть совсем иначе, — грустно произнес Леонид. — Можно было бы уже и винтовки в козлы, если бы не эти, — хмуро кивнул он куда-то в сторону моря. — Единый фронт создали против нас, Данько. Через моря и океаны, от Вудро Вильсона до наших гаркуш и колонистов одна цепочка тянется. — Он задумался о чем-то, потом тепло, подбадрывающе улыбнулся Даньку: — Ну, да нас хватит. На всех на них хватит, а?

Данько помог ему взвалить мешок на плечо.

— Слушай, — нахмурился из-под своей ноши Леонид. — А дружка твоего, Валерика, уже нет. Он у

нас тут в подполье при интервентах работал. Не дотянул, бедняга: в последний день сцапали его греки в порту... в амбарах вместе с другими заложниками погиб.

И, горбясь, осторожно переступая через рельсы, Леонид направился со своей ношей дальше.

Данько, ошеломленный, застыл на месте. Это известие тяжело поразило его. Нет Валерика. Нету! Амбары, которые разбила артиллерия, холодное пепелище, человеческие кости... Кажется, еще совсем недавно пели они вместе в хоре, вместе гонялись за панским автомобилем, а вечерами, забившись в глубину нар в своих невольничьих батрацких казармах, жадно мечтали о новой жизни, за которую они вместе будут бороться... И вот уже одного из них нет и никогда не будет.

Пронзенный болью, стоял под фонарем, кусая губы.

А над Днепром уже заметно светало. Над водою, над плавнями пасмами висел туман. Из группки знакомых хлопцев, направлявшихся с пустыми мешками вниз, к песчаным карьерам, окликнули Ярьсько. Данько молча присоединился к ним.

XXIX

В то время как деникинская казачня, захватив Екатеринослав и Полтаву, уже рвалась к Киеву, здесь, в глубоком тылу у белых, на сожженных солнцем херсонских холмах все еще развевался красный флаг революции, заседал трибунал, трясли буржуев, строили бронепоезда.

Деникинские снаряды уже ложились на город. Перепуганные обыватели дрожали по подвалам и погребам, прислушиваясь, как железным градом барабанит по крышам шрапнель, а красные бойцы и

матросы тем временем вели ожесточенные бои на пристанях и в предместьях, сдерживая нападающего со всех сторон противника, прикрывая отступление основных сил.

В одну из таких тревожных ночей вышли в неизведанный путь бронепоезда — эти грозные тараны революции, потянулись за ними эшелоны с эвакуированными учреждениями и лазаретами, двинулись, не отставая от эшелонов, пулеметные тачанки и возы, партизанские стада, степные чабанские кибитки...

Все дальше в степь уходят рев, топот, скрип, все глубже тонут в ночной тьме силуэты медленно отползающих паровозов, сгорбившихся всадников и надрывно трубящих в небо верблюдов...

Так началась тысячеверстная страдная эпопея.

Верста за верстой продвигались на север, держась полотна железной дороги, крыльями развернувшись по обе стороны насыпи, далеко в степь. На флангах колонны идет конница, пулеметные тачанки, а в центре, под их защитой, как самое ценное сокровище, везут раненых, боеприпасы, свернутые знамена.

Целыми днями люди и скот глотают горячую степную пыль. Кричат верблюды. Натужно режут непоенные вола, тяжело плетясь вдоль полотна в самом хвосте колонны.

Чем дальше отходят тавричане от родных мест, тем все чаще возникают среди них глухая тревога и сомнения:

— Куда идем?

— Нельзя разве здесь партизанить?

На одной из стоянок, когда ремонтники впереди чинили поврежденный бандами путь и вся колонна вынуждена была остановиться, бойцы Таврийского полка были созваны на собрание.

Слепящий день. Жаром пышут раскаленные бронепоезда, нацелив куда-то вперед свои стальные панцири. Внизу, полукругом раскинувшись по степным баштанам, с лошадьми, с тачанками, изнывают на солнце запыленные, посеревшие, как степные птицы, повстанцы. Один за другим выступают перед ними с насыпи комиссары. Терпеливо растолковывают, что отступать необходимо, что таков приказ штабарма — пробиться во что бы то ни стало к своим, соединиться с регулярными частями Красной Армии.

Представитель Херсонского Совета рабочих депутатов тут же, при всем народе, вручает полку за его боевые заслуги революционное знамя. Знамя принял от имени полка Баржак.

Уже под конец митинга выступил Леонид Бронников. Когда его могучая фигура в тельняшке появилась на насыпи, полк встретил его радостным гомоном. За время пребывания полка в Херсоне этот матрос-комиссар как-то особенно полюбился бойцам: вместе с ними преследовал в степи бандитов, даром что непривычен был сидеть в седле, а когда надо было таскать мешки с песком да шпалы носить на постройку бронепоездов, то и там натирал холку наравне с другими.

— Таврийские коммунары! — звучным голосом заговорил Леонид, обращаясь с насыпи к притихшей толпе. — Ваш полк вырос и окреп в боях с интервентами. Не раз уже кровью доказал он свою преданность делу революционного народа. Но сейчас перед лицом новых грозных испытаний, для того чтобы ваш полк стал еще сильнее, чтоб из полупартизанского, еще не до конца изжившего дух анархистской вольницы, он превратился в действительно регулярную железную часть Красной Армии — для этого нужно, чтобы в полку был... комиссар!

Все шло хорошо до этого момента. Но стоило только Бронникову произнести слово «комиссар», как толпа сразу всколыхнулась:

— Гайку хотят подвинтить!

— Мы к гайкам непривычны!

— Мы хотя и темные, а больше демократию любим!

И уже откуда-то, словно из-под земли, вынесло на высокий, обвешанный воловьими шкурами воз другого оратора — грудь раскрыта, пулеметная лента через плечо... Антон Дерзкий, младший брат командира полка.

— Слышали? — скривился он, будто от рези в животе. — Комиссара нам сватают! А как же! Соскучились мы шибко по комиссарам! Давно их ждем! — И, обернувшись к насыпи, закричал угрожающе; — На что нам комиссары, когда все мы революционеры в душе! Когда каждый из нас трех комиссаров стоит!

— Верно! Сами управимся! Без няньки! — прокатилось внизу между возов.

— Без комиссаров до сих пор врага рубали, — подбодренный, продолжал младший Килигей, — без них и дальше рубать будем! А кто по комиссарам сильно скучает — того не неволим, может к другому полку пристать! В Караульный вон или Интернациональный — там комиссаров хоть отбавляй. А мы — стихия! С саблями на дредноуты шли, голыми руками Перекоп брали и вперед без них управимся!.. У меня — все, и да здравствует наш батько-атаман Килигей Дмитро! — закончил он уже с веселым вызовом и спрыгнул с воза куда-то вниз, в гущу своих приверженцев.

Еще не улегся шум, поднятый среди повстанцев речью Дерзкого, как над командирской тачанкой неожиданно возникла длинная фигура исхудавшего, заросшего до неузнаваемости... Дмитра Килигея. В первый раз поднялся он после ранения, в первый раз

после Крыма видели его бойцы перед собой. Полк застыл перед ним, обрадованный и удивленный.

— Во-первых, я вам никакой не батько и не атаман, а командир, — насупив кустистые брови, обратился Дмитро к полку. — И если уж мы объявили войну мировой гидре Антанте, так давайте не разбредаться на полдороге, а вместе с пролетариатом идти до конца. Однако, чтобы не вслепую, чтоб не с завязанными глазами по степи на конях носиться, надо, чтоб был и у нас в полку комиссар. И то, что вы зашумели тут, заволяли, Сечь тут мне развели, — голос его крепчал, становился суровей, — это как раз и говорит за то, что нужен нам комиссар...

— А ты ж тогда на что? — слышался из толпы разозленный голос брата. — Кем ты при комиссаре будешь?

Килигей потемнел:

— Буду тем, что и сейчас: солдатом революции буду!

— Правду говорит Дмитро! — вырос над толпой Федор Артюшенко, хорлянский грузчик, с могучей раскрытой грудью. — Чего нам, в самом деле, комиссара бояться? Дредноутов не боялись, на самого черта шли, а перед комиссаром сдрейфили? Не страшен он нам, таврийским коммунарам.

— Абы только стоящий попался, — подхватил кто-то из гуртоправов. — Знать бы наперед, кого нам дадут...

Толпа колыхнулась, как нива под ветром:

— Ко-го?

Отделившись от группы комиссаров, стоявших на насыпи, шагнул вперед Бронников:

— Партия назначает — меня.

Над полком, над степью на миг залегла тишина. Его? Еще до революции хорлянские грузчики прятали его, юного тогда комендора с корабля, от царских жандармов. Батраки Фальцфейнов позднее знали его

машинистом в степных таборах, когда он неизменно возглавлял там «водяные» батрацкие забастовки. Такого ли бояться? Ему можно было смело довериться, он был свой, был частью их самих.

— Коли ты, мы не против! — радостно заволновалась толпа. — Ура комиссару!

— Ура-а!

Только Дерзкий и несколько его единомышленников стояли среди возов злые, недовольные и всем своим видом как бы говорили: «Наше слово еще впереди».

XXX

Неторопливо чахкают на насыпи, остывая после дневного зноя, бронепоезда. Неподалеку от полотна, у степного колодца, где все вокруг разрыто, выбито скотиной, — звон котелков, давка, чуть не до драки доходит: делят воду. Гомон стоит по всей логовине, курятся кизячные дымки, то тут, то там уже вкусно пахнет степной чабанской кашей.

Рдеет низко над горизонтом солнце, медленно опускается за степью в винно-красную мглу.

Бронников как раз ужинал под насыпью с Килигеем, Баржаком и еще несколькими командирами, когда бойцы привели какого-то странного субъекта, не то военного, не то штатского: небольшого роста, в пенсне, с желчным, давно не бритым лицом. На голове густая копна волос с застрявшими в них остюками...

— Я к вам, — бросил он тоном человека, который еле сдерживает раздражение.

Бронников, спокойно дую на ложку с горячей кашей, исподлобья рассматривал пришедшего. Что-то было в нем задиристое, драчливое. Застыл, как петух перед боем, только стеклышки пенсне поблескивают на всех остро и вызывающе.

— Кто комиссар?

Бронников еще раз подул на ложку.

— Я комиссар.

— Я тоже комиссар, — нервно отрекомендовался незнакомец. — Комиссар бригады Муравьев.

— Муравьев?.. Киевский?

— Нет, я — южный.

— Ну что ж, садись, — сказал Бронников.

Потеснившись, дали ему место у котелка. Килигей передал гостю свою простую, крестьянскую ложку, старательно вытер ее перед тем травой.

Муравьев жадно накиннулся на кашу. Хватал, давился, точно спешил куда-то. Бронников, отложив ложку, со скрытым сочувствием наблюдал за приبلудным этим комиссаром. Леониду нравилась его энергия, напористость и даже этот звериный, бродяжий его аппетит.

Вычистив до дна котелок, Муравьев, не спросясь, потянулся рукой к чьей-то фляге, лежавшей поблизости, и жадно напился прямо из горлышка. Утерся, перевел дыхание. Теперь он был готов к разговору.

— Где же бригада? — спросил Бронников.

— Нет бригады! Разбежалась бригада! — выкрикнул нетерпеливо, желчно.

У костра неподалеку среди бойцов прокатился смешок:

— Довоевался человек... Сам над собой комиссаром остался.

Стеклышки пенсне недоброжелательно блеснули в их сторону и снова пригасли.

Бронников пристально посмотрел на собеседника.

— Растерял, выходит, бригаду?

Муравьева точно раскаленным прутом стегнули.

— Это что — допрос?

— Считай как хочешь... Значит, прямо под трибунал идешь?

— И пойду! — опять подскочил тот как ужаленный. — Думаешь, трибуналом меня испугал? Не боюсь. Сам заявлюсь, сам пойду, пускай судят... — И тише добавил: — Если виноват.

Незавидно было положение, в которое попал этот человек, и все же чем-то он располагал Бронникова к себе. Брошенный всеми, не изверился в главном, не пал духом. День за днем пробивается на север, с упорством фанатика, ищет встречи... С кем? С трибуналом! С беспощадным трибуналом, который, может, голову ему снесет!

— Что ж, нельзя тебе позавидовать, товарищ... Трибунала, пожалуй, тебе не миновать.

— Не спеши с выводами, комиссар, — протирая пенсне, возразил тот Бронникову. — Может, нам еще вместо с тобой придется перед трибуналом стоять.

— Вот так загнул!

— Почему — загнул? Или, думаешь, твои от тебя не разбегутся?

— О моих ты помолчи, — нахмурился Бронников.

— Ситуация для нас с тобой на Украине сейчас весьма невыгодная, — заговорил Муравьев, снова надев пенсне и обращаясь к Бронникову, как будто, кроме них двоих, никого здесь не было. — Махновщина разгулялась, слепая мелкобуржуазная стихия за минуту сметает то, что мы успеваем насадить за месяц. До определенного момента эти силы работали на нас: мы отлично сумели использовать украинское повстанчество для того, чтобы свалить гетмана, для разгрома немцев и для нанесения сокрушительного удара по интервентам Антанты. Недавнее поражение греко-французского десанта на украинских берегах было бы невозможно без участия в этой борьбе могучих сил украинского повстанчества. Однако заслуги его

этим и исчерпываются, на этом и кончается героический период революции на Украине...

— А что же начинается? — язвительно спросил Баржак.

Муравьев даже не взглянул на него.

— Начинается то, — продолжал он, по-прежнему обращаясь к одному Бронникову, — о чем не раз предупреждал нас товарищ Троцкий и что я, Муравьев, может быть, первым испытал сейчас на себе. Нас бросают. От нас отворачиваются. Нашу еще не окрепшую регулярную армию поглощает кипящая повстанческая масса, разбушевавшаяся и никем не сдерживаемая повстанческая стихия. Именно она, эта стихия, поглотила мою бригаду, разнесла ее в щепы.

— Какой же вывод?

— Вывод напрашивается сам собой: сотрудничеству конец. Надо раз и навсегда обуздать этот анархический народ с его сорока тысячами банд, с его мексиканскими методами борьбы...

«Обуздать народ...» Бронников, слушая, едва сдерживал нарастающее возмущение. Из недр народа вышел он сам, годами готовил его к борьбе, и теперь, когда этот народ наконец поднялся, когда все растет и зреет его сила в революционных боях, вдруг оскорбить его недоверием, с такой враждой отозваться обо всех этих почерневших под степным солнцем пастухах и грузчиках, матросах и вчерашних батраках... И это говорит человек, называющий себя комиссаром! Нет, не такую видится ему душа ленинского революционного комиссара!

— Митингами развратили мы их! — с вызовом продолжал свое Муравьев. — Чуть ли не голосованием комиссаров себе выбирают! Пора, пора с этим кончать. Интересы дела диктуют другой к ним подход...

— Какой?

— Террор! — Стеклышки пенсне блеснули зло, покрысиному. — Массовый последовательный террор против этой бандитской нации — другого языка она не поймет!

Бронников заметил, как при этих словах колыхнулись бойцы, которые уже обступили их со всех сторон, привлеченные горячим спором. Видел, как Яреско, стоявший со своими хлопцами за спиной у Муравьева, сжал рукоятку своего клинка. «Рубануть? — казалось, спрашивал он взглядом Леонида. — Дай рубану гада по черепу! За поклеп! За ложь! За все, что он здесь против нас замышляет!»

А может быть, и правда пусть рубанет? Именем живых и погибших... за «бандитскую нацию», за оскорбление этих людей, за оскорбление революционной чести народа... Тут бы ему и весь трибунал...

— Теперь мне ясно, — весь потемнев, поднялся Килигей, — почему от вас бригада разбежалась. Я первый бы послал такого комиссара к чертовой матери!

— Это что за разговор? — грозно выкрикнул Муравьев, глядя то на Килигея, то на Бронникова. За кого они его принимают? Уж не за самозванца ли какого-нибудь? И, почуяв приближение опасности, почуяв, как уже прямо над ним угрожающе сопят, все теснее смыкаясь, бойцы, вдруг вскочил на ноги, выхватил откуда-то из-за пазухи пачку документов. — У меня м-мандат. — Он стал вдруг заикаться. — Слышите? М-мандат! За подписью т-товарища Троцкого!..

Побледнев, он протянул документы Бронникову, но тот не взглянул на них.

— Спрячь свои мандаты и сматывайся. Чтоб духу твоего в колонне не было!

Муравьев застыл, словно не веря своим ушам. Его, его гонят! Его не принимают!..

— Приблуды нам не нужны, — презрительно бросил Килигей.

Тем временем прозвучала команда к маршу.

Снова двинулись, поблескивая грудью в лучах заката, бронепоезда, двинулась за ними и вся огромная, в облаках пыли колонна. А он, брошенный всеми человек, все стоял под насыпью, злой, ершистый, недоумевающий, как будто не мог поверить, что колонна так и пройдет, не останавливаясь, и не позовет его с собой.

XXXI

Только начинали розоветь арбузы, когда вышла колонна в путь, а теперь уже рдели в руках у бойцов, как жар. С каждым днем все меньше становилось круторогих, с каждым днем все больше воловьих шкур на возах.

Не проходило дня без боев. Черными вихрями налетали из степи григорьевско-махновские банды и, встреченные на флангах колонны килигеевскими саблями, снова откатывались назад.

Килигей уже был в седле, вел полк. Как-то поздно ночью подъехал к нему его брат Антон. После той стычки на митинге — быть или не быть в полку комиссару — они почти не разговаривали. Антон, затаив обиду, сторонился брата, а Дмитро тоже не проявлял охоты беседовать с ним, считая, что все, что он имел сказать брату важного, он сказал ему тогда, на митинге, при всем народе. И вот теперь Антон наконец подъехал, как будто даже примирившийся, заговорил душевно:

— Дмитро, можно тебя на пару слов?

Екнуло что-то в сердце у Дмитра. Вместе с братом, казалось, приблизились к нему и семья, и отцовская

хата, и еще что-то волнующее, далекое, как детство, когда он еще носил Антося этого на руках. Бесшабашный вырос, севастопольская гауптвахта не успевала от него остынуть, да и сейчас с ним хлопот не оберешься... Чего он хочет?.

Отделились от колонны, молча поехали рядом. Пыль стояла в ночном воздухе, скрипела на зубах.

— По-братски, от чистого сердца, хотел тебя спросить, Дмитро: куда нас ведут?

— Не ведут, а сами идем.

— Ну, пускай сами... Но куда, куда?

— Об этом тоже было говорено.

Антон полез в карман за куревом.

— Жаль мне тебя, брат, — заговорил он сочувственно. — Прямодушный ты и доверчивый. Дал комиссарии себя опутать, зубы себе заговорить...

— Это ты и хотел сказать?

— Не только это. — Антон закурил. — Вспомни, кем ты был в степи, какая слава за тобой катилась! По всему приморью только и слышишь, бывало: Килигей, Килигей... На всю Таврию атаманом был!

— Немного в том моей заслуги. Сам народ, сама революция на гребень меня подняла.

Антон не унимался:

— А мы за тобой как на крыльях летели! С клинками на дредноуты поднялись, до Севастополя, до Керчи дошли... Весна была такая, что эх! И на душе весело, и воевать легко.

— Всеу свое время, Антон, — глухо заговорил Дмитро. — Тогда, и верно, было легко. Похоже было, точно взрослые играют в войну. Считай, пристрелка это была, пристрелка. А сейчас, — он подумал, — сейчас, видно, настала пора другой, трудной войны.

— А на что нам трудная? — загорячился брат. — Зачем самим в петлю лезть? — И, оглянувшись, вдруг заговорил с братом доверительным полусшепотом: —

Пропадем, все пропадем, Дмитро, если только дадим далеко себя увести! По натуре мы степняки, нам надо, чтоб было на коне где разгуляться. — Он выпрямился в седле. — Простору надо такого, чтоб трава под конем от ветра стелилась! А там? Где мы там разгуляемся?

Дмитро сердито засопел.

— Не гулять вышли. Большое дело делать.

Антон как будто и не услышал.

— Держится вон степи Нестор Махно и живет себе припеваючи! Недостачи ни в чем не знает: ни в конях, ни в девчатах. Сегодня пьет тут, завтра гуляет там.

— Поглядим, до чего он догуляется. Ему гульба, а нам, у кого дети растут, надо и о них, об их завтрашнем дне не забывать.

— Думаешь, как до своих, до регулярных, пробьешься, там рай тебя ждет? — язвительно бросил Антон. — Не одного — десяток комиссаров, таких вот Муравьевых, над тобой поставят! Слышал, как он вчера про нас? Вот такие они все! А попробуешь брыкаться, так и полк отберут, и самого к стенке...

— Так что ж ты советуешь? С повинной, может, к кадетам вернуться?

— Зачем к кадетам? Можно и не к кадетам, — многозначительно протянул Антон и, перегнувшись с седла, затоптал брату на ухо: — Гонец от батька есть! Слышишь? К себе Махно зовет! «Куда он, говорит, пустился, на кого свою родимую сторонку, жен да детей бросает! Пусть переходит с полком ко мне — правой рукой будет! Всю свою кавалерию под его начало отдам!»

Килигей не удержался от улыбки:

— Брешет, сучий сын... Обдурит и не даст.

— Даст!

Оба умолкли. Слышно было, как полнится ночь приглушенным шумом и скрипом далеко растянувшейся колонны. Пыхтят бронепоезда, медленно двигаясь по

насыпи. Всхрапывают кони. Шелестят под копытами плети придорожных баштанов. Какая-то пичужка, внезапно сорвавшись из-под копыт, взвилась вверх и, упруго звеня крыльями, растворилась в просторах ночи.

— Где же он... гонец твой?

— Привести?

— Веди.

Антон, круто вздыбив, повернул коня назад, и вскоре к Дмитро подскакали из темноты уже двое: брат и второй с ним — тот, что от батька.

Килигей, вплотную подъехав к незнакомцу, стал пристально разглядывать его в темноте. Двойник! Живая его, Дмитра, тень явилась сюда по его душу! Такой же сухощавый, по-ястребиному нахохленный, такая же на нем, как и на Дмитре, шапка кудлатая. Даже жутко стало. Ты. Ты — как вылитый. Насупленный, в шапке кудлатой... Только бомбы-лимонки как-то фасонисто на боку висят да самогоном от него разит — за это у Килигея расстрел на месте.

Килигей нагнулся к нему:

— Так это ты?

Из-под шапки, из-под насупленных бровей донеслось глухое:

— Я.

— За мной?

— За тобой.

Блеснула, свистнула сталь в руке у Дмитра, опустилась тяжким ударом. Испуганно отпрянул в сторону вороной двойника, поскакал бочком в степь, стараясь сбросить с себя непривычно отяжелевшую ношу.

Килигей оглянулся: брата рядом с ним уже не было.

Вскоре после этого, когда Дмитро Килигей снова занял свое командирское место во главе колонны, ему сообщили, что брат его Антон, с десятком ближайших

своих дружков, неожиданно отколовшись, повернул от железной дороги в степь — уж не к батьке ли Махно?

Килигей, казалось, готов был к этому известию: поднявшись в стременах, крикнул Баржаку, что оставляет его вместо себя, а сам, прихватив из первого взвода десятка полтора лучших рубак, с места рванулся в погоню.

Не было их час или больше — вернулись уже на рассвете, злые, хмурые, на взмыленных, запаленных лошадях. И сколько потом ни выпытывали — догнали или нет, так ничего не могли допытаться.

XXXII

Солнце теперь всходило в пыли и садилось в пыль.

В ней, в поднятой над степью туче, все чаще взвизгивают пули неведомых врагов, все чаще то тут, то там падает боец, извиваясь от рваных горячих ран. Выяснилось вскоре, что обстреливают колонну пулями дум-дум^[3]: такая пуля, коснувшись даже конского волоска, сразу разрывается, впиваясь в тело множеством металлических осколков... Раны от этих пуль ужасны. И все же, несмотря на обстрел, колонна упорно, верста за верстой, движется дальше.

Однако что это за тревога поднялась впереди? Почему все вдруг останавливается — и бронепоезда, и люди, и скот?

Оленчук, сойдя с воза, неторопливо принялся прилаживать над ним навес, чтоб хоть какая-нибудь защита была от солнца, а то сейчас, на остановке, оно, кажется, стало жечь еще сильнее. По всей колонне на подводах — раненые, а еще больше больных. Не хватает ни врачей, ни медикаментов, ухаживать приходится самим... На просторном возу Оленчука лежат двое: матрос с раздробленным плечом и второй

— совсем мальчик — раненный в голову разведчик из повстанческой конницы. Как за родными детьми, ходит за ними Оленчук. Специально для них держит под сиденьем в запасе несколько арбузов: когда от зноя совсем уже станет не вмоготу — смочить им потрескавшиеся от жажды губы. Вот и сейчас не спеша отрезал ножом ломоть и, хотя у самого во рту пересохло, по очереди подносит то одному, то другому, а себе... себе — что останется.

Как раз арбуз резал, когда за спиной вдруг раздался топот — галопом летела куда-то вперед вдоль колонны Килигеева конница с саблями наголо. Из клубов поднятой пыли на миг блеснул зубами сын, что-то крикнул отцу на лету, но за гулом, за топотом Оленчук ничего не расслышал.

А по колонне уже пошел, покатился говор:

— Полотно разрушают!

— Путь впереди растаскивают!

— Подцепят и волами, вместе со шпалами, с рельсами, со всем гамузом, тащат с насыпи!..

Многие из повстанцев уже хорошо знали этот махновский способ разрушения железных дорог. Запрягались волы либо люди — с полсотни человек — и, зацепив приподнятые над полотном рельсы, тащили их под откос. По инерции рельсы начинали сползать на расстоянии чуть ли не нескольких верст, вырывая шпалы и круша все на своем пути. Веселая была для махновцев забава! Но то, чем махновцы занимались порой просто для развлечения, немцы-колонисты делали сейчас со свойственной им угрюмой расчетливостью и методичностью.

С того места, где перед головным бронепоездом стоял с группой артиллеристов Бронников, даже без бинокля хорошо видно было впереди на насыпи черное скопище разрушителей с упряжками волов рядом.

Не отрываясь смотрел Бронников в ту сторону.

Немцы-колонисты... До сих пор держались будто бы в стороне, не желая вмешиваться во внутреннюю борьбу народа, а теперь, когда революции пришлось туго, они вдруг показали зубы, обнаружили свою истинную суть! Угрюмо выглядывают из садов на пригорке их кирпичные, крытые черепицей постройки, сбившиеся вокруг серой, каменной, на редкость нелепой среди этой слепящей степи кирхи... Видно, как между крайними домами колонии и насыпью железной дороги, пролегающей невдалеке, суетятся по степи темные, словно воронье, непривычно торопливые фигуры колонистов. У насыпи их целая толпа: с волами в ярмах, с цепями, которыми они оплетают рельсы вместе со шпалами, — опутывают распростертого в степи стального Гулливера.

Казалось, два века столкнулись здесь между собой: век волов и век путей стальных... Кто кого перетянет, кто кого осилит? Зацепили, тянут, все жилы напрягают, чтоб разрушить перед отступающими полотно, по кускам растащить железную дорогу. Погруженные в свое дело, и не подозревают, как близка уже от них карающая рука, как с каждым мгновением приближается к ним, огибая насыпь, килигеевский эскадрон, только концы сабель сверкают в туче пыли!

Конь Яресько будто сам знал, кого ему преследовать. С неудержимой дикой силой летел прямо на темные фигуры, что, бросив у насыпи и волов, и цепи, и крючья, в панике рассыпались по степи, мчась напрямик к колонии. «Ага! Удираете! — Душа у Яресько наливалась лютой радостью. — Не удерете! Мы вам дадим железную дорогу! Своих не узнаете!»

На миг, совсем близко, промелькнули под насыпью брошенные на произвол судьбы волы в ярмах с повисшими толстыми цепями.

Что, не вытянули? Не осилили? Под копытами коней вместо жесткой стерни уже лопаются красные арбузы,

разлетаются, раскатываются среди сбитых в клубки плетей, точно срубленные человеческие головы.

Эскадрон влетел в поселок, когда вдруг навстречу часто зазвенели пули, забахали выстрелы с чердаков, дробно застрочил где-то совсем близко пулемет. Послышались крики, храп коней, и в этом бешеном водовороте Ярьсько внезапно услышал, как вскрикнул не своим голосом Янош-мадьяр, скакавший рядом. Оглянулся — уже Яношев конь потряхивает пустым седлом. Убит! Янош убит! На миг потемнело в глазах, но, не останавливаясь, Ярьсько еще сильнее пустил коня, чувствуя, как ярость перехватывает дыхание, как боль и слезы клокочат в груди...

— Рубай! — услышал где-то над собой короткий страшный призыв, к которому все еще никак не мог привыкнуть и который даже сейчас, в такую жару, вызвал в нем леденящую дрожь. Вокруг уже шла схватка, слышны были предсмертные стоны, выкрики на незнакомом языке, а перед ним, перед Ярьсько, еще петляют вдоль улочки черные пригнувшиеся фигуры в праздничных, должно быть ради спаса (сегодня ведь день спаса!), сюртуках и шляпах. Конь уже несет Данька за таким вот убегающим сюртуком, из-под которого, поблескивая, мелькают сапоги бутылками. Было в этой зловещей долговязой фигуре колониста что-то напоминающее молодого Фальцфейна, когда он носил траур по каким-то своим лютеранским родичам и так же вот наряжался в черное по воскресеньям... Все это молнией пронеслось у Ярьсько в голове за то короткое мгновение, пока он догонял беглеца, пока настиг его с разгона на какой-то каменной лестнице. Тот споткнулся на широких ступенях, с головы его слетела шляпа, открыв светлые льняные волосы, и за спиной Ярьсько еще раз прозвучало страшное, неотвратимое:

— Рубай!!!

Рубанул, и долговязый с хрипом повалился куда-то вниз, под коня, и только теперь Яресько заметил, что разгоряченный конь его, вздыбившись, стоит на ступенях, ведущих... в кирху. Тяжелые дубовые двери открыты настежь, и оттуда, из прохладного полумрака, на них обоих — на коня и на всадника — сурово смотрят какие-то незнакомые костлявые боги.

И вдруг где-то в вышине загудело, зарокотало, запело; полились звуки — величавые, мощные... Что это? Яресько закинул голову, застыл зачарованный. Орган? За все время, что пел Яресько в асканийском церковном хоре, не слышал такой дивной музыки. Слушал так, точно само небо играло для него. Вдруг даже жутко стало ему — что-то похожее на укор слышалось в могучих раскатах: как он мог на все это замахнуться, на все это поднять свой горячий, в запекшейся крови клинок. Совсем иной мир, о существовании которого он даже не подозревал, открывался ему сейчас в этих полных гармонии звуках. Какой-то всевластной мрачной силой, как от низко нависшей грозовой тучи в степи, повеяло от этой музыки на Яресько. Слушал, жадно упивался ею. Лились и лились мощные рокочущие звуки, будто предостерегали его от чего-то, будто само небо — сквозь гул сражений, сквозь звон сабель — обращалось к каким-то иным людям, то ли к ушедшим, то ли к грядущим, среди которых уже не будет ни крови, ни резни, ни междоусобиц, а будет над всем властвовать лишь эта всепобеждающая, радующая душу красота...

XXXIII

В сухой земле у дороги саблями копали ямы и хоронили убитых. Много ближайших сподвижников Дмитра Килигея, таврийских фронтовиков, с которыми

он создавал отряд и с которыми ходил в свои славные рейды на Хорлы и на Крым, сложили в этих боях голову. Под градом разрывных пуль геройской смертью погибли Шитченко, артиллерист, Широкий Иван, матрос Толошный...

На возы, на платформы десятками подбирали раненых.

Чинили колею, кое-как строились в колонну и ползком продвигались дальше. А потом снова мрачные каменные дома колонистов на горизонте, снова ненавистное жужжание дум-дум, колонна останавливалась, разгорался бой. На помощь колонистам из глубины степей подходили кулацкие банды — не раз приходилось бронепоездам, в подмогу своей коннице, открывать огонь со всех бортов — отбивались от банд и саблями и картечью. Иногда бои тянулись часами. Не хватало воды. Вода закипала в кожухах пулеметов. Под свист и жужжанье дум-дум бежали бойцы с котелками к паровозам, но воды и там не было, — и там кончались все запасы. Даже комендоры на бронепоездах — полуголые, богатырского здоровья матросы — и те иной раз не выдерживали, в изнеможении падали возле своих раскаленных орудий.

Пока миновали это разворошенное змеиное гнездо — полосу взбунтовавшихся колоний и хуторов, — вконец измучились все, от командира до гуртоправа. Но вот остались наконец позади и пули дум-дум, и развороченные снарядами постройки колоний на взгорьях. Они еще дымились, горели, скрываясь за горизонтом, а впереди уже вольно раскинулась новая степная даль.

Нестерпимая жажда мучила людей. С тех пор как Бронников, поглядев на карту, сообщил бойцам, что скоро впереди должна быть речка, — вся колонна только и жила ожиданием.

Кое-кому становилось уже невтерпех.

— А может, ее и совсем не будет?

— Будет, будет, — хмурясь, отвечал Бронников.

И вот, когда впереди угасал яркий степной закат и вся степь как будто горела, вода блеснула наконец внизу, в ложбине! И хотя оказалась она, степная эта незавидная речонка, курице по колено — чуть живая ворошилась на дне широкой, дотла выжженной солнцем за лето балки, — все же бойцы встретили этот первый проблеск воды криком «ура».

В последующие дни колонна отступающих выросла. По пути к ней присоединялись то большими, то маленькими группами партизаны степных сел, присоединился и очаковский отряд имени матроса Вакулинчука. А несколькими днями позднее на одной из степных узловых станций состоялась встреча тавричан с остатками войск одесской группы Якира, который после сдачи Одессы тоже отходил с боями на север, держась все время, как и херсонская колонна, полотна железной дороги.

Вся огромная территория станции была в этот день заполнена войсками. Встреча двух колонн, пусть даже потрепанных, усталых, обремененных массой больных и раненых, как-то сразу влила новые силы, подбодрила людей. После неизбежного в таких случаях митинга, на котором выступили любимцы бойцов — Якир и двадцатилетний начдив Федько, — наступила долгожданная передышка. Всюду знакомились, братались — радостно, жадно. Откуда-то взялись гармошки, забренчали в руках у матросов гитары, и какой-то морячок-одессит прямо под открытым окном начальника вокзала стал лихо отплясывать яблочко.

Постепенно веселеют лица раненых, гаснет страх в глазах одесских беженцев и их детей, страх, навеянный громом английских дредноутов. Возле станционной водокачки режут волов, готовят обед на всех. В тени высоких пропыленных акаций, где встали табором со

своими лошадьми и верблюдами степовики, радостно визжит и толпится детвора. Живые, настоящие верблюды! Такого дива здесь никто еще не видывал.

— Дяденька, а как их звать? — пристают ребята к Оленчуку, кормящему своих двугорбых.

— Этого — Кузьма, а вот этого — Полундра.

— Они не кусаются, дяденька?

— А это как ты с ними обращаться будешь, — степенно поясняет детям Оленчук. — Если ты с ним добрый, так и он с тобой хорош. Когда знает, что виноват, хоть и ударь — не рассердится, а вот как ударишь зря, незаслуженно, — он тебе этого вовек не простит. Либо в хлеву где-нибудь прижмет, двинет о стенку так, что и шкура с тебя долой, либо плюнет на тебя при случае, и то ему станет легче...

На перроне стрелочники, чувствуя себя хозяевами, не без гордости рассказывают бойцам, что это как раз и есть та самая станция, дальше которой на север интервенты в свое время не прошли. Повстанческие полки — Вознесенский и другие — погнали их отсюда назад.

— А больше всех рвался в Киев знаете кто? — рассказывает сухопарый станционный телеграфист, словно жалуясь то одному, то другому бойцу. — Консул американский, полковник американской армии... Еще здесь бои идут, а он уже в Одессе свою лавочку прикрыл, консульский флаг — в чемодан и айда в дорогу. В Киеве, мол, американское консульство открывает... До самой нашей станции доехал, а тут его французский комендант за шкуру да из вагона: не лезьте, мол, в чужой огород, сэр...

— Разбушевался он тут, этот консул, — вмешался в разговор один из стрелочников. — Стереть в порошок француза грозился. Сегодня ваша, говорит, зона, завтра наша! Это Америка нарочно, мол, пустила на Украину

французов, чтоб обожглись, а потом... потом видно будет!

— Одним словом, сцепились два коршуна, — заметил, опершись на посох, какой-то дед в соломенном брыле. — Украины нашей никак не поделят...

В тени на перроне группами расположились раненые. Местные жительницы поят их молоком и жалостливо расспрашивают:

— Как же это они вас? Пулями отравленными, что ли?

— А правда, что там уже с моря на берег стальные черепахи лезут?

— Дредноуты ихние почище стальных черепах, — пробасил коренастый, с перевязанной рукой мужчина в замасленной одежде, с виду корабельный кочегар. — Одним залпом целый рыбацкий поселок сносят.

— Этакая силища... Спаси и помилуй!

— Ну да ничего, мы еще вернемся, мы еще им покажем святую Русь! — со злостью проговорил матрос с якорями на груди. — А то про святую Русь кричат, а со всеми потрохами Антанте продались...

Недолго длилась эта передышка. Не успели пообедать, как до станции стали долетать снаряды дальнобойных орудий генерала Шиллинга. Пришлось поспешно сниматься и двигаться дальше.

Уже когда колонна тронулась в путь, Леонид Бронников с платформы бронепоезда случайно заметил неподалеку Ярьсько. Данько ехал с килигеевской разведкой вдоль насыпи. Переглянулись, сдержанно кивнули друг другу. Здорово измотало за это время хлопца. После того как похоронил ближайшего друга своего Яноша, еще сильнее похудел. Обветренное, загоревшее лицо его серьезно, — куда девалась прежняя мальчишеская беззаботность, только и осталось, что глаза, — ярьсковские глаза жарко

поблескивают из-под папах и каким-то сухим внутренним огнем.

Слева от колонны разорвался на жнивье снаряд, за ним лег второй, подняв тучу ядовито-рыжего дыма и пыли... Конница понеслась вперед. Бронников, подняв к глазам бинокль, стал смотреть в ту сторону, в степь, за станцию, откуда была по ним артиллерия. «Погодите, мы еще вернемся, — хотелось крикнуть. — Откатываемся ручьями, а вернется нас сюда море!..»

Объединенной колонне южан не видно было теперь конца. Из-за горизонта выходит, за горизонтом теряется... Знали, нелегкая надет их дорога: будут еще и разрушенные пути, и сломанные хребты железнодорожных мостов, и бесконечные, выматывающие силы бои...

Пыль стоит до неба.

Верблюды истошно режут.

На платформах эшелонов вповалку лежат больные, раненые. Сотни, тысячи их, окровавленных в боях, подкошенных тифами, мучаются на подводах.

Небо и небо над ними. В зените девственно-чистое, а ниже к горизонту — бурое, сухое, тревожно помутневшее... Не угадаешь, что его возмутило — далекие ли черные бури или движение многотысячных армии, проходящих этим летом по земле.

Книга вторая

Песня и хлеб

I

И солнце светит, и снег курится... Буйный ветер гудит в ветвях обмерзших деревьев, гонит по опушке леса сгорбленную женщину с котомкой на спине.

Вокруг — ни души. Лес да поле.

Курится над полем снег — до самого солнца, туманного, еле видимого сквозь вихри снежной пыли... Уже оно клонится к западу, скоро и вовсе спрячется, станет совсем темно, а где же ей ночевать? Снова волки объявились. Давно уже не было слышно их в этих краях, а теперь все чаще подбираются к селам, захлебываясь голодным звериным воем. Одни говорят, что это к недороду, другие — что к новому нашествию.

Волчи, видать, времена настают! Там, слышно, овцу из кошары утащили ночью, а там, гонимые голодом, напали и на прохожих... Ее, мать, не должны бы они тронуть... Дикий зверь и тот, кажется, уступит ей дорогу, узнав, куда и зачем спешит она!

Случайно, от посторонних людей, узнала, что сын ее лежит в кременчугском лазарете. В бараках при махорочной фабрике открыт новый лазарет, и там он лежит.

Ноги сами несут вперед и вперед. Вьюга разгулялась — света белого не видно. Солнце зашло, быстро темнеет. В вечерних сумерках, в вихрящемся снеге тонут поля, скрывается лес... Мать идет. Не пугает ее ни метель, ни темнота — без отдыха будет идти всю ночь. Только бы не сбиться с дороги.

Воет ветер. Струится поземка. Тысячи снежных гонцов бегут впереди матери в клубящуюся метельную мглу.

Всю ночь ветер с грохотом бьет по лазаретной крыше, завывает в трубе, так и кажется — кто-то ходит, тужит в темноте под окном. Прислушивается лазарет: кто там может рыдать темной ночью под его слепыми, забитыми снегом окнами?

Холодно в бараке. Суточная норма дров давно сожжена, уже и пепел вытянуло ветром в дымоход. Дует из всех щелей, выдувает из-под плохонького одеяла и шинели последнее тепло.

Здесь и Яресько.

Свалило его, сам не знает когда. В последний раз помнит себя на коне в зимнюю лунную ночь. Полк шел по правому берегу Днепра, преследуя деникинские арьергарды. Сзади горела разбитая станция, впереди, за морем голубых, волнистых снегов, таинственно темнели какие-то хутора, доносился собачий лай...

Из последних сил держался Яресько в седле. Смертельная усталость разламывала тело, искрившиеся в снегах звезды до боли резали глаза, и заморенные кони равнодушно ступали в лунной голубой пустоте. Потом и звездное небо, и снега — все смешалось, закружилось, пока и сам он — с конем и с седлом — не провалился в какую-то звездную пропасть.

Сколько дней и ночей длилось обморочное его забытие? Пришел в себя ночью в мрачном бараке, среди таких же, как и сам, тощих, как скелеты, сыпнотифозных, лежавших от стены до стены вповалку на полу. Появилась какая-то женщина в белом и, обрадовавшись, что он пришел в сознание, дала ему пить. Потом заметил, что все соседи его лежат стриженные, как арестанты, через всю голову у них кривые зигзаги от ножниц, как на какой-нибудь асканийской овце, которая только что выскочила из-под

руки стригался... Потрогал себя за голову — тоже острижен! Там, где раньше буйный русский чуб развевался, теперь лишь колючая стерня торчит!

Обидно было сознавать, что не грек, не кадет, не петлюровские штыки, а какая-то ничтожная вошь выбила его из седла. Сколько прошел, на коне облетал, а теперь вот лежи и смотри, как лампа с разбитым стеклом в газетном абажуре всю ночь потолок над ним коптит!

Тетки-санитарки, с которыми он потом разговорился, почему-то считали его дальним, может, потому, что бродил он Крымом да крымским небом, а узнав, что он родом из здешних полтавских мест, стали радоваться за его мать, которая после стольких лет разлуки увидит наконец сына.

Не лежалось Яресько под лазаретным одеялом. Валяется тут бревном, в то время как его однополчанам, может, где-то уже степная луна светит в походе! Хотелось скорее встать и идти, идти, но тело наотрез отказывалось ему служить. Разбирала злость на свою беспомощность. Иногда ему казалось, что он теперь никому уже больше не нужен, что жизнь навсегда выбросила его из седла. Будет валяться вот так, пока не вынесут однажды утром и его из барака, как выносят других...

Шли дни, а его никто не навещал, никто им не интересовался.

И, как всегда в таких случаях, ближе всех оказалась мать.

Сначала подумал, что это сон: зашла и стала с котомкой у порога, беспокойно, как пугливая птица, оглядывая лазарет. В смущении никак, видно, не могла отыскать его глазами: много было их перед нею, и все под шинелями, все как трупы на поле боя...

Данько первым окликнул ее:

— Мамо!

Всплеснув руками, подбежала, приникла к нему:

— Данько... дитятко мое! — и залилась слезами.

Стала как будто меньше, высохла, еще больше исхудала... Только черные брови — не слинявшие, почти девичьи! — напоминают еще о былой красоте, темными стрелками разлетелись от скорбной складки на лбу.

Склонившись, мать все смотрит на него, и губы ее дрожат от сдерживаемых рыданий.

— И как только вы меня тут разыскали, — сказал сын незнакомым ей веселым баском, и нежная, мальчишески застенчивая улыбка, заиграв на губах, сразу осветила все его лицо, сделала еще более близким матери.

Он, он! За время почти шестилетней разлуки жизнь до неузнаваемости изменила его, изменила для других, но не для нее, не для матери. Приняла его сердцем такого, как увидела: кажется, таким и ждала. Юное бескровное лицо и следы знакомых вихров надо лбом... Кажется, вчера провожала его, маленького, в Каховку. Ребенком, подростком был он для нее и сейчас, в этой непомерно широкой госпитальной рубахе из казенного полотна с полотняными завязками вместо пуговиц... Не важно, что первый юношеский пушок уже темнеет на подбородке, пробивается на губе, он кажется ей каким-то ненастоящим, преждевременным. Мальчишка, да и только. Бледный, костлявый, весь даже светится... Нелегко представить было, что перед этим он уже год не вылезал из седла и наравне со взрослыми бился на фронтах за свое неуловимое счастье. Изнурительная болезнь сделала его каким-то хрупким, слабым — в лице ни кровинки, руки как щепки, только ладони непомерно широкие и огрубевшие, видно, расплуснутые рукоятью сабли, натруженные суровой мужской работой.

Вздыхнула мать, глядя на эти руки.

Успокоившись, развязала узел и стала доставать оттуда гостинцы. Совала сыну под шинель домашние ржаные лепешки, выменянные где-то кусочки сахара, сушеный терн и кислицы... Хотела дать по лепешке и соседям сына, но стоявшая у порога суровая сестра милосердия знаком предупредила, что им, дескать, нельзя.

Страдали люди, стоп стоял вокруг. Один просит воды, другой что-то бормочет, ругается в бреду. Какой-то костлявый усач неподалеку от Данька метался в жару и, вскакивая, выкрикивал в беспамятстве:

— Пли! Пли! Пли!

Страшная война продолжалась и здесь, в их воображении, не выпускала этих несчастных из своих когтей.

— Данько, — вдруг наклонилась Яресьчиха к сыну, — заберу я тебя отсюда... Дома скорее выздоровеешь.

— Вряд ли разрешат, мамо.

Как? Ей да не разрешат, родной матери не отдадут?

— Опомнись, сынку, что ты говоришь! Как это не разрешат?

— У комиссара надо просить.

— А у комиссара разве сердце каменное, разве матеря нету у него? Пойду!

Она была готова хоть сейчас бежать к комиссару.

— Подождите, мамо, не спешите... Расскажите лучше, что у нас там дома делается?

— Да что же. — Мать снова присела возле него. — Землю нам нарезали на Чернечьем, и на твою долю тоже нарезали... Кое-кто, правда, стал было ворчать, что на тебя, мол, не надо, потому как тебя уже, мол, и на свете нет. Да Цымбал, спасибо ему, не поддался. Не спешите, говорит, хоронить парня...

— Ну а как там Вутанька?

— Разве ж ты Вутаньки не знаешь: коль не смеется, так плачет. Нелегко ей, Вутаньке нашей, пришлось, особенно на первых порах, когда вернулась из Таврии — ни девка, ни вдова. Натерпелась от богатеев. Виду не подавала, а сколько слез тайком ночами пролила — одна лишь подушка знает... Потом уж легче стало, когда весточки от Леонида начали приходить...

— А я ведь, мамо, с Леонидом вместе в боях был.

— Да он же и у нас весной гостил... Доброй души, видать, человек, не ошиблась Вутанька. Недолго и побыл, а в доме после него будто светлее стало. И со мной о земле погутарил, и Цымбала расспросил, все ли идет по справедливости... Цымбал наш теперь с саженью не разлучается... Еще и солнце не взойдет, а он уже папку под мышку, сажень в руки — и айда в поле!

— Хотел бы я увидеть Цымбала с папкой, — улыбнулся Данько.

— Говорят, он в ту папку вместо бумаг оладыи кладет, — улыбаясь, рассказывала мать. — Набегается с саженью по полю, присядет где-нибудь да и перекусит... Потому как он хоть и неграмотный, да первым взялся землю размерять, почитай, что из его рук Кринички наделы получили...

Увлечшись разговором, мать, видно, и забыла, что пустили ее сюда только на часок, и потому была крайне обескуражена, когда ей напомнили, что уже, мол, пора... Пораженная неожиданным напоминанием, не стала и спорить, хотя в душе считала, что нехорошо они поступают, разлучая ее с сыном: ведь матери ему никто не заменит, а она — какая ни на есть — способна заменить ему всех самых милосердных на свете сестер. Сыну сказала, что пойдет ночевать к знакомым, а сама тем временем подалась на вокзал. Там, на вокзале, и ночь провела, прикорнув на кулаке, среди скопища

пассажиров, которые по неделе, как цыгане, толклись тут в ожидании пропусков на поезда.

//

Утром снова уже была в лазарете. На этот раз явилась прямо к комиссару.

— Отдайте мне сына!

Комиссар — пожилой, седой человек в форме железнодорожника, такой же изможденный, как послетифозные, — как раз занимался тем, что растапливал печурку у себя в кабинете.

— Сына? — покосился он на Ярьсчиху. — Это который же?

— Ярьсько... Данило Матвеевич.

Комиссар поднялся, вытер руки о штаны.

— Фронтов еще не распускаем.

— Выздоровеет — снова отдам, — пообещала мать. — Холодно же у вас! — Она даже подула на пальцы.

Комиссара это, видно, обидело.

— А где же уголь взять? — нахмурился он. — Ведь Донбасс разрушен, шахты затоплены, это вам что, а? И так вот, — он кивнул на ведро с углем возле печурки, — железнодорожники от своего пайка отрывают, хотя половина паровозов в депо без движения стоит.

— Да разве ж мы не понимаем, — сочувственно промолвила мать. — Лютые стали. За землю панскую они бы рады всех нас голодом да холодом выморить. Но все же дома легче: дровишек там у нас можно раздобыть...

Комиссар порылся в столе, пошелестел какими-то бумагами.

— А молоко дома есть?

— Скоро будет, — оживилась Яресьчиха. — Определили нам коровку, как семье красноармейца... Телка ждем.

Аккуратно подстриженные усы комиссара шевельнулись скупой, чуть заметной улыбкой.

— Ну, что же тогда... Только на чем же довезете?

— О, не беспокойтесь, — засияла мать. — Я уже подводу договорила: за воротами ждет!

Это, видно, окончательно перевесило чашу весок: отдал комиссар матери документы, разрешил забрать сына.

Вбежала к Даньку возбужденная, помолодевшая.

— Забираю тебя, сынку! Отдал комиссар! Сама буду лечить тебя дома! В родной хате скорее на ноги поднимешься...

Оживленно разговаривая, вдруг поймала на себе несколько молчаливых взглядов соседей Данька. Тоскливо сжалось сердце от этих взглядов — были в них и страдание, и зависть, и мольба. «Забери и нас отсюда», — словно просили они ее.

— Рада бы и вас, люди добрые, забрать, чтоб не мучились здесь, всех бы забрала, если б могла, — вырвалось у нее из самого сердца, и она почувствовала, как слезы сжимают горло.

Кастелянша принесла амуницию Данька, положила ворохом перед ним.

Мать помогала ему одеваться.

— Какой же ты легкий стал, сынку, — приговаривала она. — Кажется, на руках бы, как маленького, до самых Криничек донесла!

Пока он с помощью матери натягивал на себя свое солдатское добро, за воротами прохаживался около саней широкоплечий усатый подводчик, в тулупе до пят, — верно, с десятков бараньих шкур висело на нем. С недовольным видом, мрачно мерил землю крепкими сапогами, поверх которых были натянуты лапти.

Подводчик уже начинал было сердиться, когда Яресьчиха в сопровождении санитарок наконец вывела сына из барака. Не узнать было ее. Радостная, озаренная счастьем, гордо приосанившаяся, вела она сына через двор к воротам.

Вдруг сын остановился, заметив хозяина подводы и узнав в нем своего давнишнего врага Митрофана Огиенко.

— С ним? — Он кивнул в сторону возницы.

— Никого от нас больше нет, — оправдываясь, пояснила мать. — И то посчастливилось: он в тюрьму с передачей приезжал. Сын тут у него сидит.

Данько насупился:

— Лучше пешком, чем с таким гадом!

— Вот тебе и раз! — забеспокоилась мать. — Куда уж тебе пешком: от ветра валишься!

— Враг? Не беда! — подбодрил парня комиссар. — Поезжай и на враге, пусть везет...

Между тем Огиенко, заметив, как парень пререкается с матерью посреди двора, приблизился к воротам и, делая вид, что он обрадован, приветливо замахал молодому Яресько кнутом:

— Давай, давай, герой! Отрывайся от матери — на своих собственных ходить учись!..

И, в знак уважения к пассажиру, он начал взбивать кнутовищем солому в санях.

Данько совсем обессилел, пока, опираясь на материнское плечо, добрал до саней.

— Не взыщи, Матвеевич, что на соломенной трухе придется сидеть, — пошутил хозяин, взбив солому подушкой. — Сенцо, брат, разверстка съела...

Данько сел спиной к вознице — он не мог скрыть своей неприязни к нему.

Пока Яресько прощались с госпитальными, Огиенко тоже сел и поднял кнут.

Полтавский большак, ночевка у знакомых людей, и на следующий день под вечер они уже подъезжали к Криничкам.

Дорога идет вдоль леса. Весь лес в инее, в хрупком, сказочно роскошном наряде. Серебристый, светлый, притихший, словно ждет чего-то, к чему-то прислушивается... Тишина вокруг такая, что, наверное, за версту слышно, как скрипят по снегу полозья, как дятел долбит где-то мерзлую ветку. Бегут сани, клубами валит пар от лошадей.

Данько, посиневший, нахохлившийся, сидит возле матери, подняв воротник шинели, жадным взором из-под папахи окидывает родные места. Хотелось, чтоб и Наталка все это видела. Показать бы ей этот — в инее — лес, повести бы ее за руку в его белоснежные, будто насквозь просвечивающие и все же таинственные глубины... Степнячка, она никогда не видела настоящего леса, никогда над ней не склонялись вот так сияющими гирляндами пушистые, кристальной чистоты, никем не тронутые ветви! И касаться их нельзя: кажется, коснись одной веточки — и весь лес со звоном рассыплется, вмиг разлетится на осколки...

Тишина, тишина вокруг — глубокая, торжественная. Не шелохнет. Только изредка то тут, то там хрустнет дерево или вверху застучит дятел, словно передавая кому-то сигнал в глубину леса. Лишь с красотой весенних цветущих садов может сравниться этот окутанный зимними чарами лес. В каком-то величавом спокойствии, в немом очаровании стоят непривычно светлые в инее ольха и берест, могучие, точно выкованные из серебра дубы...

Это уже были хорошо знакомые Даньку места, с детства исхоженные им вдоль и поперек. Не раз

забрёдал он сюда на лесные свои промыслы за хмелем и кислицами или вместе с товарищами — целой ватагой — выходил встречать родителей, возвращающихся из города. Помнит, вот здесь он поджидал отца; всегда тот ехал с ярмарки веселый и непременно с гостинцами. Раздевшись дома, сразу же брал на руки тогда еще совсем маленького Данька и тетешкал, подбрасывая под потолок, с шуточными припевками-приговорами:

Ой, чук, чук, чук,
Недалеко Кременчук.
А ще ближче Говтва,
Сорочечка жовта!

Веселым, с гостинцами, с шуточными припевками — таким сейчас вспомнился Даньку отец и никак не выходил из головы. Может, потому, что рядом, в санях, заняв половину их своим дубленным тулупом и мирно помахивая кнутом на лошадей, сидел как раз один из палачей отца, один из тех, кто чинил над ним самосуд в ту далекую бунтарскую ночь...

Огиенко, зная свою вину перед молодым Яресько, пытался в пути то так, то этак завязать с ним разговор, однако из этого ничего не вышло: буркнув слово-другое в ответ, Яресько снова надолго умолкал. Почему-то он твердо был уверен, что в лице этого закутанного в тулуп, совсем будто бы смирного человека еще и он встретит лютого, смертельного врага. На словах этот земляк вроде бы и добрый, даже попону дал матери, чтобы прикрыла ноги больного. Но чувствуется по всему, что, будь его сила, Огиенко истребил бы и Яресько, и его мать, и весь их род. И странно, что мать будто уже не чует в нем врага, будто и думать не хочет о его затаенной злобе и слышит только его, Огиенково, горе, которым он делится с нею.

— Вот так-то, Мотря, — вздыхает он, — ты своего домой везешь, а я своему каждую неделю только передачи вожу.

— Так уж, видно, суждено.

— Да за что же суждено? Не виновен же мой и вот столечко!

— Если не виновен — выпустят.

— Ну да, жди! Туда ворота широкие, да только назад узкие. — Сказав это, Огиенко вдруг обернул к Яресько свое раскрасневшееся с мороза лицо с обмерзшими, обвислыми усами. — Данило! Нет ли там у тебя какого-нибудь знакомого в кременчугской чека?

— А хотя бы и был, так что?

— Трудно правды добиться, если не имеешь там руки... Взяли, посадили парня, а спроси — за что? С Варшавой, говорят, связан... Да кто же это докажет? Кто слышал от него что-нибудь против? Мы с Советской властью не воюем, мы ее хлебом кормим. Наше дело хлеб растить, а ее дело — кушать!

С этими словами Огиенко так замахнулся на лошадей, что задел кнутом за ветку, сбив целое облако инея.

— Кому совсем невтерпеж, тот себе дорогу нашел, — снова заговорил Огиенко погодя. — К Скирде вон либо к Ганнусе махнул. Не гордая, примет!

Данько удивленно обернулся к матери: «Что это, мол, за Ганнуса такая?»

— Да это же давняя попутчица твоя, тавричанка, — сказала мать, с тревогой посмотрев на лес. — Ганна Лавренко. По хуторам ее Ганнусей зовут!

— Лихая девка! — оживленно подхватил Огиенко. — Подобрала себе вот таких, скажем, как ты, орлов, и пошла с ними по Украине гулять! В белом платье, говорят, носится на коне, а за ней табуном — матросня, рубаки! Кто лучше всех покажет себя в бою, кто больше

всех неприятелев порубит за день, того она на ночь... к себе берет.

Яресько слушал и ушам своим не верил. Ганна... Вечная батрачка, та, что вместе с ними в Каховку ходила, вместе с батрацкой голытьбой на степных таборах горе мыкала. И это она теперь бандиткой стала?

— Давно уже о ней у нас тут не слышно, — заметив, как это поразило сына, успокоительно промолвила мать. — Может, в другие края перекинулась, а может, и вовсе где-нибудь забубенную свою головушку сложила...

— Все может быть, — со скрытой насмешкой заметил Огиенко. — Может, в Гуляй-Поле у батька гостит, а может, и здесь вот, в этом лесу, коней кормит да нас с вами поджидает.

И, откинувшись назад, с размаху стеганул лошадей кнутом.

Замелькало, пробегая мимо, хрупкое, сияющее лесное царство... До сих пор Яресько как-то и в голову не приходило, что этот чистый лес его детства, эти застывшие в светлом зимнем очаровании деревья могут таить в себе какую-нибудь опасность. А сейчас, после загадочных слов Огиенко, из глубины леса, из его хрустальных, увешанных белоснежными гирляндами пещер вдруг дохнуло неведомой угрозой, и голубые вечерние тени, окутывая лес, казалось, уже населяют его толпами лохматых загадочных призраков.

Дорога между тем свернула от леса и пошла напрямик через пойму реки, и взору открылось небольшое село под горой со знакомой деревянной церквушкой.

Высокие дымки поднимались над трубами, таяли в морозном предвечерье...

Это уже были Кринички.

На косогоре, в вишняке, присела, притаилась отцовская хата. Завалена снегом, подперта по углам кривыми, почерневшими от времени бревнами... Зато из дому — с улицы видать — пышет огнем, веет теплом, буйным пламенем пылает печь, и на ярком фоне этого пламени то и дело появляется знакомая фигура: сестра! То наклонится, то выпрямится возле печи, — видно, ужин готовит.

Уже Данько с матерью был почти у двери, как вдруг откуда ни возьмись выкатился ему под ноги кудлатый щенок, запрыгал, затявкал с забавным усердием. Мать прикрикнула на него, отгоняя:

— Пошел вон, Колчак! — но тот не унимался и все норовил вцепиться в истрепанную шинель молодого хозяина.

На гомон выскочила Вутанька.

— Кто это здесь воюет? — И, разглядев в сумерках приезжих, бросилась к Даньку. — О боже милый! Братик!

Горячая, покрасневшая от жара печи, схватила продрогшего с дороги вояку в объятия, обдала печным духом и почти внесла в дом на упругих, сильных своих руках.

Пока мать подтягивала фитиль в каганце (чтоб сыну светлее было в комнате), Данько, прислонившись к теплой печи и отогревая заочерневшие руки, следил, как Вутанька, наводя порядок, порхает по хате. Кажется, совсем не изменилась за это время! Как и раньше, вишнево горят румянцы на смуглых, с ямочками щеках, жарко блестят, светятся по-девичьи озорные глаза... И сама вся еще как девушка: подвижная, легкая, стройная. Ситцевая голубенькая кофточка туго облегает талию и высокую грудь... Как-то

удивительно было слышать, что это к ней, к Вутаньке, тихонько обращается откуда-то с печки приглушенный детский голосок:

— Мамо... слысите, мамо... где мои станы?

— Зачем тебе штаны, печушник? — обернувшись на голос сына, засияла Вутанька. — А ну-ка, вылезай, покажись дяде! Вот теперь дядя у тебя есть! Бабуня привезла!

На печи послышалось сопение, какая-то возня и потом:

— Я без станов не вылезу...

— Вот тебе и на! — засмеялась Вутанька. — Ну ищи, куда же ты их задевал?

— Давай-ка я тебе помогу, — наладив каганец, сказала внуку бабушка. — Так ждал, что приедет отец или дядя, теперь забился в нору, и на свет тебя не выманишь. Окрайца от зайца хочешь, Василек?

— Хоцу.

Она достала из котомки краюшку своего же домашнего хлеба, насквозь промерзшего, искрящегося от мороза.

— На, это мы с дядей для тебя у зайца отняли.

Соблазненный краюшкой, спустился наконец с печи на лежанку сам Василько — белоголовый, лобастый карапуз. Подошел к краю лежанки в штанишках из домотканого полотна с лямкой через плечо, остановился, насупившись.

Данько внимательно вглядывался в племянника. Насупленный, не по-ярьесковски белобрысый, а глаза... вылитый Бронников!

Он протянул ему руку:

— Ну здорово, Бронников.

— Длас-туй-те.

Так они познакомились. Но по-настоящему Василько признал дядю лишь после того, как тот снял шинель, и

всю хату сразу словно озарило красное галифе, а на сапогах сверкнули настоящие кавалерийские шпоры.

— Спо-лы... А где же вас конь и седло?

— Эх, брат Василько, — невесело улыбнулся дядя. — Сам бы я хотел знать, где сейчас мой конь да седло.

— Рано тебе еще о седле думать, — прикрикнула бабушка на внука. — Марш на печь! Твое еще там, хлопче...

Вутанька, присев возле брата и нежно поглядывая на него, расспрашивала о здоровье, потом вдруг похвалилась, что недавно получила письмо от своего Лени.

— Три недели шло: откуда-то со станции Апостолово... Ты не знаешь, где это Апостолово?

— Апостолово, а там и Берислав, Каховка, Чаплинка, — задумался Данько. — Если б не эта моя дурацкая хвороба...

— Леня там и о тебе пишет, — поспешила утешить его сестра. — Очень, говорит, сожалели о тебе, славный разведчик был.

И, заметив, как при этом повеселел брат, Вустя кинулась искать письмо, спрятанное где-то за иконой в углу.

— На вот, лучше сам почитай.

— Еще не начиталась, — строго сказала мать, увидев письмо в руках Вусты. — Каждый вечер вместо молитвы на сон грядущий... Ступай корыто принеси!

Вутанька, вскочив, быстро внесла из сеней деревянное долбленое корыто, то самое, в котором мать купала Даньку, когда он еще был маленьким.

— А вы как бы хотели, мамо? — поставив корыто перед братом, снова вернулась к тому же Вутанька. — Столько времени не было никакой весточки, и вдруг... из какого-то Апостолова. Далеко это, Данько?

— А ты что, — усмехнулся брат, — уж не задумала ли туда махнуть?

— О, если б только знала, что застаю его там!.. На крыльях бы полетела!

— Опомнись, шалая! — выпрямилась у печи старуха. — Выбрала время, чтобы летать!

— Ганна летает же? — озорно блеснула глазами Вутанька. — Почему же нам нельзя?

— Да, расскажи, что это тут у вас с Ганной стряслось, — спросил Данько. — Мне просто не верится...

— Длинная песня, — живо заговорила Вутанька. — А только я думаю, что во всем этом в первую голову дядьки ее виноваты. Как хотели когда-то продать ее молодому Фальцфейну, так теперь атаману Щусю банду продали! Бандиты сами, бандиткой и ее сделали!

— Тише, — оглянулась мать на окна и, отстранив Вутаньку, стала рассказывать сыну обо всем этом посвоему. — Соли тогда как раз у людей не стало, так Сердюки в супряге с гноевщанскими монахами махнули по чумацким шляхам через всю Украину на Сиваш за солью: там, дескать, ее сколько хочешь, даром нагребем... Да не те, видать, времена, чтобы чумаковать: не дойдя до Перекопа, где-то в пути попали в ватагу к махновскому атаману Щусю. Налетели с ним потом сюда, да и Ганну подхватили...

— Сама я не видала его, — добавила Вутанька, — но, говорят, красавец матрос по хуторам всех девок с ума посводил.

— Скатерть неразрезанных керенок оставили Сердюки Лавренчихе за дочь, — полушепотом рассказывала мать, — а сами, говорят, за нее горшок золота взяли!

— А где же они сейчас промышляют? — спросил Данько.

— Говорят, и до сих пор они при Ганне оба, — громко сказала Вутанька. — Она теперь, после того как ее Щусь пулю схватил, сама над всей бандой атаманит!

— Да хватит о ней, — оглянувшись на окна, предостерегающе промолвила мать. — Лучше меньше поминать ее, на ночь гляючи. — И — Вутаньке: — Подика окна позакрывай. Да корове на ночь корму подбрось, да потом сбегай к Семенихе постного масла займи.

— Ох и свекровь же кому-то достанется, — одеваясь, лукаво стрельнула глазами Вутанька. — Живет где-то девушка и не знает, что ее тут ждет! — И, засмеявшись, выскочила из хаты. Через минуту она уже громыхала под окнами, навешивая обмерзшие камышовые маты, которые зимой служили им вместо ставен.

V

Когда Вутанька вернулась от соседей, Данько, уже вымытый, в чистой отцовской рубашке, сидел за столом, склонившись над письмом Леонида.

«Дорогая, горячо любимая жена и подруга моя, Вутанька! — ложились мелкими строчками непривычно откровенные, непривычно нежные в устах комиссара слова. — После того как мы в последний раз обнялись и поцеловались с тобой в конце села...» Это все к нему не относится. Ага, вот и о нем... «Данька оставили в Елисаветградском уезде, у него был тиф, а он долго не признавался. Вместе с другими отправлен в г. Кременчуг...» И дальше — что жалеют о нем в полку... Остальное — почти до самого конца — о сыне. Как растет, да часто ли вспоминает, и — береги, береги, береги...

Сложив письмо, Данько встал и, задумчиво прохаживаясь по комнате, словно ненароком заглянул на печь к Васильку. Мальчонка уже крепко спал, подложив кулачок под щеку, улыбаясь чему-то во сне. Юный Бронников. Где отец, а где сын. Интересно, что

сейчас снится мальчику, каким своим немудреным радостям так мечтательно улыбается он? Смотрел, и так вдруг хорошо, светло стало у Данька на душе, будто улыбалось ему его собственное детство с вихром на темени, с холщовой лялочкой через плечо.

Рад был, что вырвался из лазарета. Видно, нет-таки в мире лучшего лекарства, чем материнская ласка, ничто на свете не может сравниться с этим родным теплом, покоем и домашним уютом, от которых он так отвык на бурлацких бездомных дорогах. После суровых лет батрачества и бесконечных боев все его тут как бы ласкало, все ему по-новому нравилось: и заботливая материнская воркотня, и веселая неугомонность Вутаньки, и висячий шкафчик с яркой посудой, и посыпанный свежей золотистой соломой земляной пол. Вот тут, смеясь, отец подбрасывал его под самый потолок... Дубовая матица прогнулась, потемнел от времени, но еще крепко держит всю кровлю на своем кряжистом хребте. Сколько он еще выдержит, сколько проживет?

Ужин был как в сочельник: Данька посадили на почетное место, под образами, мать с Вутанькой сели по бокам. И хотя небогато было на столе, но эта горячая картошка в кожуре и хрустящие, точно с гряды, огурчики из погреба, да и румяные, только что со сковородки гречневые блины с душистым подсолнечным маслом показались Даньку самой вкусной в мире едой.

— Как будто сразу здоровее стал, — признался он после ужина, даже не подозревая, как этим обрадовал мать.

Где же ему постелить?

Мать была за то, чтобы на печи, Вутанька — чтобы на лежанке, а сам Данько остановил свой выбор на широкой деревянной лавке, занимавшей весь угол под жердью для одежды, где когда-то спал отец.

Скоро и улеглись. Потушив каганец, долго еще разговаривали в темноте. Вутанька жадно расспрашивала, где он успел побывать за это время, а мать, узнав, что совсем недавно Данько принимал участие в освобождении Киева, и сама заговорила о Киеве, стала вспоминать, как еще девушкой ходила с односельчанами в Лавру на богомолье. Данько с детства знал этот похожий на сказку рассказ матери о том, как шли они много дней по пыльным дорогам с торбами за спиной и как однажды под вечер далеко впереди, словно в небесах, увидели наконец залитый солнцем златоверхий город на святых надднепровских холмах. При виде его все богомольцы упали на колени и, плача, молились на те горы, на те далекие золотые купола, горевшие в ярком свете заката. Давно это было. А теперь вот, совсем недавно, он — не на коленях, а верхом на коне! — влетел в этот город, саблей прокладывая путь среди золотых его куполов!

Это было уже в конце их многонедельного перехода из таврических степей на север, в район Житомира. Дождливой осенней ночью в пущах Полесья объединенная колонна южан наконец встретила с регулярными советскими войсками — передовыми частями Двенадцатой армии. Невероятно тяжелый, с бесконечными боями поход остался позади. После такой дороги можно было ожидать и передышки, однако отдыхать не пришлось: Двенадцатая армия готовилась к наступлению на Киев, и Таврийский полк, как один из наиболее испытанных, в ту же ночь получил боевое задание.

Шли лесом, незнакомой дорогой, словно сквозь первобытные дебри, продираясь в сплошной темноте по заданному маршруту. Знали, что в эту же ночь где-то с другой стороны, из черниговских лесов, на Киев ведут наступление черниговские партизаны, славные богунцы.

Темно — ни зги не видно. С храпом проваливаются кони на укывшейся под валежником мочажине, отовсюду тянет сыростью, терпким духом прелых листьев. А вверху, перекатываясь, как море осеннее, шумит и шумит лес вершинами дубов и сосен.

Хлюпает и хлюпает болото под ногами, бьют в лицо ветки, густой мрак леса окутывает бойцов со всех сторон — такого никто из выросших в степи чабанов-тавричан еще и в жизни не видел. Однако, несмотря на усталость, валившую с седла, на тьму, которая острыми ветками колола глаза, все были исполнены порыва и решимости во что бы то ни стало пробиться к Киеву, овладеть им навсегда.

— В Киев, а там хоть и под коня! — выразил тогда их общую мысль студент Алеша Мазур. Раненный в одном из последних боев, он едва держался в седле.

Сурово, по-осеннему, шумел над головой лес, и в его бескрайнем шуме степнякам слышался то шелест ковыля, то рокот волн у родных морских берегов, оставленных далеко на юге. Для Ярьсько лес не был диковинкой — все птицы его детства, казалось, дремали в этих чащах, а терпкий запах мокрых листьев, грибов, муравейников и этот суровый лесной шум над головой — то грозный и глухой, когда колышется дуб, то нежный и грустный, когда качают вершинами сосны, — как они тревожили душу после стольких лет разлуки, после того как за свистом степных буранов хлопец начал было уж забывать гомон полтавских рощ... Было в нем, в этом лесном осеннем шуме, что-то родное, что-то от голоса матери, до боли печальное и прекрасное. В ту ночь Данько много думал о матери и о том, как она ходила девушкой в Киев на горькое свое богомолье.

А утром полк вышел на открытую опушку и остановился, пораженный зрелищем невиданной

красоты: далеко на горах перед ним распахнулся златоверхий Киев!

Из мглы небосвода, из глубины ненастного осеннего неба выплывали золотые маковки его соборов, сияли навстречу, как огромные, достижимые для человека солнца...

Смотрели на них бойцы-тавричане, смотрели изнуренные кони, смотрели и степные двужильные верблюды, которые дошли сюда из присивашских солончаков и теперь тянулись в сторону незнакомого златоверхого города своими добрыми азиатскими мордами.

Ветер шумел за окном, навеяв воспоминания о недавних боях, о товарищах. Грусть все больше охватывала Данька. Сколько друзей растерял по пути: Яноша в колониях похоронил, Алешу-студента где-то в Киеве в госпитале оставил...

А Вутанька с лежанки уже рассказывала ему о чем-то совершенно другом, о здешнем:

— У нас, Данько, скучать не будешь! Как выздоровеешь, мы тебя в артисты запишем, на сцене будешь играть. — И в голосе ее слышалось радостное волнение.

Данько стал расспрашивать, что это за сцена, о которой раньше в Криничках и не слыхивали.

— Решили: жить так жить! — горячо говорила сестра. — В панской экономии Народный дом открыли, сцену построили, там и выступаем. Сначала было как-то чудно, а теперь всем полюбилось, даже и старики не чураются.

— Это какие же старики? — осуждающе отозвалась из темноты мать. — Не дед ли Винник?

— А хотя бы и дед Винник! Он у нас Гришку Распутина играет!

Данько и Вутанька засмеялись, а мать недовольным топом заметила:

— Сам он Распутин, твой дед... третий год не говееет. То все по свадьбам каблуки бил, а теперь уже на комедии перекинулся...

— Что же вы ставите? — спросил Данько.

— «Наталку-Полтавку» чаще всего, а недавно «Марата» ставили, — рассказывала сестра. — Эту пьесу мы красноармейцам показывали, они у нас тут с неделю стояли. Хорошая пьеса, только петть нечего — стрельба; мне там нужно было Грицька Титаря кинжалом закалывать. А на днях вот Нонна, поповна, новую пьесу из Полтавы привезла: «О чем шумел ковыль» называется...

— Не слышал такой...

— В субботу будем роли распределять... Я сама еще не знаю, о чем это и какая там роль мне достанется.

— Будет уже тебе, — остановила мать Вутаньку. — Даньку спать пора. И так заговорились.

Стало тихо. Некоторое время еще слышал Данько, как ветер тормозит за окном камышовые маты, поет в них заунывно, грустно, словно степные ковыли шелестят. И сразу же перед глазами Данька открылась, поплыла, волнуясь ковылями, залитая солнцем таврийская степь, и синеокая девушка, улыбаясь, приближалась к нему, брела по пояс в этих поющих, медленно переливающихся на солнце травах... Это уже был сон.

VI

— Выглянула бы, доченька, не топится ли там у кого-нибудь из соседей, — обратилась утром мать к Вутаньке, умывавшейся у порога. — За огоньком нужно сбегать...

— Как бы по так! — засмеялась Вутанька. — Разживешься у них огня. Они сами ждут, когда мы

затопим! — И весело объяснила брату: — Спичек в селе нет, потому-то утром каждый и выжидает, у кого раньше над хатой дымок взовьется...

— Там у меня в кармане кресало должно быть, — вспомнил Данько. — Василько, а ну-ка поищи.

Василько был рад стараться. Нашлись в кармане и кресало, и кремь, и фитиль... Целое богатство! С радостным ожиданием смотрела вся семья на сухие, исхудалые Даньковы руки, готовившиеся добыть огонь при помощи этого нехитрого приспособления. Васильку впервые приходилось видеть вблизи такую штуку, и он дух затаил, неотрывно следя за малейшим движением дядиных рук... Неужели же из этого и в самом деле может быть огонь? А дяди, приладившись, ударил железкой по кремню раз. Ударил два. Подул легонько, потом посильнее, и... появился огонь!

Вскоре веселый дымок — первый на все село — заструился из трубы Яреськовой хаты. Рос, поднимался столбом все выше и выше в морозное утреннее небо.

И тут началось: скрип да скрип, хлоп да хлоп... Одна за другой вбегали с улицы шустрые, как синички, молоденькие соседки, которых Данько, может, и знал когда-то в детстве, но теперь они так повырастали, что и по узнать... В ожидании, пока Яресьчиха нагребала им в черепок вишнево-яркого жара, девчата молча стояли у порога и, сдерживая жгучее любопытство, украдкой поглядывали в сторону молодого Яресько. Суровый с виду, стриженный да худущий лежит, однако ж добыл им этот драгоценный огонь!

Брали свои черепки и, дуя на горящие угли, разбегались с ними по всем окрестным дворам. Данько после того только и знал что расспрашивал, чья да чья.

— Быстроглазая, шустрая — это Семенихина, — объясняла мать, — а та, что с маленьким черепком, — Илькова, а третья — даже и не с нашей улицы забежала, не знаю и чья.

— Прослышали уже, — улыбнувшись, лукаво подмигнула Вутанька брату, — зачужали жениха. Держись!

И, накинув платок, весело подхватив на руку ведро, ушла хлопотать по хозяйству.

Однако вскоре она снова вбежала в дом, чем-то расстроенная, взволнованная.

— Мамо! Что это за мешки у нас в хлеву, мякиной засыпаны?

Мать словно и не расслышала: как возилась у шестка, так и продолжала возиться, еще глубже подавшись туда, в пылающую печь.

— Стала набивать мякину и вдруг наткнулась на что-то твердое, — взволнованно рассказывала Вутанька, обращаясь теперь больше к брату. — Разгребаю дальше, а там два большущих мешка с зерном.

Мать наконец выпрямилась, не спеша стала вытирать руки о фартук.

— Не дед ли мороз подкинул ночью? — улынулась как-то неловко. — Пронюхал, может, что у нас в бочке одни высевки остались, да и подбросил на кутью...

— Ой, что-то здесь не так! — внимательно всматриваясь в лицо матери, воскликнула Вутанька. — Не такой дед-мороз щедрый, чтобы пшеницей разбрасываться! Два таких лантуха, что и с места не сдвинешь!

— Ну чего ты раскричалась, дочка? «Лантухи, лантухи»... Ты же их туда не прятала? Разгребла, увидела, да и снова засыпала бы.

— Прятать? От кого? — вспыхнула Вустя. — От тех, что на фронте? Что на голодных пайках сидят?

— Тише, Вустя! Еще люди услышат...

— Пусть услышат! Пусть знают! В волость продотряд прибыл, за каждое зернышко людей трясут, а здесь... По правде скажите, мамо: откуда это?

— Не бойся, не краденое.

Вутанька с решительным видом шагнула к двери:

— Пойду в ревком! Может, зерну этому давно уже следует быть на станции, в вагонах!

— погоди, — удержала ее встревоженная мать. — Кидаешься как оглашенная... Сядь.

Дочь отступила к лавке, села. Мать некоторое время стояла посреди хаты, сложив руки на груди, как для молитвы.

— Подумайте: весна придет, земля теперь своя, а чем сеять? Всего и зерна осталось, что узелок гречихи да проса в чулане... А кто даст? Кто займет? — Мать вздохнула. — Сознаюсь вам, дети: мой грех. Никого никогда не обманывала, а тут на старости лет... — Она закрыла лицо руками. — Кто его знает, как оно там дальше будет. Не ради себя... ради вас же, ради Василька грех на душу взяла!

И, перекрестившись на иконы, мать стала рассказывать.

Ночью вышла она с фонарем к корове и уже возвращалась в дом, как вдруг кто-то из-за угла — шмыг! — навстречу. Испугалась, думала, бандит какой-нибудь из леса. Ан нет: «Свои, свои! Не бойся, Мотря». И кто бы вы думали? Огиенко! Митрофан Огиенко! Так и так, говорит, как хочешь, а выручай. Едут из города разверстку выкачивать, хотят весь хлеб выгрести под метелку, так позволь хоть мешок какой-нибудь подбросить к тебе в мякину: ты — беднячка и у тебя искать не будут...

— Стала я отказываться, а он и слушать не хочет, откуда-то из-за хлева тащит с зятем мешки. «Вот, говорит, побереги это, пусть полежит. Придет время — не обижу, знаю, что теперь у тебя едоком больше в доме».

Слова эти, видимо, больно задели Данька, но он все же смолчал. Зато Вутанька была сама не своя от возмущения.

— Кровопийца! Паук! — вскочив с места, взволнованно выкрикивала она. — За нашей спиной укрыться хочет! Опять пособников ищет!

— Так-то оно так, детки, да год трудный...

— Никто не говорит, что легкий, — все больше распалялась Вутанька. — Нам трудно, а рабочим каково! Ленин на восьмушке живет!

Мать задумалась. Она уже и сама, видно, не знала, как ей избавиться от этих мешков.

— Знаете что? — сказала она, обрадовавшись пришедшей в голову мысли. — Побегу-ка я сейчас к нему. Скажу, пускай сегодня же назад забирает. Как стемнеет, так пускай приедет на санях и заберет.

— Чтобы в ямах погноил? — воскликнула Вутанька. — Нет уж, дудки! Раз уж я этот хлеб нашла, то я им и распоряджусь. Мой он теперь!

Мать остолбенела.

— Вустя!

— Да, да! — весело притопнула ногой Вутанька. — Я его, мироеда, научу, как прятать!

Данько не мог удержаться от смеха.

— А ну, научи, научи, — подзадоривал он сестру. — Помоги ему выполнить разверстку!

— Помогу!

По тому, как сверкнули глаза Вутаньки, по тому, как решительно она взялась за щеколду, мать поняла: теперь ее уже ничем не отговоришь, ничем не остановишь... Да и нужно ли останавливать?

VII

Впрягшись в санки, покрасневшая от мороза и напряжения, Вустя тащит вверх по улице тяжеленные мешки. Сзади санки подталкивает соседская девочка, пожелавшая ей помочь, да свой доброволец Василько,

еле видный из-за мешков, туго набитых пшеницей. Мальчик так пристал, что отвязаться от него никак было невозможно. А теперь приходится то и дело оглядываться, чтобы мешки случайно не свалились назад да не придавили сына... Честно трудится малыш — слышно, как он пыхтит за санями, спотыкаясь в скользких бабушкиных истоптанных башмаках.

Улочка, которая вела на выгон к общественному амбару, поднималась все круче, тащить было все тяжелее, но чем тяжелее было везти, тем легче, тем радостнее становилось на душе у Вутаньки. Хотелось, чтобы Леонид увидел ее в эту минуту оттуда, издалека. Увидел бы, как вместе с сыном она, не щадя сил, подымает на гору нелегкое свое хлебное счастье в надежде, что оно, быть может, разыщет где-то в походе его, комиссара, и впроголодь воюющих его бойцов... Все тело горит от напряжения, чуть не до земли припадает она в своей упряжке, а на сердце так хорошо-хорошо!

На горе возле настезь открытой двери склада дымят самокрутками мужики, и первый, кого заметил в толпе Вутанькин зоркий глаз, был как раз он, Митрофан Огиенко. Красный, как после чарки, в бекеше, отороченной серой смушкой, он рассказывал мужикам что-то веселое и сам громко хохотал... Увидев еще издали Вутаньку и ее поклажу, он вдруг осекся на полуслове и уже не мог оторвать глаз от огромных, сшитых из новой дерюги мешков, тяжело, как кабаны, развалившихся поперек саней.

— И откуда это у тебя, Вустя, такие запасы? — с удивлением спросил кто-то из мужиков, когда она приблизилась к амбару.

— Везет же молодке — среди зимы уродило!

— И прямо на голодную кутью!

— Или это, может, тот, которого из-под шапки не видать, за себя разверстку приволок?

Подтащив санки к двери, Вутанька не торопясь выпрямилась. Встретилась взглядом с Огиенко и заметила, как тревога заметалась у него в глазах.

— Чего же вы стоите, дядько Митрофан? — обратилась прямо к нему. — Подсобили бы, что ли!

— Да и то правда, — пошел к мешкам Цымбал с заткнутым за ухо огрызком карандаша. — Не женщине же таких кабанов ворочать. А ну-ка, берись, Митрофан. Огиенко уже овладел собой.

— А что же, мы не из ленивых, — сказал он и, поплевав на руки, крепко ухватился за мешок.

Долговязый Цымбал сначала едва не выпустил мешка из рук. Пятясь с мешком к помещению, он даже пошатнулся под непривычной тяжестью, а Огиенко только пыхтел и отдувался, по-медвежьи переступая за ним на склад. Никак, видимо, не ожидал он, что придется сегодня тащить через порог свои собственные мешки.

— На такой груз у меня и гирь не хватит, — весело засуетился Цымбал, когда оба мешка горой легли на весы.

Смешно было Вутаньке глядеть, как Цымбал бегал вокруг весов с засунутым за ухо карандашом, как, сгорбившись, чем-то пощелкивал там у себя на весах... Темный да малограмотный, а когда пришлось, так и землю помещичью саженью перемерил и уже у весов вот стоит, как журавль, разверстку принимает...

— Хороша пшеничка, хороша, — причмокивали дядьки, когда хлеб уже был взвешен и отставлен в сторону, к сусекам. — Зернышко к зернышку!

Взял горсть зерна и Огиенко:

— И-да... Как слеза. Будет кто-то кушать паляницы.

— Давайте его сюда, — распорядился Цымбал. — Берись, Митрофан, подсобляй уж до конца.

Полилась в сусеки пшеница — Цымбал старательно вытряхнул мешок, потом и второй...

— Э! Люди добрые! — вдруг удивленно воскликнул он. — Да тут, внутри, и пометка какая-то поставлена... Бублик какой-то, вроде как «о»! А ну-ка смотри, Митрофан, не твое ли это клеймо?

— Нет, не мое, — отвернулся Огиенко.

— А вы лучше, лучше присмотритесь, дядько Митрофан, — сказала Вутанька.

— Ей-же-ей, вроде твое, — не унимался Цымбал и стал выворачивать мешок клеймом кверху.

Огиенко в бешенстве вырвал мешок у него из рук.

— Забирайте, забирайте, дядько. — Вутанька, улыбнувшись, подбросила ему ногой и второй мешок. — Вам в хозяйстве сгодятся, а мне они ни к чему.

— Москва для вас гору фабричных пришлет, — огрызнулся Огиенко. — На всю жизнь хватит!

И, сунув кое-как скомканные мешки под мышку, он пулей вылетел со склада.

Мужики долго хохотали ему вслед. А Цымбал, развернув квитанционную книжку, степенно достал из-за уха свой карандаш.

— На кого же квитанцию выписывать? — обратился он к Вутаньке и, кивнув в сторону Василька, который пошмыгивал носом возле санок, полушутя добавил: — Не на него ли?

Вутанька некоторое время стояла в раздумье.

— А пожалуй, как раз на него, — серьезно произнесла она. — Так и пишите: «От Василька Красной Армии в дар».

VIII

Пока Вутанька сдавала хлеб, мать места себе не находила: никак не могла успокоиться, все ждала, с чем возвратится дочь со склада? Старухе почему-то казалось, что это не может кончиться добром. Она то и

дело прикинула к окну, выглядывала на улицу, не возвращаются ли, не катит ли внук с горы на санках, сидя на пустых Огиенковых мешках. Если бы все было в порядке, внук, казалось ей, должен бы уже быть здесь.

Так, расстроенная, в тревоге, и села она за прялку у окна. Только села, кто-то мелькнул мимо окон, затопал, оббивая снег у порога. По тому, как топочет, мать поняла — не свои. Не успела она отодвинуть прялку, дверь с силой дернули, и на пороге, взмахнув пустым рукавом, появился Федор Андрияка, председатель ревкома.

При виде его мать почувствовала, что ноги ее не держат и душа замирает от недобрых предчувствий: «За хлеб! На допрос!» И расстегнутый ворот, и заросшее черной густой щетиной лицо Андрияки с разорванной еще в мальчишеских драках губой — все это придавало ему сердитый, даже какой-то грозный вид. Ярьсчиха всегда его немного побаивалась — побаивалась даже без всяких оснований, а сейчас...

— Не пугайтесь, тетка Мотря! — громыхнул Федор, и лицо его передернулось в каком-то подобии улыбки. Странная это была улыбка: разорванная губа выглядела так, будто он когда-то прикусил ее в порыве ярости и не отпускает. — Пусть уж меня хуторяне боятся, те, кто разверстку саботирует, а вам-то чего? Вы же свое сдали?

— Да сдали...

— Ну так чего же. Это я зашел вот нашего красного кавалериста провести.

Матери все еще не верилось. Только тогда отлегло от сердца, когда Федор, с грохотом придвинув ногой табуретку к постели, присел возле Данька.

— Так что ж, к матери на побывку, значит? Товарищ сыпняк, говоришь, выбил из седла?

— Выбил, проклятый.

— Слыхал, слыхал... Наше дело, брат, такое: то на коне, то под конем... Я сам в прошлом году едва не отдал черту душу у Белой Церкви. Видишь вот это? — Он потрянул пустым рукавом. — Директория оттяпала, оставила с одной пятерней на всю жизнь... Ну да ничего: хватит и пяти пальцев, чтоб брать их, ч-чертей, за жабры!

Буйное, неудержимое чертыханье было для него необходимой разрядкой. Всюду, где он появлялся, только и слышно было: «черти», «чертяки», «чертыбахнуть», «катитесь ко всем ч-чертям»...

— Федор, ты хоть бы в хате этого слова не поминал, — умоляюще промолвила мать из-за прялки.

— Виноват, не буду! — решительно пообещал Федор. — Черт с ними, со всеми чертями! — И, махнув рукой, уже снова обернулся к Яресько: — Ну, рассказывай, по каким краям тебя носило?

— Да по каким же... Почитай, всю Украину с боями прошел. Как сел в прошлом году в Чаплинке на отбитого у кадетов коня, так уж до самого Киева.

— Вот как! До Киева наша Таврия достигла? Ну, а как же Киев?

— Раза три мы его со стороны Брест-Литовского шоссе брали, и снова сдавать приходилось. Потому как не все и там, в Киеве, арсенальцы, — были и такие, что с балконов кипятки на головы лили. Ну, а когда уже подошли богунцы из черниговских лесов, тогда сразу всем нам веселее стало. Богунцы с той стороны, а мы с этой — и Киев наш.

Данько умолк, задумчиво глядя куда-то в потолок.

— А нам тут еще выкуривать да выкуривать, — промолвил Андрияка и, задержавшись взглядом на бледном, исхудалом лице Яресько, вдруг воскликнул с сожалением: — Эх, брат! Был бы ты на ногах, запрягли бы мы тебя с первого дня! Коммолдовскую ячейку аккурат создаем в селе, пошел бы, заворачивал там

среди них... А то у нас все молодежь необстрелянная — безусые мальцы да девчушки такие, что матери их дома еще и за косы таскают... А время сейчас сам знаешь какое... Без этого, — Федор тряхнул тяжелой кобурой, — за речку в лес не показывайся.

Задумавшись, он помолчал с минутку, затем наклонился над Даньком, таинственно понизив голос:

— Директива пришла, чтобы хуторян всех перешерстить, изъять огнестрельное и холодное оружие...

— Есть еще, значит?

— Есть, есть, — насупился Андрияка. — Да еще и будет.

В наступившей тишине стало слышно, как ровно, пчелой, гудит у окна прялка.

— А кто же у вас там в ячейке? — нарушил молчание Данько.

— Голытьба что ни на есть зеленая! Напористая, рьяная, но куда же с ней — пороху еще не нюхала. А нам, партийцам, ты сам понимаешь, какая сейчас помощь нужна: чтобы зубастые, чтобы как черти были, чтобы и кулацким сынкам при случае могли чертыбахнуть, как следует дать сдачи... Одним словом, тебе этого не миновать!

Мать, придерживав рукой колесо прялки, с укоризной взглянула на Андрияку:

— Где только у тебя сердце, Федор? Хлопец еще — одни кости, хаты сам не перейдет, а ты уже заботы на его голову валишь.

— Забот, мамо, я не боюсь, — улыбнулся Данько, поправляя на себе одеяло. — Страшно вот так, бревном лежать...

С шумом, с грохотом открылась дверь — с улицы вбежал Василько, в дядиной папахе, веселый, покрасневшийся.

— Ух и шапка же у тебя! — восторженным возгласом встретил малыша Андрияка. — Где же это ты раздобыл такую? Не в махновцы ли записался?

— Это дядина, это я, пока он лезит...

— Славная, славная шапка... Ну, рассказывай, брат, где ты бегал, что так запыхался?

Однако рассказать об этом Василько так и не успел. Только было рот открыл, чтобы начать, как бабуса со словами: «Хватит тебе болтать!» — притянула его к себе, стала вытирать ему нос да раздевать, потому что руки у него так заоченели, что и пуговицы расстегнуть сам не мог... Данько тем временем снова заговорил с Федором, спросил, не возвращаются ли с фронтов.

— Мало кто, — покачал своей чубатой головой Федор. — Разве что по чистой, либо по болезни какой... А чтоб густо, так Антанта, брат, еще не пускает. Не унимается, ч-чертова кукла! Вроде уже и поджала было хвост, будто и блокаду обещала снять, а на деле новые козни строит! На нью-йоркской, на лондонской, на парижской биржах словно с ума спятили буржуи: наше, законное, народное добро в распродажу, говорят, пустили! Барышничают! Шахты Донбасса, никопольские рудники, терещенковские сахарные заводы — все это у них, говорят, сейчас там товар, друг у друга оптом покупают и тут же на бирже перепродают...

Мать, которая будто и не прислушивалась к разговору, вдруг настороженно подняла голову:

— И землю?

— Ну да!

— Разве ж они там не знают, что землю у нас люди уже поделили?

— Не хотят они этого за нами признавать, тетка Мотря! Говорят, что не той саженью Цымбал панскую землю размерил.

Мать взволнованно отставила прялку:

— Да неужто ж они снова войной пойдут на нас?

— А то постесняются?! — воскликнул Андрияка. — Это вам, брат, класс на класс... Вырвали передышку, а там, смотри, снова...

Скрипнула дверь — вошла Вутанька.

— Вот он где! — сказала, увидев Андрияку. — А тебя там уже ищут повсюду.

— Кто?

— Продотряд из волости прибыл!

Андрияка поднялся, собираясь уходить.

— Ты уж тут, дружище, поскорее выздоравливай, — кивнул он Даньку. — Жизнь, брат, зовет таких, как ты... Фершала не надо?

— От фершалов сбежал, — улыбнулся парень.

— А то у нас есть тут, за рекой, один коновал. — Оторвав зубами кусок газеты, Федор стал ловко сворачивать одной рукой сигарку. — Днем старикам грыжи вправляет, а ночью тайком мыло варит, думает, что мы не знаем.

— Не мылится его мыло, — раздеваясь, шутя бросила Вутанька.

— А знаешь, почему не мылится? Потому что с петлюровским оно у него душком.

Федор подошел к печи:

— А ну-ка, Вутанька, огоньку.

Вутанька выгребла ему целую пригоршню яркого, как вишня, жару.

Федор прикурил и, не прощаясь, вышел из хаты.

— Напугал же он меня! — с облегчением вздохнула мать. — Чтоб ему пусто было!.. Думала уже, что пришел снимать с бабы допрос.

— Это вам наука, — сказала Вутанька весело и, пряча за икону квитанцию, добавила: — Если Огиенко спросит, чтоб знали, — вот где его хлеб!

Вечером, только зажгли каганец, в дом к Яресько явился Нестор Цымбал, привел на постой бойца-продотрядника. Пока Цымбал оживленно объяснял хозяйкам, что ставит им постояльца непривередливого и к тому же «всего на одну ночь», сам постоялец, темнолицый, с подстриженными усами, пожилой уже человек, щурясь, горбился у порога, видно, неловко чувствуя себя оттого, что его непрошеным гостем навязывают в чужой дом незнакомым людям. Он и кепку не снимал, словно боялся, что его не примут здесь, не снимал и винтовки с плеча, — она висела на нем как-то нестрашно, по-домашнему: прикладом вверх, дулом вниз. Заметив смущение приезжего, Вутанька поспешила к нему.

— Раздевайтесь, пожалуйста! — зазвенел ее приветливый голосок. — Вешайте вот сюда!.. Места хватит.

— Мне подушек не нужно, — криво улыбнулся постоялец, словно оправдываясь. — Я на полу, на соломке.

Осторожно поставил винтовку в угол, повесил кепку на гвоздь и, размотав с шеи старенький шарф домашней вязки, устало присел на лавку. Был он уже седоват, с глубокими впадинами щек на изнуренном продолговатом лице, с большими мозолистыми руками, которые, видно, немало переделали в жизни всякой работы. Сидел, покашливал, молчал.

Цымбал тем временем, перекинувшись несколькими словами с Даньком, шагнул к двери, крепко прижимая локтем свою тощую папку, на которую Данько не мог смотреть без улыбки.

— Поужинал бы с вами, — признался Цымбал, почуяв доносившийся из печи вкусный запах, — но спешу! Дела! Всего доброго!

И, тряхнув на прощание своей козлиной бородкой, нырнул в темные сенцы.

Постоялец все еще сидел молча, отдыхал. Мать, не переставая хлопотать у печи, время от времени посматривала на него. Натрудился, видно, за день человек в поисках хлеба насущного, ломом разбивая мерзлую землю по хуторам у богатеев. Сыт ли, голоден ли — никто у него не спросит.

Ставя ужин на стол, мать заметила, как загорелись у постояльца глаза на горячую еду. А стала приглашать к столу — снова застеснялся, нахмурился, не хотел, должно быть, объедать бедняцкую семью.

— Мы уж там заморили червяка.

И где это они заморили? У тех скопидомов хуторских, у которых и снега зимой по допросишься?

— Садитесь, садитесь, — настойчиво стала приглашать и Вутанька. — Чем богаты, тем и рады!

Сели наконец. За ужином постоялец, разговорившись, неторопливо рассказывал о себе. Екатеринославский рабочий он, слесарь с завода Шодуара. Оставил дома большую семью, не знает, чем она там и живет, а сам второй месяц вот так по волостям мотается, продразверстку из саботажников вытягивает... Нелегко дается каждый пуд: на той неделе четверых из их отряда изрубили бандиты под Лещиновкой. Нелегко, но что ж поделаешь? Не ждать же, чтобы петлей голода республику задушили!

— Нет, этого не будет, — горячо вырвалось у Вутаньки, и, будто застыдившись своей горячности, она спросила екатеринославца: — Много ли сегодня потрясли в Запселье?

— Да потрясли кое-что, — ответил он спокойно. — У гражданина Махини — знаете такого? — под настилом в конюшне обнаружили яму не меньше чем в полвагона.

— О, так у вас нынче хороший улов! — обрадовалась Вутанька. — Сегодня полвагона да завтра.

— Пшеница — первый сорт, да вот только... подтекла, погрела вся, — нахмурился

екатеринославец. — Почитай, суточный паек целого завода в той яме сгнил.

— Хлеб святой погноить! — ужаснулась мать. Она была потрясена. Смотрела на икону в углу и видела за ней Вутанькину хлебную квитанцию. Хорошо сделала дочь. Надо, надо помогать. А то паны и впрямь вернутся и землю отберут. Будь у нее сейчас хоть какой-нибудь лишек — все бы отдала на республику!

После ужина гость, поднявшись из-за стола, стал благодарить хозяйку.

— Спасибо вам за хлеб, за соль, — промолвил он с проникновенной теплотой в голосе. — А еще большое спасибо за то, что сегодня по разверстке помогли, — нам уж тут рассказали об этом.

— Что вы, бог с вами! — сгорая от стыда, замахала руками мать.

— Нет, не говорите, — серьезно перебил гость. — В самое трудное время именно такие, как вы, незаможники республику нашу поддержали.

Закурил и, присев у печки, нахмурился, задумался, пуская дым в трубу.

Данько, следя за гостем, ощущал, как все сильнее растет в нем теплое, сыновнее чувство к этому согбенному трудом человеку с посеребренными уже висками, к человеку, который, несмотря на свои годы, в лютый холод неделями мотается со старенькой трехлинейкой по глухим волостям, добывая хлеб для своего железного, впроголодь воющего класса...

— Как же там, на заводах, у вас теперь? — перебравшись на лежанку, заговорил Данько.

— Трудно, товарищ, — ответил продотрядец, простуженно покашливая. — Трудно. Кое-кого так прижало, что не выдержал — пошел зажигалки делать... Но настоящее, пролетарское ядро, ясно, осталось, тянет все на своем горбу. И хоть на голодных пайках да в холоде таком, что руки к станкам

примерзают, но — видели б вы — как работает народ! — Гость оживился, повеселел. — Из цехов не выгонишь, сами сверхурочно остаются! С ног, бывало, падали у станков...

— Ну, теперь уже легче будет...

— Легче или не легче, да только мы себе такой девиз на заводских воротах написали: «Умереть, но начатое дело довести до конца». Не дадим себя задушить ни блокадой, ни голодом.

Пока они разговаривали, Вутанька внесла со двора охапку свежей соломы, с размаху бросила на пол, — морозом от нее повеяло даже на печь к Васильку... Мальчик, казалось, этого только и ждал: прыгнул сверху прямо в золотой сугроб и с веселым визгом начал скакать и кувыркаться, насмешив взрослых своим весельем и шалостями...

Каганец тем временем стал заметно меркнуть. Екатеринославец, поднявшись, попробовал наладить его, повертел и так и сяк, но напрасно: оказалось, что керосину осталось на самом донышке.

— Подлить нечего, — пожаловалась мать, — весь керосин вышел. Придется постным маслом светить.

Рабочий поставил каганец на место.

— Ничего! Придет время, и вы навсегда расстанетесь с этой допотопной коптилкой.

— А чем же светить будем? — удивилась мать. — Лампой? На нее и вовсе керосину не напасешься.

— Электричество будет вам светить.

— Лектричество? Что это такое?

— Это такая штука, что ни дыму, ни копоти не дает... Один свет — чистый и ясный, как от солнца.

— И в нашей хате оно будет светить? — усмехнулась Вутанька удивленно: не то что матери, даже ей это показалось невероятным.

Рабочий поднялся, зашагал вдоль стены взад-вперед, задумчивый, нескладный, седые волосы его

были взлохмачены, широкие лопатки резко выступали под темной бумазейной рубахой.

— Разве вы не слышали? — заговорил он немного спустя. — Все чаще то тут, то там вспыхивают в нашей страна электрические огоньки... С Русаковских заводов, под Тулой, сообщают о первой такой ласточке, и в Каменском тоже недавно зажглось... А ведь это мы только начинаем жить... План ГОЭЛРО Ильич разрабатывает, Днепровскими порогами интересуется. Нет, за этими первыми ласточками настанет и большая электрическая весна!

— И в наших Криничках? — радостно и недоверчиво спросила Вутанька, расстилая гостю постель.

— Засветится! Засветится и у вас! Помяните мое слово...

Будто дивную сказку, слушал Василько на печи загадочные эти слова.

А каганец все мерк и мерк...

Пришлось укладываться. Но и после того, как все уже улеглись и бабуня рукой пригасила тлеющий фитилек (чтоб не чадил!), мальчику долго еще мерещились картины весеннего дня, наполненного птичьим гамом, чудились удивительные сверкающие ласточки, которые когда-нибудь прилетят сюда, словно из сказки, и от них в бабушкином доме станет светло, как от весеннего солнца.

Проснувшись утром, Василек снова разогнался было спрыгнуть с печи, чтобы порезвиться на соломе, где спал этот городской дядя. Но ни постели, ни ночлежника уже не было. Вместо него на соломе, свернувшись калачиком, лежал... теленочек!

Хорошенький такой, рябенький, блестит, словно только что умытый...

— Откуда он, бабуня?

Бабушка улыбнулась:

— Ночью сам из лесу к тебе прибежал, Василек. Это, видно, нам тот дядя городской наворожил.

Может, и наворожил, может, и сам телок из лесу прибежал — мало ли чудес бывает на белом свете!

Не слышал Василек, какой тут переполох был ночью, не слышал, как бабуня на радостях подняла всех, разбудила и как потом, счастливая, присвечивая огарком свечи, открыла дверь настежь, а добрый постоялец на руках внес этого телка в хату.

Х

Морозы стояли лютые. На палец заледенели в комнате стекла, и от этого сердце тоскливо сжималось: когда же теперь они оттают! Словно на сто лет Псел сковало тяжелым, крепким, что камень, льдом. Рыба задыхалась под ним от недостатка воздуха.

Утром, идя с ведрами к речке, Вутанька брала с собой и топор: после морозной ночи приходилось заново разбивать лед в проруби.

Вокруг — морозная рань, багряно всходит солнце, светлым паром дышат люди. Гулкий перезвон идет вдоль леса — до самых Хоришек: всюду по селам в это раннее утро пробивают проруби. Бьет, рубит лед и Вутанька. Острые ледяные осколки сталью стреляют в лицо, горят, ноют от боли мокрые покрасневшие руки. Во время этой работы не раз руки ее так коченели, что слезы выступали на глазах. И больно и обидно становилось — до каких пор ей тут, наравне с мужчинами, рубить этот проклятый железный лед? При живом муже, а судьба вдовья... Конечно, не он, не Леонид, в этом виноват и не его следует винить в разлуке: был бы только жив да здоров. Кончится же это когда-нибудь, побьют врагов и возвратятся с фронтов домой. По-новому, по-человечески тогда заживут,

настанет весна и для них, для этих скованных льдом Криничек, непременно настанет! А покамест бей, прорубайся к воде, Вутанька, пусть звонкое эхо разносится над рекой. Может, и тот, с кем и помиловаться не успела, хоть сердцем где-нибудь услышит тебя, хоть в мыслях увидит, как ты, согнувшись над прорубью, не чуя от холода рук, рубишь и рубишь тяжелый крещенский лед, бьешь по неподатливой глыбе до тех пор, пока не появится из-под нее живая, пахнущая весной вода.

Как-то раз, когда Вутанька по обыкновению ранним утром вышла к речке, чья-то девчонка, пробегая мимо, позвала ее с пригорка:

— Вутанька! На сходку!

Затем метнулась к окнам яреськовской хаты, забарабанила по стеклу:

— Тетя Мотря, на сходку. На сходку!

— Вишь ты, без тетки Мотри уже и обойтись там не могут, — улыбнулась мать сыну. — Каждый раз зовут.

— А как же, вы теперь, мамо, полноправные.

— И чего это они там не угомонятся? — задумалась мать. — Видно, опять о хлебе.

Как только Вутанька вернулась, оделись обе по праздничному и пошли на сходку вместе: мать и дочь.

Вот когда для Василька наступило наконец раздолье! Теперь он сколько угодно мог прыгать и кувыркаться по комнате, всласть пободаться с маленьким лобастым своим приятелем... При бабуне и при матери ему это не разрешалось (не приучай, мол, драться рябого), а дядя только смеется при виде его бурных проказ.

— А ну-ка, а ну-ка, чей лоб крепче, — подзадоривает он борцов.

Хорошо, что у обоих пока только вихры на лбах закручивались! Хуже будет, когда у теленка из-под вихров рожки прорежутся. Но когда это еще будет, а

сейчас между ними идет веселая, неугомонная возня! Уперлись — даже сопят, солома из-под ног по всей хате разлетается.

Возились до тех пор, пока знакомые шаги на дворе не заставили Василька вихрем взлететь на печь.

Первой со сходки вернулась бабуня.

— Опять с быком боролся, сорванец? — погрозила она внуку.

Заметив, что Данько с нетерпением ждет новостей, присела возле него, стала рассказывать. Ну ясно же, снова о хлебе. А еще новость — вместо ревкома теперь в Криничках будет — как бишь его? — *сельсовет*. По всей Украине, сказывают, проводится такая замена...

— А Вутанька где же?

— Э! До нашей Вутаньки теперь рукой не дотянешься... Делегаткой избрали.

— Вот как!

Данько от души был рад за сестру: первая из ярьсковского дома делегатка... Но больше всех радовался Василько. Как только Вутанька — сияющая, румяная, пахнувшая морозом — появилась в дверях, сын вне себя от восторга запрыгал на лежанке, затащил, как псаломщик, на всю хату:

— Наса мама делегатка, делега-а-атка!

И потом вдруг, спохватившись, спросил:

— А сто это — делегатка?

Все засмеялись, и громче всех — Василько.

А что значит быть делегаткой, это ему стало ясно только на следующий день, когда мать, закутанная в свой лучший кашемировый платок с бахромой, крепко поцеловала его на прощание, а потом какой-то дядя в тулупе подхватил ее, словно маленькую, и с шутками бросил в сани — к другим тетям и дядям, тоже делегатам. Весело, с радостными выкриками пронеслись они через речку и помчались лугом дальше в степь.

Долго стоял Василько с мальчишками на ледяной горке у дороги, и перед его глазами полыхал в заснеженном поле, все отдаляясь и отдаляясь, цветистый мамин кашемировый платок.

XI

Подхватило, вынесло Вутаньку на самую быстрину. Кринички послали ее на уездный съезд, а оттуда, не возвращаясь домой, поехала делегаткой и на губернский: посылал уезд.

Вутанька и не ожидала такой чести. Из криничан на губернский съезд Советов попали всего двое — она и Нестор Цымбал.

Ехали поездом. Езды тут было несколько часов, но сейчас двигались, как на волах, останавливались у каждого столба. И хотя с самого начала было ясно, что дороги этой им на всю ночь хватит, спать никто не собирался. Какой там сон! Настроение у всех приподнятое, всюду оживленные разговоры, шутки, смех. Большинство делегатов ехали с оружием, будто отправлялись на фронт.

Когда Вутанька с дядькой Цымбалом вошла в вагон, в проходе их сразу же встретила делегатка из Манжелии, непоседливая и горластая баба Марина Келеберда. За громогласность весь вагон уже величал ее комендантом, и ей, видно, нравилась эта кличка. Огромного роста, в дырявом кожухе, подпоясанная платком, красная, с большой бородавкой на мясистом носу, она пристала к Цымбалу и впрямь как комендант.

— Тебя, длинноногого, мы загоним вон туда, под облака. — Она показала на верхнюю полку, которую с трудом можно было рассмотреть в густом табачном дыму. — А эту чернобровку, — с напускной суровостью

баба окинула взором Вутаньку, — мы положим поближе к двери...

— Не по праву! Не годится! — зазвучали со всех сторон веселые мужские голоса. — За что ей такая немилость?

— А это уж я знаю за что, — кричала баба-комендант. — Если кавалеры к ней зачествят, так чтоб других в темноте не тревожили.

— Не по правде, баба Марина! — снова раздались голоса. — Вас надо к порогу. Вы в кожухе, вас не просквозит!

Баба с удивлением осмотрела полы своего старого, латаного, с торчащими по швам клочками шерсти кожуха.

— К моему кожуху кавалеры уже дорогу забыли, — сказала она под общий хохот. — Разве что вот с молодой местами ночью поменяюсь... Может, хоть по ошибке который в темноте потревожит!

Шумно, весело было в вагоне, как на посиделках. По соседству с Вутанькой оказались два пожилых крестьянина, с которыми Цымбал сразу вступил в беседу, и худенькая приветливая женщина, одетая по-городскому. Потеснившись, она уступила Вутаньке место у окна.

— Вы на нее не обижайтесь, — обратилась она к Вутаньке, как бы извиняясь перед ней за грубоватые шутки Марины Келеберды. — Нам тут уже всем от нее досталось...

— Пусть душу отведет, — засмеялась Вутанька. — Я и сама шутку люблю.

— Может, только это у нее и радости, — промолвила после паузы соседка, с улыбкой прислушиваясь, как уже где-то в другом конце вагона шумит среди пассажиров баба:

— Косы в Полтаве подстригу, кожух на кожанку сменяю, домой вернусь — и дед не узнает!

Хохот раздавался всюду, где баба ни появлялась. А ее так и носило из конца в конец, от одной группы к другой.

— Хохочут, а того не знают, что ей ведь смертью за делегатство угрожали, — стал рассказывать один из Цымбаловых соседей, ее односельчанин. — Хуторяне всё стращали: смотри, мол, Марина, только поедешь, тебе несдобровать. Пулю шальную поймашь где-нибудь по дороге... А у нас и впрямь дорога все лесом да лесом...

— И не испугалась, вишь, поехала, — произнесла Вутанькина соседка. — Откуда-то из глухой волости, через леса бандитские... Не всякая отважилась бы на ее месте.

— Настоящая, стало быть, делегатка, — промолвила Вутанька задумчиво.

За окнами показался какой-то полустанок. К поезду бросились люди с мешками, котомками. Но поезд не остановился, — видно, некуда уже было больше брать пассажиров... Разогнавшись, люди так недовольной толпой и остались стоять в синих зимних сумерках.

Когда за окном снова побежали поля, Вутанька повернулась к соседке:

— А вы от кого едете?

— Я от работниц кременчугской махорочной фабрики.

— О, мой брат у вас там в лазарете лежал. Ярьсько — не слышали о таком?

— Ярьсько? Не слышала. Много их у нас перебывало, всех не запомнишь. Раненый?

— Нет, он тифозный. Сейчас уже поправляется.

За окном гулял ветер; видно было, как под его порывами гнутся, пружинят в вечерних сумерках высокие тополя вдоль дорог. Клубы черного дыма, пронизанного искрами, оторвавшись от паровоза, огнистыми волнами неслись мимо окон и гасли,

разметанные по снегу меж тополей. Было что-то тревожное в проплывающих за окном полях, в этих вихрящихся искрами густых клубах паровозного дыма и в придорожных, пружинящих под ветром тополях.

Вскоре Цымбалу и его собеседнику пришлось потесниться: из соседнего вагона вошло несколько военных, и один из них, знакомый уездный военком, увидев Вутаньку, а потом и Цымбала, вежливо звякнул перед ними шпорами и дальше уже не пошел, застрял тут.

Военком познакомился с криничанами на уездном съезде. Как-то во время перерыва он сам подошел к ним и, представившись, непринужденно заговорил с Вутанькой. Он, дескать, знает, что она жена красного комиссара, и потому считает своим долгом поинтересоваться, не нуждается ли она в какой-либо помощи или защите со стороны властей. По своей яреськовской гордости Вутанька сказала, что ей ничего не нужно, что она при случае может сама за себя постоять, однако внимание этого человека было ей приятно.

В уезде военком был новым человеком, и о нем пока знали главным образом, что он нравится женщинам. Стройный, красивый, с хорошими манерами... Своим нежным, белым лицом и тонкими бровями он напоминал Вутаньке паныча, из тех, которых ей немало приходилось видеть раньше, но она знала, что он не паныч. Говорили, что он — бывший учитель, на войне был произведен в офицеры, но сразу же после падения престола перешел вместе со своим батальоном на сторону революции.

Вутаньке сейчас приятно было его внимание, и, когда военком с непринужденной вежливостью попросил разрешения сесть, она, зардевшись, только кивнула в знак согласия. Сел он против нее между мужиками, стараясь не очень их стеснять. Однако

Цымбалу, зажтому в угол, это соседство, видно, не особенно нравилось. Долговязый криничанский делегат был того мнения, что не к лицу военному, да еще, пожалуй, и партийному, приставать к замужней молодежи. Подошел, звякнул и уже сидит. Но, с другой стороны, как тут и внимания на такую не обратить: покраснелась, глаза горят, так жаром от нее и пышет.

— Вы разве тоже делегат? — обращаясь к военному, полюбопытствовал один из манжелиевских.

— А что же я, — улыбнулся военком, — не подхожу, что ли?

— Да нет... чем больше, тем лучше... — поспешил оправдаться дядько.

— Миром, как говорится, и батька бить легче, — пошутил Цымбал, неуклюже беря папиросу из портсигара, вежливо протянутого военкомом.

Разговорились. Узнав от Цымбала, что Вутанька выступает на сельской сцене, военком с удивлением поднял брови и еще внимательнее посмотрел на Вутаньку. Потом по-дружески признался, что сам он тоже в свое время пробовал играть на сцене.

— А теперь не играете? — спросила Вутанька.

— А теперь не до того... Ни времени нет, ни условий. Но если вы, скажем, захотите достать в Полтаве новые пьесы — я к вашим услугам... У меня там в театрах давние знакомства.

— Нам бы о черноморских матросах что-нибудь, — сказала Вутанька, и глаза ее заблестели. — Да песен с нотами...

— У нее муж черноморец, — пояснил Цымбал, обращаясь на этот раз больше к кременчугской делегатке. — Ей бы хоть на сцене его повидать.

— О флотских вряд ли что найдется, — выразил сомнение военком. — А вот песенник — это другое дело. Вам какие больше по душе?

— Да какие же... наши.

— До недавних пор она и в церковном хоре пела, — похвастался Цымбал. — На храмовые праздники даже в другие села приглашали: голос — как колокольчик! Сам архиерей, бывало, приезжал слушать!

— Вот как? — снова удивился военком. — А что же именно вы пели, товарищ Вутанька?

Вутанька покраснела.

— Ну, соло «Отче наш»... или в «Разбойниках»... Или «Иже херувимы».

Военком улыбнулся.

— А еще?

Вутанька в недоумении пожала плечами.

— А «Ще не вмерла...»^[4] вам, случайно, не приходилось петь? — пошутил он неожиданно.

Вутаньку бросило в жар.

Было ведь, пела в «Просвите» и это! Но откуда ему известно! Или он только догадывается? Но не станет же она скрывать, не станет кривить душой...

— Пела, ну и что же? — глядя военкому в глаза, сказала она почти с вызовом. — Пела, пока не разобралась, о какой Украине песня!

— А теперь разобрались?

— Еще бы!

— Вы правы, правы, — сказал военком примирительно. — Та Украина умерла, и ничем ее теперь не воскресить. Об иной, о живой думать надо...

Помолчали. И вдруг будто железным градом забарабанило снаружи по обшивке вагона. Зазвенели где-то стекла, слышались крики.

— Банда! Банда!!! — зловеще пронеслось по всему вагону.

Поднялся переполох, беготня.

— Свет тушите, свет!!!

Военком уже был на ногах. Побледневший, решительный, с браунингом в руке, он порывисто

выскочил на середину вагона.

— Без паники, товарищи! Без паники!

В любую минуту могла его там скосить бандитская пуля. Однако он, кажется, совсем не обращал внимания на опасность. Стоял на самом видном месте и уверенным голосом отдавал приказания. Вутанька, забившись в угол, с восхищением следила за ним: казалось, тут, под градом пуль, он один не поддался панике. Вокруг суета, беготня, испуганные крики, а он, с револьвером в руке, с грозным блеском в черных, как сливы, глазах, один не потерял самообладания: не прячась, стоит в своей комиссарской фуражке, с маленьким блестящим козырьком, который словно бы прилип к белому высокому лбу. Пренебрегая опасностью, сдерживает панику, отдает распоряжения.

— За мной! Коммунары, вперед!

Взмахнув револьвером, военком первым бросается из вагона навстречу опасности.

Пули забарабанили по железу еще сильнее, свет в вагоне погас, Цымбал и манжелиевские дядьки отрывисто переговариваются уже где-то под лавкой, а в проходе — через весь вагон — стук, топот: коммунары выскакивают в темноту на защиту эшелона...

XII

Сколько времени прошло с тех пор, как поезд, с разгона лязгнув буферами, неожиданно, будто выведенный на расстрел, остановился здесь, в ночных полях?

Студеный ветер уже хлещет прямо на Вутаньку — вагонное окно разбито пулями, под ногами трещат осколки стекла.

Перестрелка все отдаляется, пули уже не стучат по вагону. Вутанька, привстав, выглянула в окно. Ночь.

Степь.

Люди какие-то мечутся вдоль вагонов, перекликаются... Обвеваемая свежим ветром, Вутанька застыла у окна. Цымбал с дядьками притих внизу, между котомок; соседка метнулась в другую половину вагона разыскивать своих кременчугских, да так и застряла где-то там, возле них. За перегородкой кто-то из вернувшихся в вагон рассказывает, что поезд скоро тронется, уже заканчивают налаживать поврежденный путь. Один за другим стали возвращаться коммунары, принимавшие участие в перестрелке. Ничего, мол, опасного — просто конные бандитские разъезды резвятся. Налетят в темноте, с ходу обстреляют эшелон и снова, как тени, растают в глухой волчьей степи.

— А чьи же они, эти разъезды? — слышался из-под лавки сердитый голос, удивительно похожий на Цымбалов.

— Да чьи, — спокойно отвечали ему, — если не «батьки», так «матки».

— А скорее всего мачехи. На днях через Перещепило будто бы банда прошла.

— Чья банда?

— Да Ганнина будто бы.

Ганнина? Вутанька даже вздрогнула, услышав это имя, встала, выглянула в разбитое окно. Самая близкая, душевная подруга детства, неужели это она сейчас стреляла в нее, в Вутаньку, оттуда, из мрака? Вместе на заработки ходили, вместе на таврийской стерне ноги кололи... А теперь стреляешь из темного ветреного поля, стреляешь, чтобы убить? Но за что же, ради кого? Эх, Ганна, Ганна! Все чего-то необыкновенного хотела, славы и богатства стремилась добиться, чтобы властвовать, повелевать. Не удалось за Фальцфейна выйти, степной миллионершей стать, так решила хоть сотника какого-нибудь окрутить, чтобы денщика у тебя на побегушках были... Не отсюда ли и началось черное

твое казакованье? Доподлинно известно Вутаньке, как это случилось. Во время скоропадщины гетманские офицеры к Лавренчихе стали на постой. Пили, гуляли, и один посулил жениться на Ганне. Смеялась тогда Ганна, хвалилась перед подругами: «Сначала офицершей, женой гетманца, а там, гляди, и гетманшей стану! Деда гетмана титькой задушу, а сама буду вами править!» А гетманец тот довез ее до Хоришек, да и был таков, обесчестил и бросил... Потом уже нагрянул атаман Щусь вместе с Сердюками, увезли Ганну из села, попала она в другие, махновские, объятия — Глухая степь стала теперь ее домом, волчицей рыщет, готовая и бывшую свою подругу погубить...

Лязгнув буферами, дернул, тронулся с места эшелон.

Только поезд стал набирать скорость, знакомо забренчали в вагоне шпоры: вошел военком.

— Живы ли вы здесь? — подошел он к Вутаньке, взволнованный, разгоряченный. Даже в темноте видно было, как возбужденно блестят его глаза.

— Нам-то что, мы за вас беспокоились.

— За нас? Вы — за нас?

— Ну как же!

Было слышно, как он учащенно дышит. Неожиданно, подавшись вперед, он поймал в темноте ее руку. Крепко сжал. Ей сразу стало жарко. Знала, что должна сейчас же вырвать руку, но почему-то не могла этого сделать. Чувствовала, как от горячего, страстного рукопожатия у нее начинает кружиться голова. Понимала, что есть здесь нечто запретное, и все же не спешила положить этому конец. Совсем близко видела его горящие, полные страсти глаза и бледное, напряженное лицо, которое казалось голубоватым — от законной ночи, от снегов. Выражение боли и ожидания, застывшее на этом лице, делало его каким-то еще более нежным. Мелькнула мысль, что он красив, что любая, самая

лучшая, девушка могла бы влюбиться в него, отдать ему себя.

Подумав об этом, она резким движением высвободила руку, отвернувшись к окну.

Он, кажется, почувствовал себя пристыженным. Какое-то мгновение молчал, затем промолвил глухо, как бы извиняясь:

— Спасибо. — И объяснил: — За то, что вы тут думали... о нас.

Из глубины вагона кто-то позвал:

— Товарищ Левченко!

Это звали его. Видимо, звали все те же военные. Откликнувшись, он быстро пошел к ним. Оживленно переговариваясь о каких-то караулах, они всей компанией направились в другой вагон.

Вутанька стояла в оцепенении, прислонившись лбом к холодной раме окна. Как она могла? Как могла позволить ему это? О чем она думала в тот миг, когда, словно околдованная, смотрела в его зовущие, полные странного блеска глаза, такие чужие и далекие, но от которых она почему-то не в силах была оторваться?

Снова тополя за окном. Гнутая, качаются, закрывая собой все небо. Странно в них глядеть: видно, как клонит их ветер, а шума, привычного гула ветвей, не слышно... Только ходят, качаются голые ветви по небу, беззвучные, немые.

Из темноты вырвался сноп паровозных искр, ударил прямо в окно, будто в лицо Вутаньке, — и вот уже тополя исчезли за клубящимся дымом. Вскоре один за другим выбрались дядьки из-под лавок, зажгли свет в вагоне — кто-то прилепил огарок свечи над дверью. Вагон снова загудел, зажужжал, как улей, — всюду слышался гомон, шли разговоры, каждому хотелось поделиться впечатлениями от только что пережитого.

И вдруг... что это?

Вутанька вся встрепенулась. Где-то близко, за перегородкой, нежным, еле слышным ручейком зазвенела песня. Какой знакомый, какой родной мотив! Вутанька, все еще в каком-то жарком, томительном забытии, приложила руку ко лбу: что это за песня такая знакомая? Где она ее слыхала? И еще не успела додумать, как что-то молнией сверкнуло в памяти, больно поразило в самое сердце...

Ты машина, ты железна,
Куда милого завезла?

Да это же она, живая, ее, Вутанькина, песня подает ей голос откуда-то из мглы прокуренного, изрешеченного бандитскими пулями вагона! Какими путями, какими краями прошла она, чтобы через столько лет снова зазвучать здесь в устах незнакомых делегатов?

Ты машина, ты свисточок,
Подай, милый, голосочок...

Ее песня и уже как будто не совсем ее... Сколько времени протекло с тех пор, за заботами, за другими песнями, уже и забывать стала эту задушевную давнюю мелодию, которая сама напелась ей когда-то в горячих фальцфейновских степях... А она, ее нежная песенка, навеянная первой любовью, нашла ее и тут, через столько лет, как из далеких странствий приплыла, вернулась снова в растревоженную душу Вутаньки...

Ты машина, ты железна...

«Но почему же, почему именно сейчас, именно здесь? — билась мысль, и вдруг даже жутко стало. — Не за грех ли? Не в упрек ли? Может, для того и зазвучала, как живой укор, чтобы предостеречь тебя в эту ночь, чтобы напомнить о другом — о твоей далекой первой любви!»

— Вутанька, узнаешь? — промолвил, прислушиваясь к песне, Цымбал. — Это ж твоя...

Подобно тому как с годами меняется, зреет, мужает человек, так изменилась за годы странствий и эта простая ее девичья песенка. Видно, и в окопах побывала она, и в теплушках солдатских. Сначала, когда она слагала ее для Леонида, было в ней лишь про машину, да про свисточек, да про милого голосочек. А теперь уже поют и про рекрутов, которых ждет набор, и про стеклянную дверь, за которой сидят офицеры...

Все громче и громче звучит родная мелодия, все шире разливается за перегородкой песня, хватает за душу, зовет Вутаньку к себе. Кто ж это там поет?

Когда Вутанька подошла, ее даже не заметили. Сгрудились вокруг старой Келебердиhi — целый хор, задумчивый, печальный. Какие-то сестры милосердия в сереньких шинельках, какие-то парни в пиджаках, с винтовками за плечами. Тут и кременчугская работница, и еще женщины. Вутанька стала, замерла возле них незамеченная и слушала, как ее родная песня растет, оживает уже в других, не в ее устах. Где они ее услышали, от кого переняли? А может, и сами они, что едут сейчас делегатами и задумчиво напевают, бродили когда-то, как и она, с батрацкими котомками, искали счастья по каховским невольничьим ярмаркам?

Гей, гей, йо-ха-ха-ха,
Подай, милый, голосочок...

Не песня — сама ее батрацкая молодость, сама ее первая любовь билась горячей волной, разливалась вокруг, пронизывала, разрывала душу.

Не заметила, как слезы брызнули из глаз, как и сама она уже присоединилась к людям и запела:

Гей, гей, йо-ха-ха-ха,
Бо я їду-від ї жджаю...

Звонкий высокий голос Вусти сразу словно озарил вагон, заставил всех удивленно, восторженно оглянуться. Что это за женщина стоит и, обливаясь слезами, поет, поет? Уже слушал ее весь вагон, вместо с другими слушал Вутаньку и военком, замерший у двери, впившийся в нее своими угольно-черными глазами. Она же никого не видела, никого не замечала. Вместе с песней словно уносилась в другой, далекий мир. Льются слезы, рвется душа, а она выводит все выше и выше, как летом в степи, синею таборною ночью, когда идешь по земле, а песня достигает неба... Не думалось уже ни о чем, не хотелось ей сейчас ничего, только бы песня никогда не кончалась, а лилась вот так, как вечная молодость, как ее неугасимая первая любовь...

XIII

Музыкой, и солнцем, и горячим кумачом транспарантов встретила делегатов засыпанная снежными сугробами Полтава. На крышах еще снег, а под ногами — лужи; солнце бьет в окна домов, зайчиками играет под самыми крышами, где на украшенных разноцветной керамикой фасадах вьется зеленый виноград и цветут подсолнухи! Не важно, что

снегу накануне много навалило, по всему уже видно приближение весны...

Делегаты даже обеспокоены, как бы талые воды не залили дороги домой, затопят — не проедешь. Когда выезжали из дому, морозы жгли, а тут уже весь город в капли, подсолнухи зимой на домах цветут, и виноград среди ледяных сосулек, как живой, зеленеет.

Пока шли с вокзала, все постукивала и постукивала по шапкам и платкам ранняя полтавская капель. На улицах встречалось много военных, все они озабоченно спешили куда-то. При каждой такой встрече Вутаньку охватывало волнение; иногда она даже бросалась вперед — ей казалось, что в толпе военных мелькнул кто-то похожий на Леонида. Представляла, как он был бы удивлен и обрадован, если бы вдруг увидел ее здесь, среди делегатов и делегатов.

Размещали делегатов в залах бывшего Дворянского собрания.

— Вот мы теперь с тобой, Вутанька, какими благородными стали, — пошутил Цымбал, вступая в огромный зал с колоннами, в котором шла регистрация прибывших. — Когда-то нас сюда и на порог не пустили бы, а теперь тут, вижу, и закурить можно...

Бросив сумку с харчами под стенку, он не спеша достал из кармана свой огромный кисет.

— А вы уж поскорее дымить, — с укором сказала Вутанька. — Разве так что удержится: все стены уже плечами позамызгали, сапогами пооббивали, как на станции.

— Ну, а ты бы как хотела, — спокойно возразил ей Цымбал. — Подумай, сколько тут народу прошло за революцию...

Вутанька была очарована красотой этих светлых, высоких, залитых потоками солнца хором. Белоснежные колонны стройными рядами устремляются вверх, поддерживают где-то там синий, будто небо,

расписанный звездами потолок... Огромные люстры висят на цепях прямо над головами людей — роскошные, блестящие, словно из чистого речного льда... Но, видать, это такой лед, что не боится солнца, не обвалится, как из-под соломенной стрехи, на головы дядькам, хотя солнце щедро вливается сквозь окна и уже пронизывает его насквозь.

Всюду толпится, гомонит, весело перекликается съехавшийся народ. Прибывают посланцы со всей Полтавщины, так и мелькают между колонн кожаные да свитки, красноармейские шинели да крестьянские шерстяные платки. Пока одни регистрируются, другие уже откуда-то несут котелки с дымящимся кипятком, по-домашнему рассаживаются по углам перекусить.

Гомон и суета царили здесь до вечера, а потом все переместилось в городской кинематограф: делегатам должны были показать «живую картину».

Вутанька пришла в кинематограф с военкомом. Вежливый и предупредительный, он, несмотря на то что остановился на частной квартире у знакомых, специально зашел за ней, чтобы сопровождать ее в этот вечер. По правде говоря, такое внимание со стороны Левченко на этот раз показалось Вутаньке слишком смелым, и она согласилась идти с ним только после того, как Цымбал тоже решил пойти вместе с ними. Так втроем и пришли. Однако, когда пробивались через толчею в проходе, Цымбала где-то потеряли: оттерло, отнесло его людской волной. Выбравшись вместе с военкомом из толпы, Вутанька беспокойно стала оглядываться в полутемном, переполненном людьми помещении. Цымбала нигде не было видно.

— Где же он? — с тревогой промолвила она.

Ее озабоченность рассмешила военкома.

— Уверяю вас, что ничего страшного с земляком вашим не случится, — весело успокоил он ее и легонько взял под руку, чтобы вести дальше. — И о себе тоже не

беспокойтесь: вы не в лесу, а в культурной, цивилизованной Полтаве.

Вутаньке даже неловко стало: «Что это я на самом деле? Дикарка, что ли? Цепляюсь за Цымбала, как запуганная девчонка какая-нибудь на каховской ярмарке. Со стороны это, пожалуй, и впрямь смешно...»

Военком привел ее в ложу. Тут уже сидело несколько серьезного вида мужчин в пальто и в кожанках. Это все, видимо, были полтавские знакомые военкома, потому что они запросто обменялись с ним кивком, а на Вутаньку посмотрели с молчаливым, но пристальным вниманием.

Один из сидевших впереди — одутловатый, насупленный, под глазами мешки — уступил Вутаньке свое место.

— Садитесь сюда, вперед...

— А вы?

— А мы с Левченко вот здесь, за вами, — сказал он и шутливо бросил своим: — Нам с ним не привыкать быть в тени.

В зале тем временем погасили свет. Затих гомон, чернобелыми пятнами замелькал экран. Вутанька с жадным вниманием наклонилась вперед: впервые в жизни видела она такое.

И уже поплыло перед ней незнакомое заснеженное поле, изрытое окопами, потянулось рядами кольев с колючей проволокой... Рассыпавшись по полю, быстро-быстро бегут согнувшись серые солдаты с винтовками, страшные взрывы раскалывают землю, и вот уже хоронят кого-то с воинскими почестями; над открытой могилой стоит, опустив голову, белый оседланный конь и, как человек, плачет крупными слезами...

У Вутаньки и у самой сжало горло. Ей почему-то вспомнилось, как после второй или третьей царской мобилизации провожали Кринички на фронт своих сыновей, отцов и мужей, служили молебн на Пселе, а

когда после молебна люди стали расходиться, то по всему Пселу остались похожие на блюдца ямки, образовавшиеся во льду под теплыми людскими коленями. Всю зиму ямки эти стояли перед глазами, душу разрывали криничанским матерям и женам. Приходили с фронта извещения, что тот убит, тот ранен, а тот пропал без вести, а ямки на реке все оставались, пока весеннее половодье не смыло, не унесло их вместе со льдом.

А на экране уже пышно цвело лето, солдаты снова шли в наступление, и впереди всех шел прямо на колючую проволоку какой-то широкоплечий, удивительно похожий на Леонида командир с мужественным, заросшим щетиной лицом... Не успела и наглядеться на него, как вдруг экран погас и в зале стало совершенно темно.

— Это бывает, — успокаивающе промолвил военком над самым Вутанькиным ухом. — Не волнуйтесь.

Соседи его, словно бы невзначай, стали расспрашивать Вутаньку, откуда она, из какого уезда и какие настроения у них в селе. Вскоре они заговорили между собой о завтрашнем съезде, о каких-то боях, которые будто бы должны разгореться на нем.

— Будет, будет кое-кому жарко, — произнес приглушенный голос в углу ложи. — Затрещат чубы!

— А вы на съезде не собираетесь выступать? — обратился военком к Вутаньке как-то особенно ласково.

— Что я, — улыбнулась она в темноте. — Разве там без меня охотников не найдется?

— Найдись-то найдется, но почему бы и вам... — вмешался вдруг в разговор бас откуда-то из-за спины. — Это ведь съезд особенный. Тут каждый должен свое отношение выразить. Идет, по сути дела, всенародный опрос.

— Щирая украинка, истинная дочь народа, — поощрительно промолвил Левченко, наклонившись к ее

плечу. — Представляете, как ваше слово тут прозвучало бы!

Вутаньке льстило, что ее так уговаривают.

— Ну, о чем же бы я могла?

— Как это о чем? — с удивлением отозвался тот же бас. — Судьба Украины решается. Какой сделаем шаг, от этого зависит будущее наше и наших с вами детей.

— Нет, вам непременно, непременно надо выступить, — рассудительно добавил кто-то с другой стороны. — Сознательная украинка, активистка «Просвиты», в народных хорах поет... Прямо не верится, что все это вас не волнует...

Вутанька, все больше настораживаясь, прислушивалась к их словам и уговорам. Какие-то намеки, какие-то не совсем понятные укоры. Судьба Украины, мол, ее не волнует. Неправда! Нет, волнует, и даже очень! Судьба Украины — это же и ее судьба. Но чего они хотят, что им от нее нужно? Уже о какой-то федерации идет речь, о том, как разделить надо все, даже войско. «Самостийность, да, самостийность!» — выкрикивает кто-то из темноты злым голосом. Так это и есть «самостийники»? Еще на уездном слышала о них... Вишь, чего захотелось: войско красное поделить. Да еще и ей нашептывают, чтобы она от имени своих криничан требовала этого. Почувствовала себя так, будто бы толкают ее в какую-то пропасть, туда, где можно потерять все, ставшее для нее самым близким, самым дорогим...

— Ну так как, товарищ? — Чья-то рука ласково коснулась ее плеча. — Ведь вы, кажется, мать? Если уж не ради себя, то хотя бы ради будущего наших с вами детей...

Вутанька резко обернулась в темноту ложи.

— У вас их так много?

— Кого?

— Да детей же.

Сопение, какое-то замешательство...

— У меня... кхм... собственно, нет, но у кого они есть...

— У кого есть, — едва сдерживая гнев, перебила Вутанька, — тот сам о них позаботится.

— Bravo, товарищ Вутанька, bravo, — засмеялся военком. — Так их! Кройте! А то ишь размитинговались...

В зале тем временем становилось все шумнее. Стучали, топали ногами, требовали света. Наконец добились-таки: кто-то невидимый вышел на сцену и извиняющимся тоном объявил публике, что картина отменяется, так как тока не будет.

— Что значит — не будет? — закричали в зале. — Послать на электростанцию! Выяснить!

И снова тот же извиняющийся, но настойчивый голос со сцены:

— Товарищи, тока не будет. На электростанции... авария.

Авария! С грохотом, с гулом возмущения люди поднялись, в темноте повалили к выходу. Слышно было, как, перекрывая все голоса, кричит в толпе Марина Келеберда:

— Агенты, ей-же-ей, агенты! Ух, ироды! Нет на них чека!

Вутанька, под общий шум выскользнув из ложи, тоже заторопилась к выходу. Военком, боясь потерять ее в темноте, не отставал ни на шаг, поддерживая под руку, и, когда на них напирали, он, будто бы защищая Вутаньку от толчков, крепко прижимал ее к себе.

XIV

К делегатскому общежитию пошли через городской сад — так якобы ближе было, чем по улице... Вечер

после тесного и темного помещения казался особенно хорошим: хотя луны и нет, но светло, падает редкий снежок, тихий, пушистый — последние запасы выметает зима из небесных своих закровов.

— Как хорошо! — тихонько воскликнула Вутанька, чувствуя, как тают снежинки на ее горячих щеках, на ресницах.

Аллея сада припудрена снегом, подмерзла, идти скользко, и военком, чтобы поддерживать Вутаньку, осторожно берет ее под руку. В саду малоллюдно: впереди идет несколько делегатов, навстречу деловито шагает красноармейский патруль... Поравнявшись, бойцы окинули внимательным взглядом Вутаньку, военкома. Что о них можно подумать со стороны? Сельская краснощекая делегатка в сапожках и цветистом платке и рядом с ней — стройный военный в длинной, ладно подогнанной кавалерийской шинели... В самом деле, кто он для нее и кто для него она? Еще вчера — почти незнакомые и далекие друг другу, а сейчас... Сейчас Вутаньке нравилось, что он так увивается за ней, что ради нее он не колеблясь оставил в ложе свою навязчивую, непонятную компанию.

— Кто они такие, ваши знакомые?

Военком, видно, ждал этого вопроса.

— Да это же все наши украинские левые, — ответил, будто шутя. — Принадлежали к разным партиям, разным течениям, а теперь на единую, на советскую платформу встали.

— А вы... тоже левый? — спросила Вутанька заинтересованно.

Левченко улыбнулся:

— Я, пожалуй, всех их левее... Я из тех, которые еще до слияния в Третий Интернационал просились.

Она чувствовала, что за его шутками, за оживлением скрывается какое-то беспокойство, что он

чем-то взволнован, и волнение это невольно передавалось Вутаньке. С чего бы это?

А ночь тихая, теплая. Последний, видно, прощальный уже, пролетает снежок... Тоненькая корочка льда хрустит под ногами, и так нежно, размеренно позванивают его шпоры: динь-динь! динь-динь!.. Вспомнив, сколько радости доставили Васильку дядины шпоры, Вутанька невольно улыбнулась на ходу. Заметив на устах у нее мечтательную улыбку, военком вдруг задержал шаг.

— О чем вы думаете?

— Мало ли о чем...

Он остановился.

— Я должен вам что-то сказать. Разрешите?

Взволнованный, посуровевший, он напряженно ждал ответа.

— Ну что ж, говорите...

Собравшись с духом, он заговорил. Заговорил так быстро, так горячо, что она сразу его даже не поняла. Признался, как поразила она его, когда на уездном съезде он впервые увидел ее, как был потрясен ее красотой, яркой, огненной... Все там обратили на нее внимание. Что за молодница? Откуда? Вишней рдеет на весь зал! А потом, как снова увидел ее — и это было совсем уже необыкновенно: она с таким вдохновением пела там ночью в вагоне, пела и плакала.

— Но не только ваша яркая красота, еще больше, еще сильнее поразил меня смелый ваш взгляд и эта горделивая, исполненная врожденного достоинства осанка. Я сказал себе: «Это она! Это тот свежий цветок, которыми так буйно зацветает сейчас наша долгожданная украинская весна!» Живым воплощением национального пробуждения рисовались и рисуется вы мне. Окажите, неужели я не имел права так думать о вас?

Вутанька не знала, что ему на это сказать, хотела и почему-то не могла остановить его бурную, страстную речь, что так тревожила и волновала, что, проникая в самую душу, касалась там каких-то нежных девичьих струн...

— Вас удивляет, к чему я все это говорю? Так знайте, — он словно в беспамятстве схватил ее руки, — я люблю вас! Люблю безумно! И вы сами в этом повинны! Вы своей красотой приворожили, очаровали меня!

В порыве чувства он притянул ее к себе, чтобы обнять, но Вутанька, отшатнувшись, резким движением оттолкнула его от себя.

— Ах так? — Военком побледнел, он, видно, никак этого не ожидал. — Так? Ну что же, гоните, клеймите. Делайте что хотите — я в вашей власти! — Он задышался. — Прикажите, и я сам... — рука его рванулась к кобуре, — сам пущу себе пулю в лоб!

Вутанька перехватила его руку:

— Успокойтесь.

Было в нем, в блеске его глаз в этот миг что-то страшное, как у припадочных. От такого и правда можно ждать любого безумства. И уже с другим, с сестринским чувством, как больного, Вутанька стала успокаивать его:

— Идемте. И не надо больше об этом... Я ведь замужем... У меня муж, ребенок... А вам — вам еще не одна повстречается на пути...

Они пошли дальше. Левченко шагал молча, Вутанька тоже не знала, о чем с ним сейчас говорить.

Так они дошли до общежития.

На улице еще стоял гомон — делегаты толпами возвращались из кинематографа. Прошла группа женщин, донесся знакомый голос Марины Келеберды — она все еще убивалась, вспоминая коня, который так жалобно плакал над вырытой могилой.

У выхода из сада Вутанька оставила военкома и с чувством облегчения поспешила через улицу к своим.

Укладываться спать делегатам пришлось в темноте: город в ту ночь так и не получил света.

XV

Съезд открылся в десять утра, в помещении городского театра. Было холодно, нетоплено, и делегаты, переполнившие партер, сидели не раздеваясь, согревая зал собственным дыханием.

Вутанька заняла место в средних рядах, недалеко от трибуны. Рядом с ней с одной стороны пощипывал бороду Цымбал, а с другой... снова оказался военком. После вчерашнего разговора Вутанька думала, что он обидится и больше к ней не подойдет, а он встретил ее такой дружеской, обезоруживающей улыбкой, будто ничего между ними и не произошло. Сидел теперь и непринужденно объяснял, кто занимает места за столом президиума. Военный в очках — представитель Всеукраинского ревкома, седая женщина рядом с ним — известная политкаторжанка; а тот, что в солдатской гимнастерке, — секретарь губкома большевиков, а во втором ряду...

— Ну да вы его уже знаете.

Вутанька, и верно, узнала: одутловатый, с отеками под глазами, тот самый, что вчера уступил ей место в ложе. Только вчера он был в пальто с меховым воротником, а теперь уже в кожанке.

— Кто он такой?

— Да это же товарищ Ганжа-Ганженко из губнаробраза.

— Самый горластый из всех сепаратистов, — неприязненно добавил кто-то сзади, дополняя характеристику.

Вутанька оглянулась: какие-то молодые рабочие в пиджаках, среди них улыбается знакомая ей кременчугская делегатка... Спросить бы, кто такие сепаратисты...

В это время по залу пробежал шелест, наступила тишина: на трибуне уже стоял докладчик — высокий, худощавый мужчина в темной косоворотке и с каким-то неистовым, точно голодным, взглядом...

Скоро Вутанька, забыв о военкоме, о соседях, уже застыла в напряженном внимании. Далеко не утешительную картину рисовал докладчик. Суровый год! Правда, огромным напряжением сил революции деникинская грабьярмия с ее английскими инструкторами отброшена к морю, долгожданная передышка завоевана, но успокаиваться рано. Трудности восстановления, и в особенности продовольственный вопрос, продолжают оставаться не менее серьезными, чем военный фронт. Холод и голод. Руины, опустошение — куда ни глянь. Затоплены шахты Донецкого бассейна, разрушены железные дороги...

Задумавшись, снова и снова перечитывала Вутанька ленинские слова, пламеневшие в глубине сцены на красном полотнище: «...великорусским и украинским рабочим обязательно нужен тесный военный и хозяйственный союз, ибо иначе капиталисты „Антанты“... задавят и задушат нас поодиночке». Знала, что это из письма Ленина к трудящимся Украины в связи с победой над Деникиным.

А докладчик, увлекшись, уже требовательно, сурово спрашивал с трибуны:

— Почему Украина? Почему именно она так разжигает аппетиты империалистов? Во-первых, им хотелось бы прибрать к рукам огромные наши природные богатства, низвести нас с вами до положения колониальных рабов; во-вторых — и это, может быть, самое главное, — они хотели бы

превратить Украину в плацдарм борьбы против Советской России. Премьер-министр Франции Клемансо недавно так и заявил, что большевики, потеряв Украину, будут лишены хлеба и угля и Советская власть неизбежно падет...

— Это тот самый Клемансо, — толкнув Вутаньку, промолвил Цымбал таким тоном, будто он уже имел с ним дело. — Ну не стервец ли?

— Вопрос о нашем единстве с Россией сейчас приобретает новую остроту, — продолжал докладчик. — В связи с подготовкой Четвертого Всеукраинского съезда Советов мы, большевики, ставим этот вопрос на широкое, открытое, всенародное обсуждение, твердо надеясь, что, вопреки козням разгромленных националистических партий, трудящиеся Украины сумеют сделать правильный выбор.

— Так что выбирайте, слышите? — наклонившись к Вутаньке, доверительно шепнул военком. — Пускай уж ко мне, но к Украине сердце ваше, я надеюсь, не останется равнодушным?

В зале уже гремели аплодисменты, докладчик спускался с трибуны.

Объявили перерыв.

Во время перерыва Вутанька встретилась в вестибюле с кременчугской работницей. Разговорились о том о сем.

— Вы не знаете, кто такие сепаратисты? — как бы между прочим спросила Вутанька.

— Почему не знаю, не раз случалось указывать им дорогу с нашей фабрики. Они уже и тут воду мутят. Атаманщину разводят, Красную Армию готовы разделить. На словах левее всех левых, а на деле с махновцами заодно.

— Всех собак теперь на нас вешают, — сердито бросил кто-то из кучки мужчин, кутивших поблизости. — Для всех один ярлык: «сепаратисты»!

Кременчугская женщина, подозрительно посмотрев на курящих, взяла Вутаньку под руку и отошла с ней в сторону.

— А почему это вас вдруг заинтересовало, товарищ Яресько?

— Да так, — покраснела Вутанька. — Хочется же разобраться.

Они уже возвращались в зал, когда Вутаньку неожиданно догнал Цымбал. Вид у него был какой-то по-козлиному задиристый, хвастливый.

— Отгадай, Вутанька, где был?

— Сами скажете.

— В Симеон-Конвенте заседал!

— А что это за конверт такой?

— Не конверт, а конвент! Это, брат Вутанька, такая штука, что ого! Туда только самых мудрых собирают...

— Удостоились вы, дядьку Нестор, чести, — засмеялась Вутанька. — Для чего же они вас собирали?

— Э, об этом молчок. Потерпи, узнаешь... — И шепотом добавил: — Бой готовится, слышишь? Так что не дремли — держи ухо востро!

Военком явился, когда заседание уже началось. Молча сел возле Вутаньки, мрачный, чем-то расстроенный.

— Дядьку Нестор, — тронула Вутанька рукой Цымбала, — вон та женщина, за столом... никого вам не напоминает?

Цымбал, вытянувшись, стал внимательно разглядывать женщину: бледное, измученное лицо, гладко причесанные седые волосы, темный шарф вокруг шеи.

— Не признаю... Только и всего, что мы с ней вместе в Симеон-Конвенте заседали.

— А помните учительницу в Каховке, которую вы от стражников на пристани отбивали?

— Правдистку? Еще бы: за нее еще мне тогда доской по спине попало!

— Присмотритесь, как будто на нее похожа.

Цымбал прищурился, как от солнца в степи.

— Навряд ли она. Хотя в жизни теперь всего можно ожидать. Мы вот разве думали с тобой, когда по Таврии скитались, что придет время — будем в конвентах заседать?

Начались выступления делегатов с мест. Один за другим поднимались на трибуну решительные, горластые, чаще всего во фронтовых еще шинелях и, доложив о нелегком положении на местах, о том, как кулачье саботирует продразверстку, тут же грозно клялись, что в союзе молота и плуга твердой рукой возьмут саботажников за глотку, ну а что до тех, кто думает нарушить боевой революционный союз Украины и России, то пусть только попробуют!

Вутанька замечала, как постепенно все стушевывается товарищ Ганжа-Ганженко, все чаще, наклонившись к соседу во втором ряду, о чем-то беспокойно переговаривается с ним... Уже выступили Золотоноша, Миргород, Гадяч, Лубны. Сейчас как раз держал речь звонкоголосый, совсем еще юный красноармеец — представитель полтавского гарнизона. Он больше напирал на мировую буржуазию, то и дело потрясая крепко сжатым кулаком.

— Молодчина! — похвалил. Цымбал, обращаясь к Вутаньке. — Вот так бы и от нашего уезда!

— А кто же будет от нас? — поинтересовалась она.

— Собирался Сергиенко вакуловский, да простыл, голос совсем потерял.

— О, этот бы подошел: боевик, Зимний с питерцами штурмовал.

— Вутанька, а почему бы, скажем, не тебе, а?

— Тоже выдумаете!

— Ей-же-ей, а? Мы там уже и между собой прикинули, что хорошо было бы тебе, женщине, выступить, за всех нас слово сказать.

— Да перестаньте вы, дядьку!

— А ты подумай, подумай...

— Слышите? — вдруг быстро наклонился к Вутаньке военком. — Ганжу-Ганженко объявили!

И, стиснув зубы, он зло, будто всем наперекор, стал хлопать в ладоши.

Ганжа-Ганженко не спеша, степенно вышел на трибуну, погладил рукой лобастую, наголо выбритую голову. В полнейшей тишине, которая вдруг установилась, голос его прозвучал уверенно, громко. Сначала он рассказал, как возрождается жизнь в школах после деникинщины, как тянутся дети к пауке, к свету. Потом как-то незаметно перешел на другое, на декреты, на деятельность Всеукраинского ревкома...

Вутанька слушала: так гладенько, так складно все у него получалось. Только где же то, о чем он твердил ей в ложе вчера? Точно переродился человек за ночь, точно совсем другой кто-то говорит с трибуны... А в зале все слушают, не прерывая, и ей даже страшно становится, что никто его здесь так и не раскусит — всех он одурманит своими приторными речами... Хотелось встать, крикнуть на весь зал: «Не верьте! Не слушайте! Не то у него на уме!»

— Однако теперь, когда Украина приступает к мирному строительству, — звучало с трибуны, — нам пора иначе подойти к делу. Поскольку речь идет о союзе с соседями, мы не можем не поставить перед собой вопрос: где гарантия, что союз наш будет действительно равноправным, действительно свободным? Слова? Слова — это не гарантии! Разве уже и сейчас разные заезжие гастролеры своим грубым декретированием на Украине не сеют в наших душах законные сомнения?

Оратор, умолкнув на миг, следил, какое впечатление его слова производят на делегатов; в это время, как бы в ответ, из глубины амфитеатра раздался спокойный, насмешливый голос:

— Значит: «Геть, кацапы, из наших украинских тюрем»? Так, что ли?

Зал грохнул хохотом.

Оратора это, однако, не обескуражило. Переждав, пока немного утихнет, он продолжал распространяться о том, что даже самые лучшие декреты, установленные для одного народа, могут оказаться неприемлемыми для другого.

— Иначе говоря, ленинские декреты для Украины не подходят? — негромко, но так, что слышно было всему залу, спросил из-за стола президиума секретарь губкома.

— Вы не совсем правильно меня поняли, товарищ... Я говорю о том, что на почве Украины...

И тут зал зашумел.

— Хватит! Слышали! — неслось со всех концов. — Старые песни! Петлюровские!

Оратор, втянув голову в плечи, исподлобья поглядывал на бушующий зал, терпеливо пережидая, пока уgomонятся. Но зал не успокаивался. Все усиливался топот, свист, крики:

— Доло-о-ой!

Ганжа-Ганженко все еще стоял, раздраженный, злой, крепко вцепившись руками в трибуну.

Вутанька, тоже что-то кричавшая, топавшая ногами, не могла спокойно на него глядеть. Чего он ждет? Разве ему еще непонятно? Ждет, чтобы сказали яснее?

Будто помимо собственной воли, Вутанька порывисто поднялась с места.

Военком встревоженно вскинул на нее глаза:

— Вы куда?

Баба Марина, сидевшая недалеко, тоже оглянулась, удивленно вытаращила глаза: «Куда ты, молодница? Что с тобой?»

А она молча, поправляя на ходу платок, быстро, с решительным видом, с горящим от волнения лицом направилась к трибуне.

Шла как по струне. Зал удивленно притих, замер. Стало слышно, как часто постукивают по паркету ее, Вутанькины, сапожки. Ганжа-Ганженко, не двигаясь с места, уставился на нее с трибуны тяжелым, полным ненависти взглядом, словно почуял приближение неотвратимого, самого опасного врага. Только когда она вплотную подошла к трибуне, он, видимо, понял наконец, что ему ничего не остается, как уйти. Кое-как собрал свои бумаги, повернулся к залу спиной и, сгорбившись, побрел куда-то за сцену.

Вутанька поднялась на трибуну. Пока шла, голова ее была как в горячем тумане — все качалось, плыло перед глазами, а тут, когда встала на трибуне и выпрямилась, сразу почувствовала себя увереннее. Будто на высокой горе очутилась. Море людей перед нею, словно всю Украину вдруг увидела отсюда. Свои, свои! Вон удивленно задрал козлиную бороду Цымбал, проплыло раскрасневшееся лицо Марины, кременчугской делегатки и еще каких-то женщин и красноармейцев, которые смотрят прямо на нее и как бы подталкивают: говори, говори!

Женщина за столом, улыбаясь, о чем-то спрашивает Вутаньку, а она никак не возьмет в толк, что именно... Ага, фамилию.

— Вустя. Вустя Яресько из Криничек...

И уже объявляют громко, будто на весь мир:

— Слово имеет товарищ Вустя Яресько из села Кринички!

Стало тихо-тихо. Зал напряженно ждет ее, Вустиного, слова. Что она скажет им, всем этим

делегатам и делегаткам, как передаст то, что накипело у нее на душе и что, так неожиданно подняв с места, вынесло ее на трибуну?

— Не думала я брать сегодня слово, — взволнованно начала Вутанька. — И не взяла бы, если б не вот этот, что сейчас тут выступал. Боялась, что заморочит он вам головы, что сразу не раскусите его...

— Громче! — прозвучало откуда-то с верхних ярусов, И Вутанька, подбодренная, собравшись с духом, уже зазвенела на весь зал, как колокольчик.

— Нагляделись мы уже на них — то в шлыках, то в башлыках приходили, а теперь уже в новой выступают одежде. Меняют личины, брата на брата натравливают, вражду между нами посеять хотят. Думают — темные, сгоряча не разберемся. Скажу о себе. Да, было время, ходила и я окольными дорогами, было, что и в хоре ихнем пела под их петлюровский камертон. От стыда сгораю теперь, как вспомню. Не одна я там была, на радостях могла и не разобрать, о какой Украине песня! — Передохнула, помолчала немного, собираясь с мыслями. — Верно сказал тут товарищ докладчик, что коли пойти за ними, так не миновать нам невольничьего житья, или, как говорят, рабства капитала. А что такое рабство капитала, по себе хорошо знаю, потому как в прошлом я батрачка, босыми ногами мерила таврийские шляхи... Ватагами набирали нас свои же земляки в Каховке, гоним гнали в степи, продавали фальцфейнам в неволю. И никто из земляков тогда не стыдился, что сестер своих, украинок, в неволю гонит. Если бы не революция, так и косы поседали бы на чужих, на каторжных работах. И вот теперь, когда наконец расправляем мы крылья, снова вернуться к старому? Силы свои разделить, родное красное войско разорвать на части, чтобы враги передушили нас поодиночке? Нет, вместе до сих пор были, вместе будем и дальше, как Ленин нас учит... А Украину, которую все тут

поминают... так Украину мы любим сильнее, чем все эти болтуны, потому что как можно не любить родную мать? С нашей любовью, под нашей защитой живет она и будет жить во веки веков!

Уже не чувствовала ни скованности, ни смущения. Все пережитое, передуманное огнем горело в ней, рвалось наружу. Затихший зал не сводил с нее глаз. Всю свою правду, видимо, решила сразу высказать молодница. Стоит на трибуне, разругавшаяся, с гордо поднятой головой, от волнения не замечает, как платок ее медленно ползет, сползает на шею, открывая клубок тугих блестящих кос.

— Сольем свои сердца с сердцами героев Красной Армии для окончательной победы над врагом! Поможем всем, что у нас есть, ни хлеба, ничего не утаим, потому что нам, как и русским женщинам, дороги наши дети, братья и мужья!

Когда под бурю рукоплесканий Вутанька сходила с трибуны, седая женщина из президиума радостно бросилась к ней, ласково, по-женски обняла.

— Спасибо вам... сердечное спасибо от русских матерей. Мы всегда будем дорожить дружбой с вами. Мы будем уважать вас!

Легко, как на крыльях, шла между рядами Вутанька, возвращаясь на свое место.

— Хорошо, хорошо сказала, — одобрительно заговорил Цымбал, когда она, еще вся охваченная жарким волнением, села рядом с ним. — Даже тот не выдержал...

Только теперь Вутанька заметила, что место, где сидел военком, свободно.

— Не усидел, — улыбнулся Цымбал. — Сначала слушал, а потом исчез.

— Не имеет ли что сказать добродий Левченко?

— Нет, я послушаю.

Он слушает. Третий час ночи, а он все еще должен слушать их разглагольствования. Болтуны. Трепачи. Проболтали Украину! Вместо того чтобы с самого начала создавать сильную, хорошо законспирированную военную организацию, они мололи языками, языками надеялись все отвоевать... Ну и поделом. «Поражение», «поражение» — только и слышно вокруг. А какое там, к черту, поражение? Провал, разгром! Те, на кого они рассчитывали, затюкали, выгнали их взащей, и они должны теперь, как мальчишки, оправдываться перед прибывшим из Киева представителем подпольного центра, так называемого Цупкома^[5].

Совещание происходило на квартире у одного из бывших преподавателей полтавской гимназии, в его кабинете, пышно меблированном, заставленном украинской стариной. Хозяин квартиры, дородный мужчина с перевязанной, распухшей от рожистого воспаления щекой, сам разносит гостям чай с крупинками сахара на блюдечках. В кабинете темно от табачного дыма, ни на миг не утихает с трудом сдерживаемый гул раздраженных голосов.

Левченко не принимает участия в разговоре. Он сидит в сторонке, утонув в широком кожаном кресле, и смотрит, как лихорадочно жестикулируют тени на стенах. Над диваном, на завешенной украинским ковром стене тускло поблескивает старинная казацкая пицаль... Неплохое было оружие для своего времени... А вы, господа добродии, и сегодня не с такой ли пицалью собираетесь на врага идти? Не с таким ли устарелым духовным оружием надеетесь выиграть историческую битву за Украину? Недаром же вас бьют. Не первый уже терпите разгром. И если вдуматься — так от кого же, от кого?

Раскрасневшаяся, возбужденная Вутанька на трибуне — к ней снова и снова возвращаются его мысли. Как она говорила, вся пылая, и каждым словом била, хлестала его по лицу. Чем больше раскрывалась с трибуны перед людьми, тем все более далекой становилась для него, недостижимой, неподвластной ему. Где и в чем он ошибся, что не смог овладеть ее сердцем? Ведь правда же на его стороне, на его?

За столом киевский цупкомовец — желчный, приземистый крепыш во френче мышинового цвета, — выговором выдавая свое галицийское происхождение, громит, разносит Ганжу-Ганженко... Не контактировались, мол, с рядовыми делегатами, не сумели повести за собой съезд... Прохлопали, прозевали!..

В конце концов терпение у Ганжи лопнуло.

— Довольно с меня ваших нотаций! — стукнул он кулаком по столу. — Надо быть железным, чтобы молча сносить все оскорбления, которые наносит мне центр! Мы тут плохие, а чем вы там, в Киеве, лучше? Чем вы осчастливили Украину, находясь у власти? Грызней да интригами? Большевики обещаний не жалеют — засыпали народ посулами, а вы? Земли побоялись дать? Трудовым конгрессом крестьян накормили! Вот он теперь вам боком и стал, этот ваш конгресс!

Речь зашла и о ней, о Вутаньке.

— Красивая женщина, — первым заговорил левый эсер — инженер с электростанции. — С виду настоящая украинка, да в душе, к сожалению, заядлой комиссаркой оказалась...

За ним наперебой зачирикали и два гимназистика, тоже участники совещания:

— Темная... Обманутая... Недаром же комиссары таких в наложницы берут.

— Комиссарская потаскуха!

— Вы! Желторотые! — неожиданно подал голос Левченко. — Да как вы смеее так о ней говорить?

Задыхаясь от возмущения, он поднялся с места, и руки его инстинктивно потянулись к кобуре.

— Простите, простите, — забормотали перепуганные гимназисты. — Мы ведь что... Мы ведь не знали...

— Так знайте впредь: одно дурное слово о ней... и пули не пожалею.

Все стали его успокаивать.

— Молодые, неопытные, — лепетал хозяин. — Уж вы простите их...

— Добродия Левченко мы должны всячески оберегать, — тоном приказа заговорил представитель Цупкома. — Левченко — человек дела. На него не должно пасть ни малейшей тени подозрения. Центр возлагает на него особые надежды в организации нашего движения на Полтавщине. Идея есть, люди есть...

— А оружие? — хмуро спросил Левченко галичанина.

— Оружие будет. А пока вилы, надежные крестьянские вилы — вот наше лучшее оружие... На вилы коммунию под-пять!

— Но кроме вил, кроме этих ваших пищалей, — Левченко пренебрежительно кивнул на стену, — мне еще современное — английское! французское! — оружие нужно!

— Будет! Головной атаман сейчас об этом с Ватиканом как раз договаривается. Мы им — кардинальский престол на Украине, а они за это обещают завалить нас оружием.

— Папского кардинала на Украину? — встревожился вдруг хозяин, одной рукой, поддерживая перевязанную щеку, а другой убирал со стола пустые стаканы. — Ох, нелегко будет наших полтавчан окатоличить. Упрямый народ!

Ему ничего не ответили.

Расходились по одному, соблюдая все правила конспирации.

Левченко должен был идти ночевать в район вокзала, к другим своим знакомым. Выйдя на улицу, он осторожно пробирался в темноте, прикикая к стенам, крепко сжимая в руке заряженный браунинг. Знал — выстрелит не колеблясь, если встретится патруль и станут задерживать. А что, если бы вдруг, вместо патруля, встретилась... она? Как с ней бы поступил? Не знает. Наверное, выстрелил бы и в нее.

XVII

Выезжали из Криничек еще по доброму санному пути, возвращались по весеннему бездорожью: вода выступала из-под снега, заливала балки. Едва добрались домой. А дома тоже все тает, сбрасывает оковы, возрождается к новой жизни, и Данько с Васильком, почуяв весну, выползли из хаты на солнышко, прорывают под поветью канавки для первых молодых ручейков.

Будто вечность была с ними в разлуке. Вутанька, увидев сына, точно опьянела: маленькое радостное существо подбежало, путаясь в бабкиных лохмотьях, трепетно прижалось к коленям.

— Мамо! Мамо!.. А у нас кто-то был!

Засмеялась, обнимая сынишку.

— Кто же у вас был?

— Угадайте!

Мальчуган заговорщицки оглянулся на дядю. Данько в сторонке улыбался из-под шапки, опершись на лопату, как дед.

— Редкий гость тут у тебя был, Вутанька...

Она даже вскинулась вся:

— Какой?!

— Татко был! — в восторге выпалил Василько. — Татко наш был! Комиссар!

Вутанька обмерла: не знала в первую минуту, радоваться ей или плакать. Был... Был и не застал! Был и не повидались... «Это за грех мне, за грех, — вырывалось сердце из груди, — за Полтаву, за ночь в поезде, за того баламута военкома... Но ведь не было греха, не было, не было!»

Душа ее полна была протеста, и горя, и отчаяния... Стояла в оцепенении, смотрела, как по дну только что прорубленной канавки постепенно пробирается ручеек, а где-то за спиной подала вдруг голос какая-то весенняя птичка, и будто издалека доносятся слова брата о нем, о Леониде. С новым бронепоездом проходил через станцию, остановка была у них там, из-за ремонта, что ли, и он, воспользовавшись этим, вырвался в Кринички повидаться с нею и с сыном.

До щемящей тоски, до слез больно было ей это слышать... Шел, спешил, надеялся, что встретит она его здесь своей любовью, своей истомившейся лаской... Где он сейчас? За балками, полными воды, за весенними дальними бродами. Был здесь, еще позавчера дышал этим вишневым воздухом, а теперь, когда теперь она его снова дождет? Весна плещет капелью, журчат ручьи, сад стоит по-весеннему набухший, умытый, прозрачный.

Стайкой налетели какие-то птички-красногрудки — снегири не снегири — и все разом сели на вишне, сверкая на солнце своим ярким оперением. Словно спелые, багряные яблоки вдруг запылали на голых ветвях! Что за дивные красногрудки такие, из каких краев прилетели?

Сели, украсив собой весь сад, обернулись клювиками к солнцу и, попробовав голоса... запели! Самой птички почти не видно — маленькая, серенькая,

невзрачная, она чуть не вся скрылась за округлым румянцем собственной грудки, роскошной, до краев налитой, переполненной песней. Пели солнцу, пели весне, пели взволнованной до слез Вутаньке... «Был! Был! Был!» — чудилось ей в их радостных, залиvistых голосах. Не от него ли они? Не прощальный ли привет послал он ей с дороги с весенними этими красногрудками?

Понежились на солнышке, поцвиринькали — снялись, улетели.

Тоской сжалось сердце Вутаньки.

Взяла сына на руки, с чувством горькой потери направилась в дом.

Вошли в хату, и в хате, где гостил Леонид, еще, казалось, слышались его шаги, веяло его дыхание.

— А где же мамо, Данько?

— Маме земля спать не дает... — Брат улыбнулся. — Побежала уже насчет лошади договариваться на весну.

Вутанька, раздеваясь, будто новыми глазами разглядывала хату. Во сто крат роднее стала она оттого, что недавно здесь побывал он, и живым укором откликались вещи, которых он касался... Вон там он сидел, вот здесь ходил, а из того ведра, может, воды напился...

— Какой же он? Василько, ну Расскажи, какой же он, татко наш?

— Хороший татко... На руки меня брал. А на поясе у него наган вот такой большущий...

Ловила каждое слово о нем и все представляла, как бы это было, если б он застал ее дома. Кажется, идя на первое свидание с ним там, в таврийских степях, не ждала его близости, его горячих объятий так, как сейчас.

Вскоре явилась и мать. С кошелкой в руке, запыхавшаяся, ноги промокли — где-то, видно, балку вброд переходила.

— Где это вы ходили, мамо? — бросилась к ней дочь.

— В поле побывала. — Достав из кошелки горшочек, наполненный мокрой оттаявшей землей, она бережно поставила его на стол. — Набрала вот землицы на пробу, семена баклажан посею... Чуете, какой дух от нее идет?

По-весеннему пресно, пьяняще запахло в хате свежим разбухшим черноземом. Данько взял из горшочка комок и, разглядывая, медленно стал разминать его в пальцах. Хорошая земляца, сильна! Мать не могла скрыть своей радости.

— Побежала, думала, одна я такая, а там уже и Кравчиха руками снег разгребаает, смотрит, не украл ли кто ее землю! — засмеялась она счастливо, застенчиво, как девушка. Переставив горшочек на окно, к солнцу, вдруг с тревогой взглянула на Вутаньку. — А ты чего, дочка? — Только теперь она заметила, что Вутанька стоит у окна, чем-то сильно расстроенная. Загляделась куда-то за речку, раздумянилась с дороги, как калина, а на ресницах... слезы дрожат! — Дочка, с тобой недоброе что-нибудь стряслось в Полтаве?

— Да нет, все хорошо.

— Это правда, — спросил Данько сестру, — что ты там с трибуны выступала?

— Правда.

Василько, забравшись на лавку, просунул голову матери под руку, заглянул в лицо:

— Мамо, а что это — трибуна? Какая она?

— Высокая она, сынок. — Вутанька обняла сына.

— Как Голтвянская гора?

— Выше... Как выйдешь, как встанешь... всю Украину видно.

— И о чем же ты там говорила, доченька, о земле не забыла сказать?

— Не забыла и о земле... Ни о чем не забыла.

— А Леонид тут кланяться тебе велел... тоже все на дорогу посматривал. И жалел очень, что так вышло, и радовался за тебя.

Василько, стоя на лавке, в наивном детском удивлении глядел на мать и никак не мог взять в толк, что у нее болит, о чем она плачет, почему большие сверкающие слезы одна за другой медленно катятся по ее пылающим, разгоревшимся щекам.

Окна давно оттаяли, в комнате полно солнца, а мама плачет...

— Мамо, мамо! — заговорил мальчонка встревоженно. — Скажите, а там, в Полтаве... есть солнце?

— Есть, есть! — сквозь слезы засмеялась Вутанька и еще крепче прижала сына к себе, осыпая его жаркими поцелуями.

XVIII

Быстро выздоравливал Данько в тихом домашнем лазарете. Мать нарадоваться не могла: на глазах оживает сын! И с людьми стал разговорчивее, и с ней приветливее. А в первые дни, бывало, слова от него не услышишь и родном доме, а держался как чужой, как постоялец. Часами лежал молчаливый, погруженный в себя, даже для матери недоступный. Больше всего тревожила мать эта его задумчивость. Сядет у окна, стриженный, долговязый, костлявый после болезни, уставится в оконное стекло, и видно, что мысли его уже далеко от материнской хаты, может, снова в степях, может, снова где-то со своим суровым полком.

Праздником стал для матери тот день, когда однажды, вернувшись с ведрами с реки, вдруг услышала, как в комнате кто-то потихоньку гудит,

напевает... Сама себе не поверила — уж не послышалось ли ей?

Однако сомнений быть не могло: он! Чей же еще, как не сына, этот юношески чистый, глубокий, задушевный тенорок:

Они ехали молча в ночной тишине
По широкой украинской степи...

Чтобы не испугнуть певца, остановилась, притихла в сенях у двери, взволнованно слушая, как возвращается он с песней к жизни, к своим товарищам далеким...

С той минуты, безмерно радуясь быстрому выздоровлению сына, уже не могла освободиться и от щемящей, с каждым днем нарастающей тревоги: чуяло сердце, что, как только окрепнут у сына крылья, не удержать его дома, снова улетит в широкий мир... Что же тогда ей останется?

Вся ее радость, все ее достояние было в детях. Двоих еще маленькими похоронила, а трое, наперекор нищете, болезням, остались в живых. Со старшей — Мокриной — матери уже почти нет забот: та сама себе хозяйка, к тому же на отшибе живет, только и поводишь, когда в церковь придет либо на сходку. С мужем Мокрина сошлась характером — попался работающий, смирный, не драчун и не буйан да, на счастье, еще с грыжей — и на войну не взяли: все эти годы лесником работает да деготь гонит, хоть это и запрещается. Свили себе гнездо за речкой, в лесной глуши, и хотя дети пошли у них густо, однако живут не хуже других.

А эти двое, Данько и Вутанька, — в кого только они удались! Отец, будь он жив, известно, лишь порадовался бы, глядя, какие выросли оба голосистые, буйные да непоседливые, а у матери из-за их

неугомонного нрава всегда душа не на месте. Сколько тайком пролила слез ночами, когда Вутанька вернулась из Таврии ни девушкой, ни вдовой.

Богачи прохода не давали своими насмешками:

— Дождалась, мать? Надеялась на червонцы таврийские, а дочка вместо них байстрюка в подоле принесла!

Еще больше болело у нее сердце за Данька, пока он где-то там с врагами рубился. Все эти петлюры да царские генералы, все эти чужеземцы, о которых она не раз слышала на сходках, казалось, всей силой шли именно на него, на ее сына, стремясь во что бы то ни стало погубить его, молодого, расстрелять своими страшными дредноутами да еропланами... Только после того как разыскала его чуть живого в лазарете и забрала оттуда домой, почувствовала, что теперь все у нее есть: и земля в поле и сын в доме.

Даже когда был маленьким, не осыпала Данька ласками так, как сейчас. Как сторожко прислушивалась она по ночам к его дыханию, как горячо молилась тайком о возвращении ему сил и здоровья! Когда в доме появилось молоко, стала щедро, несмотря на святой пост, отпаивать сына скоромным, принимая весь грех на себя. И грех в мех, и спаса в торбу, только бы сын скорее набирался сил, скорее встал на ноги!

И вот он встал. По вечерам уже молодела забегает в хату, балалайка побренькивает, песни звенят.

В погожие дни Данько, накинув на плечи латаный материн кожух, любит похлопотать во дворе по хозяйству или, выйдя на речку, подолгу стоять с палкой на пригорке, внимательно присматриваясь к светлой, сверкающей на солнце зареченской дали, чутко прислушиваясь к звонким голосам весны.

Весна в этом году пришла властно, внезапно. Не подкрадывалась потихоньку, не высылала в разведку ложных оттепелей, не пятилась под ударами последних

мимолетных вьюг... Вдруг прорвалась, развернулась, сразу нажала по всему фронту! Подули ветры с юга, пригрело солнце, и вот одно за другим уже рушатся на глазах белые укрепления зимы. С грохотом обваливаются ледяные стрелы с крыш, с каждым часом все звонче журчат ручьи по улицам, по огородам, по подгорью. На реке стал стрелять лед, потрескивая, набухая прибывающей водой.

За каких-нибудь несколько дней все пришло в движение, таяло, пробуждалось, овеянное теплым ветром, озаренное обильными лучами солнца с высокого весеннего неба.

В день когда затрещал внизу, загудел, коробясь, лед, на берег Псела высыпало все село. Хотя видели ледоход каждую весну и, казалось бы, давно уже должны были привыкнуть к нему, но и нынче ждали его как чего-то небывалого. Ярьсько, вооруженный длинной палкой, тоже стоял со всеми на берегу, охваченный общим настроением нетерпеливого ожидания, весь в сумятице каких-то новых надежд и чаяний, как будто сегодня и впрямь должно здесь произойти что-то исключительное, необыкновенное.

Подошел Федор Андрияка с группой ревкомовцев, криво улыбнулся Ярьсько своей разорванной губой:

— Поперла весна, говоришь?

— Поперла...

— Как разольется, всех бандюг нам из лесу повыгоняет.

— И дезертиров из каховских плавней.

— Так это, думаешь, и все? В Крыму, брат, еще осталось немало гадов на развод. Деникина, ч-чертяку, скрутили — на его место Антанта сейчас Врангеля привезла. Говорят, будто в Севастополе уже на руках его носят, ч-чертову куклу!

Ярьсько вспомнил Севастополь в дни бурного крымского рейда, братание с французскими матросами,

многолюдные манифестации, песни... Как эта весна, что неудержимо ломает, крушит остатки зимы, кинулись они тогда — матросы, повстанцы, рабочие — к порту, с песнями шли против дредноутов, под красными знаменами шагали, как братья... А теперь там снова поднимают голову черные силы?

Река тем временем делала свое. Сначала лед медленно, будто нехотя, двинулся, затем пошел быстрее, напористее... И вот вдруг затрещало все, тесны стали берега, раскололись, разломились ледяные глыбы, полезли одна на другую, словно какая-то невиданная сила напирала на них снизу, обдавая темным клекотом бушующей воды. Казалось, некое таинство свершала природа, и люди, приблизившись к самому берегу, взволнованно следили, как буйная, весенняя эта сила пробивает себе дорогу вперед, как ползут и ползут в бурлящие водовороты разбитые льдины, отрываясь от берегов, с угрожающим шумом и треском уходя в свое далекое весеннее путешествие.

На глазах рушилось все: и зимние проруби, и огромные ледяные кресты, оставшиеся от праздника крещения, и тропки, наискосок протоптанные криничанами зимой по льду на ту сторону, в лес. Все это трескалось, рушилось, ломалось и ледяным крошевом уплывало в сторону Днепра...

Молодежь развлекалась. Какие-то парни, соревнуясь в ловкости, перепрыгивали с шестами со льдины на льдину, в притворном испуге вопили: «Тонем! Караул! Спасите!»

— А вот видишь еще ч-чертово отродье? — показал Андрияка Ярьсько на речку.

Данько уже смотрел в ту сторону. Девушка на льдине! Кто она такая? Словно состязаясь с парнями в смелости и отваге, она взобралась на льдину и, ловко орудуя длинной жердью, с веселым смехом плыла вдоль берега, то и дело отталкиваясь от него. Видно было, что

она не деревенская: в желтых сапожках со шнуровкой чуть не до колен, в коротенькой меховой шубке, плотно облегающей ее стройную талию. Голова открыта, без платка, длинные золотисто-каштановые косы откинута за спину. Приблизившись к тому месту, где стоял Ярьсько, девушка вдруг вскинула на него глаза и, вытащив из воды жердь, протянула к берегу:

— Хватай, служивый! Хватай, а то утону!

Видя, что она озорует, Данько не тронулся с места.

— Испугался? — Девушка засмеялась и снова налегла на жердь, и ее тут же отнесло потоком. Даньку приятно было смотреть на ее смеющееся лицо. Такая курносая, широколицая, даже с веснушками, но... хороша! Не девчонка, а просто... черт в юбке!

— Чья такая? — повеселев, обратился Ярьсько к Андрияке.

— Нонна, попа нашего дочь, — пояснил Федор. — В полтавской гимназии училась, с офицерами романы крутила.

— А теперь?

— А теперь в отставке... по случаю разгрома деникинцев. — Федор громко захохотал.

— Отчаянная девка! — заговорили дядьки, стоявшие рядом. — Батюшка уже по знает, что с ней и делать... Родится ж о такое: оторви да брось.

Тем временем девушка, поравнявшись с другой группой, по-мальчишески оперлась на жердь и легко, одним махом, перепрыгнула со льдины на берег.

Впрочем, скоро Данько забыл о чудаковатой поповне. Зрелище могучего ледохода целиком захватило его. Уже не криничанские, а откуда-то с верховьев разбитые проруби, изломанные тропки и раскрашенные свеклой снежные бабы проплывали перед глазами. Все, что создавалось в течение зимы, все, что месяцами стояло на Пселе недвижимо, теперь рушилось под могучими ударами весны. Все привычное,

обжитое, вместе с этими обмерзшими прорубями и извилистыми, протоптанными по льду тропинками, с огромными ледяными крестами, с неуклюжими снежными бабами, которые, посерев, подтаяв, так напоминали Даньку скифских каменных баб на степных курганах, — все это пришло в движение, подхваченное буйной силой прибывающей, несущейся с верховьев воды...

Скрежет ледяных громад, гул вскрывающейся реки будил все вокруг, отдавался эхом далеко и на той стороне, в лесах. Набухшие, озаренные солнцем леса тоже будто застыли в ожидании весеннего половодья, которое скоро зальет, затопит их сплошным радостным потоком.

Могучая картина весеннего ледохода, как она будоражила душу, будто хмелем поила Ярьсько...

Все эти проплывающие мимо остатки тропинок и прорубей, тяжелые ледяные кресты, — где они окончат свой путь? В прах разобьет их на крутых Днепровских порогах, бесследно растают где-нибудь под палящими лучами южного солнца? На юг, к морю! Взволнованным взглядом смотрел Ярьсько на разбушевавшийся ледоход, на обломки старого зимнего уклада, проносившиеся мимо, и вместе с потоком молодых вод, вместе с неотвратимым движением весны неслись на юг и его растревоженные думы...

XIX

В севастопольском Морском соборе шло торжественное богослужение. Бледным тающим пламенем горели бесчисленные свечи, сияло старинное золото риз и киотов; ароматный дым, подымаясь из каминов, висел в воздухе плотным голубоватым облаком, наискось пронзенным там и тут мечами

дневного света, который пробивался сквозь высокие соборные окна. Густой аромат ладана смешивался с запахом свечного чада, лампадного масла и горячими испарениями дорогих парижских духов.

Сегодня в соборе полным-полно молящихся. Бывшие сенаторы и бывшие министры, деятели Государственной думы и могущественные заводчики Юга, генералы в орденах и сверкающие бриллиантами аристократки — все те, кто после новороссийской катастрофы нашел себе убежище здесь, на последнем Арарате белой земли, собрались в этот день еще раз помолиться о своем будущем, о своем воинстве, о своем молодом вожде.

Он, их кумир и избранник, тоже был сейчас здесь, на большом соборном богослужении. С того момента, как он вошел, взволнованные взгляды знатных молящихся были уже обращены не на святых, а на него. Вот он стоит в простой черкеске, возвышаясь над своими блестящими адъютантами, суровый, замкнутый, овеянный легендами витязь-джигит их белого Арарата.

Стальной Врангель!

Никаких знаков различия не было на нем — по внешнему виду его можно было принять за простого воина. Лишь на груди, возле газырей черной черкески, скромно мерцает платиновый крест — награда, которую ему недавно вручил генерал Холман от имени «его величества короля Великобритании и императора Индии». Высокая, необычная награда. Однако никто из присутствующих здесь не мог с уверенностью сказать, за что именно ее вручили: то ли за прошлое, за бои под Царицыном, то ли, может быть, уже за будущие победы, которых от него так ждут?

Еще совсем недавно он был в опале. Резкий, нетерпимый к промахам ставки, он был отстранен от командования, выжит Деникиным из Крыма и где-то в Константинополе, в царьградском изгнании, терпеливо

оттачивал свой мстительный клинок. Он не сомневался, что час его пробьет.

Время работало на него. Чем ниже падал престиж Деникина, тем выше возносился он, Врангель, в своем ореоле изгнанника. Разочарованное и озлобленное военными неудачами офицерство, утратив веру в старого диктатора и сваливая на него одного всю вину за бесславный конец похода, за позорный новороссийский разгром, все чаще обращало свои взоры к молодому опальному генералу. Звезда Врангеля быстро всходила над Царьградом. В конце концов тот же Деникин, который выжил его из Крыма, вынужден был собственноручно подписать приказ, согласно которому генерал-лейтенант барон Петр Врангель назначался верховным главнокомандующим вооруженными силами Юга России.

Роли переменялись. В то время, когда один корабль британского королевского флота принимал на борт одряхлевшего неудачника Деникина, по трапу, переброшенному с другого чужеземного корабля, на севастопольскую пристань уже сбегал упругим шагом джигита новый молодой диктатор, чтобы взять в свои руки всю полноту власти.

Взрывом бешеного, истерического энтузиазма встретил белый Крым царьградского изгнанника. После страшных ночей отступления, когда красная лавина катилась по пятам, после кошмаров новороссийской и одесской паники, обезумевшая, упавшая духом беженская масса и скопища усталых, завшивевших войск с появлением Врангеля в Крыму вдруг подняли головы, загорелись надеждой. В лица энергичного молодого полководца они увидели своего спасителя, ниспосланного им из-за моря самой судьбой. Этот поведет, этот вернет каждому из них утраченное!

Уже первые шаги деятельности Врангеля показали, что офицерские полки не напрасно в критический

момент призвали его сюда. Железной рукой взялся молодой вождь наводить порядок в хаосе своего огромного крымского лагеря. Не колеблясь рубил головы ненавистной деникинской камарилье, обнаглевшим тыловикам-казнокрадам, которые во время похода целыми эшелонами спускали на черном рынке армейское снаряжение, вызывая ропот войск и угрозы союзников. Дошло ведь даже до того, что английские наблюдатели, не доверяя больше деникинским интендантам, сами вынуждены были сопровождать свои поставки непосредственно на фронт, в боевые части. Разложение, воровство, продажность разъедали армию и тыл. Болезни казались неизлечимыми, безверие после разгрома — фатальным, а вот пришел он и вдохнул в них новую силу, и словно чудом из разрозненных, потрепанных, разложившихся частей стали на глазах вырастать первоклассные боевые корпуса. За такого стоило возносить молитвы им, подонкам всей России, сенаторам без сенатов, губернаторам без губерний!

И разномастные, занятые непрерывной взаимной грызней, объединенные лишь смертельной ненавистью к тем, кто вышвырнул их сюда, на окраину империи, они, собравшись сегодня в Морском соборе, ревностно молятся о нем и на него, вождя своей ненависти и мести. Сейчас все здесь во славу ему — и золото риз, и дым кадильниц, и тающие огни свечей, и даже тот невесомый клин дневного света, который лег на плечо избранника с высоты соборного окна.

Молодой епископ, простирая руки вперед, торжественно приветствует его с амвона:

— Дерзай, вождь!

А он, их угрюмый долговязый вождь, стоит с каменным замкнутым лицом, в упор пронизывая епископа своим острым взглядом, и всем своим видом

говорит, что он готов дерзать, готов бросить вызов судьбе.

Все, кто знал Врангеля раньше, находили, что сейчас, в Крыму, придя к власти, он даже помолодел, стал стройнее, чувствовалось, что весь он — порыв к действию, что он Полон энергии и решительности.

— Ты победишь, — убежденно напутствует епископ, — ибо ты — Петр, что означает камень, твердость, опора. Ты победишь, ибо сегодня день благовещения, что означает — надежда, упование. Ты победишь, ибо все мы встанем с тобой против каторжников и бродяг за поруганную веру, за родную землю, за святую Русь!

Грянули певчие, все стали креститься. Врангель, подойдя под благословение, опустился на одно колено — суровый, спокойный, величавый, — как опускались некогда его предки, средневековые бароны-рыцари, получая напутствие в далекий крестовый поход.

Торжественный миг! Крылатые, голенькие ангелочки, слетевшись в карминно-синем поднебесье купола, как живые, с детским удивлением смотрели оттуда вниз на редкостное зрелище. Все их, казалось, тешило и веселило: и долговязый коленопреклоненный диктатор, и сверкание генеральских эполет, и удивительное сборище кокетливых дамских причесок, и блеск лысин бывших министров да бесприютных губернаторов, которые, словно по команде, размашисто, ревностно крестились, хотя добрая половина из них были убежденные безбожники.

Прямо из собора главнокомандующий в автомобиле помчался на вокзал. Там, в ожидании его, уже час стояло, повзводно выстроившись у вагонов, юнкерское училище, которое сегодня отправлялось на Перекоп.

Вдоль этого эшелона из раскрытых настежь дверей «телячьих» вагонов уже были спущены доски-трапы. Выстроившиеся юнкера глядели орлами. В нетерпении,

волнуясь, ожидали они приезда своего кумира, культ которого безраздельно царил в их среде. Солдат, гвардеец, он строит армию нового, гвардейского типа, смело выдвигая одаренную молодежь, ставя юную доблесть выше сомнительных заслуг астматических деникинских рептилий. При нем храбрые молодые прапорщики становятся во главе полков, и тут же летят погоны с разжалованных, заскорузлых в своей тупости полковников, которые, расплачиваясь за прошлое, вынуждены теперь с винтовкой, в «беспросветных» погонах, шагать рядовыми. Не осуждение, а лишь горячий восторг вызывали в среде юнкеров и беспощадная расправа молодого диктатора с деникинским охвостом, и его суровые меры против «пьянства, буянства, окаянства», и даже его, известное всей армии, бешеное наполеоновское честолубие. Нет, это совсем не то, что старая развалина Деникин, которому по прибытии в Англию английский король будто бы пожаловал за верную службу титул лорда. Дряхлый лорд юнкерам на нужен — их поведет железный барон!

Когда Врангель в белой папахе джигита появился на перроне, окруженный адъютантами и многочисленными представителями иностранных миссий, начальник училища, несмотря на свои годы, бегом кинулся к нему с рапортом.

Перрон сверкал. Яркий день слепил глаза. Весенние грачи, нарушая торжественность момента, весело галдели над вокзалом.

Приняв рапорт, Врангель повернулся к юнкерам, которые затаив дыхание восторженно ели глазами своего вождя. Он по-своему любил эту воинственную поросль донских и кубанских станиц. Безусые защитники казачьих хуторов и дарованных царями вольностей, они знают, что такое воинский долг и воинская доблесть. Разве не такие же юнкера до

последней минуты отстреливались в Зимнем в роковую октябрьскую ночь? Наскоро собранные с Кавказа, с пылающей Кубани, переправленные на кораблях Антанты в Крым, они теперь доверчиво вручают свою судьбу ему, обрусевшему шведу, в жилах которого течет голубая кровь викингов. И он, викинг двадцатого века, поведет их навстречу славе, победам, триумфам, перед которыми померкнут подвиги его предков.

— Юнкера! — молодого, сильно прозвучал его могучий голос. — Не на смерть я посылаю вас ныне, хотя твердо верю, что лечь костями за святую Русь каждый из нас почел бы для себя самой высокой честью. Прежде чем поднять меч, нам надлежит показать России, кто мы такие, что мы несем с собой. Учитывая трагические ошибки прошлых лет, я ставлю своей целью в первую очередь навести образцовый порядок здесь, на территории, которую занимают мои войска. Будет введена строгая законность, искоренен всяческий произвол. Я превращу Крым в образец, в показательную опытную ферму будущего нашего нового строя!

При слове «ферма» юнкерам сразу же представились богатые отцовские хутора, запахло кизячным дымом брошенных станиц...

А вождь продолжал:

— Вас, сынов казачества, несомненно, волнует вопрос о земле. Так вот: я уже отдал приказ разработать проект нового земельного закона. Мне нужен закон универсальный, такой, который удовлетворил бы всех, чтобы даже Красная Армия, состоящая в основном из крестьян, увидела его преимущества и переходила на нашу сторону. Наши близорукие вожди до сих пор не придавали этому значения. — Врангель нахмурился, — видимо, ненавистная тень Деникина мелькнула в этот миг перед ним. — Их неуклюжая программа погубила нас. А между тем, если с английскими пушками наша армия смогла

дойти до Орла, то с земельным законом — я уверен — мы дошли бы до Москвы!

По правде говоря, юнкера не совсем ясно представляли этот новый закон, который одновременно удовлетворял бы всех: и богатое казачество, и одетых в красноармейские шинели крестьян, и собственников огромных поместий, отсиживавшихся сейчас в Крыму... Но тут, на перроне, в этот миг верилось им, что их вождь сумеет дать и такой невероятный, всеобъемлющий закон.

— Юнкера! — Врангель рассек рукой воздух. — Вы — надежда России! Зная вашу преданность, именно вас я посылаю на Перекоп, именно вам я доверяю главные ворота нашего крымского замка. Помните: Перекоп — это не только рубеж двух армий. Это рубеж двух миров, это та могучая крепостная стена, о которую должна разбиться и разобьется волна красного варварства. По вашим глазам я вижу — вы рветесь в бой. Однако гром еще не грянул. О марше на Первопрестольную пока разрешается только мечтать. Ждите. Недремно стойте на страже Перекопа. У вас ни в чем не будет недостатка: из Нью-Йорка, Марселя, Стамбула, Пирея уже выходят, уже идут к нам суда. Я вооружу вас до зубов, я одену вас в сталь, которой наши друзья, — Врангель выразительно посмотрел в сторону представителей иностранных миссий, — не пожалеют для нас! Пробьет час, и я брошу клич, я поведу вас вперед — с мечом в руке и с крестом в сердце. — Он перекрестился. — Всемогущий бог поможет нам!

Юнкера в экстазе троекратно прокричали «ура», а представители миссий, сбившись в кучку, о чем-то оживленно заговорили.

Ночь.

Шумит разбушевавшееся море.

Массивной мрачной скалой высится дворец главнокомандующего. У парадного входа дежурит команда пулеметчиков, вооруженная новенькими «гочкисами». Темно вокруг. Лишь на втором этаже дворца в нескольких окнах еще горит свет: барон не спит.

Сидит в кресле, выпрямившись, просматривает бумаги. Изучает донесения. Подписывает приговоры. Вот приговор бывшему начальнику слащевской контрразведки. Врангель, покусывая губу, что-то вспоминает. Это тот вешатель-кокаинист? Из-за какой-то шлюхи застрелил в ресторане своего корнета?

Нервным сердитым почерком перечеркивает приговор. Пишет: «Вешал других, повесить и его!»

Донесения авиаторов... Во всей Северной Таврии ходят по степи толпы с красными знаменами — совдепия делит землю... Они уже делят, а где же его проект?

Сердито стал переключать бумаги. Взял в руки зеленую бархатную папку на шелковых шнурах. Вот здесь, в этой папке, мужицкая земля! Сколько жаждущих ее, сколько безземельных... Благодаря ей он склонит на свою сторону мужика, мобилизует неисчислимые мужицкие контингенты, которыми так неосмотрительно пренебрег его предшественник.

Откинувшись в кресле, с жадностью принялся читать этот долгожданный проект. Но чем дальше читает, тем больше хмурится; под сухой темной кожей лица нервно ходят желваки. Какое-то место совсем вывело его из себя. Ударил папкой по столу, нажал кнопку звонка.

В дверях появился дежурный офицер в английском, с иголки френче, вытянулся, ожидая распоряжений.

— Сенатора Глинку!

Щелкнули каблуки.

Оставшись один, Врангель встал, нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. Тупицы! Несчастные идиоты! Так они дают. Дают, но из рук не выпускают! Он, Врангель, в этот решающий момент идет на все, не колеблясь бросает на алтарь отечества фамильные имения своей жены — дочери известного таврического магната Иваненко, а они? Кретины! Бестии! Позор Новороссийска, видимо, ничему их не научил! Стоя на краю пропасти, рискуя потерять Россию, они все еще не могут расстаться со своими латифундиями! Немедля же он разгонит комиссию! На гауптвахту посадит их, пускай там вырабатывают земельный закон! А не сумеют, мужика, «чумазого лендлорда», позовет из волостей — пусть хоть он научит их уму-разуму!

Бесшумно открылась дверь, вкатился, выпятив круглое брюшко, сенатор Глинка — запыхавшийся, растерянный, руки трясутся... Государственный муж!

Когда сенатор приблизился, Врангель хлопнул по столу бархатной папкой.

— Извольте шутить, господа?

— Я вас не понимаю, ваше прево...

— Зато я вас хорошо понимаю! Даете и из рук не выпускаете!

— Ваше превосход...

— Молчать! Вы что? За кого вы меня принимаете, господа? Не за вождя ли тех помещичьих сынков, которые доходили с Деникиным лишь до своего имения, а потом, плюнув на святую Русь, оставались дома пороть крестьян?

Как кролик на удава, смотрел сенатор на разъяренного генерала. А тот уже широко зашагал по кабинету.

— Не ваши заживевшие аграрии, а мужики, миллионы крепких мужиков необходимы мне для армии, которую я создаю, вы это понимаете? И что же вы им

сулите? Чем надеетесь привлечь их под мои знамена? Не только дать — вы даже пообещать не умеете! Я поражен, я возмущен вашей беспечностью и нерадивостью, господа!

Сенатор наконец собрался с духом:

— Ваше превосходительство, разрешите доложить... Мы с графом Апраксиным настаивали... Но господин Налбандов принципиальный сторонник крупного землевладения.

— Выгнать вон Налбандова. Завтра же пополнить комиссию мужиками!

— Ваше превосходительство, поблизости нет мужиков, одни татары.

— Вызовите из уездов волостных старост. Три дня срока на все.

— Слушаю.

Взяв папку, сенатор попятился от стола, но у порога снова в нерешительности остановился.

— Ваше превосходительство, мне хотелось бы еще кое-что уточнить...

— Уточняйте.

— Насколько более левыми вы желали бы видеть основные наши положения?

Врангель остановился посреди кабинета. Глубокомысленно хмурясь, уставился в потолок, и на всю его долговязую фигуру как бы легла печать некоего государственного величия.

— Я ведь тоже против крайностей, — наконец сказал он. — Ориентируйтесь на золотую середину. Так, чтобы левее правых эсеров и... правее левых эсеров.

В глазах сенатора мелькнуло нечто похожее на скрытую усмешку, но сразу же исчезло. Пятясь, он так и вышел из кабинета, сохраняя на лице уважительное и серьезное выражение.

Врангель подошел к окну, рывком распахнул обе створки. Влажным ветром хлестнуло с моря, приятно

освежило.

Море, ветер, мрак!

Сквозь ночную тьму, словно чьи-то недремлющие очи, кроваво пламенеют сигнальные огни на кораблях. Стильной горой возвышается «Гальвестон», за ним виднеются силуэты дредноутов «Мальборо», «Бенбоу», «Эмперор оф Индия»... У самой пристани притаился английский крейсер, тот самый исторический крейсер, на борту которого он, Врангель, прибыл сюда из Константинополя.

Вспомнились высокие берега Босфора и константинопольские минареты, вспомнилась жена, оставленная где-то там, за морем, на турецком берегу. Как она сейчас? Спит уже, верно, в этот поздний час и в золотых своих снах видит отцовскую милую Тавриду. Степи, степи, безбрежные украинские прерии, как часто они являются ей в роскошных ее грезах! Между тем степные эти имения, в которых проходило ее девичество, сожжены и разграблены, а фамильные богатые земли голытьба делит между собой. Но черт с ними, с этими землями! Скорее бы ему власть, власть — полную, венценосную! Все решит поход. Дочь некогда воинственного рода, из разбогатевшей украинской шляхты, она, его жена, тоже хочет делить с ним все трудности предстоящего похода, просит разрешения приехать сюда, к нему, к «зятю Украины», как в шутку называли его когда-то в семье. Почему же он не разрешает ей приехать, почему? Неужели и впрямь не хочет подвергать ее трудностям походной жизни, или, может, где-то в глубине души он сам не вполне уверен в счастливом завершении того дела, что предназначала ему судьба?

Чаплинская площадь — что маковое поле: цветет яркими платками, чабанскими папахами, красноармейскими фуражками... Раз праздник — так праздник для всех: пришли хозяева, пришли и постояльцы их — бойцы латышской части, которая из-под Перекопа отведена в Чаплинку на отдых.

Гудит, радостно клокочет площадь. Шутка сказать — будут делить землю! Правда, еще неизвестно как: кто говорит — на едоков, а кто — по дворам. Раскрасневшиеся женщины-солдатки, прослышав, что землю будут нарезать на едоков, решительно протискиваются со своими детьми вперед, держа самых маленьких на руках так, чтобы они были на глазах у комиссии. Пусть комиссия видит этих едоков, пусть не забудет и им нарезать ленинский надел!

Тут же, на виду у всех, перед самым крыльцом, выстроились полукругом те, что уже туговаты на ухо — древние сухопарые деды, чаплинские патриархи, которые держатся с удивительной для их лет выправкой, объясняющейся главным образом тем, что после деникинских шомполов старики до сих пор еще не могут согнуться. Некоторые из них сегодня впервые после экзекуции явились на площадь, чтобы личным присутствием напомнить комиссии о себе.

Секретарь волревкома — глазастый юноша в студенческой тужурке — с крыльца громко читает декрет. Слушают его деды, слушают, опершись на костыли, фронтовики, жадно ловят каждое слово облепленные детьми солдатки... Этот закон по душе Чаплинке, ничего не скажешь.

Не по нутру пришелся новый закон лишь хуторянам, которые, слетевшись на сходку из своих степных гнезд — столыпинских делянок, расположились на возах и беговых дрожках в конце базара неподалеку от амбаров.

Старик Гаркуша приехал сюда вместе со своей батрачкой: было у него намерение заодно сбить из подсолнуха масло. Глядя со стороны на хозяина и его молодую работницу, можно было подумать, что и на Гаркушином хуторе произошел переворот, что теперь там заправляет уже не Кирилл Гаркуша, а эта вот стройная, синеглазая наймичка Наталка. Сам хозяин вышел на люди в какой-то арестантской сермяге и в перемазанных навозом опорках, а батрачку вырядил в сапожки и в белый пуховый платок, какие носят лишь богатые колонистки. Как только приехали на площадь, Гаркуша отпустил Наталку к стоявшим в толпе ее чаплинским подругам, а сам, оставшись у воза, обернулся своим хрящеватым ухом к волостному крыльцу, на котором студент читал тот новый, советский закон. Пока речь шла о судьбе помещичьих да монастырских земель, Гаркуша лишь равнодушно помахивал кнутом, но, когда коснулось и таких, как он, темная кровь ударила Гаркуше в лицо: что же это творится? Выходит, что и его, Гаркушин, пай переполовинят?

Рука невольно потянулась, чтобы почесать затылок.

— Чешетесь, Кирилл Остапович? — проходя мимо, насмешливо бросил какой-то чаплинский голяк. — Хотят и вам хвост укоротить, а?

Гаркуша промолчал, угрюмо опустив голову. Ох, укоротят, видно, по самую репицу подрежут! Сегодня их сила — что хотят, то и делают. Давай разверстку, езжай с подводой, а теперь уже и кусок хотят отхватить, до земли, до земли добираются! Как от них защититься, к кому податься, откуда накликать гром на их головы? Где хотя бы Савка со своей Украиной? Мечется от одних к другим, у всех уже перебивал, но так до сих пор и не угадает, под чью руку стать... Хорошо тем сербам да французам из села Британы — они сумели устроиться — как бишь это? —

«иностранноподданными», им теперь только на регистрацию ходить еженедельно... Ах, если бы и ему, Гаркуше, заполучить какое-нибудь подданство! Хоть под турка, хоть под грека, хоть под черта лысого, только бы не под голытьбу чаплинскую!

А может, еще и не отрежут? Может, признают и его за трудовой элемент? По клочочку, по лоскутику ведь собирал поле к полю, горбом своим да кровавыми мозолями наживал! Обработывал лучше фейнов, лучше колонистов, был сам себе агроном, грамоту от департамента земледелия получил за племенного бугая. А теперь вот дожил. Вот тебе и сбил масло! Тут сейчас так, брат, бьют, так советский пресс завинчивают, что из тебя самого скоро масло потечет! Все им мало, этим голодранцам, уже им и Гаркушин хутор поперек горла стал! Пропади вы пропадом!

Душа его взрывалась протестом, лютой, убежденной в своей правоте ненавистью. Хотелось стать, вывернуть ладони всей площади напоказ — гляньте: в мозолях они, потрескавшиеся, черные, как подошва!.. Батрачку держит? Еще этим осмелятся колоть ему глаза? За то, что пригрел ее, чаплинскую нищую девку, за то, что от слащевских насильников у себя на хуторе спас? Сам явился сюда в лохмотьях, а ее, как куколку, привез — в сапожках, в дочерниной — во всю спину — шали...

— Наталка!

Стоит среди подруг, будто и не слышит. Тоже, видно, на землю разлакомилась, вместе со всеми вытянула шею туда, вперед... Там уже читают списки. Много же оказалось их, счастливых, которым земля сама плывет сегодня в руки. Читают и читают... Даже со стороны нетрудно угадать в толпе того, чью фамилию называют в эту минуту: лицо его сразу становится светлее — ведь теперь он уже не бедняк, а хозяин!

— Наталка! — Приблизившись к толпе, старик нетерпеливо ткнул девушку в спину кнутовищем.

Наталка досадливо обернулась к нему:

— Чего вам?

— Что ж ты стоишь?

— А что же мне — танцевать?

Подруги, окружившие ее, засмеялись.

— Чего без толку скалите зубы? — крикнул Гаркуша на девушек и сердито дернул Наталку за руку. — Пошли!

— Куда вы меня тянете? — со смехом и возмущением оттолкнула она старика.

Гаркуша взбеленился.

— Дура ты! — захрипел он в неистовстве. — Так и будешь стоять? Это же только раз в жизни случается! Ступай же скорее, кричи, требуй! Разве ты не едок? Разве тебе не надо? Ты же чаплинская, сроду безземельная, у тебя мать нищенкой померла на ярмарке! Твое право! Пошли, вырвем, а то замотают!

— Да уймись вы, хозяин! — весело перебила его одна из девушек, догадавшись наконец, отчего беснуется старик. — Вы про Наталкин надел? Так ее ведь уже называли.

Гаркуша остолбенел:

— Тебя называли?

— Ну да! Наталка Троян — это ж она и есть!

— Разве ты Троян? Вот те и раз!

— Дед думал, что у Наталки и фамилии своей нет, — захохотали девушки.

— Думал, и в списки не внесут! Еще, может, от вашей и нарежут!

Сыпались шутки, хохот стоял, как вдруг откуда-то с конца площади раздался пронзительный детский крик:

— Яроплан!

Все, умолкнув, повернулись в сторону Перекопа. Темный крестик двигался в небе. Вскоре оттуда донесся

отдаленный дребезжащий рокот.

Сходку пришлось прервать, однако люди не расходились; разбившись на кучки, напряженно следили за небом, за приближением рокочущей железной птицы.

— На Каховку, видно, летит, туда они часто летают!..

— Переправы разведывают!

— Вишь, нашел себе дорогу — через наши головы напрямик...

Аэроплан тем временем уже дребезжал над селом, медленно описывая круг в поднебесье и словно любуясь оттуда залитой солнцем Чаплинкой, ее белыми мазанками и яркими платками чаплинских девчат... Сейчас, когда аэроплан мирно плыл по небу, пронося над головами людей свои неподвижные колеса, мало кто из чаплинцев верил страшным слухам о том, что будто бы за граница прислала генерал лам в Крым какие-то новые летательные машины, которые уничтожают людей не пулями, не бомбами, а таинственными фиолетовыми лучами... Но когда аэроплан, неожиданно взревев, коршуном ринулся сверху прямо на толпу, устремив на нее бысролетный, сверкающий и все разрастающийся вихрь пропеллера, не один из чаплинцев подумал, что это как раз они и сверкают, убийственные фиолетовые лучи!

— Спасайтесь! Кар-раул!

Черный грохот среди бела дня всколыхнул Чаплинку.

XXII

Обезумевший от взрыва бомбы, Гаркуша опомнился лишь в доброй версте от села, куда он успел ускакать на своей таратайке. Остановился в придорожных

бурьянах, обалдело оглянулся на Чаплинку. Удирая, он потерял шапку, и теперь кобыла пугливо косилась на старика, то ли не узнавая его без шапки, то ли просто удивляясь странному кусту седого, развеваемого ветром ковыля на Гаркушином черепе.

Где-то в центре села, в том месте, где обрушилась бомба, поднимался дым, что-то горело. На околице группа красноармейцев стояла из винтовок по удаляющемуся в направлении Крыма уже еле заметному аэроплану.

Гаркушу охватило какое-то мальчишеское, радостное неистовство.

— Ага, поделили? Поделили? — приплясывая у воза, размахивал он обломком измочаленного о спину кобылы кнутовища. — Списки написали, а печать пристукнуть забыли? Вот он вам и припечатал!

Вскоре на дороге появилась Наталка. Ожидая ее, Гаркуша подошел к кобыле и, стиснув зубы, принялся покрепче затягивать рассупонившийся хомут.

Наталка прибежала сердитая, запыхавшаяся.

— Нате! — бросила деду шапку, подобранную по дороге. — Бежали так, что и голову потеряли.

— А куда ж это ты запропастилась? — виновато молвил старик, так как, удирая с площади, слышал, как Наталка звала его.

— А вы будто и не знаете... Свою шкуру скорее спасти, а меня так бросили, пускай бомбой разорвет.

— Здорово, здорово ахнуло. Куда попало? — напяливая шапку, оживленно расспрашивал хозяин. — Волость, кажется, горит?

— Это мешки ваши с семечками горят. Целились в волость, да в маслобойню попали...

Гаркуша, видимо, был несколько разочарован этой вестью.

— А из тех никого и не зацепило?

— Кого — тех?

— Да тех же, которые делят?

— Живехоньки! — сказала Наталка радостно и, поправив шаль, уселась на возу.

Гаркуша тронул вожжи.

— Но забыл, не забыл Слащев о вас, наведывается в гости, — оборачиваясь в сторону Чаплинки, снова забубнил он. — В прошлом году штаны шомполами посек, а теперь как придет, то посечет вам, граждане, и подштанники... Заранее нашивайте на задницу лемехи!

Потянулись поля. Ветер веял с моря, и, возбужденная только что пережитым, Наталка подставила ему свои раскрасневшиеся щеки. Дым над Чаплинкой рассеивается, пожар уже, верно, потушили, не видно и того заморского коршуна в небе: вспугнув сходку, он снова ушел куда-то в сторону Крыма. До каких пор они будут тут летать? Когда же дадут людям покой и мир? Теперь бы, кажется, жить да жить: и бедноте счастье улыбнулось — права дают, землю будут нарезать...

Земля со всех сторон подступает к Наталке непаханая, незасеянная, в курае да чертополохе и все же до боли родная, ближе, дороже, чем когда бы то ни было... Натерпелась и земля за последние годы! Кто только не разгуливал по этим бескрайним просторам! Вдоль и поперек истоптана степь копытами, изрыта снарядами! Куда ни глянь — дикие бурьяны шелестят; солнце все выше и выше, скоро обогреет всю эту степь по-весеннему — зазеленеешь, зацветешь ты из края в край!

Где же ей, Наталке, выпадет среди этих просторов надел? Там ли, где лиса рыжим клубком метнулась, исчезая в кураях, или, может, как раз над ее нивой отзывается сейчас жаворонок с высоты?

— Так-так... Выходит, и ты, Наталка, теперь с землей, — примирительно кашлянул, нарушив

молчание, хозяин. — Только как же ты думаешь обрабатывать свой пай?

— Да уж как-нибудь обработаю.

— А чем?

— Говорят, что армия поможет тяглом.

— Ну, с теми много хлеба соберете. А то, может, и собирать не, придется. Ненадолго этот дележ, вот попомнишь мое слово... Не дольше ваша власть, как до пятницы.

— Долгой будет наша пятница...

— А вот увидим.

— Увидим.

Вдали уже показался Гаркушин ветряк. Ободранный, искалеченный войной, одиноко торчит он в открытой степи, подняв кверху обломок крыла, напрасно ожидая ветров, которые вдохнули бы в него жизнь. Хуторские заунывные ветры, как они опостытели девушке в зимние жуткие ночи! Всеми голосами завывали, протяжно скулили в трубе, с грохотом рвали проржавевшую кровлю. Собаки спущены, двери на запоре, в хате тревожный мрак. В углу шепчет молитвы монашка Минодора, Гаркушина свояченица, которая, бежав из разгромленного монастыря, осела на хуторе. У окна всю ночь караулит хозяин с топором, всю ночь ему чудится конский топот экспроприаторов-лопатников, которые будто бы имеют обычай, подъехав к самому окну, требовать: «Подавай, хозяин, деньги на лопате»...

А с утра хозяина гонят в обоз, монашка садится за святое писание, и все хозяйство остается на ее, Наталкиных, плечах. Надо напоить, почистить коров и свиней, сделать все по дому. Так иной раз целый день ничего, кроме хрюканья свиней, не услышишь.

По праздникам к Минодоре вороньем слетаются такие же попрятавшиеся по хуторам монашки, приносят разные слухи, шушукуются о приходе антихриста,

который якобы сейчас тайно живет в Париже под охраной тридцати юнкеров Керенского.

Тоска, одиночество. Не с кем словом перемолвиться, за зиму смеяться разучилась. И вот теперь снова туда же? После воли и солнца чаплинской сходимости — снова в свинарники, чуланы, амбары? Работай и работай, а что заработала? Даже эту шаль и то хозяин дает ей лишь тогда, когда на люди посылает, потом снова прячет в сундук, запирает на ключ. Но не вечная же она у него пленница, ведь когда-нибудь должен наступить всему этому конец! Знакомые девчата говорили уже сегодня о каком-то новом союзе, который будто бы объединит всех батраков и батрачек, объединит и будет защищать их права.

— Так-так... С землей, значит, — снова заговорил хозяин, которому Наталкина земля, видно, не давала покоя. — А может, со мной в супругу? С половины, а? Или ты уже, может, на стороне сеяльщика себе заприметила?

— Может, и заприметила...

Отвернувшись, она улыбнулась своим мыслям. О, как часто он приходит к ней в мечтах, певучий, веселый ее сеяльщик! Вечером раскинет монашка карты — нет его, а ночью он уже является Наталке — живой, смеющийся, душа нараспашку...

«Нет, не убит я, Наталка, не убит. Нельзя меня убить».

Чаще всего видит его таким, каким был он в ту прощальную лунную ночь в Чаплинке, когда, разгоряченный ласками, обнял ее, а потом, легко вскочив на коня, в последний раз оглянулся, в последний раз подарил ей свою белозубую мальчишескую улыбку. Все ждет его, все верит, что рано или поздно он вернется и вызволит ее из Гаркушиной неволи. Его, ее веселого Данька, — вот кого бы ей сеяльщиком на свою ниву! И, словно наяву,

видит она уже, как идет и идет он полем — до самого края земли, и сеет, сеет... Без конца, до горизонта тянется, разворачивается их радостная нива!

Все ближе ветряк. Поднял в небо торчок недоломанного крыла, будто грозит оттуда Наталке, будто подает какой-то тайный знак недобрым крымским ветрам.

XXIII

Кто это мерным шагом идет вдоль вспаханного, весенним солнцем пригретого поля и так старательно, со всего размаху бросает зерно?

Рано на зорьке, в одно время с опытными криничанскими хлебобородами, вышел Яресько засеивать материнскую ниву. Будто и нехитрое дело, а меж тем сперва не давалось, пока дядьки-соседи, посмеявшись над ним, не подошли да не показали кавалеристу, как нужно становиться да как руку держать, чтобы ровно ложилось зерно.

Данько сеет, сестра боронует.

И борону и коня пришлось занять у зятя. Славно идет работа, нравится она Даньку. Взмах сюда, взмах туда, полукругом ложатся в теплую влажную землю семена, остаются на пройденном сеяльщиком пути, чтобы потом подняться здесь, зашуметь тяжелым обильным колосом...

Людей в поле — муравейник. На сходках все кричали, что нечего в землю бросить, а пришла весна — каждый откуда-то наскреб кто проса, кто гречихи, а кто и пшеницы. Снуют и снуют в дымке по полям, вдоль большака, у опушки леса. Кажется, никогда еще не работали криничане с таким жаром, как в эту весну: впервые на собственной, отвоеванной у господ земле.

Женщины, проходящие дорогой с завтраком в узелке для своих тружеников, издалека кричат Ярьсько:

— Бог в помочь!

И дальше, через все поле, катится вдоль леса это веселое, радостное приветствие:

— ...По-мо-очь!..

В свежевыстиранной расстегнутой гимнастерке, с мешком зерна через плечо, идет и идет Данько вдоль нивы, ступая размеренно, торжественно, будто каждым шагом, каждым взмахом руки совершает какое-то священнодействие.

Вот засеет матери ниву, и тогда... На днях ходил с комсомольцами на собрание в волость и встретился там с бывшим военкомом Левченко, который после внезапного понижения в должности стал начальником всеобщуча. Разговорились. Ярьсько расспрашивал о своем полке. Выяснилось, что его Таврийский повстанческий полк давно уже переформирован в бригаду и переброшен куда-то на запад против белополяков, но куда именно, об этом и военкомату точно неизвестно. Узнав, что парню не терпится снова сесть на коня, Левченко одобрил это намерение, но тут же и охладил: пока, мол, не рыпайся. Когда нужно будет — позовем...

Вот и сидит. А тут еще секретарем комсомольской ячейки избрали, циркуляры уже поступают к нему на тонкой папиросной бумаге, на такой тонкой, что даже махорки не держит. Раскуривает с хлопцами циркуляры да, как застоявшийся конь, ждет боевого сигнала. А может, его и не будет? Может, вот так и замирение наступит на фронтах, и уже на другие, на трудовые дела революция позовет?

Все легче становится мешок — все меньше в нем зерна, зато все больше семян ложится в плодородную землю. Сколько ни идет, все слышит, как звенит и звенит жаворонок где-то вверху, над ним: он такой же

неутомимый, такой же голосистый, как и тот, которого они в прошлом году слушали в Чаплинке вместе с Наталкой. Дух перехватывает при воспоминании о ней. Не забыла ли о нем? Дождется ли его возвращения?

Дойдя до опушки, Данько снимает мешок с плеча и садится передохнуть. Солнце пригревает, всюду на опушке кучками лежит зимняя крестьянская одежда — в одних рубашках ходят по полю сеяльщики. Пашня сверху быстро подсыхает, за Вутанькиной бороной-скоропашкой уже поднимается легкий клубочек пыли. Приблизившись к брату, Вутанька остановила коня, выбрала из зубьев бороны бурьян да комья земли и, выбросив все это на межу, подошла к Даньку.

— Устал?

— Только во вкус вошел, — закуривая, пошутил брат. — Свое засею и другим помогать пойду.

Вутанька тоже присела на межу и, в задумчивости ломая в пальцах сухой стебелек травы, загляделась на подернутые дымкой хутора, разбросанные далеко по ту сторону большака.

— Встревожили меня, Данько, вчера эти песенки зареченские... Как ты думаешь, кто бы это мог быть?

Данько молча попыхивал сигаркой. Понятна была ему озабоченность сестры. Вчера поздно вечером целой гурьбой вышли они из Народного дома. Возбужденные после репетиции, с шутками и смехом перешли запруду, выгон и остановились у самого обрыва над Пселом, там, где, как говорил дед Харитон, была для них «каша закопана». Светила луна, внизу тихо плескалась речка. Нонна-поповна, прислонившись к плечу Данька, стала медленно, нараспев читать стихи. Так хорошо было вокруг, что и по домам не хотелось расходиться. Стояли, притихнув, на берегу, как вдруг там, за речкой, за лесом, кто-то раскатисто запел в лугах:

Ой, яблучко,
Та-ех! — із листочками —
Прийде батько Махно
Із синочками...

Голос был незнакомый, басистый, сильный; издалека докатываясь до села, он, казалось, похвалялся силой, угрожал криничанам своей песней.

Яресько не остался в долгу. Набрав полную грудь воздуха, он ответил ему за речку тем же «Яблочком», только куда звонче:

Ех, яблучко,
Куди котишся?
Попадешся в руки к нам —
Не воротишся!

Потом снова спел тот, а Яресько снова ему ответил — звонко, задорно, голосисто! — так и перестреливались они песней через речку, через лес, пока тот не умолк. Долго потом Нонна хохотала, восхищаясь этим песенным поединком. Вчера все это казалось шуткой, а вот теперь Вутанька почему-то вдруг вспомнила, заговорила об этом с затаенной тревогой в голосе. В самом деле, кто б это мог быть? Чей это голос?

Данько не хотел придавать этому значения.

— Пустяки. Стоит ли беспокоиться, — вставая, махнул он рукой. — Просто кто-то из хуторских глотку драл.

— Хорошо, если просто.

Вутанька тоже встала. Только она шагнула к коню, как по всему полю поднялась непонятная тревога: дядьки засуетились, забегали, те, кто был с лошадьми,

поспешно отцепляли постромки и опрометью бежали к лесу.

«Банда!» — мелькнула у Вутаньки мысль, и в тот же миг прокатилось над полем:

— Банда! Банда!

Данько, забыв о своем мешке с зерном, стоял, напряженно вытянувшись на меже, и смотрел куда-то в сторону большака. Там, версты за две от них, из лесу галопом вылетал на дорогу отряд с черным развевающимся флагом на передней тачанке.

XXIV

Теперь уже было не до работы: оставив недосеянные поля, люди со всех ног бросились по домам. Заторопилась домой и семья Яресько.

На полпути встретила их мать, запыхавшаяся, бледная.

— Я уже думаю, не стряслось ли, помилуй бог, чего. Да еще Данько в этом галихве... Банда ж была!

— Чья? — насупился Данько.

— Да чья же... Ганнины головорезы.

Немного отдышавшись, мать повернула вместе с детьми, стала на ходу рассказывать. Налетели внезапно откуда-то, уж не с Буняковых ли хуторов, неожиданной бедой свалились людям на голову. Не иначе кто-то указал им, потому как, нигде не останавливаясь, галопом пролетели прямо к амбарам, где в это время брали хлеб продотрядовцы, троих изрубили на месте, а их товарищей под саблями стали принуждать, чтоб зерно из сусеков, как из корыт, ели. Однако не захотели те, наотрез отказались. «Вы, — говорят, — сякие-перетакые бандюги», — и по матери их!.. Возле амбаров как раз лежал ворох пустых мешков, свежих, новеньких, их продотрядовцы только что со станции привезли.

«Это Москва столько для нашего хлеба нашла? — накинулись на них Сердюки. — Это вы вместо манухактуры нам привезли? — и кричат своим: — А ну-ка, в мешки их, как котов!» Еще и глумиться над сердешными стали: «Говори „паляныця“»! Который, дескать, вымолвит «паляныця», того отпустим, а у кого «паланица» получается, тому тут и аминь: в мешок — и в воду... Всех до единого казнили, всех в Псел покидали.

— А Ганна? — волнуясь, спросила Вутанька. — Она... тоже?

— Ох, эта Ганна... Дивчина была как дивчина, а до чего дошла, во что превратилась! В шапке кубанской, с плеткой в руке, нечесаная, пьяная... Разлеглась в тачанке, непотребно ругается, родную мать едва узнала. — Ярьсьчиха на ходу утерла глаза фартуком. — Теперь Лавренчиха там волосы на себе рвет, на все село плачет да причитает, говорит: «Кабы знала, малой бы в зыбке удушила!»

Данько, шагая рядом с матерью, стал расспрашивать, чем вооружены бандиты да много ли среди них здешних, хуторских.

— Сердюки, Сердюки наши там, больше всех орудовали, — рассказывала мать. — Кооперацию разграбили, в сельсовете все вверх дном перевернули, все Андрияку искали. — Оглянувшись, мать вдруг понизила голос: — У попа, говорят, пересидел!

— Да неужто они и Федора могли бы зарубить? — невольно вырвалось у Вутаньки. — Забыли уже, как вместе на каховском шляху ноги били? Как в одном курене над Днепром ютились?

— На людей уже не похожи: морды пораспухли, глаза кровью заплыли. «Всех коммунистов, — орут, — посечем, одну чистую Советскую власть оставим!»

Но больше всего потрясли Вустю не Сердюки, а то, что она услышала от матери о Ганне. До чего же

докатилась! Пьяная, окруженная головорезами, в бандитской махновской тачанке... Та самая Ганна, с которой они вместе росли, с которой когда-то делили и горе и радость. О таинственной, воспетой кулаками «банде Ганнуса» Вутанька слыхала и прежде, однако до сегодняшнего дня тень какого-то сомнения — может быть, это вовсе не та Ганна — еще жила в сердце Вутаньки. Не хотелось верить слухам, не укладывалось в сознании, что криничанская певунья, ее ровесница, и таинственная бандитка Ганна — это один и тот же человек. Теперь не оставалось места сомнениям: «Ганнуса» сама заявила в Кринички родной матери на позор и людям на горе. До чего же ты, Ганна, дошла, с кем свою долю связала? Кажется, еще совсем недавно рядом с Вутанькой в церковном хоре чистым сопрано заливалась, а теперь, видно, и голос пропила, охрипла от кулацких вонючих самогонов...

— Так вот, ни за что людей замучить, — убивалась мать. — Где-то там дома, на заводах, их с хлебом святым ждут, а они и сами домой не вернутся...

Всех продотрядников Вутанька знала в лицо, еще вчера в Нардоте видела их — веселых, дружных, в фабричных кепках, и вот теперь их уже нет. Просто не верилось, что лежат они зарубленные, завязанные в мешки и брошенные на дно речки. И все это Ганна? Такой грех не побоялась на душу взять? Свалилась как снег на голову, принесла столько горя и вновь канула неведомо куда, подхваченная темными махновскими вихрями!..

Уже у самого седа встретил их зять Прокоп.

— А я за конем, — сказал он, вытирая рукой обильный пот, выступивший на лбу. — Коли не догадаются, думаю, спрятать в лесу — амба! В Буняках вон, говорят, махновцы всех коней у хуторян забрали.

— Да они сами поотдавали, — буркнул Данько.

— Ну, не видал — так не говори, — предостерег Прокоп, взяв у Вутаньки повод. — А то теперь брякнешь вот так что-нибудь, а потом...

— Что — потом? — ошетинился вдруг Данько.

— Ты не кричи. Ты как себе знаешь, — расставаясь с ними на перекрестке, бросил Прокоп, — а я в политику не мешаюсь: у меня грыжа.

Все село еще клокотало, взбудораженное налетом. Где-то голосили женщины, по берегу ходили мужики с длинными баграми, прощупывали дно, искали убитых.

— Теперь найдешь их, — печально сказала мать. — Выплывут, может, где-нибудь аж в Потоках.

Не доходя до дому, разошлись: Вутанька с матерью направились к хате, а Данько, передав им мешок с оставшимися семенами, повернул к реке.

Подойдя к сгрудившимся над обрывом и молча орудовавшим баграми мужикам, Данько некоторое время угрюмо наблюдал за их работой. Потом, взяв у одного из них багор, стал сам прощупывать дно возле кручи. Вытаскивал какие-то водоросли, ворочал под водой корневища вербы, шаг за шагом продвигаясь дальше: утопленных нигде не было.

А за спиной шел гомон:

— Вот вам и Ганна... Кто бы мог подумать, а?

— Ганна у них там, говорят, больше за куклу в отряде, а всем верховодит, сказывают, тот, который в хренче.

— Полюбовник он ей или кто?

— Кой там черт любовник... Просто петлюровский офицер, от шляхты к банде подосланный.

— Так что же, они хотят ее из махновской да в католическую веру перетянуть?

К Ярьсько, все дальше уходившему с багром вдоль берега, подошел Андрияка.

— А они тут и тобой, Ярьсько, интересовались, — шевельнул он своей разорванной губой. — Не забыли,

видать, Сердюки каховских твоих насмешек... Ну да ладно, посмотрим еще, кто будет смеяться последним!

До самого вечера мутили баграми воду в Пселе. Солнце было уже на закате, когда в село прибыла из Хорошек пешая караульная рота с медными трубами через плечо — хоронить зарубленных.

XXV

Хоронили их в братской могиле, выкопанной мужиками на Голтвянской горе.

Было тепло, кругом дышала весна, прибрежные леса стояли в легкой дымке — наряжались первой зеленью. Медленно плыли в гору на плечах криничан тяжелые гробы, обитые красной материей, а вслед за ними под звуки траурного марша толпой двигался опечаленный народ. Шли крестьяне, шли бойцы караульной роты, шла с красными знаменами молодежь окрестных сел. Всхлипывали женщины. Спотыкаясь, плелась вместе с ними и старая Лавренчиха, мать Ганны, в черном платке, завязанном узлом на темени, и тоже всхлипывала, как о ком-то близком. Утром приезжие чекисты снимали с хуторян допрос, вызывали и Лавренчиху, но отпустили ее, потому что все село видело, как ползала она на коленях перед тачанкой дочери, когда бандиты хотели поджечь амбары с хлебом, ползала и умоляла не жечь святой хлеб, чтобы не пришлось потом людям второй раз разверстку выполнять.

Плывут и плывут гробы, время от времени сменяются мужики, в молчаливой скорби влекут на костлявых своих плечах этот нелегкий, как само горе, груз. Чем ближе к месту погребения, тем печальнее музыка, тем громче всхлипывают женщины. Хотели не с музыкой — с попом хоронить, но молодежь

запротестовала, и вот в первый раз хоронят без попа. Вместо него над толпой, когда уже гробы стали опускать на полотенцах в яму, вырос Федор Андрияка — мрачный, грудь нараспашку, с наганом на боку. Взмахнул пустым рукавом, нагнулся и, захватив горсть свежей земли, зажал ее в поднятом кулаке.

— Вот этой землей клянемся перед вами, братья и товарищи: отомстим за вас!

И, закусив разорванную губу, с перекошенным от ярости лицом он погрозил в сторону хуторов: хотел еще что-то сказать и не мог.

Отошел от могилы, и сразу же заработали лопаты, загрохотала, падая в яму, земля...

В тот же день в Криничках набирали добровольцев в ряды вновь создаваемого красного полка внутренней охраны. Прибывшие из уезда организаторы объяснили, что полк будет чисто классовый, создается он из уездной бедноты, из самых преданных революции людей, создается специально для борьбы с кулацкими бандами и несения внутренней охраны в уезде, а чтобы в ряды полка не проник вражеский элемент, запись во всех селах будет вестись публично, на сходках.

К месту записи собрались и стар и млад. Пришли и зареченские хуторяне. Затаив в глазах насмешку, они кучкой стали в стороне.

— Радуетесь? — закричал на них Андрияка. — Ждете, что шляхта скоро придет, навезет вам мануфактуры? Но знайте, что мы, незаможники, ждать не намерены. Довольно вам гнать из хлеба самогон да угощать бандитов! С сегодняшнего дня по всей Украине объявляем всем вам красный террор!

Молчат мироеды.

А Федор уже, размахивая кулаком, обращается к своим — к бедноте, к матерям, к молодежи, заполнившим площадь:

— Землю получили? Сколько всяких партий обманывали вас, обещали дать вам землю, а что дали? Кукиш с маком! Ни Петлюра, ни эсеры, ни меньшевистская шушера — никто дальше слов не пошел. Только мы, большевики-ленинцы, разрубили все одним ударом — раздали землю трудовому народу! Ваша она теперь, навеки ваша. Так берите же оружие и защищайте ее!

Вынесли стол, поставили на середине площади, чтобы производить запись. Среди приезжих — свой, суховщанский революционер Иван Шляховой, тот самый, что из кутузок не вылезал, что с подростков в Козельщине на свекловичных плантациях воевал со всеми приказчиками. Теперь он как начальство подошел к столу, взял карандаш, обвел глазами собравшихся.

— Записываю... Кто первый?

Воцарилась тишина. Прошла минута — молчат, прошла вторая — молчат. Шляховой, крепко сжав зубы, ждет. Вот уже со злорадством переглянулись между собой мироеды: тут, мол, разживешься, как вдруг передние задвигались, расступились, и из толпы вышел, направляясь к столу, худощавый, немного сутулящийся юноша в гимнастерке, туго перетянутой ремнем... Кто это? Ярьсько? Сын Матвея Ярьсько, которого здесь же, на площади, самосудом убили в тысяча девятьсот пятом году. Взялся рукой за стол и, хмурясь, переступил с ноги на ногу:

— Запишите.

Повеселевший Андрияка подмигнул Шляховому:

— Вот таких-то нам и надо... Кто сызмалу на заработках возле батрацких котлов рос, кого раньше вот эти, — показал в сторону хуторян, — торботрясами обзывали.

Когда Ярьсько, записавшись, повернулся, чтобы идти от стола, он увидел налитые нескрываемой злобой глаза сельских богатеев. Тех самых богатеев, которые

замучили его отца, тех, которые и ему самому позапрошлой ночью угрожали из-за речки махновским «Яблочком»... Пожилые и молодые, разные буняки и огиенки, чернобабы и лашки... Смотрят, обжигают его ненавидящими глазами: так, значит, первым вырвался? Ну, мы же тебе этого не забудем!

А за ним, за вожаком своим, уже подходили к столу другие сельские комсомольцы, вдовьи сыновья, вчерашние батраки. Только и слышалось:

— Левко Цымбал!

— Петро Скаженик!

— Самбур Дмитро!

— Касьяненко Костя!

— Иван Колесный!

Разохотившись, за старшим Цымбалом, Левко, сунулись записываться и младшие — Степан первый и Степан второй, но по возрасту, как несовершеннолетних, их не взяли, посоветовали подрасти.

Сразу же после записи в сельисполкоме добровольцам было выдано оружие — старые трехлинейные винтовки и по пять патронов к ним.

Вскоре Шляховой со своими товарищами уехал в соседнее село; караульная рота, получив новое задание, тоже покинула Кринички, а Яреско со своей вооруженной ячейкой остался дома еще на одну ночь — назавтра им было приказано явиться в уезд.

Мать, хотя и была на площади в то время, когда Данько записывался, вполне осознала значение происшедшего лишь к вечеру, когда сын в первый раз вошел в хату вооруженный, словно весь дом загромоздив своей страшной с примкнутым штыком винтовкой. Сначала поставил винтовку рядом с ухватом, а укладываясь спать, перенес ее к постели, в изголовье.

Когда он уже лег, мать присела рядом с ним.

— Хоть бы вам командир хороший там попался, — печально промолвила она. — Чтоб хоть пожалел иногда...

— Не за жалостью едем, мамо.

— Но все же...

Она погладила его по стриженной голове. Вздохнула. И это все? Уйдет, а скоро ли вернется, да вернется ли домой? Ведь и тех, которых банда вчера изрубила, тоже где-то не дождутся матери...

Умаявшись за день, он быстро уснул.

Мать с Вутанькой еще с часок возились — собирали Данька в дорогу. Наконец, потушив каганец, легли и они.

Разбудил их страшный грохот, будто громом ударило, гарью откуда-то потянуло — не пожар ли?

Не успели Вутанька с матерью опомниться, как Данько, схватив винтовку, уже выскочил во двор. Метнулся за один угол, за другой — нигде никого.

Белая стена хаты — в копоты, в выбоинах, изуродована взрывом. В воздухе запах гари. Сбежались встревоженные соседи, стали доискиваться следов: один нашел металлическую стружку, другой — ручку от гранаты...

— Понятно... Кто-то гранатой запустил.

— В окно, видать, метил, да впотьмах не попал.

— Чье-то счастье, видно, в хате ночевало.

Соседи посокрушались, покурили и вскоре разошлись. Мать с Вутанькой тоже пошли в хату, один Данько остался во дворе — сон как рукой сняло.

Луна уже склонялась к закату, круто повернулась Большая Медведица — было уже далеко за полночь. Поставив винтовку на боевой взвод, Данько походил по саду, выглянул на улицу, потом не спеша спустился огородами к реке. Тишина, плещет вода, где-то вдали коростель-дергач трещит... Где же притаился тот, кто послал ему гранату? Кто он? Чья это рука? Знает

только, что кулацкая... Запугать хотят? Покушение не испугало Данька, оно лишь обострило в нем желание драться, драться непримиримо, насмерть. Прислушиваясь к окружающему, он чувствовал, как растет в нем то, что Андрияка назвал бы классовой ненавистью к врагам, и все крепче сжимал винтовку. В открытую не выходят, бьют из-за угла. И это ведь только начало, только записался, а сколько их еще будет, сколько еще надет его кулацких, предательских пуль.

Туман стелется по левадам, на ветвистые вербы пала роса. Спят Кринички. И материнскому дому, и родному селу, и амбарам с хлебом — всему нужна сейчас охрана, все нуждается в защите. Опершись на винтовку, так и простоял Данько, как часовой, под плакучей ивой на берегу реки, пока не начало рассветать.

XXVI

Кременчугская ЧК еще зимой обнаружила у сына Огиенко, бывшего петлюровского офицера, зашитую в кант, напечатанную на шелку по-украински директиву-памятку. В ней говорилось, что не следует преждевременно обнаруживать себя и что клич будет брошен из центра, когда это сочтут наиболее удобным европейские державы, которые теперь все охотнее поддерживают украинское движение.

Этой памятке тогда не придали особого значения, хотя и пустили за нее молодого Огиенко в расход. Но подозревали тогда, что немало таких же памяток осталось у тех, кто успел устроиться на работу в разные советские учреждения, проник в военкоматы либо притаился до поры до времени на отцовских хуторах. Там, на хуторах, в отгороженных ложными стенами

потайных конюшнях всю зиму жевали овес застоявшиеся кавалерийские кони, а от родительских домов были далеко прорыты подземные ходы к ямам, в которых, в ожидании удобного момента, отсиживались петлюровские кадровики. Не раз случалось, что в то самое время, когда одна невестка ставила продотрядовцам на стол жидкий кулеш, другая — за стеной — подавала в яму бандитам жаренную с салом яичницу.

Весной, по мере приближения белополяков к Киеву, накалялась атмосфера, и здесь, в глубине Полтавщины, зашевелилось кулачье, стало открыто бойкотировать продразверстку, а на сходах между хуторянами и комбедовцами доходило до ножа. Только и слышно было: там изрубили продотряд, там вырезали милицию, там кого-то из чекистов посадили на кол...

Такова была обстановка, когда прозвучал клич партии: «Незаможник, к оружию!» Повсеместно начали создаваться из местной бедноты войска внутренней охраны, так называемые отряды незаможных.

Приток людей в отряды превзошел все ожидания: тысячами двинулись. Оборванные, с котомками, в домотканых сорочках, все те, кого хуторские презрительно называли голытьбой и торботрясами, поднялись теперь защищать от банд свою власть и только что полученную землю. Со всех волостей, по всем дорогам потянулись в уезд следы босых батрацких ног.

Добровольцами кипел-бурлил в эти дни уезд. Вместе со взрослыми из волостей толпами приходили и подростки — пятнадцатилетние и шестнадцатилетние батрацкие сыновья, становились перед комиссиями в заплатанных своих свитках и просили только одного: оружия!

— Нам ни пайков, ни обмундирования! В своем будем воевать за идею!

— Вас только зачисли, — шутили над ними на приемочных пунктах, — тогда сразу за горло возьмете: «Галифе подавай!..»

Божились:

— Вот крест, жалоб не будет!

— Сами видим, что государство наше бедное, неоткуда взять.

— А если уж все на нас истреплется, листьями грешное тело прикроем и так будем воевать!

— Грудью да на «ура»!

Из всей массы добровольцев отбирали в первую очередь сельских коммунаров, активистов, хорошо проверенных людей, приходивших из близких и далеких сел с мандатами комбедов.

За короткое время отряд незаможных вырос в грозную силу. Этот бедняцкий, поистине классовый отряд, который тут зародился, тут и сформировался из местных бедняков, был особенно страшен кулацким бандам. Если регулярную, переброшенную сюда часть бандиты могли неделями водить за нос, то с этими, своими, было совсем иначе. Эти отлично знали местность, во всех селах у них были свои помощники, друзья, свои глаза и уши. В каком бы конце уезда ни очутился отряд, бойцы его уже знали, кто здесь чем дышит, кто где скрывается, кто тебе враг, а кто друг. Беднота считала отряд своим и всем, чем только могла, поддерживала его: при сельисполкомах были организованы мастерские, которые занялись выделкой кож и пошивкой сыромятной обуви для бойцов отряда, а также изготовлением седел для коней — как для наличных, так и для тех, которые отряд еще только собирался раздобыть.

— Наш отряд, — говорила беднота по селам. — Босой, да наш!

— А что же, они будут наших рубить да на рожон поднимать, а мы с ними цацкаться? — возмущались

бойцы отряда. — Нет, зуб за зуб! Кровь за кровь! Чтоб никто потом не сказал, что мы, украинские незаможники, не умели своих классовых врагов обуздать!

XXVII

В мае форсированным маршем с Северного Кавказа прошла через Левобережную Украину Первая Конная. Не конница — живой неудержимый ураган неся в эти дни с востока на запад, вдогонку уходящему солнцу. Сотрясались дороги от невиданной доселе силы, с утра и до ночи — карьер, карьер, карьер... В Екатеринославе мост через Днепр был разрушен, и ремонту его не видно было конца. Тогда за дело взялись екатеринославские рабочие: они решили трудиться без отдыха круглые сутки, только бы к приходу Первой Конной мост был готов. И когда красная конница подошла к Днепру, перед ней протянулся готовый мост и на арках его кумачом горели слова приветствий. Гудел и гудел мост под копытами буденновских коней, в полыхании знамен, в сверкании оружия проходило легендарное войско, и тысячи трудящихся города, заполнив тротуары, радостно провожали красных конников в дальний путь.

Приветствовали их города, приветствовали и бедняцкие села. А войска все шли и шли в бесконечном конном строю, не останавливаясь, на галопе проходили через вишневые украинские села, и все вокруг окутывала такая пыль, что ни хат не было видно, ни садов — только мелькали, словно в облаках, распаленные лица конников да поблескивали подковы их коней.

Не успела еще улечься пыль за Первой Конной, как, воспользовавшись тем, что она ушла за Днепр, внезапно

появился на Полтавщине Махно. Налетая на села и уездные городки, зверски расправлялся он с советским активом, с комбедовцами, вырубал в сельисполкомах даже сторожей и посыльных. На станции Галещина Махно неожиданным налетом разбил принадлежавший тылам Первой Конной санитарный поезд, захватил несколько вагонов с оружием, предназначенным для Юго-Западного фронта.

На станции в этот день царила полная анархия, все шло кувырком. Куда ни обернись — пальба, свист, мелькают согнувшиеся в хищном порыве фигуры, прямо через рельсы туда и сюда рыскают пулеметные тачанки, наматывая на колеса разлетевшиеся по всей станции обрывки телеграфных лент... Не гудят паровозы, не идут поезда — в оба конца семафоры закрыты. Вместо гудков пьяные выкрики да ругань поднимаются к небесам. Еще станция не остыла после боя, еще зияют разверстые пасти разграбленных складов, а населению уже приказано собраться к вокзалу — сам батько будет речь держать!

Было время, когда одно имя Махно действовало опьяняюще, послушать его на площадях, в степи, в лесах стихийно собирались тысячи. Было это, когда он шел со своими повстанцами против гетмана и против кайзеровских вояк да еще когда громил в степях деникинские тылы. Теперь же пьяным махновцам приходится нагайками подбадривать, загонять дядьков на митинг.

— Не бойтесь, идите! Будет митинг с музыкой!

— Манухвактуру батько будет раздавать!

— Золотые червонцы будет разбрасывать!

На станции, как на ярмарке, — всюду тачанки, тачанки, тачанки! Полтора ста будто бы тачанок здесь у Махно и на каждой — пулемет, а то и два. Кто знает, полтора ста, а может, и больше, ведь они как

оглашенные носятся всюду — по рельсам, по улицам, и палят, палят по каждой курице, не жалея патронов. Когда не стало по ком стрелять, с пьяных глаз открыли пальбу по небу: «По господу богу — огонь!»

Клокочет станция. Мелькают буйные махновские чубы, лоснятся раскрасневшиеся, разморенные зноем лица. Кто полуголый, кто в кожанке, кто в богатой шубе не по сезону. На одном штаны хромовые, блестящие, как у авиатора, на другом сверкает красное, как огонь, галифе. Тут уже меняются награбленным добром, там дерутся, а возле вагонов здоровенные мордастые конвойцы Волчьей сотни, из личной охраны Махно, сбившись в круг, глушат спирт прямо из горлышка аптечных бутылей.

А где же он, их самый главный? Слышали о нем мужики много, но сам он впервые залетел сюда на своих рессорных, степных, покрытых пылью тачанках... Любопытство разбирало каждого — боязно было, и в то же время хотелось увидеть, каков он есть, этот Махно, не дающийся в руки, неуловимый, как нечистая сила, как наваждение.

Сквозь заборы и ограды, из садов и подсолнечника — отовсюду смотрели галещане, как, точно из пекла вырвавшись, влетела прямо на насыпь тачанка, яркая, пылающая коврами, которые свисали с нее чуть не до земли. Взметнув коврами пыль, тачанка лихо развернулась и остановилась с разгона у самого края насыпи, словно у обрыва, и в тот же миг откуда ни возьмись вырос на ней бледный злой человечек с жесткими, будто конскими, волосами до плеч...

— Батько! Батько наш! — завопила в радостном исступлении буйная, пьяная толпа. — Ура! Ура, ура!

— Чего же вы молчите? — подталкивали махновцы крестьян, стоявших, точно немые. — Это же он и есть, батько наш, разве не узнали?

— Это же о нем поется:

Махно — царь, Махно — бог
От Гуляй-Поля до Полог!

Громадный, разгоряченный спиртом махновец в малиновом галифе и высоких шнурованных ботинках со шпорами в такт песне стал притопывать ногой.

Царь и бог!

А он, малорослый, с горящим пронзительным взглядом, раскорячившись, стоит в тачанке, тонкие злые губы плотно сжаты, и рука угрожающе лежит на сабле, что явно делалась не для него — болтается до пят...

— Не ждали меня? — Сверкнул крупными зубами и, хищно изогнувшись, навис над толпой своими черными лохмами. — Обо мне комиссары разные враки распускают, что меня, мол, уже нет, что мне навеки амба, а я — вот он, перед вами, жив-здоров! Сын Украины! Да!

Френч на нем из нового сукна, с огромными карманами, длинный, как жупан. Весь опутан блестящими ремнями. Лицо, обрамленное длинными, как у ведьмы, волосами, худое, изможденное, жесткое, а глаза... о, эти глаза, пронизывающие насквозь, полные какой-то мрачной влекущей силы, как эти глаза умели когда-то гипнотизировать селян! По клуням, на площадях горели неистовым огнем, зажигали и вели за собой тысячи людей... Почему же сейчас мужики так упрямо избегают взгляда этих глаз, их нестерпимого блеска? Или гипноз батька уже не действует на них?

Болтается сабля, болтается кобура с маузером, бледная рука рассекает воздух.

— Вольную, красивую жизнь дам вам, без царя, без самодержавия и без комиссародержавия — кто «за»? Абсолютно свободные союзы людей! Конец всякому

гнету! Объявляю на земле начало новой эры, да! Свобода — и только!

Склонив головы, слушают мужики. Босые, в истлевших сорочках, а у кого и брусек торчит из кармана — видно, только что с сенокоса... Слушают внимательно, а думают... Видно, каждый о своем думает — кто о «свободе личности» да о новой Сечи Запорожской, которые сулит им с тачанки гуляйпольский батько, а кто о том, что работа в поле стоит, либо о коне, которого сегодня забрали махновцы...

Верзилы из Волчьей сотни время от времени тумакami подбадривают крестьян, обращая их внимание на оратора:

— Слышите, как режет? «Монархия или анархия — и только! Середины наш народ не признает: уж по природе такие мы!»

Осоловевшие, с отуманенными вином глазами, тянутся со всех сторон к батьку потные преданные морды. Атаман неутомим, раздает свободу налево и направо, корчась, словно на костре, на своей яркой ковровой тачанке. Чешет как по писаному, а ведь из простых же простой! На глинище вырос! С малых лет у колонистов свиней пас! И вдруг — такой революционер!

— А в карты! — хвалится перед мужиками тот, который в малиновом галифе. — Еще при гетмане, когда австрийских офицеров захватил было в плен, сразу им: «А ну-ка, граждане австрийцы, кто в карты меня обыграет? Выиграет — живым отпущу!» Двое суток напролет играл! Никому не проиграл! Никого не выпустил!

Не возражают мужики. Может, оно и так. Может, в карты батько у самого черта выиграет.

— Только вы штаны потушите, штаны на вас горят...

Махновец наклонился, мотнул штаниной: и верно, дым идет из галифе!

— Цигарку, видать, невзначай сунули в карман, оно и того, загорелось.

Махновцы, сгрудившись вокруг товарища, гогочут, советуют, как тушить:

— Ляг да покачайся!

— Спирту ему туда, спирту!

А Махно знай витийствует. Все сильнее трясутся лохмы, рассыпавшись по плечам, все злее бьется сабля у раскоряченных ног. До тех, кто стоит поодаль, доносятся лишь отдельные слова: «Продразверстка!», «Свобода!», «Смерть!». Тем же, что притаились еще дальше, в зарослях садов и огородов, и вовсе ничего не слышно, им только видно, как все сильнее, будто в припадке, дергается маленькая фигурка на тачанке — малое да злое! Тачанка его, горящая коврами, стоит поперек путей, прямо на рельсах, не боится поездов, семафоры закрыты. Взнузданные кони все нетерпеливей мотают головами за спиной у Махно: жара все сильней, оводы жалят нещадно...

— Продразверстка! Свобода! Смерть!

Далеко видно блестящее потом, смертельно бледное лицо в темном обрамлении растрепанных волос, его болезненные гримасы. Выше взвивается зажатая в руке нагайка, и все вокруг — кони, тачанки, запрудившие площадь люди — сгрудилось, будто это лишь подставка, пьедестал для маленькой, темной фигурки, судорожно бьющейся на высокой, в ярких коврах тачанке.

Пулеметчики, развалившись в тачанках, лениво подзуживают оттуда дядьков:

— Вот какой у нас батько... Хоть кого заморозит... Мертвого поднимет!

Угрюмо покачивают головами мужики: может, оно и так... может, и поднимет... Кто-то тяжело вздохнул. Вот повстречал сегодня дядько двоих махновцев на дороге, как раз сено вез. «А ну-ка, дядько, слезай!» Поддали воз

плечами, вывалили сено: «Сено твое, а конь — наш!» — «Да на что вам такая кляча? Смотрите — пустую телегу еле тянет! Сколько ни бей, не побежит!» — «Ничего, у нас побежит!» И как сели, как гикнули, как рванули с места, так она, шельма, мотнула хвостом, кометой понеслась... Что же это, по-вашему, по гуляй-польскому, она и есть «свобода личности»? Премного ж вам благодарны за такую свободу, на кой она леший нам нужна!

До самой темноты бесчинствовал в Галещине Махно. Отнимал коней, кормил дядьков речами, а после речей возле станции по его приказу в его присутствии гуляй-польские контрразведчики, гориллоподобные братья Задовы, изрубили группу красных медсестер, захваченных в эшелоне.

Ни зной, ни спирт не могли свалить в этот день Махно. Еще и ночью то тут, то там раздавалось между вагонами его резкое, визгливое «и только!». Перед тем как покинуть станцию, Махно решил оставить по себе память: щедрой рукой раздавал из вагонов оружие. Не дремали и хуторяне. Всю ночь под покровом темноты молча развозили они по хуторам сотни винтовок и запечатанные ящики патронов, полученные от их щедрого гуляй-польского батька.

XXVIII

На пригорке, в разогретом солнцем бурьяне, — станковый пулемет, нацеленный на дорогу, ведущую к мосту. Все приготовлено, лента заложена. За пулеметом — тоже в бурьяне — в боевой готовности пулеметный расчет. Тут, в секрете у моста, их трое: Карнаух Маркиян, пулеметчик еще с царской войны, Левко Цымбал и Данько.

Посылая их в дозор, командир отряда сказал:

— Смотрите, не отдайте моста Махно. На вашей революционной совести этот мост... Да только глядите в оба, чтобы сгоряча и по своим не пальнуть: где-то тут должен пройти отряд красного казачества, посланный преследовать махновцев... Одним словом, классовое чутье само должно вам подсказать, по кому и как бить.

И вот томятся они в разогретом бурьяне, подставив солнцу свои заплатанные спины, пристально вглядываются в дорогу. А дорога бежит куда-то до самого горизонта — меж хлебов, через огороды, через овраги и лощины. Безлюдно. Изредка проедет крестьянин на возу, пастушки перегонят скотину, взовьется вихрь ныли. Еще зелено на полях, еще не позолотило их лето. Небо светлое, безоблачное, только внизу, по горизонту, темными тучами застыли вдали сады хуторян.

Жарко. Безветренно. Монотонно гудит и гудит над пулеметом пчела; в высоком бурьяне застоялись густые ароматы привядшей на солнце полыни, разомлевшей лебеды, луговых трав. Время от времени из-под моста доносится внезапный всплеск — то вскидывается рыба, и тогда Яресько косится в ту сторону: хорошо бы, разбежавшись, прямо отсюда нырнуть в речку, но... классовое чутье, как сказал командир, должно быть начеку!

— Скучно что-то так лежать, — широко зевая, говорит Левко. — Рассказали бы вы нам, дядько Маркиян, как вы женились, что ли.

— Рано еще тебе о женитьбе, подрасти малость.

— Куда уж расти! — Левко недовольно посмотрел на свои огромные, с потрескавшимися пятками ноги.

Яресько и Маркиян весело рассматривали своего товарища. Только недавно семнадцать парню исполнилось, а поди ж ты, как выгнало, и чуб такой, что на двоих махновцев хватило бы.

— Вернемся в казарму — остригу я тебя, — шутливо говорит Яресько. — А то еще за гуляйпольца примут.

— Как все-таки хорошо у нас тут... — мечтательно произносит Маркиян. — Вот я на разных фронтах побывал, всякие края видел... Есть моря на свете, есть горы, но, ей-ей, нигде нет места краше, чем у нас. Не зря же говорят — Полтавщина... Бурьян вот пахнет. А вечером — сирень да фиалка... Соловьи заливаются.

— Верно. И девчат нет нигде лучше, чем у нас, — повернулся Левко к Яресько. — Как ты думаешь, Данько?

Данько, склонившись к траве, где ползали перед ним божьи коровки, лишь загадочно улыбался. Эх, не знаешь ты, Левко, где есть девчата еще краше. Поглядел бы ты на синеоких, которым таврийский ковыль шелком под ноги стелется. Поглядел бы на глаза, которые за тысячу верст светят тебе девичьей лаской...

— Бедны мы только очень, — продолжал тем временем Маркиян. — Ну да заставим вот мироедов потесниться — заживем тогда иначе. Богатой жизнью заживем!

— Вишь, богатеть задумал дядько, — покосился Левко на Маркияна. — А на ком же тогда, по-вашему, Советская власть держаться будет, если мы все богатыми станем?

— На нас и будет держаться.

— Но мы же — власть бедных! — горячо воскликнул Левко.

— Думаешь, навеки на тебе эти заплаты? — хлопнул Маркиян Левка по плечу. — Нет, не всегда нам, брат, такими горемыками быть.

— Скорее бы только диктатурой встать над кулаком, — сказал Яресько, не отрывая прищуренных глаз от уходящей вдаль дороги. — А то, видишь, грозятся гады революцию на вилы поднять. А тут еще

Махно, холера его принесла... и когда уже его поймают? Никак в руки не дается, сатана!

— Это у него, сказывают, тактика такая: налететь, паники наделать... Больше гиком да криком берет. А как только где на крепкий орешек наткнется, так и назад: нарочно избегает боя.

— А вы думаете, зря это мы здесь? — перешел вдруг на шепот Маркиян. — В уезде уже, видать, прослышали что-то, раз дозоры во все концы разослали...

— В Соколке, говорят, сход изрубил, в Галещине — сестер милосердных...

— Совсем уже, видно, озверел. На женщин беззащитных саблю поднял.

— Как это вчера на митинге говорила одна? — промолвил Маркиян, припоминая. — В великих муках, говорит, рождается новый мир...

— А тот, молодой, из полтавских? — оживился при воспоминании о митинге Левко. — Ну прямо как будто за меня сказал. «Я, — говорит, — и силу и сознание имею! Работаю в кузнице новой жизни, товарищи. Кую и пою песню Третьему Интернационалу!»

— О, пыль курится...

Яресько, приподнявшись над бурьяном, стал из-под козырька вглядываться в дорогу.

— Ветер?

— Нет, это не ветер.

Вскоре стало ясно, что движется колонна войск. Скрылась ненадолго в балке, потом снова показалась на пригорке, и в этот момент — отлично было видно — развернулось над передовыми всадниками большое красное знамя.

— На-а-ши, — облегченно вздохнул Левко. — Красное казачество идет!

Стало слышно, как гудит пчела, как плещется внизу под мостом речка. Яресько замер, прислушиваясь. Почудилось ему, что ли? Будто песня откуда-то плывет.

Вначале чуть слышно донеслась издалека с поля, потом громче и громче...

Чубарики, чубчики,
Ка-ли-на...

Уже ясно видны передовые, покачивающиеся на конях, а из клубов пыли выплывают все новые конники и тачанки.

Горит на солнце окутанное пылью красное полотнище знамени, в такт песне покачиваются в седлах поющие всадники:

Чубарики, чубчики,
Ма-ли-на...

— Эх, и поют же, черти! — восторженно сказал Левко.

Ярьсько весь превратился в зрение и слух. Он потянулся вперед, будто навстречу песне, и было для него в этой песне что-то по-степному привольное, буйное, что привлекало, привораживало его своей удалью и в то же время вызывало непонятную настороженность, будило тревогу. Чем-то эти «чубчики» словно бы перекликались с тем «Яблочком», которое он слышал ночью в Криничках из-за реки.

Все ближе накатывалась песня, и вот, когда она вдруг завершилась разорвавшим воздух молодецким кавалерийским присвистом, Ярьсько обмер! В это мгновение он все понял...

Побледнев, обернулся к Маркиану:

— Строчи!

Маркиян и Левко вытаращили на него глаза.

— Ты что — обалдел? Свои же!

— Стреляй, говорю!

— По знамени?!

Ударом плеча Яресько оттолкнул Маркияна в сторону, упал, приник к пулемету... Дрожа, вырываясь из рук, заговорил пулемет, брызнул прямо по колонне свинцом.

Ошеломленные товарищи его с ужасом смотрели, как поникло в облаках пыли полотнище знамени, как беспорядочно сгрудилась колонна, с ходу поворачивая вздыбленных лошадей, в панике рассыпалась по ложбинам, по хлебам... Уже кони все дальше уносили своих седоков, уже скрылись в пыли и тачанки, а Яресько, стиснув зубы, все строчил и строчил вдогонку.

Лишь когда кончилась лента, опомнился наконец.

— Поняли, как с ними надо? — обернулся он к товарищам.

Они молча, оторопело глазели на него. В это время из ближнего овражка выскочил верхом на неоседланной лошади какой-то крестьянин и галопом помчался прямо к мосту. Подлетел запыхавшийся, босой, с нутом в руке, настигивая лошадь.

— Ну и дали же вы им! — тяжело дыша, воскликнул он, обращаясь к пулеметчикам, которые, выйдя из бурьяна, стояли уже на виду. — Сам Махно их вел!

— А... а... хлаг же? — разинул рот Левко.

— Вот тебе и хлаг: с таким же они и в Соколовку вошли, — переведя дух, рассказывал дядько. — Там как раз сходка была, о заготовке хлеба говорилось... А они под видом своих, красных казаков, подошли, оцепили сходку, послушали, а потом всех, кто за подразверстку выступал, тут же, на площади, в крошево! Весь соколянский комбед полег...

— Так это они и нас на такую приманку взять хотели? — все еще не мог поверить Маркиян.

— А я их сразу узнал, — сказал дядько. — Больше всего за нее боялся, думал, что заберут. — Он похлопал

кобылу по шее. — И забрали бы, если б проморгал... А то, как только увидел, сразу — в балку, в подсолнухи, спутал ее этим путем и наземь повалил... Ну, вы здорово секанули по ним, — мотнув головой, засмеялся дядько. — Один дьявол в черной бурке проскочил мимо меня совсем рядом: вся морда у него в крови. «Засада, — кричит, — возле моста! Большевики!»

Уже когда дядько уехал, Маркиян медленным, полным раскаяния жестом почесал затылок.

— Вот так-то чуть в дураках не остался! — И со зла плюнул в траву.

— В аккурат могли по нашим головам в уезд проскочить, — промолвил Левко упавшим голосом и, с уважением посмотрев на Ярьсько, спросил: — Скажи, ну как это ты их разгадал?

Ярьсько улыбнулся:

— А песня?

— Что — песня?

— Разве она ничего тебе не сказала? Эх, ты! А еще «кую и пою», — засмеялся Ярьсько и шутя толкнул Левка в бок.

Маркиян, присев возле пулемета, уже молча набивал ленту новыми патронами.

XXIX

Так началась для Ярьсько новая боевая жизнь.

Тревоги ночью, тревоги и днем. А когда их нет, тогда занятия и муштровка. Ярьсько, как человека обстрелянного, в первые же дни назначили взводным. Своих ребят — у некоторых была пока одна винтовка на двоих (отряд еще не успели полностью вооружить) — Ярьсько не особенно перегружал маршировками на площади, больше заботился о том, чтобы стреляли хорошо да лучше других пели походные песни. По

ночам охраняли мосты, хлебные склады, разные уездные учреждения. Когда же выпадал свободный от дежурства вечер, геройское бедняцкое войско, выстроившись в своих домотканых холщовых мундирах, лихо шагало с песнями от казармы до уездного Нардома.

Там для них время от времени устраивались представления.

Однажды вечером, сидя с товарищами в переполненном бойцами Нардоме, Яресько был прямо-таки ошарашен неожиданным появлением на сцене... Нонны-поповны. Какой-то необычной была сегодня, не такой, как всегда. Вышла на сцену в украинском наряде, золотистые косы перекинута на грудь... Взволнованно и широко улыбнулась присутствующим. На душе у Данька стало вдруг хорошо-хорошо за нее, за Нонну, и он не отрывал глаз от девушки. Было видно, как взволнована она, как часто вздымается ее высокая грудь. Веселая, взбалмошная Нонна, почему она здесь? Как попала? Ему показалось, что Нонна увидела его и смотрит теперь со сцены прямо на него и, декламируя, обращается через головы к нему одному:

Всі до зброї!
Бийте в дзвони!
Будьте смілі,
Як дракони!

Ей громко хлопали. До самозабвения бил в ладоши и Данько, провозная Нонну со сцены. Он гордился его в эту минуту. Такая девушка! И сколько она стихов знает — слушал бы ее и слушал! И сейчас вот словно бы прочла мысли Данька, проникла к нему в душу и откликнулась именно тем, что ему в этот вечер больше всего хотелось услышать... Но как, как она сюда

попала? Или, может, и впрямь устроилась где-нибудь секретаршей — она однажды шутя говорила ему об этом в Криничках. «Поеду, говорит, в уезд и любого вашего комиссара окучу!» По правде сказать, эта чудаковатая Нонна своими выходками, своей взбалмошностью и веселым нравом была по душе Даньку. Еще в Криничках их влекло друг к другу, но у Данька ничего серьезного и в помыслах не было. Что же случилось сегодня, здесь? Какой-то другой, какой-то более теплой, задушевной предстала она перед ним на сцене Нардома. Это ее выступление, ее взволнованность, открытая улыбка... В самом деле заметила она его в зале и улыбалась ему, или она улыбалась публике, всем?

После окончания вечера при выходе из зала Данько столкнулся с Ионной лицом к лицу. Она, видно, поджидала кого-то.

— Здравствуй, Нонна, — с неожиданной для самого себя теплотой в голосе поздоровался он. — Ты кого-нибудь ждешь?

— Жду.

— Кого, если не секрет?

Нонна улыбнулась:

— Тебя, — и взяла его под руку.

Отделившись от других, они вдвоем пошли по улице.

Пришлось Яреськовым хлопцам в этот вечер маршировать к казармам без своего командира: вопреки всем правилам военного времени, он пошел провожать девушку.

Эх, эти ночи, синие полтавские ночи! Кто может устоять перед их таинственным очарованием! Ночи, когда так опьяняюще пахнет распустившаяся сирень и в какой-то сказочной задумчивости стоят, касаясь вершинами луны, стройные высокие тополя, которые ночью кажутся еще выше, чем днем. В лунном свете

блестят листья деревьев, куда-то уходящие тропинки, серебрится река между таинственными огромными купами ив, которые, склонившись ветвями к самой воде, словно ждут, что вот-вот вынырнут из воды обнаженные белые русалки, чтобы сесть и покачаться на ветвях, послушать соловьиные песни. Соловьи! Неутомимые певцы весны и любви, как они заливаются на левах, в садах! Когда они поют, кажется, что все на свете затихает, и ночь тогда наполнена только их соловьиным пением. Слушают это пение и мечтательные девушки у окна, и ребята-часовые у моста, и угрюмые бородатые бандиты в лесах...

Ярьсько и не заметил, как они с Нонной оказались в густых кустах буйно разросшейся персидской сирени, на которую уже упала ночная роса. Рядом — старый, покосившийся особняк, утопающий в зелени запущенного, одичавшего сада.

— Вот тут я и живу, — сказала Нонна. — Снимаю комнату у одной вдовы-офицерши... Днем видно отсюда, как вы маршируете и играете в чехарду на плацу.

— А возле Нардома ты правда меня поджидала?

— Ну а кого же!

— А как ты узнала, что я там?

— Сердцем почуяла, — засмеялась Нонна. — На этот раз, думаю, уж не пропущу. Тебе что, а я вот ради тебя, можно сказать, бросила Кринички и отправилась сюда. — Заглядывая ему в лицо, она улыбнулась открыто и как-то даже чуть грустно.

Данько, словно невзначай, взял в руку конец Нонниной косы.

— Красивые у тебя косы, Нонна... Да еще ты их заплетаешь как-то по-своему, на особый манер.

— Можешь расплести.

— Разрешаешь?

— Другим не разрешаю, а тебе могла бы.

— Боюсь, расплету, а снова заплести потом не сумею. — И, в задумчивости выпустив косу из рук, спросил: — Ты тут давно?

— Да говорю же — вслед за тобой. Как нитка за иголкой. Скучно стало в Криничках после вашего ухода. Так скучно, что хоть вешайся. А потом — без охраны опасно, — полушутя продолжала она, — еще махновцы, думаю, налетят да к себе захватят. В тот раз, как Ганна налетела, что я только не пережила! По всему селу крики, вопли, а тут — Андрияка в дом. Злющий, наган отцу ко лбу: «Именем р-р-революции приказываю... спрячьте меня!» Куда же, думаю, его? За руку — да в чулан. Толкнула — сиди. Еще и старой рясой сверху прикрыла!..

— Вот это да... Ха-ха-ха! Рясой, говоришь? А не признался, чертяка. Теперь я ему проходу не дам! — Данько громко хохотал.

— Тише, а то разбудишь мою офицершу, — говорила девушка, любясь им, радуясь его искреннему смеху. — А из-за тебя сколько я страху натерпелась! Ну что, думаю, если он там где-нибудь в руки им попадетсЯ, наш комсомолец певучий. — Она ласково дернула его за чуб, выбившийся из-под фуражки.

Роса сверкала на кустах; из глубины сада слышалось щелканье соловья; от казарм долетала хоровая песня, — видать, хлопцы пели перед сном. Где-то совсем близко, за забором, в соседнем саду, раздавался девичий смех, слышались поцелуи; время от времени густой юношеский голос недовольно повторял: «Галько, ну Галько! Что ты строишь из себя Ивана Ивановича!»

Нонна, улыбаясь, прислонилась щекой к плечу Данька:

— Скажи, Данько, я тебе нравлюсь?

Данько чувствовал, как жарко вздымается под вышитой сорочкой упругая девичья грудь, как все

крепче льнет к нему девичье, налитое огнем тело, и сам не опомнился, как вдруг в каком-то хмельном порыве крепко прижал ее к себе и жадно припал губами к ее губам.

— Скажи! — горячо, счастливо шептала она. — Нравлюсь? Нравлюсь?

— Да! — Опомнившись, он порывисто оттолкнул ее от себя. — Врать не стану... Нравишься.

— Так почему ж ты такой? И до этого все вроде избегал меня! Сколько раз в Криничках — я к тебе, а ты все как-то стороной, стороной... Данько! Милый! — Глаза ее сияли преданно, открыто, призывно. — Полюби меня! Полюби! На край света за тобой пойду. Все для тебя сделаю! Скажи, чтоб косы обрезала, — и обрежу! Кожанку надень — надену! Кем хочешь ради тебя стану!

От запаха сирени кружилась голова, близость девичьего тела опьяняла, и Данько чувствовал, как все сильнее охватывает его сладостный дурман. Как в угаре, он кусал сорванный листок, смотрел куда-то вверх, на луну.

— Или я не хороша? Или — что попова дочка? — Нонна порывисто обвила его шею руками. — Так я отца упрошу! он так любит меня, он все сделает ради меня, моей любви... Хочешь, публично от бога отречется?

Данько все молчал, и было в его молчании что-то такое, что вдруг встревожило Нонну. Страшная догадка впервые осенила ее.

— Или, может, у тебя... другая есть? — спросила голосом испуганным, упавшим.

Данько положил ей руку на плечо:

— Ты угадала, Нонна... есть.

Больше не о чем было говорить. Так они и расстались.

В казарме Яресько, как и предполагал, сразу же попался на глаза командиру отряда. Шляховой еще не спал, при свете керосиновой лампочки он вместе с несколькими бойцами возился в углу возле полученных недавно пулеметов.

— О, взводный наш возвратился, — вытирая руки паклей, поднялся навстречу Яресько Шляховой. Голова его наголо побрита, сам коренастый, крепко сбитый, с широким скуластым лицом. Как всегда, он улыбался, улыбался той своей особенной, немного исподлобья, улыбкой, которую знали все в отряде и от которой трепетали хуторяне. — Не то, брат, время ты выбрал для свиданий, — сворачивая сигарку и поглядывая на Яресько, заговорил командир. — Конечно, сейчас, когда цветет сирень, там, в садах, пахнет получше, чем в казарме. — При этих словах Данько еще острее ощутил, каким спертым, тяжелым духом бьет от нар. — Но не рано ли? К лицу ли солдату революции лазить девкам за пазуху в такой напряженный момент?

Яресько молчал в смущении. Стыдно ему было. Он видел, что своим опозданием обидел командира, который только вчера, после случая у моста, перед строем ставил Яресько в пример как человека революционной совести и долга. Для Яресько Шляховой был больше, чем просто командир. Еще зимой Яресько слышал о Шляховом — он был свой, земляк, из недалевого села. С восхищением рассказывала бедняки, как он, Иван, собрав в каком-то селе кулаков, не сдавших разверстки, вместо того чтобы долго уговаривать их, поставил на крыльцо пулемет и так секанул у них над самыми головами, что те в штаны понапускали.

Хотя по возрасту Шляховой и ненамного был старше своих бойцов, однако ему пришлось столько пережить, что иному и не снилось. С малых лет, еще от земли не видно было, пришлось вместе со взрослыми уйти на заработки, только не к Фальцфейнам он попал, как Яресько, а в Козелыщину, на монастырские плантации, а потом в Карловну, на сахарный завод герцога Гессенского! Оттуда и пошел — по заводам да по тюрьмам... Дважды его как забастовщика по этапу пригоняли в родное село, к матери, а позднее уже сам вернулся большевиком — революцию делать.

На первой же сходке, сплотив фронтовиков, прижал к стенке местных богатеев:

— Гады, Учредительного собрания ждете, чтоб земли нам не дать?

— Теперь мы все равные, — загудели богачи. — Революция всех сравняла.

— Какие, к черту, равные! — кричал он им в ответ. — Ты столыпинец, а я пролетарий! У тебя земля, а у меня что? В кармане — блоха на аркане!

Кулачье не раз устраивало на него засады и покушения; пробовали даже при помощи красивых хуторянок переманить его на свою сторону, и сами же потом удивлялись, что ничем его не взять: предан был своему классу до конца!

И вот теперь Шляховой с улыбочками да шуточками, но крепко-таки отчитал Яресько. Лучше б уж он взыскание какое-нибудь наложил, чем вот так, по-хорошему да по-приятельски. А он, как назло, не отстал даже тогда, когда Яресько лег уже.

— Слышал? — присев рядом с Яресько на парах, степенно говорит командир. — Из Миргорода передают, снова Христовый объявился. Там Скирда, там Коготь... — Наклонившись к плечу взводного, он вдруг понизил голос: — Пачками чека берет! Оказывается, многие из них даже в наши учреждения пролезли. Еще

вчера они то украинскими левыми были, то полулевыми, а теперь, как слышали, что «пся крев» приближается, сразу же носы в ту сторону повернули! Зимой за Советскую власть распинались, а на деле, видно, только и ждали, пока леса зазеленеют...

Глубоко затянулся махорочным дымом.

— Разгорается классовая борьба, брат.

Докурив, Шляховой направился к выходу.

— Пойду караулы проверю.

Только Ярьсько лег, только задремал, как вдруг будто у самого его уха раздалось:

— К оружию!

Как очумелый вскочил, бросился с товарищами к пирамиде. Схватив винтовку, проталкиваясь вместе с другими к двери, выскочил из казармы во двор. Шляховой громко отдавал приказания командирам рот. Сквозь приглушенный гомон и звяканье оружия откуда-то снизу, из темноты дальних окраин, докатывались звуки перестрелки. Вслед за ними то тут, то там за садами прорывалось непонятное, воющее, раскатистое:

— ...А-а-а! А-а-а!

Что это?

Лишь потом догадались: «Слава!» — петлюровский клич.

Отряды разделились на несколько частей. Та, в которую попал Ярьсько со своим взводом, получила задание — к мосту!

Бросились бегом. От городских партийцев, бежавших вместе с ними, узнали, в чем дело.

— Кулачье взбунтовалось!

— Уезд решили захватить!

— А возглавил этих мироедов знаете кто? Левченко из военкомата!

— Предал, сволочь. Для отвода глаз отпросился к отцу погостить, а сам тем временем на хутора махнул! Все окрестное кулачье поднял!

Стрельба слышалась вокруг, то удаляясь, то приближаясь.

«Со всех сторон окружают», — на бегу подумал Ярьсько, прислушиваясь, как в предрассветной мгле разносится вокруг угрожающее «а-а-а», потухая в одном месте и снова вспыхивая где-то в другом, на заросших густыми садами окраинах местечка. Казалось, какая-то темная сила, поднимаясь волной, подкатывается все ближе, вслепую нащупывая выход своей яростной, разбушевавшейся ненависти.

Когда приблизились к мосту, прозвучала команда:
— В цепь!

Рассыпавшись цепью и бредя по росе, они перебежками двигались к речке. В предрассветной мгле уже видны были темные опоры моста и свои часовые, которые залегли на мосту с пулеметом и изредка посылали короткие очереди куда-то за речку — в тальники, в утренний туман. Куда, по кому они бьют?

Бойцы не успели еще отдышаться, как прямо перед ними, за полоской воды, дрогнул туман, затрещал лозняк, грохнул беспорядочный, злобный рев:

— Слава-а-а!

С кольями, с вилами, с винтовками наперевес хуторяне выскакивали из засады и с разгону бросались в воду. И уже слышал Ярьсько их надсадное дыхание, видел, как острый рожон с размаху вгоняется в живот какому-то парню из городских, и уже и себя представил нанизанным на этот кулацкий рожон. Ярьсько, стиснув зубы, выпускал патрон за натроном, и от его пуль падали в воду один за другим заклятые враги. На место сраженных из тальника вываливались другие, такие же обросшие, разъяренные, и, тяжело дыша, шлепая по воде, брели и брели на него, как дикие кабаны из зарослей.

В суматохе боя никто и не заметил, как поднялось солнце. Самозабвенно бились красные добровольцы, но

и хуторяне наседали свирепо. Когда кончились патроны, беднота бросилась врукопашную, исступленно колотила хуторян прикладами по набрякшим крутым затылкам, сталкивая их назад, в воду, а кулаки тащили их за собой, и речка уже наполнилась сцепившимися друг с другом телами. Пускали в ход кулаки, узнавая знакомых, хрипели, ощерившись:

— Ага, попался, мироед!

— Ага, попался, голодранец!

Вода уже алела от крови, а туман — от восходящего солнца. Пальба не затихала, бой все еще кипели. Пока одни дрались с хуторянами в речке и на берегу, другие с победным топотом уже неслись по мосту на ту сторону, и их молодое, дружное, все нарастающее «ура» катилось за речкой, за тальниками. Оказалось, что мятежников там, за ивняком, стояли целые обозы. Когда Ярьсько примчался туда, там уже хозяйничали хлопцы, смеялись до упаду, обнаружив подводу, нагруженную шлыками, которые хуторяне так и не успели обновить.

— Зря старались! Даром материю испортили!

Стрельба над прибрежными зарослями уж затихала, но все же часть мятежников, отстреливаясь, успела вскочить на возы и вырваться из-под удара.

— Бегут «добродии» — кричали хлопцы вслед. — И шлыки свои забыли!

— Что же, мы так и дадим им уйти? — воскликнул Ярьсько. — По коням! Догнать! Не оставим на расплод!

Гнали врага до самого Орлика и Переволочной, гнали по той самой дороге, по которой когда-то бежали из-под Полтавы к Днепру разгромленные шведы. Всю дорогу хохотали хлопцы: много, видать, было у хуторян в запасе новых шлыков: весь шлях до самого Днепра усеян был валявшимися и пыли этими пустыми петлюровскими торбами.

Три дня после того в городском саду трибунал судил захваченных левченковцев. Свыше ста пятидесяти мятежников было расстреляно, и только их вожак, бывший начальник уездного всеобуча Левченко, успел ускользнуть^[6].

XXXI

Так бывает только летом после буйного грозового ливня: над головой еще висит, раскинувшись, темная туча, а внизу, из-под нависших растрепанных ее краев, весь горизонт уже светится. Посвежевшей, первозданной голубизной проглядывает небо, и далеко на западе, в величественном хаосе туч, все ярче разгорается предзакатное могучее зарево солнца. Так и бьют оттуда, так и рвутся в простор сверкающие лучи, ливни света, озаряя землю и все, что на ней, — щедро омытую зелень деревьев, и луга с первыми копнами сена, и одинокую женскую фигуру, торопливо направляющуюся напрямик, через луга, куда-то в сторону леса. Бредет по траве, высоко подобрав юбку, и далеко поблескивают на солнце ее мокрые, сильные загорелые ноги.

Это спешит к сестре Вутанька.

Все больше очищается небо от туч, все светлее вокруг — море света, кажется, разливается в воздухе.

Над лесом тоже прошла гроза. Еще дымится на опушке разбитый молнией дуб, а свежая, обильно окропленная зелень сверкает под солнцем дождевыми каплями, и птицы щебечут, и полнозвучно падает в послегрозовую тишину звонкое «ку-ку».

Вода теплая — Вутанька бредет по разлившимся лужам, углубляясь в лес, и так приятно, щекотно ей, что даже рассмеяться хочется, как не раз смеялась она здесь, на этой тропинке, когда бегала с подругами в

канун Ивана Купалы ломать зеленые ветки и собирать цветы для венков. Теперь по этой дорожке, видно, редко кто ходит: кусты разрослись, цепляются за платье, даже страшно становится, будто рукой из-за куста кто-то схватил.

Давно уже собиралась Вутанька провести сестру, да за домашними хлопотами все как-то не могла вырваться я лишь сегодня, когда дождь помешал работе, наконец уллучила часок, побежала. Как она там, в своей отдаленной лесной обители? Снова ждет ребенка Мокрина. Может, уже и разрешилась? Кого-то ей судьба на сей раз пошлет — сына или дочь? Вспомнила, как Василько, провожая, говорил: «Найдите и мне, мамо, в лесу лялю. Сестрицу в ореснике найдите — я ее на тележке буду катать». Вспомнила и улыбнулась.

Солнце пробирается в лес, сверкает мокрая зелень вокруг; серебристыми бусами поблескивает вода на огромных листьях папоротника, вьется колючая ежевика, зелеными руками сплетаются между собой кусты, и все это вместе о лоскутами синего неба причудливым узором отражается в чистых, уже успокоившихся дождевых озерцах — так и кажется, будто проглядывает из глубины иной, подводный, колдовской мир.

Уже сквозь ветви впереди забелела облитая солнцем Мокрина хата, как вдруг — что это? Во дворе тачанки, кони! Куры кудахчут, люди какие-то суетятся. Вутанька остолбенела. Бандиты? Но ведь в последнее время вроде не слышно было их поблизости! Поразогнал их Шляховой!

Прижавшись к кусту, она украдкой стала пятиться назад. Внезапно куст зашелестел где-то за спиной, и на тропинке выросли два мордастых, вооруженных до зубов бандита.

— Стой, молодка, не спеши!

Обвешанные бомбами, с ремнями наперекрест, в заломленных шапках, они медленно приближались к ней.

— Куда разогналась?

С усилием, будто не своим голосом, ответила:

— К сестре.

— Ха-ха! К сестре... Знаем мы вас! От Шляхового, видать, подослана? На разведку пришла?

Один из них хотел схватить ее.

Вутанька, вскрикнув, выскользнула из рук и без памяти кинулась вперед, к хате.

Мокрина, переваливаясь, как утка, уже спешила через двор ей навстречу. Однако не успели они, и словом перемолвиться, как бандиты уже окружили Вутаньку пьяной шумной гурьбой.

— Вот это птичка! Повезло нашим дозорным!

— Радивон, а ну, проверь, чего это она там себе в пазуху напихала!..

Какой-то кривоплечий, угреватый бандит, расплываясь в улыбке, потянулся к Вутаньке с растопыренными для объятий руками. Вутанька еле успела отскочить от него в сторону.

— Вишь, как она! — подзуживали угреватого из толпы. — Видно, не по душе ей, что от тебя самогоном разит...

— Не брешите! Какой самогон? Я теперь адиколоны пью!

Он снова двинулся к Вутаньке. Она попятилась, натыкаясь на других, в это время угреватый схватил ее за руку и с силой рванул к себе. Но тут из-за Вутанькиной спины свистнула нагайка и со всего размаху огрела угреватого по плечу. Удар был настолько неожиданным, что бандит сразу выпустил Вутанькину руку.

Банда была в восторге:

— Вот это по-нашенски!

— Еще его, мáтинко, еще!

— По ушам его, по ушам!

Вутанька оглянулась и обмерла... Ганна! Во френче, в ремнях стоит возле тачанки, небрежно играя плетью, улыбаясь недоброй улыбкой.

— Не ожидала, подруженька, а?

На голове кубанка, из-под нее вместо кос клоком торчат сбившиеся, по-бандитски стриженные волосы... Лицо точно заспанное, припухшее, измятое, с тенями под глазами после пьяных бессонных ночей! «Вот ты какой стала, Ганна! Вот как теперь живешь!»

— Так и живу, — как бы отвечая на Вутанькины мысли, сказала Ганна с напускной лихостью. — Дома не бываю, хлеб не покупаю.

— Даром берешь?

— А много ли нам надо? Мы не такие прожорливые, как ваша разверстка, которой люди никак брюхо не набьют. Ты, говорят, стараешься там, на себе возишь?

Почувствовав, что разговор начинает обостряться, Мокрина подбежала к Ганне, засуетилась.

— Девоньки, какие же вы, право! Не успели встретиться, уже и разлад. Может, лучше в хату зайдете, по-доброму поговорите? — заглядывая то одной, то другой в лицо, улещала она.

— Что там в хате, — небрежно отмахнулась Ганна нагайкой. — К хате я теперь непривычна: лесом дышу.

Зоркий Вутанькин глаз невольно все здесь примечал. Мокрые, оседланные кони остывают возле колодца; три тачанки с пулеметами у самой хаты... Возле хлева, окруженный бандитами, возится с самогонным кубом Прокоп, Мокринин муж, какой-то растрепанный, лохматый, похожий в своей встопорщенной рубахе на сердитую наседку, которую только что спугнули с гнезда.

— Видишь, и нейтрал с грыжей пригодился, — насмешливо бросила Ганна. — Воевать не хочет — так

пусть хоть самогон моим хлопцам гонит...

А бандиты там уже веселились. Одни хлестали прямо из каких-то горшков еще не остывший Прокопов самогон, другие в сторонке развлекались тем, что кормили кур хмельной бардой. То и дело раздавались раскатистые выкрики, гогот.

— Где Ганнуса пройдет, там и куры пьяные. Ха-ха-ха!

— Смотрите, петух уже шатается!

— А ну-ка, Гришка, бей его теперь! Да целься прямо в гребешок! В комиссарский его гребешок!

Мокрина в ужасе всплеснула руками, увидев, как один из бандитов уже достает из кобуры наган.

— Ей-же-ей, убьют петуха! Ганна, да что же это такое? Самогонку заставили гнать, а тут еще и петуха! Один он у меня. В селе хоть соседский прибежит, а тут и близко другого нету!

— Эй, хлопцы! — нахмурившись, крикнула Ганна своим лоботрясам. — Не трожьте петуха! Он — беспартейный!

В ответ на Ганнину шутку бандитский сброд раскатился дружным хохотом:

— Беспартейный, го-го-го!..

— Отставить, Гришка! Для партийного пулю побереги!

Вутанька, передав Мокрине гостинец от матери, наспех поговорила с ней и уже рада была бы идти, но не знала, как ей вырваться отсюда. Стояла как на иголках. Ганна, видно, заметила ее нетерпение.

— Спешешь? Верно, хочешь брату поскорее обо мне доложить? Ты бы лучше сказала ему, пускай ко мне переходит. У меня, видишь, весело. У них там Шляховой и нитки взять не позволит, а у меня на этот счет полная свобода! Хочешь — шубу тебе подарю?

— Не надо.

— Тебе таких и комиссар твой не дарил... — Ганна стала небрежно рыться в тачанке.

— Не надо, Ганна, — настойчиво повторила Вутанька.

— Ну как хочешь. — Перестав рыться в барахле, Ганна задумчиво постучала ручкой нагайки по крылу черной, заляпанной грязью тачанки. — Где только эта тачанка не побывала... В Павлограде, была в Синельникове, до Гуляй-Поля доходила... Эх, и погуляли ж мы, Вустя, за все отгуляли!

Солнце, клонясь к западу, уже скрылось за верхушками могучих дубов, окружавших поляну. Тени легли на покрытое лужами, разбитое копытами подворье. Вутанька с настороженной улыбкой взглянула на Ганну.

— Ну так отпустишь меня?

— Подожди, но спеши, — серьезно ответила Ганна. — Может, я еще хочу твою красную пропаганду послушать... Ты же, говорят, теперь делегаткой стала, с трибун выступаешь?

— Ганна, отпусти ты ее, — жалобно взмолилась Мокрина.

Ганна минуту постояла в раздумье.

— Ладно, идем, я провожу тебя малость, — шагнула она от тачанки. — А то тут у меня такие орлы, что и на дорожке перехватят, без выкупа не выпустят.

XXXII

И вот они снова идут вдвоем по лесу, как когда-то... Совсем бы как в девичьи годы, если б не этот зеленый френч на Ганне, едва сходящийся на ее полной груди, да еще плетеная эта нагайка, что, болтаясь на ходу, извивается между подругами, как живая болотная змея.

Осторожно, как по углям, ступает по тропинке Вутанька. Чувство опасности, какой-то неясной тревоги ни на минуту не покидает ее. Почему Ганна вдруг пожелала ее проводить? И вправду не хочет, чтобы пьяные головорезы перехватили Вутаньку на пути, или, может, что другое у нее на уме? Может, самолично решила свести с ней тут свои последние счета?

— Разных я властей за это время перепробовала, Вутанька, — говорила Ганна на ходу. — И черных, и белых, и серо-буро-малиновых. Пока жива, всех властей хочу отведать. Как дикое яблоко в лесу: надкушу, попробую и брошу...

Вечерняя свежесть разливалась вокруг. Солнце, садясь, уже еле просвечивало сквозь чащу, и мокрые стволы деревьев кроваво рдели в его лучах.

— Ты давно мою мать видела? — Ганна вдруг нахмурилась, поникла головой. — Немало таскали ее там, говорят, за меня ваши чрезвычайки.

— В чрезвычайках тоже люди, разберутся, кто прав, а кто виноват.

— На меня небось всё зубы точат? Вот уж кабы попалась!.. Нет, дальше, видно, я с тобой не пойду, Вутанька... — Она машинально потрогала кобуру револьвера. — А то, чего доброго, еще в ловушку заведешь.

— Как раз, может, не завела бы, а вывела.

— Нет, меня уже вряд ли выведешь... Далеко зашла.

Свернув с тропинки, Ганна остановилась, с грустью оглядывая живописную полянку, открывшуюся перед ними. Где-то на верхушках деревьев уже пощелкивали первые соловьи.

— Расходятся здесь наши дороженьки, Вустя. Давай хоть присядем, а то ведь когда теперь встретимся снова...

Вокруг — никого. Во всем лесу — лишь птицы да их двое.

Присели на сваленном бурей дереве, и только теперь обе увидели прямо перед собой, под кустом, стайку белоснежных, в крапинках росы ландышей.

— Помнишь, Вутанька, у меня когда-то сережки такие вот были? — глядя на белые капельки ландышей, молвила Ганна.

— Как же не помнить... Еще в Каховке на ярмарке ты в них красовалась...

— Ярмарка... Ну да, «панночка в свитке», ха-ха! — невесело засмеялась Ганна. — Когда-то я красивое любила, а теперь не до красоты. Все осточертело. Ты вот и сейчас как девушка, а меня, видишь, как на даровых харчах разнесло! Скоро парням рук не достанет, чтобы обнять свою Ганнусю...

— И правда, раздалась ты, Ганна, — взглянула на нее Вутанька, — как хуторская кулачка какая-нибудь.

— И лицо слиняло, ведь правда? Знаю — слиняло, ушла красота, не хочется на себя и в зеркало глянуть... Тошно, опостылело все! Живешь, как трава: сегодня ты есть, а завтра нет, завтра, может, где-нибудь на такой же вот полянке саблями твой Данько с товарищами порубят.

— Сама виновата, Ганна.

— Такие, как мы, всегда виноваты, Вустя. Зато и погулялось же, ох, погулялось, Вустя! Пол-Украины на тачанка облетала. Знаешь, как мы с городскими буржуями расправлялись? Выберем самых пузатых, барабаны им в руки, флаг воткнем за пояс — и шагом арш по улице с песней: «Долго мы в тюрьмах сидели, долго нас голод томил»... Идут, животы как бочки, губы трясутся, а они в дудки дуют да про голод поют, растуды их мать!..

— Ганна! — ужаснулась Вутанька. — Как тебе не стыдно, Ганна!

— Ничего мне теперь не стыдно, — с сердцем промолвила Ганна, — и не страшно ничего... Чекисты

ваши? Думаешь, из них мы штопором кишки не выматывали? Было, все было... Погуляла, а на похмелье теперь хоть и пулю в лоб! — В голосе ее слышалось и отчаяние, и решимость. — Скажи, Вутанька, ты боишься смерти?

— Было бы за что отдать жизнь, Ганна... А так, на ветер...

— На ветер? А может, на бурю? Думаешь, забудет меня Украина? Думаешь, зря о Ганнусе песни поют?

— Спьяну ты хорохоришься или... Не пойму я тебя, Ганна... Они, эти твои бандюги, хоть знают, против кого и за что, а ты? За что ты воюешь, Ганна?

Ганна задумчиво смотрела себе под ноги, ворошила плетью муравейник.

— Правду тебе сказать, Вустя, и сама не знаю, за что. Сперва за анархию — «мать порядка» — была, пока с батком не разругалась...

— А теперь?

— Теперь опять за неньку...

— Снова обманут они тебя, Ганна.

Ганна вздохнула:

— Темные мы, потому нас и обманывают. Одно только знаю: когда оружие в руках, уже нельзя не воевать. И буду воевать, буду мстить теперь до конца...

— Кому мстить? Мне да брату моему, Даньку? Или Андрияке да Цымбалу, с которыми вместе батрацкого горя хлебнули?

— Не вам, Вустя, а тем, кто из Москвы на Украину за хлебом за нашим повадился. Отвадить хочу! Вот потопила, как котят, в Криничках, передай — и дальше топить буду. Топить — и все!

— Опомнись, Ганна!

— А до каких же пор они над нами будут измываться? Мы их не трогаем, мы к ним не лезем, а они? Почему они из нас кровь сосут, чем мы перед ними виноваты? Тем, что хотим, чтоб ненька свободной была?

— Не узнаю я тебя, Ганна! — взволнованно вскочила с места Вутанька. — Чьими ты словами говоришь? Чьи мысли повторяешь? Сама погляди, кто вокруг тебя увивается. Кулацкие сынки да проходимцы разные опутали тебя, возвеличили, а сами вертят, как куклой: «Ганнуся» да «Ганнуся»! Пока одни по хуторам песни о тебе орут, другие свои насилья и грабежи твоим именем прикрывают... И на них ты свою молодость тратишь? Ради них накликаешь на себя проклятия народные!

Они медленно направились к тропинке. Слушая Вутаньку, Ганна шла рядом с ней в глубокой задумчивости.

Вышли на дорожку. Лес постепенно окутывали вечерние сумерки. От лесниковой хаты доносились отзвуки пьяной гульбы: пение, свист...

— Слышишь, как Кирюша мой высвистывает? — проговорила Ганна с грустью и гордостью. — Никогда уж, видно, после нас не услышит Украина такого свиста!

А когда Вутанька решила идти, кинула ей вместо прощания:

— Брату все Расскажи, чтоб совесть тебя не мучила. Передай, что видела, мол, меня и мою разведку. Только скажи, что все одно им меня не поймать. Разве что надоест — сама сдамся.

— Думаешь, прогадала бы? — остановилась на тропке Вутанька. — Вон, говорят, помилование объявили тем, кто добровольно выйдет из лесов.

— Ох, не для меня это, Вустя. Много на душу взяла.

— Не все еще пропало, Ганна. Еще не поздно вырваться. Вспомни, как мечтали мы когда-то вместе на заработках о новых, счастливых временах. Вот же они идут: земля трудовому народу, власть своя, женщина стала свободной...

— Ох, не береги ты мою душу, Вустя, а то, ей-богу... Иди. Уходи с глаз! — И она с размаху стеганула плетью по кусту.

— А то, может, передумаешь? — искренне, дружески сказала Вутанька. — Бросила бы ты их, пошли бы и пошли бы вот так сейчас — прямо к матери под окно...

— А пошла бы, — мотнула головой Ганна, — ох как бы еще пошла, Вутанька! Ну да хватит душу растравлять... Мать увидишь — кланяйся. Пусть не поминает лихом свою дочку непутевую.

И, закрыв лицо рукой, она резко отвернулась от Вутаньки.

...Одна возвращалась Вутанька в Кринички. Оглядываясь на ходу, она еще несколько раз видела Ганну, что, печально сгорбившись, все стояла на укрытой тенью дорожке — в раздумье или забытии или, может быть, в слезах.

На дворе было уже совсем темно, когда Вутанька прибежала домой. Мать встретила ее у перелаза.

— А у меня тут уже вся душа переболела... Данько ведь забегал! Забежал на минутку и снова умчался. — Мать, оглянувшись, наклонилась к Вутаньке и зашептала: — Банда, говорит, Ганнина где-то снова здесь объявилась. — И, выпрямившись, вздохнула тяжело: — Господи, и когда этому будет конец?

XXXIII

Ганнина банда не знала теперь покоя. Днем и ночью металась по знакомым полтавским дорогам, рыскала по лесам и перелескам в поисках безопасного убежища, но всюду натыкалась на неожиданные засады. Таяли силы, падали кони, все уже и уже становился для Ганнинных тачанок синий полтавский горизонт.

В одном из боев Ганна была ранена — пулей задело голову. Рана оказалась неглубокой, жизни не угрожала, однако, по настоянию бандитской верхушки, Ганна вынуждена была передать атаманскую власть недавно прибывшему в отряд петлюровскому офицеру и ездила теперь в тачанке со своими дядьями Оникием и Левонтием.

Бездеятельное положение обозной девки вызывало досаду, оскорбляло ее. Пока атаманшей была, находила забвение в разных командирских хлопотах, некогда было предаваться раздумьям, как сейчас. Голова полна беспокойных тяжелых мыслей. Кто она, куда мчат ее эти взмыленные кони с куцыми, подрезанными хвостами? Кажется, что все время гонятся за ней бойцы Шляхового и вот-вот настигнут — не проходит и дня, чтобы где-нибудь не встретили, не обстреляли их. И где бы она ни была, близко ли, далеко ли от Криничек, — не может отделаться от мысли, что это строчит по ней из пулеметов своя же беднота, что это преследует ее на всех путях неумолимая Вустина кара. В зной и пыль, через яры и буераки трясется в тачанке, как арестантка, с забинтованной головой, которая все гудит и гудит, точно с похмелья. Все чаще и чаще закрадывается в душу подозрение — не явилась ли для верховодов ее рана лишь удобной зацепкой, чтобы отстранить ее от атаманства, засадить свою Ганнусю в обоз. Сами возносили до небес, сами же и в тень оттолкнули при первом случае. Неужели и впрямь была она только куклой в чьих-то руках, как говорила ей Вустя?

Ганна заметила, что после встречи с Вутанькой в лесу стали на нее в отряде косо поглядывать. Когда она, проводив Вутаньку, вернулась к тачанкам, один из бандитов нагло, при всех спросил у нее: «О чем это вы там секретничали, матинко, без нас? Не о тех ли амнистиях, которые Дзержинский всем раскаявшимся

обещал?» А когда на следующий день кровью залило ей глаза и дрогнула на ней атаманская корона, как-то сам собой выплыл на первый план этот Скиба, этот усатый петлюровский есаул в штиблетах... До сих пор его и не слышно было — и стрелял молча, и рубил молча, а тут вдруг заговорил, заплакал над Ганной крокодиловыми слезами: «Кто там против Ганнуси? А ну, заткнись! Не дадим в обиду нашу украинскую Жанну д'Арк! От всех хлопот освободим! Пока рана не заживет, пускай сидит в тачанке и ни о чем не думает — наша Ганнуса еще нам понадобится для триумфального вступления в Полтаву!»

Горько, унизительно было Ганне чувствовать себя в стороне, никому уже не страшной, под видом фальшивой заботы глумливо сброшенной с высоты власти куда-то на дно обозной тачанки. Давно ли перед ней падали ниц, песни пели о ней, а теперь вот среди юфти да вонючих смушек погребли в тачанке свою Ганнусю... И есаул в штиблетах сразу изменился — на привалах уже не замечает ее, а то и просто обходит ее тачанку, будто остерегается, чтобы вдруг не достала его своей нагайкой криничанская Жанна д'Арк.

Сердюки — Левонтий и Оникий, считая, что виноват во всем он, этот проходимец в штиблетах, старались утешить Ганну:

— Погоди, мы еще до него доберемся, допрыгается он. У многих наших хлопцев он уже на подозрении. Не иначе как польский сыщик, из тех, что на тайную службу к Пилсудскому пошли. Золото у наших все знай выманивает, а для чего бы это? Не для того ли, чтобы, когда припечет, а а границу махнуть, мельницу там где-нибудь открыть либо шинок? Нет, голубчик! — угрожающе хрипели густо заросшие, мрачные Сердюки. — Пропадать — так уж пропадать всем вместе!

Полно юфти и смушек в тачанке у дядьев, полно буржуйских куниц да лисиц, и среди всего этого добра Ганна — пропыленная, измученная и равнодушная ко всему, едет неведомо куда; большие глаза ее налиты печалью. Все у нее как будто есть и нет ничего. Буржуйские меха под ногами да облако серой дорожной пыли — вот и все ее достояние!

Однажды Ганна едва не погибла вместе с дядьевыми мехами: их тачанка провалилась на мосту. Ганна еле успела выскочить в самый последний миг. Что там творилось! Дышло поломано, сбруя изорвана, одна лошадь тонет, а другая на живот ей копытами наступает, чтобы самой спастись. Награбленные шубы и юфть плавают по воде, намокают и идут ко дну. Дядьки спасают, что можно; вопят в отчаянии, а ей, Ганне, ничего не жаль — она, выбравшись на берег, зовет свою любимую пристяжную кобылку: «Воля, Воля...» Так, не выпутавшись из сбруи, и захлебнулась в Пселе ее Воля...

А бои завязываются все чаще и чаще. Шляховой да Яресько со своими хлопцами дохнуть не дают, и все отчаяннее — как по замкнутому кругу — мечется банда под синим полтавским небосводом.

После памятного разговора с Вутанькой Ганна то и дело, словно бы невзначай, ловит себя на том, что смотрит на свою ватагу уже как на чужую — будто Вутанькиными глазами. Раньше, кажется, и не замечала, сколько среди окружающих ее всякого сброда — и недовольных разверсткой хуторских сынков, и бывших стражников и тюремных надзирателей, и даже таких, которые уже успели побывать на службе у Советской власти, но, в чем-то проштрафившись, вынуждены были спастись в лесу от трибунала. Головорезы и пропойцы, привыкшие к крови, к бездомной разбойничьей жизни!

По-настоящему открылись Ганнины глаза на них во время налета на коммуноу. Будто прозрела вдруг, будто впервые увидела их такими, как они есть, тех, с кем связала свою судьбу.

На высоком холме, на том самом месте, где в давние времена стояли хоромы панов Базилевских, белеют, обсаженные тополями, постройки коммуны «Червоні квіти». Первых господ еще при Екатерине сожгли турбаевские казаки, последних в дни революции выкурили крестьяне окрестных сел. В опустевших домах имения по почину чекистов этой весной была устроена детская коммуна.

Главари банды не раз уже порывались посмотреть поближе на коммунистический рай и жизнь «по потребностям», но Ганна, пока была у власти, все противилась этому, отговаривала своих головорезов: стыдно, мол, воевать с детьми. Теперь же верхушка, видно, решила-таки сделать по-своему.

Рано утром неожиданно свернули к коммуноу. Нещадно стегая коней, как бешеные мчались по тополиной аллее, которая вела в усадьбу; Ганна только успела прочитать на арке, мелькнувшей над головой:

«Юный коммунар!
Что ты сделал для раненого
красноармейца?»

Когда Сердюки влетели на своей тачанке во двор, там уже шла расправа — рубили саблями воспитателей, крушили прикладами окна, выбрасывали из комнат, как щенят, насмерть перепуганных спросонья детей, зверски избивая их нагайками.

— Где касса? Где оружие?

Среди матерщины, среди хрипа опьяневших от крови бандитов то тут, то там раздавались

душераздирающие детские вопли, мелькали залитые кровью личики ребят.

Соскочив с тачанки, Ганна бросилась прямо в гущу бандитов.

— Не смейте! Прекратить детоубийство!

Кто-то грубо оттолкнул ее, она в кого-то стреляла, но ее в одну минуту уgomонили, ткнули лицом в тачанку:

— Не суйся, атаманша, не в свое дело!

Долго слышала она эти раздирающие душу крики юных коммунаров, — пока жить будет, видно, не укрыться ей от чистых детских глаз, налитых слезами, горящих жгучей ненавистью.

Весь день после этого она не находила себе места, не могла глядеть на толстые, в складках жира, загривки Сердюков.

На ночевку банда остановилась в лесу за озерами, неподалеку от Криничек. Тяжелый сон свалил в этот вечер Ганну, и приснились ей какие-то дивные хоромы, — будто ходит она из светелки в светелку и никак не может выбраться из них. Проснувшись — кто-то храпит под тачанкой, ущербная, зловеще красная луна сквозь ветви проглядывает... Пить захотелось. Встала из тачанки, не торопясь побрела к воде.

Кто где упал, там и спят мертвецким сном те, что сегодня детской кровью руки обагрили. Все меньше становится их, все меньше места под звездами занимает ее ватага. Темнеют тачанки, сгрудились лошади, расположась на опушке, словно растрепанный цыганский табор. Там и тут торчат часовые, под кустом возле пулемета слышен приглушенный разговор, — видно, сменяется наряд. Сдаёт пост Остапенко, принимают Сердюки.

— За озером да за протокой получше следите, — слышен хриплый голос Остапенко. — Туда ли кто или

оттуда — приказ: палить без предупреждения. В селе Шляховой со своими, так что не дремать!

Заметив Ганну, Остапенко задел и ее мимоходом:

— Не спится нашей матинке? Молодая кровь играет? — И ушел.

Было слышно, как, покряхтывая, отдуваясь, точно волны, дядья укладываются возле пулемета.

Перед Ганной раскинулся тускло освещенный луной плес озера. Звезды над головой, звезды и под ногами — в воде, между осокой и кувшинками. Наклонившись, Ганна зачерпнула горсть воды и напилась всласть. Вода холодная, ключевая — тут без числа родников, и всю эту местность, богатую родниками, изрезанную протоками, озерами и озерцами, криничане издавна зовут Холодные Криницы... Освежив лицо, Ганна присела на холмике у воды. Месячно, маревно, ясно. За плесом озера в ночной мгле тают луга, где-то в камышах покрикивает выпь.

Почему-то вспомнила Ганна, как все это началось... В тот ослепительно солнечный день она дергала коноплю на хуторе у Дашков, а рядом, на леваде, Щусь купал в ставке коня. Тогда Ганна еще не знала, что этот Щусь — знаменитый махновский атаман. Для нее он был тогда только парубок — матрос богатырской силы и невиданной красоты, кудрявый, в полосатой тельняшке и в ярко-малиновом галифе... Смеясь, озуя, купал коня, и весь ставок бурлил под ним, из берегов выплескивался... А ночью вместе с дядьями Щусь нагрянул к ней домой. Говорят, что дядья, мол, продали ее за золото — враки! Никто бы ее не смог продать, если бы Щусь ей не приглянулся. Без памяти полюбила его... Не то что в Дибривку и в Гуляй-Поле — на край света пошла бы за ним! И хоть он потом и променял ее в Гуляй-Поле на Таню Карманову, но вряд ли эта потаскуха, белоручка любила его так, как любила она,

Ганна. Может, больше ради него и на коня села, стала для банды Ганнусей?

Мглистым маревом подернута широкая пойма, где-то у самого горизонта темнеет Голтвянская гора, скрывая в тени раскинувшиеся по склонам знакомые леса. Днем отсюда можно увидеть Кринички. И сейчас, ночью, девка могла бы голос туда подать, если бы ждал ее там милый...

Интересно, глубоко ли тут? Бездонная, как небо, вода, ясные звезды мерцают в ней между распустившихся лилий. Лежат, не шелохнутся на воде листья кувшинок, белеют крупные цветы лилий, таинственно притихли камыши.

И неподвижный плес, и освещенные луной кроны плакучих ив, и прибрежные кустарники — все притихло, будто замороженное, все притаилось в каком-то ожидании, полное, как в купальскую ночь, волшебных чар. Кажется, не удивилась бы Ганна, если б вдруг забурлила вода и из-под кувшинок одна за другой стали выскакивать на берег голые русалки и, греясь в лунном свете, принялись расчесывать свои длинные распущенные косы. Не испугалась бы Ганна их появления, быть может, хоть у этих холодных водяных дев спросила бы, как ей дальше жить на свете!

Что на прошлом пора поставить крест, она теперь всем сердцем чувствует. Но куда, к кому податься? Если бы можно было жить кукушкой в лесу или русалкой вон там, под водой! Нет, видно, не примут ее к себе и русалки, вон какие у них косы, а она — без косы; они холодные, а в ее жилах еще бьется горячая человеческая кровь!

Прощай, бандитская беспутная жизнь! Но что же дальше? Где та тропка, что наконец выведет ее из бандитских блужданий к новой, к честной жизни? Может, эта луна и расстилагает дорожку между кувшинок на ту сторону? Может, встать и пойти, прямо так —

через воду, через луга, объявиться, пускай судят? Тяжело провинилась перед вами, но ведь не пропащая же я, не пропащая?

Кроваво-красная луна садится в камыши; где-то уже в другом месте ухает выпь — водяной бык; заливаются собаки на хуторах... Сыро вокруг, становится все холоднее, дрожь пробегает по телу. Как там мать? Скоро троица, девчата будут убирать свои дома зеленью, посыпать полы луговой травой... А кто же ее матери хату украсит, кто ей поставит на окна горшки с мятой и любистком?

Однако что это? Ганна вдруг востепенелась, подалась вперед, замерла, прислушиваясь. Откуда-то издалека, с заречья, донеслись чуть слышные звуки запоздалой гармоники, послышались веселые голоса, пение. Видно, это молодежь только что вышла из Нардома. Допоздна гуляют хлопцы и девчата вместе со своими постояльцами, с бойцами Шляхового... Вздохнула Ганна. Разве не могла бы и она быть сейчас там, с этой молодежью, не могла бы разве влить и свое сопрано в хор молодых голосов? Как тянул ее к себе этот новый, этот страшный и в то же время такой желанный мир! Как близко он отсюда! Стоит лишь миновать эти кувшинки и лилии — и там уже начинается иная Украина, иной их мир, жестокий, пугающий... и такой желанный. Нарастает песня, и хоть впервые слышит ее Ганна — совсем, видно, новая какая-то, — однако есть в ней для Ганны манящая сила, которая так притягивает, до боли тревожит душу и зовет, зовет куда-то! Вот чей-то девичий голос уже выводит высоко-высоко, совсем как Вутанька... А может, это и впрямь она? Может, своей песней и вызывает из лесу Ганну к себе?

Осторожно оглянулась, прислушалась. Банда храпит за спиной, кони спокойно жуют траву... Храпят, все храпят!

Задумалась на миг и решительно махнула рукой: «А! Двум смертям не бывать!»

Через мгновение она уже стояла босая, в одной сорочке. Связала ремнем одежду, взяла в руки наган и крадучись стала потихоньку спускаться в воду. Ни всплеска, ни шороха... Уже умолкла гармоника, а ей она все еще слышится, уже замерла и Вутанькина песня, но в ушах Ганны она еще звенит...

Брела осторожно, чтоб не плеснуть, бесшумно раздвигала рукой лилии и кувшинки. Луна уже совсем садилась в камыши, красная, словно густой кровью налитая.

...Сердюки, дежуря у пулемета, все время дремали попеременно, а в этот миг они прикорнули оба. Только когда что-то хлюпнуло на озере, словно выплеснулась большая рыба, Левонтий, проснувшись первым, сердито толкнул брата в плечо:

— Глянь-ка! Что-то белое среди кувшинок... Не русалка ли? А ну секани!

Струя огня вырвалась из пулемета, белое взметнулось, ахнуло и исчезло — только круги пошли по воде...

Да, двум смертям не бывать.

XXXIV

Под утро отряд Шляхового окружил Ганнину банду и, прижав ее к воде, наголову разгромил. От гибели спаслись лишь немногие бандиты, успевшие на тачанках вырваться из-под огня. После этого отряд незаможных получил новое срочное задание: сопровождать из волостей на станцию, до самых вагонов, заготовленный по продразверстке хлеб.

Третьи сутки уже не спал Яресько, мотался со своим взводом по знакомым местам.

На троицу, когда все село, свежепобеленное, стоит в зеленом убранстве, когда в каждой хате от свисающих на окна ветвей царит солнечная зеленая полумгла, а глиняный пол посыпан хрустящей травой и всюду пахнет мятой, полынью и любистком, забежал Ярьсько с несколькими товарищами к матери.

— Дайте хоть борща, мамо, а то, сколько рыщем по хуторам, кулачье и пообедать не дает!

— Хотя б троицын день дома побыл...

— Некогда, мамо, эшелон на станции ждет.

— Кого ждет?

— Хлеба нашего, мамо... Да еще с прямым назначением для Петрограда.

— Много отправляете? — спросила Вутанька.

— Да, много. Ведь у них же там голод... По восьмушке на душу.

— Везите, везите, сыночки, — накрывая хлопцам на стол, говорила мать. — Зато и они, когда нам трудно будет, тоже помогут.

Недолго на этот раз пробыл Данько: похлебал наспех с хлопцами горячего борща, проходя садом, сорвал несколько вишен (они только начинали краснеть) и помчался на выгон: снаряженный обоз уже ждал охраны.

Перед тем как трогаться им в путь, Андрияка отозвал Данька в сторону.

— Ты ж гляди, Ярьсько, чтобы хлопцы не дремали по дороге. А то вчера шел обоз из Манжелии, хлопцы уснули, а их в Черной Балке встречают: стой! Всем хлопцам из охраны животы распороли и зерна в кишки понасыпали! Так что гляди в оба!

Возницей подводы, на которой ехал Ярьсько, был давний его знакомый — Митрофан Огиенко. Постарел после того, как сына расстреляли, усы обвисли, даже за вилы не в силах был взяться, чтобы в банду к Левченко

пойти, как это сделали другие богатеи, его хуторские приятели.

— Все берете, все забираете, а что дадите нам взамен? — спросил у Яресько, когда выехали в поле.

— Новую жизнь дадим, — хмуро ответил ему парень.

— Эх, голубчик... Если ваше новое и дальше будет таким, как сейчас, то... не раз еще по старому заскучаете. Уж каким оно ни было, да зато с полными сусеками.

— С полными, да не у всех.

— Удивляюсь я тебе, Данько: наш ведь ты, как есть наш, насквозь полтавский, а по какой дороге в жизни пошел?

— По той пошел, на какую такие, как вы, мироеды, меня погнали: по каховской да по батрацкой.

— Сколько в тебе лютости к нашим, к своим же полтавским, людям!

— Не ко всем: за одних и умереть готов, а таким, как вы, пощады не будет.

— А мы что же? Куда нам податься? Разве ж мы не люди? Себе вы и землю, себе и права, и царство свободы, а нам?! Тюрьмы да чека? Трибуналы да разверстка? Ох, кипит наша кровь, голубчик, кипит, кипит...

— Докипелась, что с кольями пошли.

— Что о том вспоминать... Мы за колья не брались.

— Зато Левченко, ваш выкормыш.

— А что же Левченко? Вот ты с ним насмерть схватился, считай, разгромил, а спросить — за что? За какую правду? Он Украину любил, а тебе разве она не дорога?

— Потому и колошматим вас, что дорога. Довольно вы из нее крови попили.

— Опять двадцать пять. В том-то и беда наша, что мы сами меж собой, как собаки, грыземся... За других душу кладете, а та, что взрастила вас, своих сынов,

опять одна на произвол судьбы остается. Вот ты — чем не орел, быть бы тебе атаманом на всю Полтавщину, а ты все для кого-то хлеб выкачиваешь. Все стены поковырял.

— А вы как хотели бы? По ямам хлеб гноить, а революция пускай с голоду пухнет? Черта с два!

— Да сколько же можно выкачивать?

— Души вытрясем, а возьмем, сколько революция прикажет! Довольно с вами цацкаться! Баста!

Примолкли оба и до самой станции уже ехали молча.

На станции точно ярмарка: тянутся и тянутся отовсюду обозы — подводы, полные мешков, и над каждой подводой винтовки торчат. По всем дорогам хлеб сопровождают вооруженные бойцы отряда незаможных.

Только начали криничанские разгружаться, как подошел обоз из Хмариного, и на первой подводе Ярьсько с ужасом увидел вместо горы мешков что-то накрытое попонами. Так и есть: из-под дерюги торчат босые батрацкие ноги... Подошла вторая подвода, и ее сразу же окружили: на подводе лежал бледный как смерть Шляховой.

— В живот его ранили, — грустно рассказывал один из бойцов, пришедших с подводами. — На хуторе Лашки случилось. Едем, слышим — стрельба, мы туда, на дворе уже никого, лежат эти двое возле каморы, на кольях скрючились, а товарищ командир — меж сусеками и кровью истекает... Два часа, говорит, отстреливался.

Увидев Ярьсько, Шляховой слабо улыбнулся.

— Подкараулили они меня все-таки... Долго охотились... Ну что же: классовая война.

Его осторожно положили на шинель, перенесли к амбарам. Побежали искать доктора.

Работа на станции между тем не прекращалась. Бойцы, сопровождавшие хлеб, теперь сами, на своих

плечах, и выгружали его, носили прямо с подвод в вагоны. Пока одни были заняты здесь, другие копали за станцией под тополями братскую могилу для погибших товарищей.

Яресько был в вагоне, когда его позвали:

— Шляховой хочет тебя видеть.

Командир лежал в тени амбара уже перевязанный. При приближении Яресько его бескровное лицо чуть озарилось слабой усталой улыбкой. Резче обозначились скулы, щеки запали, широкий большой лоб, казалось, стал еще выше, упрямей.

— Вот что, брат Яресько. Как кончат грузить эшелон, бери своих хлопцев и кати... Будешь сопровождать хлеб до самого места назначения. До Питера. Прямо в руки передашь питерским рабочим...

Он передохнул. Помолчав, заговорил снова:

— Карнауха замучили. Кучеренко. Земляного Юхрема... Передай питерцам, что кровью галещанских... кобелякских... криничанских... что кровью украинских незаможников этот хлеб добыт.

Пот густой росой выступил на его бескровном челе.

В тот же день под вечер нагруженный хлебом эшелон вышел за семафор. На паровозе, рядом с машинистом, с винтовкой в руке отправился в дальний путь Яресько.

Книга третья

На Сиваш!

I

В полдень, в спящий зной, несколько неизвестных кораблей, появившись в водах Каркинитского залива против Хорлов, внезапно открыли артиллерийский огонь по безлюдному степному мареву, по стайке тополей на косе, по береговым кручам, увешанным рыбацкими снастями.

Портовый ревком, полагая, что это врангелевцы собираются высадить в Хорлах десант, немедленно отправил гонца в тыл с донесением красному командованию. Пока хорлянский гонец что есть духу мчался с пакетом на север, горстка бойцов береговой заставы готовилась к неравному бою с теми, кто явно намеревался ворваться — в который уже раз! — в тополиный порт.

А между тем и зловещее появление неизвестных кораблей в барвинковой синеве залива, и неожиданный обстрел запустелого, разрушенного войной порта Хорлы — все это было лишь демонстрацией, военной хитростью коварного врага, рассчитанной на то, чтобы отвлечь внимание красного командования и обеспечить внезапность удара совершенно в другом месте. Настоящий десант в этот день — шестого июня тысяча девятьсот двадцатого года — высаживался далеко от Хорлов, в районе села Кирилловна на Азовском море.

В этот день на рассвете прибрежные села разбудило диво дивное: *в море за туманом где-то кони ржали!* Небывалый в эту пору туман с моря накатился, и

в тумане — то тут, то там — кони ржут, будто неведомая кавалерия по морю идет. А когда рассеялся туман, так похожий на пущенную кем-то дымовую завесу, стало видно множество больших и малых судов, с которых, куда ни глянь, выгружались на берег войска: это с конницей и артиллерией высаживался на сушу белогвардейский корпус генерала Слащева. На море бушевал шторм, пушки заливало водой, десантников, которым пришлось по отмели брести к далекому берегу, нагоняли и обивали с ног морские валы; людей шатало из стороны в сторону, как пьяных; кони, которых они тащили за собой, тоже шатались, как хмельные, после долгой морской качки.

Таврия не успела и опомниться, как по ее степям «с мечом в руке и крестом в сердце» уже маршировали на север, сверкая английскими гетрами, жаждущие боя офицерские батальоны.

— Вперед, за святую Русь!

— По трупам комбедовцев и комиссаров — вперед!

Кто мог остановить их, погнать обратно, сбросить в море? Местные комендантские команды? Малочисленный Мелитопольский гарнизон? Главные войска революции в это время были прикованы к западу. Легендарные клинки Первой Конной сверкали где-то далеко за Днепром, в тылу белопольских армий. Можно ли было ожидать, что стальной врангелевский нож, который Антанта всю весну так старательно оттачивала в Крыму, именно сейчас вонзится в незащищенную спину республики?

Десант готовился в строгой тайне. Даже десантники до самого последнего момента не знали, куда их пошлют, для какого удара их готовят. Ночью, снявшись с якоря в Феодосии, эскадра в тридцать два вымпела вышла в открытое море курсом на юг. Вышла, но куда? Знали об этом лишь секретные немые пакеты, которые получила эскадра, отправляясь из Крыма в свое слепое

плавание. Странно чувствовали себя десантники в открытом море во власти этих таинственных пакетов. Куда плывут? Где пристанут? Словно какая-то сверхъестественная сила водит по морю их слепую, с нескрытыми пакетами, эскадру, словно сама судьба гонит среди морской стихии их корабли, забитые вооружением и войсками. Когда скрылись из виду контуры Крымских гор, был распечатан пакет номер один. После этого резко изменился курс их судов. Ночью, по-пиратски крадучись, набрав разгон, эскадра прошла Керченский пролив, заглушив машины, чтобы не вызвать подозрения у красных застав на таманском берегу. В Азовском море был вскрыт пакет номер два.

Кирилловна!

И вот уже от грохота дальнобойных орудий сотрясаются хаты в Кирилловне и других приазовских селах. Ревут весь день орудия, прикрывая с моря высадку десанта и расчищая для него путь на север. Одно за другим охватывает пламя таврические села, все дальше в степь углубляются отряды запыленных, томимых жаждой, кипящих ненавистью фанатиков белой идеи. До сих пор они задыхались в Крыму и теперь — то маршевыми колоннами, то рассыпаясь цепью по высоким хлебам — прорываются все дальше вперед, «к милому северу», вооруженные новыми, еще не опаленными боем «гочкисами» и кольтами.

Вскоре десантники перерезали железную дорогу на Мелитополь, а ночью на станции Акимовка появился со своим штабом и командир десантного корпуса генерал Слащев. Самый молодой из врангелевских генералов, энергия которого, жестокость и авантюрные наклонности были замечены еще Деникиным, он в окружении возбужденных штабистов прохаживался сейчас по перрону и при багровом, жарком свете пылающих пакгаузов диктовал свой первый приказ — воззвание к населению Северной Таврии.

— «Дальнейший путь мой и моих войск объявлять не стану, — торжественно диктовал генерал, заложив руку за борт френча. — Мой путь... Вы узнаете его по заревам пожаров! Моя ночь будет полыхать для вас сплошной зарей с вечера и до утра! „Заря во всю ночь!“ — вот наш девиз, девиз героев-слащевцев...»

Записывала женщина-адъютант, хрупкая красотка с офицерскими погонами на плечах. На пальцах ее при отблесках пламени холодно сияли драгоценные кольца.

— Ночь-заря... Как это мило сказано! — восторженно воскликнула она, стенографируя пышную генеральскую фразу, которая вскоре станет крылатой во врангелевских войсках.

Ночь-заря! Жутко багровело небо над целым краем. Все дальше на север растекалась по селам тревога, все глубже в степь уходили зловещие зарева, освещающая путь офицерским кокардам.

//

Под утро загремело на Чонгаре, взорвало тишину на Перекопе. Ободренный успешной высадкой десанта, Врангель перешел в наступление своими ударными силами, пустив из Крыма через перешеек массы конницы, артиллерии, броневиков. Врангелевская авиация завладела таврийским небом. Краевые части, стоявшие на перешейках, оказывали врагу героическое сопротивление, но и тут, как и под Мелитополем, куда рвались десантники, силы были слишком неравны. Свежие, щедро оснащенные новейшей техникой врангелевские корпуса, казалось, сметут все на своем пути. Потрепанные в боях красные войска, истекая кровью, шаг за шагом отступали на Каховку — к спасительным днепровским переправам.

На третий день наступления Врангель выпустил из Крыма своих черных демонов — Дикую чеченскую дивизию. Мчались по Присивашью и впрямь как демоны: черные бурки развеваются на ветру, в зубах кинжалы, а над головами, как вертящиеся пропеллеры, горит-сверкает сталь клинков.

Черным многотысячным топотом прогремели по перешейку, по чистым звонким солончакам, с неистовым гортанным «алла» ворвались в полдень в присивашское село Строгановку, на скаку зарубив у дороги немого пастуха.

Первый приказ по селу был:

— Мобилизация! Таким и таким годам немедленно явиться...

Никто из строгановских крестьян не явился на мобилизацию добровольно. Как только услышали о том, что им угрожает, сразу же бросились кто куда, а их ловили, хватали, конями сбивали в толпы и под конвоем гнали на сельскую площадь.

До неузнаваемости преображенный военным мундиром и все же сразу узнаваемый строгановцами молодой Фальцфейн идет вдоль шеренги и, тыча каждому в грудь нагайкой, отсчитывает:

— Один... два... три... Десятый! Ложись!

И снова:

— Один... два... три... Десятый! Ложись!

Каждого десятого тут же хватают, кладут и уже не отпускают, пока кровью не зальётся.

Оленчуку не выпало быть десятым, но это его не спасло от плетей. Кому-то из офицерской комиссии при осмотре показалась подозрительной Оленчукова шея. Почему не сгибается? Контужен или просто симулирует?

Офицеры внимательно рассматривали жилистую, несогласную на мобилизацию шею Оленчука.

— Набок свернуло? В коммунистическую сторону глядишь?

И хотя он не был десятым, его тоже положили и велели задрать рубаху.

Как в далекие татарские времена, рыскают по селу всадники со связками реквизированных кожухов и домотканого полотна в седлах. Шныряют по дворам. Джигитуя, нагайками снимают головы курам, а когда слащевский аэроплан сбросил над селом предназначенные для крестьян листовки, чеченцы, развлекаясь, стали на полном скаку ловить их в воздухе на острия своих клинков.

«Дальнейший путь мой объявлять не стану... Вы узнаете его по заревам пожаров!..»

По дворам летает пух, всюду раздается дикое гортанное: «Хазайка!» Буйный разгул чеченцев был в самом разгаре, когда в Строгановку походным порядком вступил с зачехленными орудиями артдивизион капитана Дьяконова.

Знакомое село у Сиваша, вытоптанные конницей виноградники... Дьяконов едет верхом впереди своих артиллеристов и молча посматривает по сторонам. Наблюдая за тем, что творится вокруг, он все с большей тревогой прислушивается к гомону взбудораженного села. Не хлебом-солью, не радостным колокольным звоном встречают их здесь. На площади полно людей, крики, плач... Возле одного двора столпились мужики, а женщина с печальным лицом, поставив ведро на загату, подносит кружку воды то одному, то другому. Дьяконов почувствовал, что и у него вдруг пересохло во рту. Подъезжая, удивленно разглядывал крестьян. Какие-то необычные они стоят — не так давно приветливые, сейчас почему-то отворачиваются, избегая его взгляда... В ветхой одежде, в соломенных брылях, иные и вовсе с обнаженной головой, у многих на рубахах проступает свежая кровь... И вдруг... Дьяконов не

поверил своим глазам: Оленчук! Оленчук дрожащей рукой берет кружку, жадно пьет большими глотками, а руки и плечи почему-то трясутся. Что с ним?

— Оленчук!

Старый батареец не спеша передал кружку товарищу и только после этого поднял глаза на офицера, на спасенное в прошлом году от расправы его благородие. Молча остановил на нем тяжелый, помутневший взгляд.

— Что с тобой, Оленчук?

Оленчук медленно стал задирать рубашку на спине.

— Бейте и вы!

Спина — сплошная кровавая рана... Дьяконов понял, но сам еще не хотел верить своей догадке. Неужели? Неужели снова начинается то же самое? Несмотря на строжайшее предупреждение главнокомандующего насчет произвола и бесчинств?

— Кто это его? — спросил он у женщины, раздававшей воду.

— Да это же... ваши. Вон там за церковью свободу раздают. Молодой Фальцфейн за отобранную землю расплачивается.

Дьяконов так дернул коня, что тот вздыбился, сердито махнув на дядьков султаном своего хвоста. Горячая пыль ударила из-под копыт, медленно оседая у мужиков на брылях, на изодранных рубашках, на плечах. Молча глотали пыль дядьки, молча глотал ее и Оленчук, в мрачной, тяжелой задумчивости глядя вслед своему так неожиданно встреченному благородию.

За церковью Дьяконов с разгона осадил коня и невольно скрипнул зубами: знакомая картина! Несколько офицеров, согнав к ограде толпу крестьян, тут же чинят над ними суд и расправу.

— Смеяться, хамье? Только хромые да кривые явились на мобилизацию!

— А сыновья где? Где фронтовики?

И вслед за этим свистящие удары плетей и приглушенный стон...

Дьяконов, пробиваясь сквозь толпу солдат, направил своего коня в самую гущу.

— Кто здесь старший?

И сразу же заметил его — в новых полковничьих погонах, — долговязого молодого аристократа с маленьким, в кулачок, лицом, в пенсне.

— С кем имею че...?

Он не успел еще договорить, как Дьяконов, наседа на него конем, со всего размаху стегнул его по шее арапником — раз, и второй, и третий! Затаптал бы, смешал бы с землей, если бы только не помешали ему. Бросились со всех сторон, гончими повисли на нем, стащили с седла и через мгновение уже обезоружили, сорвали погоны...

///

В конце огорода Оленчука, над самым Сивашом, стоит белая акация. Ни одно дерево не выдерживает в этом безводном солончаковом краю, под палящими ветрами, только она, эта жилистая акация, цепкая и колючая королева юга, веселит людской взор в присивашских убогих селах, каждую весну одеваясь пышными гроздьями цветов и каждое лето осыпая увядшими лепестками плоские, заросшие бурьяном крыши. Как верную подругу, любит белую акацию степняк. Да и как ее не любить! Наперекор суховеям и черным бурям она всюду следует за человеком, добираясь даже сюда, до самых берегов мертвого моря, где ничего уже, кроме соли, не растет...

Оленчук, положив голову на руки, ничком лежит в тени акации. Пробрался сюда так, что и жена не услышала, лег и словно умер в бурьянах. Слышал, как

она посылала детей разыскивать отца, но не откликнулся. То ли стыдно было в таком виде показаться перед детьми, то ли и сам не знает почему: избитый, опозоренный, лежит, притаившись на собственном огороде, как вор или дезертир какой-нибудь.

Вскоре услышал, как жена и соседка громко переговаривались через загату.

— Попало и твоему, Харитина... Хотя бы десятым был, а то всыпали только за то, что шея набок!

— Ох, горюшко мое! — причитала жена. — А ведь говорили, что при этих расправы не будет. Где ж это он? Где мне его искать?

— Придет. Куда-то вдоль Сиваша побрел. Подальше от глаз... А моего деда так и не нашли. «Где спрятался?» — спрашивают. Вот как, видно, с солдатами у них туго, что уже и за стариками гоняются. «Берите, — говорю, — тогда хоть меня вместо деда!»

Немного погодя Оленчук услышал — возвратились дети, с шумом притащили во двор пойманную где-то лошадь.

— Отведите, сейчас же отведите назад! — набросилась на них мать. — Беды из-за нее не оберешься!

— Нет, пусть, мамо, пусть. Ничего за нее не будет! — кричали дети и наперебой бросились объяснять матери, что это конь запаленный, что его теперь — только в плуг, потому как для кавалерии он уже все равно не годится...

— Беляк сам его бросил.

— Что же это за беляк такой?

— Пьяный калмычонок! Ростом не больше будет, как Грицько соседский, — оживленно рассказывали дети. — Сидит вон там, над Сивашом, и плачет, что «болшак» у него бога украл: «Бога нет, земля нет, одна вода, да и та соленая, матер-черт!»

С тяжелой думой прислушивался к рассказу о калмычонке Оленчук. «Бога у него украли, а здесь? Вы-то разве с богом, по-божески? Ни за что ни про что, как скотину... За то, что шею в боях за вашего же батюшку-царя свернуло!»

До самого вечера ребятишки его возились во дворе с конем. То кормили его с рук разным бурьяном, удивляясь, что конь оказался куда более привередлив, чем верблюды; то подсаживали друг друга, чтобы сесть верхом, а затем, разглядев, что конь в коросте, сообща принялись чистить да отмывать его.

— Выведем коросту! Откормим! Будем, мамо, пахать на нем!

Сыновья рады-радехоньки находке. В кавалерию не годится, так вот пахать на нем собираются. И вспомнил Оленчук, как все началось, как первую ниву свою обрабатывал со старшим сыном, который ушел с Килигеем и теперь где-то на польском фронте шляхту крошит... Длинная им досталась нива, и лежала она так, что одним концом упиралась в позиции белых, а другим — в позиции красных... Оленчук подходил с плугом то к одним, то к другим и спокойно закуривал и с теми, и с другими. Дозакуривался! Лежит вот, нагайками исполосован. И за что? Упрямая шея его им не понравилась, на мобилизацию их не поддавалась. Все тут ему припомнили: и комбед, и повстанчество, и то, что плуг свой по панской земле пустил, что человеком себя почувствовал! И за это пороть? Да как они смеют?

— Как они смеют? — в ярости набросился он на жену, когда она, наконец отыскав его, принесла ему в бурьяны полдник, потому что идти в хату он отказался. — Доколе будут они глумиться над нами? Кто и когда право такое им дал?

— Тише, тише, Иван, — успокаивала его жена, — а то еще услышат...

— Пускай слышат, — повел он мутным взглядом вокруг. — Не боюсь я их! При всех скажу! Далеко на этом не уедут. Кишка тонка!

Покричал, побушевал и снова лег, умолк надолго. Сколько ни упрашивали жена и дети, так и не перешел в дом, так и остался лежать здесь на огороде, над Сивашом, на теплой потрескавшейся земле. Рапа весь день кипит на Сиваше, растет соль, через день-два все дно морское до самого горизонта станет белым, словно снегом припорошенное. Акация, разомлев за день на солнце, под вечер густо и сладко запахла; душная, пьянящая истома, как перед дождем, разлилась, поплыла над землей.

Наступила ночь.

Ныло, огнем горело избитое тело Оленчука. Но еще больнее жгла обида его возмущенную душу. Из темноты, из-за села, доносился непрерывный шум движущихся войск; шли и шли по дорогам вражеская конница, артиллерия, броневики. И так горько было Ивану, такая тяжесть навалилась на него, будто идут они, проходят прямо по его телу.

IV

Закрывались ревкомы. Толпы беженцев, семьи активистов, походные красноармейские лазареты безостановочно катились степными дорогами к днепровским переправам. Зримая смерть гналась за ними. На земле — чеченские сабли да броневики, а в небе — французские аэропланы. Рассказывали, что под Мелитополем, преследуя рассеянную из степи кавалерийскую часть, аэропланы спускались так низко, что крыльями головы с плеч сносили красным всадникам.

Территория, занятая Врангелем, непрерывно увеличивалась.

День и ночь с жестокими боями отступал по степи к Днепру отряд Леонида Бронникова, уже в ходе боев сформированный из алешковских коммунаров, матросов береговых застав и сельских ревкомовцев. Отступали шаг за шагом, неся на руках раненых, а убитых оставляя пастухам, чтобы похоронили. Шли не столько пыльными дорогами, сколько брели напрямик по хлебам; а когда ночью вражеские броневики, преследуя их, прощупывали степь прожекторами, бойцы залегали в высокой ржи, и эти минуты были для них передышкой. Жутко лежать, когда рядом враг водит по степи своими электрическими глазищами, подобно какому-нибудь фантастическому чудовищу, в поисках все новых и новых жертв.

В эти тяжелые ночи отступления, когда приходилось чуть не голыми руками сдерживать наседающего противника, Леонид не раз пожалел, что нет сейчас у него славных «сухопутных крейсеров», с которыми его колонна в прошлом году пробивалась по Правобережью и которые так честно протаранивали своими лбами путь. Трагичен был их конец. Однако даже тогда, когда выяснилось, что железнодорожные мосты впереди взлетели на воздух и настало время распрощаться с бронепоездами, и гибелью своей они послужили родной колонне. Охваченные огнем, без машинистов, пущены были навстречу врагу, в самую гущу наступающих войск генерала Шиллинга. До сих пор Леонид видит, как мчатся по ночным полям его пылающие бронепоезда, как летят они на максимальной, катастрофической скорости, наводя ужас на окружающие хутора и немецкие колонии, с дикой силой гневно скрежещущего железа врываясь на занятые деникинцами станции и полустанки... А тут бронепоездов не было, тут отступающие могли

прикрываться от врага лишь стеной колышущихся под ветром хлебов.

Однажды утром отряд Бронникова вышел к хутору Гаркуши. Пользуясь тем, что удалось оторваться от противника, отряд решил сделать передышку на этом хуторе. Дозорный вскарабкался на самую вершину ветряной мельницы, не раз уже служившей наблюдательным пунктом для враждующих между собой армий, которые неоднократно проходили здесь за эти бурные годы.

Выставив дозорного, бойцы всей группой расположились в тени под амбарами и, голодные, измученные, потребовали, чтобы хозяин вынес чего-нибудь перекусить.

— Что же я вам вынесу? — замялся хозяин. — Вы ведь не первые. Все идут, и всем дай, дай...

— Не скупись, не скупись, хозяин. Если пирогов нет, так подай сюда хоть хлеб-соль на рушнике, что для Врангеля приготовил.

— Да что вы, что вы, — засуетился хозяин, оправдываясь, а по глазам видно было, что и впрямь отгадали — уже припасены где-то в тайнике и хлеб и соль для встречи крымских гостей.

— Врангель обождет, а нам подавай все, что для него приготовил. Да поживей!

Изголодавшиеся, с волчьим аппетитом съели они и хлеб, припасенный не для них, съели и сало, которое Гаркуша с зимы прятал в чулане, и воду чуть не всю выхлебали из колодца. «И когда уж ты забудешь дорогу ко мне на хутор? — с затаенной ненавистью мысленно обращался Гаркуша к командиру отряда, бывшему машинисту из табора Кураевого. — Ты и тогда все людей баламутил, и сейчас никак не угомонишься. Собрал своих антихристов и снова куда-то ведешь их, чтоб тебе вовек не вернуться оттуда!»

Уже покидая двор, бойцы отряда заметили Наталку, которая как раз чистила конюшню, молчаливая и как будто заплаканная.

— А это дочь? — спросил один из матросов.

— Да вместо дочери родной, — поспешил ответить старик.

— Дочь, которая батрачкой называется, — заметил кто-то из бойцов.

— Смотри, дед, не обижай ее тут, — серьезно предупредил Леонид. — Вернемся — спросим.

Когда отряд стал отдаляться, хозяин увидел, как сверкнули слезы на глазах у батрачки.

— «Товарищей» жалко стало? Горько расставаться? — издевался Гаркуша. — А не говорил ли я тебе, что так оно и будет, что власть ваша не дольше, как до пятницы!

Не отвечая старику, Наталка все смотрела вслед уходящим, смотрела до тех пор, пока они не скрылись за хутором в хлебах.

Пробившись к Днепру, отряд Бронникова получил задание занять оборону на приднепровских холмах, на которых уже прикрывали переправу другие красные части. Бронникову было досадно, что приказ о защите переправы он получает из уст Муравьева — человека, к которому до сих пор не мог преодолеть в душе враждебного чувства. Это не тот, не киевский Муравьев, о котором в армии прошла слава как о палаче и самодуре, нет, это свой Муравьев, южный, тот самый приبلудный комиссар, который в прошлом году во время отступления, растеряв свою бригаду, прибилсь было к их колонне, но так и не нашел общего с ними языка. Бронников слышал уже, что Муравьев снова вынырнул тут, на юге, с весьма высокими полномочиями, но все же не ожидал встретить его у каховской переправы, да еще и получать от него задание. Правда, у Муравьева хватило такта сделать

вид, будто он не узнал Бронникова или просто забыл его. Желчный, злой, еще более черный, чем прежде, он теперь, стоя на понтоне, отрывисто бросал слова приказа:

— Идите. Занимайте. Прикрывать переправу до последнего.

— Когда сниматься?

— Скажем. Не раньше, чем все переправятся.

Странно все-таки: бригаду удержать не мог, а тут такими большими людскими массами распоряжается. Какие у него права на это? Какие основания? Или достаточно того, что он где-то там, в эмиграции, был вместе с Троцким и теперь прибыл сюда, вооруженный его всесильными мандатами? А может быть, так и надо? Может быть, он обладает какими-то не ведомыми Бронникову исключительными достоинствами? И все же было досадно именно по его приказу брести к песчаным кучугурам и вести бойцов на их, возможно, последний рубеж. «Да в конце концов, не ему же, не Муравьеву, ты служишь, — сердито подумал Бронников, заняв позицию в песках и направив винтовку в степь. — И если даже из уст человека, неприятного тебе, исходит приказ, необходимый революции, ты выполнишь его до конца».

У переправы весь берег запружен людьми, скотом, возами. Узенькая полоска наплавного моста не успевает пропускать всех, кто непрерывно подходит сюда. Часами ждут очереди обозы, беженцы, лазареты; ревет собранная в большие стада скотина, которую пастухи по распоряжению ревкомов гонят и гонят сюда из ближних и дальних имений.

Жарко горит полуденное небо.

На холмах, в сыпучих приднепровских дюнах, в налитых зноем песчаных ямах выпало бойцам отряда Бронникова держать боевой рубеж. Жара и жара. И хотя полноводный Днепр совсем рядом, но жажда

сжигала людей — только и выручали дети рыбаков, которые, несмотря на обстрел, пробирались в кучугуры, приносили воду бойцам. Бронников лежал меж раскаленных песчаных холмов, дальше всех от Днепра, однако и к нему забрел водонос — совсем маленький, быть может, только чуть старше его Василька, белоголовый, лобастый, в штанишках с лялочкой через плечо. Переднего зуба нет, шепелявит...

— Как тебя звать?

— Шашко.

— Сашко?

— Шашко.

Присев на дно ямы, мальчонка испуганно смотрит, с какой жадностью дядя матрос пьет воду из кувшина, и задумывается, становится как-то не по возрасту серьезным.

— О чем думаешь, сынок?

— Война да война... Мама говорит, что, школько я живу на свете, война идет.

— Скоро кончится. Разобьем мы их, и тогда уже будет иначе... В школу пойдешь.

— А за что вы с ними так долго воюете, дядя?

Как ему ответить на это? Потому ли, что так чистосердечно спросил мальчонка, потому ли, что это была единственная живая душа, которую он встретил здесь, на холмах, за весь день, только Леониду вдруг захотелось открыться, рассказать все о себе этому незнакомому хлопчику...

— Хочешь, Сашко, я расскажу тебе об одном мальчике?

И в приливе внезапной, давно не испытанной нежности Леонид стал рассказывать ему о мальчике с Кинбурнской, косы, как этот мальчик, едва став на ноги, уже помогал ватаге рыбаков, отцу и братьям тащить неводы из моря, а потом видел, как однажды ночью тут же, возле рыбацкого костра, жандармы топтали ногами

отца, допытывались, где его сын. Позже увидел он и того, кого искали жандармы, — своего старшего брата, моряка. Под усиленной охраной вели его вместе с товарищами-матросами по улицам Очакова, и все знали, что повели их на расстрел...

— За что же их? — ужаснулся Сашко.

— За то, что не потерпели издевательств у себя на корабле, бросили за борт офицеров, отреклись от царя и, подняв над своим кораблем красный флаг, много дней ходили, непокоренные, под этим флагом по морю. Подрастал мальчик, стал потом сам черноморским матросом и тоже не захотел терпеть бесправия и обид. Все больше становилось таких, которые не хотели терпеть издевательств над собой, искали лучшей доли для себя, для таких, как твои мама и дедушка, и вот за это началась и идет теперь великая борьба. И хотя, быть может, кадеты не раз еще будут здесь, у Днепра, и немало поляжет отважных бойцов на этих берегах, но кончится тем, что наш, наш будет верх, Сашко! Когда вырастешь, уже не будешь ты знать ни жандармов, ни батрачества, ни нищеты: жизнь твоя будет светлой и радостной, ну как... пасха. Может, даже на этих вот холмах, на горячих этих песках сыпучих, где мы с тобой сейчас изнываем от жары, где только чахлый молочай растет, поднимутся тогда сады зеленые, вырастет город чудесный, ну вот как в сказках бывает...

Вздыхнул Леонид, обнял мальчика так, словно вместе с ним обнимал и своего Василька, и мечту свою далекую.

А переправа гудела, содрогалась под тысячами ног. И хотя с правого берега уже подводили под настил моста бикфордовы шнуры, бойцов, которые прикрывали переправу, это не пугало: они знали, что, после того как переправа примет всех, перейдут по гулкому настилу и они, лишь после того шнур будет зажжен.

Со стороны степи все ощутимее надвигалась угроза. Несколько раз конные разъезды противника появлялись на горизонте, но, встретив огонь с холмов, снова откатывались назад. Под вечер подошли броневики, покрашенные в мышино-пепельный цвет, сливавшийся с цветом поблеклой, выгоревшей степи, и стали поливать холмы пулеметным огнем. Все ближе повизгивали пули в раскаленных песках, все чаще то тут, то там раздавался вскрик, горячая кровь обагряла песок...

Вечером, когда над плавнями показалась полная луна и у переправы никого больше уже не осталось, Бронников дал команду сниматься с позиций и спускаться к Днепру. Они отступали последними. Отстреливаясь от наседающего врага, глубоко увязая в песке, отряд разомкнутой цепью двигался вниз к воде, к переправе. Были уже совсем близко от моста, первые бойцы уже готовы были ступить на деревянный настил, как вдруг на реке что-то ярко сверкнуло, загрохотало, точно гром, — чья-то нетерпеливая рука на том берегу подожгла бикфордов шнур!

Мост рушился на глазах у бойцов. Бронников смотрел, как гибнет, разваливается на куски единственная дорога на ту сторону, и кровь тяжело ударила ему в виски: что же это такое? Как могли забыть там о них, последних, кто, весь день сдерживая врага, самоотверженно прикрывал эту переправу? Гады! Встретит — расстреляет на месте того, кто так распорядился!.. Однако сначала нужно переправиться, добраться туда! Днепр разлился здесь как море, еле виднеются бериславские ветряки, выстроившиеся в ряд на гористых кручах противоположного берега... А враг тем временем наедает все сильнее, пули все чаще вжимают у самых ушей, пощелкивают по вербе, и скошенные ими листья сыплются на бойцов, на залитую лунным сиянием днепровскую воду.

«Как же теперь?» — читает Бронников в глазах бойцов немой вопрос.

Подает команду:

— Вплавь!

Должно быть, никогда еще не был таким широким Днепр, как в эту июньскую, озаренную луной ночь, когда вместо плавучего моста перед отрядом легла на ту сторону лишь дрожащая лунная дорожка! Уцепившись за какие-то доски, обломки, тяжело дыша, люди плыли с оружием на шее, с оружием в высоко поднятых над водой руках. Их сносило течением; на целую версту, если не больше, растянулся переплывающий отряд на светлой водной равнине. А вслед им откуда-то с кучугур уже строчили вражеские пулеметы, и вода вокруг вскипала от пуль. Не один боец глотнул днепровской воды, не один пошел ко дну, запутавшись в лозняках и подводных корневищах плавней. Всю ночь длилась эта нелегкая переправа по зыбким серебристым дорожкам, постланным луной перед Бронниковым и его бойцами через Днепр!

После ночной купели отряд сильно поредел, а те, кому суждено было уцелеть, тяжело дыша, усталые, мокрые, выбирались на берег в Казачьем.

Утреннее солнце встретило их уже на бериславской горе. Отсюда далеко видны были таврийские просторы, пожухлая степь за Каховкой, буйно-зеленые плавни понизовья, а между ними — широкая днепровская синь, похожая на пролитое на землю небо. В густых зарослях вербы на каховском берегу то тут, то там белели рыбацкие хатки. С тоской и болью посматривал в ту сторону Бронников, ведя своих бойцов по высокому берегу. Как там Каховка? Как там сейчас его юный друг, который вчера приносил ему воду в раскаленные пески? Широкое течение Днепра пролегло между ними, нет больше мостов, и никто не может сказать, сколько это продлится.

Суд над Дьяконовым происходил на станции Ново-Алексеевка; тут же ему пришлось ожидать и утверждения смертного приговора, сидя под стражей в душном станционном пакгаузе, который контрразведчики превратили в место заключения.

Узников с каждым днем становилось все больше. Здесь полно было разных спекулянтов, которые саранчой налетели из Крыма на дешевые таврийские продукты; каждый вечер у порога совершал молитву старый богомольный татарин; по углам теснились темными кучками крестьяне — молчаливые, упрямые, которых никакой силой не удавалось затащить на мобилизационные пункты, невзирая на все усилия врангелевских «охотников за мужичьими черепами».

Целые дни мужики только и делали, что попыхивали сигарками, молча подпирая спинами стены пакгауза, и только по ночам начинали о чем-то перешептываться, но углам, поблескивая огненными глазками самокруток. Своими секретами они не делились ни с кем из арестованных, в том числе и с Дьяконовым, хотя и знали, за что он был осужден. Для них он все еще оставался где-то на той стороне, пусть и без погон, пусть в вылинявшем, потертом, но все же английском френче. А он думал о них неотрывно, с болью, и в каждом из них, темных, непоколебимых в своем упорстве, для него было что-то от Оленчука.

С тех пор как судьба свела его в Чаплинке с Оленчуком, с тех пор как постоял он вместе с дядьками простым молотобойцем у наковальни и отведал их мужицкого хлеба, его уже не покидало ощущение, что какой-то частичкой души он принадлежит этим людям и не может оставаться равнодушным к ним, как это было раньше. Пока жизнь вплотную не столкнула его с

Оленчуками, он даже не подозревал, что в их среде, где руки в мозолях, где хлеб достается так тяжело, он может встретить людей большого сердца, кристальной честности, с подлинно мудрым пониманием жизни. И хотя из-за глубокой разницы во взглядах и убеждениях они с Оленчуком оказались в разных лагерях, он и сейчас не чувствовал ни неприязни, ни враждебности к людям этого, оленчуковского, склада, и когда они там, сторонясь его, шепчутся ночами о чем-то по углам, как видно что-то замышляя, ему по-настоящему становится обидно от этого недоверия к себе. Разве он не желает им добра? Разве он им враг?

Весной, подхваченный вихрем неистового экстаза, вызванного Врангелем в Крыму, он снова оказался в войсках, оказался с твердой верой в то, что наконец армия и родина нашли для себя достойного вождя. С радостью, с полным самоотречением отдал он себя делу, целиком подчинив свою волю железной воле правителя. Понятия вождя и родины для него теперь слились воедино. Он не раз слышал выступления Врангеля перед войсками, сам был в числе тех, кто самозабвенно кричал молодому вождю «ура», когда тот, меча громы и молнии на деникинскую астматическую камарилью, обещал создать на новых основах великую народную армию, которая не будет знать поражений и с помощью которой он утвердит на родной земле право и закон по образцу великих западных демократий. За таким вождем стоило идти в бой. И сейчас, когда врангелиада распростерла свои победные крылья, он, Дьяконов, даже приговоренный к смертной казни, все же радуется ее успехам: Ave, Caesar, morituri te salutant!

[7]

Правда, то, что в первые же дни наступления он увидел в Строгановке, потрясло его до глубины души, ему показалось, что, вопреки всем надеждам, снова

возвращаются кошмары деникинских времен. До сих пор жжет его исполненный невыразимого укора и осуждения взгляд обливающегося кровью после экзекуции Оленчука; однако во всем этом — Дьяконов уверен — нет, нет вины вождя: все эти бесчинства могли твориться только вопреки его воле!

Как-то часовые бросили в пакгауз еще одного офицера, кудрявого молодца со звонкими кавалерийскими шпорами, буйного, шумного, очевидно, он был изрядно навеселе.

— Встать, камышатники! — крикнул он с порога, увидев мужиков. — Васька Лобатый перед вами!

Крестьяне не шевельнулись.

— Сидите? Ну и сидите! Ждите своей очереди! Отсюда, между прочим, вам одна дорога: в Геническ, да на баржи, да в море, на самое дно — там ваша мужицкая правда лежит! Что же касается меня, то я тут долго не задержусь, — пьяно разглагольствовал новоиспеченный арестант. — Кутепия меня не выдаст! Сам генкварт поручится за Ваську Лобатого, будьте уверены!

Солнце лишь сквозь щели пробивалось в помещение, в пакгаузе стояла полутьма. Привыкнув к ней, Лобатый стал внимательно разглядывать арестованных. Вскоре он уже приставал к татарину:

— Перекрестись, мурзак! А ну перекрестись, тогда сразу выпустят! Наш бог добрее твоего аллаха! И вас, пискулянты, — прошелся Лобатый между спекулянтами, — тоже выпустят, только на взятку не поскупитесь. А вот вы, мужички, — при этом он, остановившись перед мужиками, насмешливо повел шеей так, будто она была в ярме, — вы еще тут попаритесь! Если не сделаете вон там, в углу, подкоп и не удерете ночью, то с вами у нас еще будет серьезный разговор!

Крестьяне молчали. Они, видимо, схвачены были где-то прямо в поле, во время работы: большинство из них — босые, в пропотелых, пропитанных пылью рубахах, кое у кого полевые жбанчики с водой при себе, а у одного даже точило было за поясом.

— Вашу линию мы знаем, — скалил зубы Лобатый. — Никакая мобилизация вас не берет. Навоевались, да? Своими ушами слышал на одной вашей сходке: «К красным не пошли, потому что хлеб нужно убрать, а к вам не пойдем, хотя и уберем».

Заметив в сторонке под стеной Дьяконова, Лобатый, удивленный, обрадованный, направился к нему.

— Здорово, станичник! За что удостоился?

Он присел возле Дьяконова, протянул портсигар с крымскими папиросами. Узнав, за что его собрат сюда попал, Лобатый даже присвистнул от удивления.

— За мужиков заступился? Ха-ха! Неужто идейный?

— А ты разве нет?

— Я, брат, свои идеи в Новороссийске растерял. При посадке на пароход некуда их было взять. Теперь без лишнего багажа живу!

— А сюда за что?

— Самовольные реквизиции, буянство и окаянство и всякое такое прочее... Одним словом, как раз то, против чего ты взбунтовался. Ну да ничего: выйдем отсюда вместе.

— Ты так думаешь?

— Не сомневаюсь. Сейчас не такое время, чтобы нами разбрасываться. Куда же вождю без нас? Ведь мы самые надежные кони в его колеснице!

— По твоему мнению, приказы верховного против мародерства, против бесчинств...

— Ха-ха! Все это для отвода глаз! Для прессы и для Европы! Это лишь поначалу верховный готов был пускать в расход нашего брата чуть ли не за каждое

выбитое в ресторане стекло. Сейчас все пойдет иначе, каждый из нас там, в бою, нужен.

— Для меня, кажется, бои кончились.

— У тебя смертный приговор? Не волнуйся — вождь помилует. Он к нам, к молодежи, добр — то, что правой подписывает, левой... — Васька, осклабясь, сделал рукой в воздухе крест.

Такого неуважения к своему кумиру Дьяконов не мог потерпеть и тут же выразил Лобатому свое возмущение его цинизмом. Лобатый громко расхохотался:

— О, да ты и впрямь такой? Святая Русь? Поруганные свободы? Да брось ты все эти штучки! Живи, пока живется. Гуляй, пока гуляется.

— Это и вся твоя философия?

— А что? Хоть день, да мой!

— Если только ради этого, то стоит ли тогда и жить? Лобатый покачал кудрявой головой:

— Точно такой же, как ты, был у меня брат — первопоходник. Не думал о себе, все в высоких сферах витал, а когда бежали со станции Лозовой, большевистским снарядом обе ноги ему оторвало. Думаешь, остановились, подобрали? Так и бросили в поле со всеми его идеалами воронью на съедение. Вот она, наша жизнь! А другие тем временем не зевают. Знаешь, сколько их, бывших героев, сейчас в Крыму по тылам окопалось? Пока мы тут степную пыль глотаем, они по ресторанам шампанское с фунтоловками глушат. О фунтоловках слышал? Это, брат, птицы — ого! Из лучших дворянских родов, только валютой берут! За один поцелуй — фунт стерлингов, ни копейки меньше!

Слушая Лобатого, его хмельные разглагольствования, Дьяконов как бы снова окунался в тяжелую, угарную атмосферу деникинских времен. Не хотелось верить, что такие, как этот хлыщ, как чеченцы, как те помещичьи сынки, что срывают злобу

на крестьянских спинах, и составляют основу, костяк снаряженных в поход легионов его любимого вождя. Шомпола... Реквизиции... Валюта... Хотя день, да наш!.. Нет, не о том мечтал его вождь, сатанинским усилием воли выковыывая стальные свои корпуса, готовя к новому походу на север сто тысяч «рыцарей Белой Лилии на Руси»!

Арестованные всё прибывали и прибывали. Вскоре пригнали еще крестьян. Вслед за ними часовые втолкнули в пакгауз целую толпу женщин, обвиненных в том, что они якобы, сговорившись между собой, сообщая скрывали по погребам красноармейцев, а затем помогали им возвращаться через линию фронта к своим. Над женщинами только что состоялся суд, все они были еще возбуждены после судебной процедуры и... явно удовлетворены приговором.

Одна из них, тетка Варвара, как называли ее товарки, — бывшие фальцфейновские батраки и сезонники легко могли бы узнать в ней маячанскую атаманшу, стригальщицу овец, — оказавшись в пакгаузе и по-хозяйски оглядевшись по сторонам, весело бросила перед собой торбу с харчами.

— Вот тут хотя бы передохнем в тени да прохладе. Спасибо вам, часовые, — повернулась к двери. — Спасибо вам, судьи!

Женщины, пришедшие с ней, громко захохотали.

— Чего вы хохочете? — спросил кто-то из угла.

— Да как же, — ответила за всех тетка Варвара. — Осудили! Двенадцать лет каторги дали. — Она снова повернулась к двери, за которой скрылись часовые. — Да за двенадцать лет двенадцать раз трава на ваших костях в степи вырастет!

От ее слов мороз прошел по коже Дьяконова. Смех, веселое возбуждение, уверенность осужденных в своем будущем — в этом было что-то удивительное и тем

сильнее потрясало его, что им казалось вполне естественным.

Развязав свои узлы, женщины стали перекусывать хлебом с брынзой. Дали по кусочку и офицерам.

— Ешьте, а то, говорят, вы совсем там отощали на крымских харчах, — подтрунивали тетки. — Заграница не очень-то накормит.

Через некоторое время вошел начальник охраны, скуластый верзила, перетянутый ремнями, в блестящих крагах. При его появлении тревожный шепот пробежал среди арестованных. «Это который на расстрел берет!» Ни на кого не глядя, начальник стражи гнусавым, равнодушным голосом вызвал офицеров — Дьяконова и Лобатого. Вас, мол, господа офицеры, приказано перевести в другое место, подвергнуть строгой изоляции. Дьяконов в этом увидел мало утешительного для себя, а Лобатый, наоборот, обрадовался, таинственно шепнул ему на ходу:

— Вот увидишь, это к лучшему!

Вышли из пакгауза. Горячим степным воздухом овеяло Дьяконова, и солнце ударило в глаза, на миг совсем ослепило. Небо от жары было белесым, точно покрыто полудой, и степь вдали колыхалась, как дым.

VI

Штабной поезд Врангеля в эти дни стоял в Мелитополе, в городе прославленных украинских черешен, раскинувшемся в широкой приазовской степи среди разных колониستских дорфов да фельдов, которые чем-то — не голос ли предков? — трогали готское сердце барона.

Врангель переживал сейчас медовый месяц своих побед. Вся слава его предков, героев рыцарских походов, отважных сподвижников шведских королей,

меркла перед его собственной молодой славой... Свершилось! Одним ударом поверг себе под ноги целый край... Перед авангардами его войск уже маячат терриконы Донбасса, шрапнельные снаряды рвутся в небе над Синельниковом, боевые полки его вышли к Днепру — от устья до самой Каховки. Никогда еще не верил он так горячо в свое избранничество, в свой счастливый жребий, как сейчас! Да, он рожден быть вождем, рожден управлять людскими массами! Он выкует из этого хаоса все, что пожелает, как выковал из деникинского вшивого сброда свои железные корпуса. Давно ли шумели о том, что он замышляет авантюру, что из ста шансов на победу у него не более одного. Один! Но он верил в этот один свой шанс и потому пошел ва-банк.

Даже скептически настроенная Европа, которая еще совсем недавно называла его смелые замыслы не иначе как *l'aventure de Crimée*^[8] теперь признает его достойным того, чтобы делать на него ставку. Те, кто еще недавно подозревал его в притязаниях на вакантный царский престол, сегодня признали в нем подлинного и единственного защитника демократии.

Его провозгласили непобедимым. В высших офицерских кругах — в своих штабах и военных иностранных миссиях — вдруг заговорили о том, что он, Врангель, и раньше не знал поражений и что только случайное стечение обстоятельств помешало ему тогда, при Деникине, вступить с героями первопоходниками в Москву. Сейчас о нем пишет уже вся европейская пресса, его стратегический талант признают, блестящим, из Франции собирается в Мелитополь специальная миссия, чтобы на месте изучить его опыт в операции по разгрому Жлобинской конницы. Да, это слава, которой он так долго ждал, это полнота власти, которой он наконец достиг.

В свою незаурядность он верил давно, но только Крым, распущенный, разложившийся, развращенный Деникиным Крым, с его взяточничеством и казнокрадством стал для него тем пробным камнем, на котором он проверил себя, свои возможности, железную волю, наконец, свое право управлять жизнью огромных человеческих масс. Большевики что-то там болтают о народовластии. Все это фикция, не больше. Когда требуют интересы дела, он сам не колеблясь готов отвести глаза наивной общественности заманчивыми картинами будущей демократии. Но в душе он был и остается верен убеждению: вожди рождались и будут рождаться, чтобы управлять, — так водится от первобытных племен; и точно так же от древних племен, от неандертальского человека материал для творчества вождей — людская масса. Без вождя она, как глина без скульптора, — ничто. Особенно же в этой стране, которая начала свою историю с того, что позвала к себе правителей с севера, чтобы они «владели и княжили». На протяжении всей своей истории этот народ знает только две крайности: пугачевщину, вспышки разгульной дикой анархии, — которая ныне, в двадцатом столетии, достигла своего апогея, либо то, что сейчас у него: сплоченные единой силой и безоговорочно единой воле подчиненные стальные корпуса. Сегодня он может гордиться этими корпусами перед Европой, перед Америкой — перед всеми.

Он овладел краем, где вволю хлеба для его армии, союзники в изобилии снабжают его вооружением, следовательно, остается теперь одна забота: пополниться людьми. Он пошлет своих эмиссаров в Турцию и на Балканы, погонит их на Мальту и на остров Лемнос со строгим приказом ко всем этим обленившимся «гостям английского короля» — эвакуированным туда офицерам и казакам —

немедленно возвратиться в Крым для пополнения боевых полков. Союзники обещают перебросить через Румынию бредовскую армию^[9], которая сейчас где-то там формируется под польским орлом... Но главная его надежда была и остается на здешнюю мобилизацию. Мужики и мужицкие сыновья — вот за счет кого должна его армия разрастись до колоссальных размеров.

Пока с этим обстоит неважно. «Охота за мужицкими черепами», как называют у него в штабе мобилизацию, покамест не дала желательных результатов. Отовсюду поступают донесения, что крестьяне упорно уклоняются от мобилизации, на пункты сбора либо вовсе никто не является, либо нарочно посылают таких, которые не пригодны к военной службе. Канальство! Пусть бы уж голытьба: она если не у Буденного, так у Махно, но удивительно, что и зажиточные к нему не идут. Чем это объяснить? Недостаточно верят в него, что ли?

Чтобы почувствовать, чем дышит крестьянство, Врангель решил лично поехать в одно из сел под Мелитополем. Выезжая из города, он имел неосторожность захватить с собой в автомобиль двух местных земцев, которые оказались нестерпимо болтливы и всю дорогу без умолку твердили ему о том, как опостылела народу большевистская анархия и как он, народ этот, жаждет для себя твердой руки...

Когда проезжали через какое-то село, где он сделал краткую остановку, чтобы показаться народу, его окружили греки-колонисты и засыпали жалобами на самовольные реквизиции лошадей, на грабежи и беззакония, которые якобы чинят его солдаты при попустительстве старших командиров. Реквизиции, бесчинства, грабежи! Горько и досадно было ему обо всем этом слышать! Разве для того выгнал он из армии генералов-грабителей, таких, как Покровский и Шкуро, чтобы другие, подобные им, заняли их место? Нет, за

это он будет карать беспощадно. Он не допустит, чтобы повторилось то, что разложило деникинскую армию!

Первое, с чем обратился Врангель к крестьянам на сходе, был вопрос: слышали ли они о его новом земельном законе?

Крестьяне загудели в ответ, что, дескать, не слышали. Кто-то вроде видел этот закон в напечатанном виде в Мелитополе, но так и не купил, потому что очень дорого стоит: сто рублей за штуку^[10].

Задав крестьянам несколько вопросов, на которые они отвечали весьма неохотно, Врангель произнес перед собравшимися пламенную речь. Говорил страстно, вкладывая душу в свои слова, искренне веря, что именно он и является защитником интересов крестьянства; а они слушали его и... молчали. И когда кончил, тоже молчали. Что-то грозное, непонятное было в молчании этой взъерошенной, загорелой, темной толпы. «Народ безмолвствует»? Но почему же, почему?

Когда уже шел к автомобилю, на ходу уловил словно невзначай оброненное кем-то из толпы:

— Казав пан: «Кожух дам...»

А в тон ему, еще мрачнее:

— Та й слово його тепле.

В подавленном настроении уже без земцев возвращался со схода в Мелитополь, в свою черешневую столицу. Почему-то врезалось в мозг это непонятное: «Казав пан, кожух дам...» — и не оставляло его всю дорогу. Что бы они могли означать — эти слова? К кому они относятся? Не его ли земельный закон крестьяне имели в виду?

Таково было настроение Врангеля, когда, возвратившись в свой штабной поезд, он узнал, что из Севастополя прибыл с миссией адмирал Мак-Келли.

Визит главы американской военной миссии был неожиданным для Врангеля и, по правде говоря, не слишком в данное время желательным. Несет их, опекунов: генерал Монжен, граф де Мартель, теперь еще этот... Атмосфера еще раскалена после боев, еще столько всюду жалоб, нареканий, а он уже тут как тут — примчался по горячим следам. Врангель и до сих пор не мог освободиться от неприятного осадка, который остался у него на душе от последней встречи с Мак-Келли в Севастополе. Это было в день, когда поступила радиограмма о том, что красная конница на киевском направлении прорвала фронт польской армии и что для войск маршала Пилсудского создается катастрофическое положение. Мак-Келли, прибыв тогда к Врангелю, недвусмысленно дал ему понять, что верховный совет союзников уполномочил его скоординировать действия Крыма и Варшавы. В весьма грубой форме он стал требовать, чтобы Врангель немедленно выступил в поддержку полякам. И хотя это полностью совпадало с планами и желаниями самого Врангеля, однако Мак-Келли считал возможным прибегнуть даже к угрозам, сказав, что если крымская армия не выступит немедленно, то всем кораблям, которые направляются сейчас в Крым с боевым снаряжением, он даст по радио указание повернуть в другие порты — в румынские или польские. «Выходит, мы для Пилсудского, а не Пилсудский для нас», — бросил тогда Врангель обиженно, и они расстались, исполненные неприязни друг к другу.

С чем же на этот раз прибыл к нему этот дерзкий, этот непоседливый адмирал, забравшийся так далеко на сушу?

Врангель, запыленный с дороги, весь покрытый липким потом, не успел еще привести себя в порядок, как адмирал Мак-Келли появился в салоне штабного вагона, свободно и непринужденно поздоровался, сияя

своей простецкой панибратской улыбкой. Врангель терпеть не мог этой улыбки, как и самого янки с его небрежно-развязными манерами и амикошонством, но на то он, Врангель, и врожденный аристократ, чтобы уметь в подобных случаях скрыть свои подлинные чувства.

— Чем могу служить? — с безукоризненной вежливостью спросил он гостя по-английски.

Адмирал, веснушчатый свежевыбритый здоровяк с румяным моложавым лицом, запросто усевшись на широком кожаном диване и взяв из хрустальной вазы несколько крупных черешен, положил ногу на ногу и стал есть.

— Тут чудесная черешня, генерал, — сказал он. — Годилась бы даже на экспорт.

— Не любовь ли к черешням привела вас сюда?

— Не только. Решил на месте ознакомиться, стоит ли нам рисковать тем, чем мы рискуем. И я не разочаровался, генерал: этот край стоит того, чтобы ради него ставить наш капитал на карту. Таврийские прерии, Донецкий бассейн, Екатеринослав с его промышленностью — эти три штата имеют мировое значение по производству угля, железной руды и хлеба. С точки зрения транспорта, путей сообщения их очень легко связать с цивилизованным миром. Все эти богатства можно ежегодно вывозить отсюда сотнями тысяч тонн.

— Это старая зона французского влияния, адмирал.

Мак-Келли усмехнулся:.

— Она легко может стать зоной влияния американского!

Закурив сигару, глава миссии стал расспрашивать Врангеля, как осуществляется земельная реформа и как местное население относится к его армии. Всем этим, мол, настоятельно интересуется Вашингтон и хочет иметь информацию из первых рук. Потом выразил свое

удовлетворение развертыванием военных операций и даже отпустил похвалу по адресу самого Врангеля.

— Теперь нам видно, что мы и наши союзники не ошиблись, когда остановили свой выбор на вас, генерал, разыскав вас там, в Константинополе, на глухих задворках событий.

Кровь ударила Врангелю в голову, в глазах потемнело от этой неслыханной дерзости. «На задворках событий»! Так-то вы толкуете изгнание? Было грубой бестактностью со стороны главы иностранной миссии напоминать сейчас ему, властителю Крыма, верховному главнокомандующему Юга России, о тяжелой опале, о позорных константинопольских днях, навсегда ушедших в прошлое с той минуты, как его принял на борт «Эмперор оф Индия»...

А Мак-Келли, видно и не заметив, как он оскорбил своего собеседника, уже говорил что-то о мистере Керенском и о том, что не случайно этот незадачливый премьер в трудную минуту был вывезен из Петрограда на автомобиле именно американского посольства, под защитой американского флага.

У Врангеля руки сами сжимались в кулаки. Этот наглый янки, как никто, умел разбередить самые чувствительные его раны. Сейчас Врангель всем существом ненавидел его, этого одетого в адмиральскую форму торгаша, никогда и не нюхавшего настоящей войны, не способного прикончить врага своим декоративным кортиком. Он знает, что привело сюда этого предприимчивого янки. На нью-йоркской бирже агенты Мак-Келли еще с весны скупают для своего шефа акции донецких шахт, никопольских марганцевых рудников, тех самых рудников, которые Врангель должен добыть для него своей кровью, кровью своих героев.

Заложив руки за спину, Врангель нервно шагает по салопу. Самый вид гостя уже раздражает его. Развалился на диване, сосет свою сигару, свежий, румяный, как младенец: у него есть время позаботиться о себе, каждый день играет в гольф, а он, Врангель, ночей недосыпает, и черкеска на нем пропиталась пылью, и весь он обветрился и почернел, почернел не сейчас, а еще где-то там, в калмыцких степях, когда с упорством фанатика водил свою Кавказскую армию на штурм, на поражение, на гибель... А ты? Испытал ли ты, как идут на тебя в атаку красные матросы, как сеют смерть из пулеметов шахтеры, как орудует клинками у вахмистра Буденного донская казачья голь? Злоба спазмой перехватывает Врангеля горло. Торгаши! Маклеры! Барышники! И его, витязя белого Арарата, вождя, столько совершившего и с таким блеском побеждавшего сейчас, они смеют попрекать задворками событий!

— К вашему сведению, адмирал: на задворках событий я никогда не был, — останавливаясь перед Мак-Келли, четко произнес Врангель. — Даже тогда, когда я был в изгнании, когда союзники без всяких на то оснований обвиняли меня в германофильстве, я был на своем посту. Именно поэтому полки позвали меня в Крым.

Мак-Келли понял, что перехватил.

— Поверьте, генерал, я вовсе не хотел вас обидеть. — Мак-Келли окутался дымом сигары. — Я готов извиниться. Но оставим это. Расскажите лучше, как ваши легионы? Надеюсь, полны боевого энтузиазма?

— О моих легионах нечего беспокоиться, — ответил Врангель, хмурясь. — Единственно, чего им не хватает, господин адмирал, это тех обещанных боевых грузов, которые мы все еще не можем сполна получить от союзников.

Мак-Келли недовольно поморщился, как всегда, когда речь заходила о поставках.

— Генерал, после первых успехов вы уже становитесь вымогателем. Мы дали вам новейшее вооружение, пушки, снаряды к ним, аэропланы. У вас их сейчас больше, чем у всех красных дивизий, с которыми вы тут имеете дело...

— И все же этого недостаточно! Вы помните, адмирал, в каких масштабах шло снабжение моего предшественника.

Врангель на мгновение умолк. Быть может, у него перед глазами как раз промелькнул огромный ярко раскрашенный плакат деникинских времен: английский Томми стоит в Новороссийском порту, широко расставив ноги, а за ним на море виднеется множество пароходов... Поток текет из этих пароходов на берег пушки, паровозы, различное снаряжение... Все это Томми щедро бросает добровольцам Антона Деникина. Так было!

— Для моего предшественника союзники не жалели ничего, — продолжал Врангель, — все сыпалось на него, как из рога изобилия, а мне из-за каждого патрона, каждого снаряда приходится кланяться, пить горькую чашу унижений.

— Каждому из нас что-нибудь приходится пить, — сказал Мак-Келли, довольный собственной остротой. — И не прибедайтесь, генерал: то, что вам полагается, вы получаете. Не далее как на прошлой неделе наш «Честер-Велси» доставил вам сорок тысяч шрапнельных снарядов, «Сангомон» — партию динамита, даже наша миссия Красного Креста вместе с медикаментами транспортировала вам из Нью-Йорка четыреста пулеметов и два миллиона патронов к ним.

— Но ведь и у меня потребности все возрастают и будут расти дальше, союзники должны учесть это. Мне нужны будут танки, мне понадобится вдвое больше

аэропланов, а у меня даже для тех, которые имеются, не всегда хватает горючего. Сейчас двести моих аэропланов застряло где-то на египетских аэродромах в Александрии и Абукире, и никак их оттуда не вырвешь.

— Вы должны быть готовы и к худшему, генерал. Вы знаете, какая кампания поднимается против вас во всем мире. Нам от собственных американских докеров приходится скрывать, какие грузы мы вам отправляем. Не от хорошей жизни ящики с пулеметами идут к вам на суда Красного Креста под видом медикаментов. И если наши поставки на некоторое время сократятся или вовсе приостановятся — ведь у нас приближаются выборы в конгресс, и мы не можем не считаться с общественным мнением, — пусть это вас не застигнет врасплох. То, что у вас есть, вы должны расходовать с максимальной целесообразностью.

Что это? Нотация? Предупреждение? Врангель готов был вспыхнуть, ответить резкостью, но Мак-Келли, словно разгадав его намерение, властным движением руки остановил его.

— Будем откровенны. — Лицо адмирала вдруг стало черствым, глаза колючими. — Мы, американцы, не любим бросать деньги на ветер. Мы желаем, чтобы каждый пай с патрон был под нашим контролем. И пусть будет вам известно еще одно, генерал: мы не потерпим, чтобы ныне, как некогда при Деникине, военное снаряжение союзников налево и направо раскрадывалось вашими интендантами или, что еще хуже, целыми эшелонами попадало в руки к большевикам.

Лицо Врангеля потемнело.

— Что вы хотите этим сказать?

— Вы приняли энергичные меры к прекращению тыловой распушенности, взяточничества, спекуляции, казнокрадства, всего того, что погубило вашего предшественника. Но окончательно ли уничтожен

злокачественный микроб? Не захватили ли вы его в Новороссийске на корабли вместе с остатками разбитых войск? Я вынужден предупредить вас о некоторых серьезных симптомах. Дельцы, подобные барону Тимроту, который в свое время обокрал наш американский Красный Крест, снова поднимают голову. Вам уже известно об этом скандальном случае с грузом колючей проволоки, предназначенной для перекопских укреплений?

Врангель насторожился.

— Проволоку, которая была направлена для таких важных укреплений, — Мак-Келли встал, — ваши интенданты якобы забыли выгрузить из трюмов в Крыму, отправили, назад в Константинополь, и там она теперь распродается!

Врангелю, который ничего еще не слышал об этом случае, только и оставалось пообещать, что он назначит строжайшее расследование.

Адмирал плотнее натянул на лоб фуражку, поправил кортик, собрался уходить. Врангель проводил его до двери. О, с каким наслаждением приказал бы он чеченцам своего конвоя показать этому расфуфыренному вояке дорогу, чтобы он вверх тормашками полетел из вагона, но...

— Гуд бай, генерал.

— Гуд бай, адмирал! — И он по-солдатски четко звякнул шпорами.

VIII

На юг! На Врангеля!

Смерть черному барону!

Пожалуй, со времени незабываемого Октябрьского штурма страна не переживала столь мощного революционного подъема, как в эти летние дни

двадцатого года. Врангелевский удар в спину революции, угроза Донецкому бассейну заставили всех по-новому оценить крымскую опасность. По всей республике — от пролетарских центров до самых глухих сел — прокатилась волна добровольного вступления в Красную Армию. Многие съезды и конференции в полном составе уходили на фронт. По зову партии, охваченная революционным энтузиазмом, молодежь эшелонами двинулась на юг.

Одним из таких эшелонов с полтавской молодежью отправился на новый фронт и Данько Яресько.

Красные добровольцы!

По дороге их всюду встречали музыкой и знаменами, на перронах станций стихийно возникали митинги, которые заканчивались записью новых и новых добровольцев. Из всех речей, которые пришлось услышать в эти дни, в душу Яресько почему-то больше всего запали слова, сказанные на одном из митингов пожилой женщиной-работницей, чем-то очень напомнившей ему мать:

— Не жалея сил мы будем трудиться для фронта! А вы до зимы должны вернуться победителями, иначе трудовая республика вас не примет!

...Эшелон, переполненный людьми, еле ползет: ему, кажется, невмочь тащиться от семафора к семафору. Паровозы старые, сменяются редко, вагоны продырявлены махновскими пулями... Задорные, лихие добровольцы висят на подножках, теснятся в тамбурах, до хрипоты дерут глотки, распевая всю дорогу песни и в вагонах, и наверху, на крышах вагонов.

Вот так — с песнями, сквозь бурю митингов и проводов — добрались до Синельникова. Тут пришлось задержаться дольше обычного: вся станция была забита эшелонами Уральско-Сибирской дивизии, которая после разгрома Колчака перебрасывалась на запад, на польский фронт.

Уральско-Сибирская справедливо считалась одной из лучших частей Красной Армии. Родиной дивизии были Кизеловские копи на Урале, а кизеловские углекопы были ее первыми бойцами, ее революционным боевым ядром. Как могучие реки берут начало из маленьких родников, так и дивизия эта зародилась из малого, из тех первых уральских рабочих дружин и шахтерских отрядов, которые под натиском колчаковских полчищ вынуждены были в трескучие северные морозы сняться с родных мест и — полураздетые, кое-как вооруженные — отходить по старинному Верхотурскому тракту в Уральские горы. Отступали все выше, отступали, точно в небо, и там, на занесенных снегом, покрытых дремучими лесами вершинах Урала, дали врагу первый победный бой.

Это было началом, это было на заре их славы. Из тех, кто были там рядовыми, вырастут потом командиры рот и батальонов, родятся в горниле боев политруки и комиссары, командиры полков и артдивизионов. В непрерывных боях дивизия не раз испытает горечь тяжелых потерь, и все же силы ее будут расти; враг не раз сочтет ее окруженной и уничтоженной, рассеянной в тайге, потопленной в болотах, а она возродится снова. Фабрично-заводское население Урала будет считать дивизию своей, Чусовая, Чердынъ и Усольские заводы образуют в ней своего рода боевые землячества.

Во всем будет чувствовать дивизия нехватку, но только не в людских резервах. Пойдет по Уралу — и пополнится уральцами; пойдет по Сибири — пополнится сибиряками — смелыми таежными партизанами. Суrowый край, где человек с малых лет привыкает к трудностям, с детства приучается выслеживать зверя и воевать с природой, весь этот край станет для дивизии неистощимым резервом.

После разгрома Колчака дивизия получит передышку. Отложив винтовки, бойцы примутся за учебу. Будут ремонтировать разрушенное полотно Сибирской железной дороги. Станут добывать уголь в Черемховских копиях...

Оттуда, из вечных сумерек тайги, из шахтных подземелий, — прямо в край слепящего, невиданной силы солнца! После суровой природы Прибайкалья, после полутьмы теплушек такой блеск, такая роскошь, такая ослепительная мощь украинского лета! Все, что открывается вокруг, вызывает любопытство и удивление. Белые хаты? Тополя? Сады? А почему эти сады в красном, словно в запекшейся крови?

Были среди северян и такие, которые отродясь не видывали арбуза, не пробовали на вкус спелой вишни. После уральских горных «увалов» и вечной тайги для них необычными были и просторы украинской степи, и степное яркое небо, что так и горит над тобой от разлива света, необычными были тут и ночи — мягкие, бархатные, исполненные невыразимого очарования...

На паровозах, на крышах вагонов еще видны неубранные пулеметы — последние сутки эшелоны двигались при усиленных дозорах: были предупреждения о возможных налетах банд.

Станция бурлит народом. Всюду гомон, суета, пробегают озабоченные политруки с пачками свежих листовок, спешат бойцы, позвякивая котелками, кого-то разыскивают вестовые.

У куба с кипяченой водой — толчея, столпотворение, не пробьешься. Яресько со своей полубосой командой тоже тут. Чтобы напиться, нужно хорошенько поработать локтями и плечами. Самым пробивным из их команды оказался Левко Цымбал: не успели хлопцы оглянуться, как он — ну совсем верблюд, со своей деревенской торбой на спине — уже протиснулся в

самую гущу, уже с кем-то сцепился там; на него набросились со всех сторон:

— Куда прешь, махновец?

Зажатый в толпе, потряхивая давно не стриженным чубом, он пытается что-то объяснить, но это только поддает жару:

— Он еще и огрызается!

— Заткните ему глотку прикладом!

Увидев, что товарищ попал в такой переплет, Ярьсько опрометью бросился ему на выручку, полез в самую гущу.

— Что вы на своего навалились? Для беляков приклады поберегите!

Когда выяснилось, что перед ними свой, из полтавских красных добровольцев, сибиряки сразу стали добрее, развеселились.

— Не серчай, дружок, — успокаивали они Левка Цымбала. — Это нас чуб твой подвел: уж больно на махновский смахивает.

— Да ведь и Гуляй-Поле где-то здесь, сказывают, рядом.

А через каких-нибудь полчаса они уже все вместе — и сибиряки и полтавчане — сидели гурьбой в тени пристанционных тополей, дружно угощались душистыми дынями-скороспелками, которые принес взводный Старков — живой, разбитной синеглазый парень.

— Ешьте, ребятки! — вывалил он дыни прямо в кружок. — Поправляйтесь!

Весело было здесь. Не умели сибиряки дыни есть, и Ярьсько, смеясь, учил их, как это делается:

— Семечки вычищайте, шкурку выбрасывайте — у нас этого не едят...

Среди тех, кто угощался дынями, с особенным аппетитом уплетал их здоровенный круглолицый

детина, над которым все время посмеивались товарищи, называя его земляком Гришки Распутина.

Полтавчане посмотрели на него с интересом.

— Ну да, — не стал возражать боец. — Мы с ним из одного села, из Покровского, это на тракте от Тюмени к Тобольску... Только у меня с тем «святым старцем» программа в корне разная. Еще сизмальства я натуральной контрой считал и его, и матушку царицу, которая к нему приезжала...

— Ну а ты, Ткаченко, почему перед земляками не признаешься? — весело подзуживал взводный другого своего бойца, неразговорчивого, задумчивого и уже пожилого мужика. — Расскажи им про свой курень, а?

Ткаченко, поглаживая усы, сдержанно усмехнулся. Что же, было. По милости адмирала Колчака пришлось и ему надеть английскую шинель: сразу же после тифа был мобилизован и зачислен в 1-й украинский «имени Тараса Шевченко» курень... В курене собрались стреляные хлопцы: фронтовики, пленные красноармейцы, — одним словом, люди, которые не раз до того под красными знаменами ходили...

— Было это, помнится, — спокойно рассказывал Ткаченко, — в пасхальные дни в селе Кузькино Самарской губернии. Как раз на кладбище крестьяне поминки справляли, и наши хлопцы, забежав сюда, стали, как цыгане, хватать у теток из рук куличики и крашеные яйца. Пришлось выставить часовых с винтовками для охраны порядка на кладбище. За эту услугу поп выделил из панихидных калачей и для наших часовых кое-что, да только они, начав дележку, не помирились между собой и подняли такую ругань в бога и Христа, что поп бежал с кладбища, оставив все свои куличи. Вот смеху-то было!.. А вечером офицеры велят нам занимать позицию — позицию против красных, которые стояли в соседнем татарском селе. Вот тут и показал себя наш имени Тараса Григорьевича

курень! По своим стрелять? Не будем! Все сотни разом взбунтовались, офицеров, которые лютее, подняли на штыки, а сами — шагом арш! — с красными знаменами туда, к своим.

— Так что и на консерву ихно не позарились? — смеялись бойцы.

А взводный Старков, наклонившись к Ярьсько, объяснил:

— Это Колчак все заманивал нас к себе американской консервой. Бывало, как сыпанет на головы с аэропланов листовок да банок с консервами: у вас там, дескать, голодуха, «и-го-го» едите, а у меня, мол, жизнь райская... А мы консерву поедим, листовку скурим и снова: «Марш, марш вперед, рабочий народ!..»

Ярьсько уже знает о Старкове, кто он такой и откуда: пока тот бегал за дынями, товарищи рассказали о нем. Сын шахтера и сам шахтер с кизеловских шахт, тех самых, где дивизия зарождалась. Еще подростком бросился «в кипящий котел революции». Рассказывали, как он, этот невидный собой Старков, во время одного тяжелого боя в сибирских болотах выручил целый батальон, добровольно вызвавшись прикрывать его пулеметом... Ярьсько, глядя на него, думал: «Хорошо бы иметь такого товарища в бою». По всему видно, любят его во взводе. Даже старшие по возрасту безоговорочно слушаются его, но слушаются, чувствуется, не только потому, что он командир над ними — дружат они между собой, взводный и его подчиненные. Для каждого из них Старков — и командир, и близкий человек. Если надо по делу кого послать, то прикрикнет и поторопит, а если нужно, то и сам за дынями для товарищей сбегает... Ростом невысок, но такой живой, такой ловкий крепыш, что вряд ли и двое с ним справятся — выскользнет, увернется из рук. Лицо худощавое, глаза синие, как у девушки. Просто удивительно, как это у

человека, выросшего на шахтах, под землей могут быть такие нежные, такие небесно-синие глаза...

— У вас тут житуха!.. — доверительно говорит Старков, обращаясь к Яреско. — Вишни вон там ведрами продают. Дынь, абрикосов, фрукты всякой — горы... Все растет, все вызревает: юг!.. А я, поверишь ли, — голос его дрогнул, — вырос и не видел, как это сад цветет... Только из песен и звал.

— Так зато ж у вас тайга!

— О, тайга у нас могучая, это верно. Когда гнали Колчака, в лесных чащобах на такие селения натыкались, что тамошние не знали, какая и власть на свете...

Но перрону торопливым шагом идет группа военных. По особой подтянутости, по суровой напряженности озабоченных лиц можно догадаться, что это командиры. В центре уверенно шагает крепко сложенный мужчина среднего роста, с коротко подстриженными усами, в военной фуражке, посаженной плотно, по-рабочему. Он на ходу что-то говорит товарищам, то и дело взмахивая рукой. На груди у него, на простой солдатской гимнастерке, издали видно пламенеющее, яркое пятно.

— Что это у него на груди краснеется?

— Орден Красного Знамени... Первым в республике его начдив наш получил.

— Так это начдив? — приблизившись к группе красноармейцев, спрашивает местный железнодорожник в замасленной робе. — А это правда, будто он бывший офицер немецкого генерального штаба?

Старков смеется.

— Это везде про него такие басни распускают, потому что фамилия у него вроде немецкая: Блюхер. А на деле рабочий он, металлист, весь красный Урал его знает... — на телеграф завернул...

— Может, с Ильичем будут разговаривать?

— Сказывают, потому и задержали нас, что нового распоряжения ждем.

Некоторое время бойцы посматривают на эшелоны, застывшие на рельсах.

— Куда все же отсюда наша путь-дороженька ляжет? — озабоченно произносит Старков, не отрывая глаз от сверкающих на солнце рельсов. — От суровых берегов Байкала и до... до?..

Он перевел взгляд на только что подошедший эшелон, украшенный ветками сибирских елей, с плакатами на вагонах, где смешивают с землей шляхту и пана Пилсудского.

— Не придется ли нам с этими плакатами да в другую сторону поворачивать? — замечает Ткаченко.

Раскаленные на солнце рельсы, паровозы, платформы — все пышет зноем. Дремлет на платформах артиллерия. Низкорослые сибирские лошади тоскливо ржут в вагонах, почуяв поблизости, за станцией, настоящую траву степь, и волю, и простор...

IX

Вскоре и в вагонах запахло степью...

Пока паровозы набирали ходу и перекликались, маневрируя где-то на стрелках, в эшелонах устроили нечто вроде летучего субботника. Пример подали синельниковские девчата, пришедшие вечером к эшелонам с вениками, ведрами и охапками свежей степной травы.

— А ну, шахтеры, — смеясь, подступали к вагонам девчата, — как вы тут поживаете? Давайте мы прибраться вам поможем ради субботы!

— Чтоб нас вспоминали да злее панов били!

— Ну что ж, убираться так убираться, — обратился к своим взводный Старков, во всю ширь раздвинув дверь вагона. — Верно, ребята? — Вылинявшая фуражка уже сидела на нем как-то залихватски. — А ну, давай сюда швабру да кипяток! Смерть блохам и шляхте!

И, засучив рукава, он первым принялся скрести и мыть пол в своем вагоне. Это всех разохотило. Глядя на взвод разведчиков, взялись и соседи-артиллеристы, закипело дело у саперов, и через каких-нибудь полчаса по всем эшелонам уже шла уборка, мелькали веники в руках покрасневшихся бойцов и девчат. Всюду стоял незатихающий гомон, шутки, смех.

Еще не погасла в степи вечерняя заря, а вагонов уже не узнать: полы вымыты, прошпарены кипятком и, как в доме у хорошей хозяйки, посыпаны свежей степной травой.

Под высокими тополями пристанционного скверика в этот вечер на все лады заливалась голосистая гармонь. То полтавскими напевами, то уральскими страданиями будоражила она сердца чувствительных синельниковских девчат, мечтательно склонившихся друг другу на плечо. Бойцы и командиры, те, что шли на шляхту, и те, что на Врангеля, — все смешались тут. За спиной гармониста, словно охраняя его со всеми его думами и страданиями, выстроились только что прибывшие московские курсанты.

Когда же гармонист неожиданно ударил «казачка», из толпы в центр круга откуда ни возьмись вихрем вылетел гибкий и на диво легкий паренек из добровольцев. Рукой придерживая фуражку, он чертом пошел по кругу.

— Шире круг!

И толпа качнулась, раздвинулась.

— Еще шире!

И круг стал еще шире.

Было здесь на что заглядеться и синельниковским девчатам, и крепким сибирякам, из которых не один в эту минуту чувствовал себя увальнем. Тут и впрямь сам черт шел по кругу! Земли не касался, а дымилась земля, сам по воздуху плыл, а из-под ног пыль столбом. По чабанской сыромятной обуви его можно было принять за степняка, а по упругости и легкости он больше походил на горца. Кто такой? Толпа затаила дыхание.

— Ух, сатана! — наблюдая за танцором, негромко переговаривались бойцы.

— Этот докажет!

А танцор, доказав свое, потрянул чубом и уже снова стоял в группе товарищей, разгоряченный, веселый, и было слышно, как взводный Старков удивленно-радостно обращается к нему:

— Ну, брат Ярьеско, не знал я, что ты такой мастак... Не «казачок» — огонь!

Железнодорожник, который недавно расспрашивал о начдиве, тоже с любопытством смотрел на Ярьеско, будто не ожидал, что тот так ловок плясать.

— Да ты, брат, любого махновца переплясал бы!

— А вы что, дядьку, видели махновца?

— Что махновцев — самого «батька» ихнего видел, как вот тебя.

— Где же это вас с ним судьба свела?

— Да здесь же, на станции. Еще когда в красных комбригах ходил.

Заинтересованные сибиряки окружили железнодорожника.

— А каков же он из себя, этот Махно?

— Да такой... Крутой... Наши рабочие и телеграфисты как раз несколько месяцев без жалованья сидели. Семьи голодают, пайков никто не выдает. Железной дорогой все пользуются, а рабочим платить некому. Давай, думаем, обратимся еще к Махно. Послали к нему целую депутацию с жалобой:

«Батьку, помоги! Распорядись выдать харчишек, что ли. Вся железная дорога голодает...»

— Ну и как, выдал?

— Держи карман шире!.. «Мы не большевики, — говорит — чтобы кормить вас от государства...» — «Но ведь дороги, — говорим, — телеграф...» — «Ну так вы с тех и требуйте, кому служат ваши дороги да ваш телеграф. А мне ваши дороги ни к чему: мои тачанки и без рельсов пройдут, куда захочу...»

Где-то поблизости запахло офицерским табаком.

— Славный табачок... Крымский! — повел носом Ярьсько. — У кого это там?

Молодой красноармеец с забинтованной головой охотно угостил Данька своим ароматным табачком. По всему было видно, что боец из тех, кто уже понюхал врангелевского пороха. Таких тут было немало. С лазаретами или по какой-либо другой okazji прибыв с юга, они принесли с собой горячее дыхание близких боев; курили они офицерское курево, их даже узнавали по запаху дыма: не едкой батрацкой махоркой дымили, а небрежно попыхивали через губу легким дымом дорогих крымских табаков.

Ярьсько разговорился с этим раненым. Сладко затягиваясь, Данько все расспрашивал, в каких тот бывал боях, где ранен, что там и как там. Хотя и смешно было надеяться, но сердце все-таки ждало: а вдруг удастся услышать что-нибудь о знакомых степных местах, о близких людях и о той, которая милее и ближе всех, — о его синеокой любви... Однако у бойца только и было на языке что атаки, броневики, аэропланы, отступления да наступления...

— То мы от них бежим, то они от нас. Под Ореховом по двенадцать раз в день ходили мы в атаки на них. Броневики у них тьма! Конницы — черным-черно! Да еще французские аэропланы с неба помогают... Под

Мелитополем, говорят, нашим кавалеристам крыльями головы сбивали...

Невеселые вещи рассказывал раненый, и, хотя не всему верили бойцы, все же чувствовалось, что там и впрямь ад.

И хотя там был ад, и все небо в шрапнели, и смерть подстерегала на каждом шагу, никто, однако, не думал о смерти, наоборот, все рвались именно туда, где она разгуливала, где вся степь охвачена огнем атак. И когда поздней ночью подали наконец эшелон в ту сторону, красные добровольцы бросились брать его штурмом.

Ярьсько со своими хлопцами раздобыл себе «плацкарту» под звездами, под открытым небом — на крыше вагона.

— Вы не очень скучайте там по нас! — бросил ему снизу Старков, стоявший на перроне в толпе провожающих. — Вы одной дорогой, мы другой, а там, глядишь, где-нибудь еще и встретимся.

По боевому маршруту идет эшелон, боевой клич бросают в темноту паровозы. И уже новую, услышанную от уральцев, песню заводят пулеметчики, пристроившиеся на тендере:

Белая армия, черный барон
Снова готовят нам царский трон...

Ветер свистит в ушах, врассыпную разбегаются деревья, и уже, подхваченная всем эшелоном, песня мощно бьется под звездным небом, все дальше врываясь в степные просторы:

...От тайги до британских морей
Красная Армия всех сильнее!..

На крышах вагонов в эту ночь никто не спал. То пели, то гуторили, то дремали беспокойно, все время опасаясь, чтобы, уснув, не вылететь, как говорится, за борт.

Чем дальше продвигались в степь, тем все тревожнее становилось вокруг: эшелон шел по махновским краям. На одном из перегонов из степной темени неожиданно вынырнул отряд конницы и, не отставая от эшелона, вскачь помчался наперегонки с поездом — не приближаясь и не отдаляясь. Кто они, эти черные далекие всадники, летящие на горизонте? Махновцы? Или, может, местная батрацкая молодежь, которая тоже поднялась в поход и на кулацких реквизируемых лошадях мчится теперь бить барона? На всякий случай по эшелону была выставлена усиленная охрана. Московские курсанты, ехавшие на той же крыше, что и Ярьсько со своими полтавчанами, все время не отрывали глаз от степи — они залегли у пулеметов, как перед боем.

Высокими снопами искр поезд пробивает тьму, и все дальше в степь летят за огненным столбом темные вагоны с кучками людей на крышах и далекие неизвестные всадники, растянувшиеся по горизонту в том же направлении, что и эшелон. Глубокая ночь, ничуть не похожая на те белые, напоминающие рассвет петроградские ночи, которые Ярьсько недавно видел, когда привез питерцам эшелон с хлебом. Сейчас, хотя степь была окутана тьмой, где-то там, впереди, уже чувствовался еще не родившийся, но уже трепещущий рассвет.

На зорьке повеяло прохладой, и люди, чтобы согреться, еще плотнее прижались друг к другу. Левко

Цымбал полами своей свитки прикрыл сразу несколько соседей, пустившихся в дорогу в одних рубашках.

Рядом с Яресько, натянув кепку до самых ушей, горбится в пальто сухощавый человек преклонных лет — один из тех гражданских, которых при посадке в Синельникове хлопцы приняли было за мешочников и едва не спустили с крыши. Уже тут, в дороге, выяснилось, что эти пассажиры вовсе не мешочники, а столичные инженеры, которые с мандатом Ленина едут в Александровск обследовать Днепр и его пороги. Странно было среди курсантской и добровольческой молодежи видеть этих сугубо гражданских, мирно настроенных и погруженных в себя людей, которые от самой Москвы пробираются всеми способами до порожистого Днепра искать и обмеривать место для будущей электростанции.

Глядя на инженеров, нахохлившихся в темноте, Яресько почему-то вспомнил екатеринославца-продотрядника, который зимой ночевал у них в Криничках. С какой верой и убежденностью говорил он тогда о появлении первых электрических ласточек в республике и о той большой электрической весне, которая рано или поздно наступит... Электрическая весна! Тогда это звучало сказкой; однако не сказкой, видимо, и не пустой выдумкой был тот разговор, если уж в такое грозное для республики время едут люди от Ильича, чтобы под самым носом у Врангеля обследовать и измерять Днепровские пороги.

— И вы сами видели его? — оживленно расспрашивали бойцы инженеров. — Какой же он, наш Ильич? Как его здоровье?

Один из кремлевских курсантов рассказал, что он тоже видел Владимира Ильича. Вместе с ними, с курсантами, Ленин носил бревна на субботнике...

— Дело было так: в начале весны решили мы очистить кремлевскую площадь от всякого хлама — там

кучами были свалены доски, бревна, камни. По примеру московских рабочих устраиваем субботник. Только выстроились утром на площади против казарм, смотрим — к нам направляется Владимир Ильич. Подошел, по-военному отдал честь и обращается к командиру: «Товарищ командир, разрешите присоединиться к вам для участия в субботнике». Командир на мгновение даже вроде растерялся, а потом говорит: «Становитесь, Владимир Ильич, на правый фланг». Владимир Ильич быстро прошел на наш правый фланг и стал в шеренгу... Ребята, которые с ним бревна носили, старались на себя больше тяжесть взять, чтоб Ильичу было легче. А он это заметил и погрозил им пальцем. «Вы, — говорит, — не хитрите».

— А то еще был такой случай, — вмешался в разговор другой курсант. — Один из наших бойцов стоял в Кремле на посту и вдруг почувствовал себя плохо. Ильич, заметив это, сам вынес ему из кабинета стакан горячего чаю. «Выпейте, — говорит, — это поможет».

Яресько лежал, слушал разговоры товарищей о Владимире Ильиче и думал о нем так, будто и сам близко знал его в жизни, будто и сам не раз ощущал на себе его теплый взгляд и, заболев, принимал стакан горячего чаю из рук Ильича. Как просто, с какой лаской в голосе называют его хлопцы: Ильич! Наш Ильич! Когда все голодают, и он на восьмушке хлеба живет. Когда все выходят на субботник, и он наравне с курсантами идет бревна носить. «Если бы все люди были такими, как Ильич, — думал Данько. — Станут ли такими когда-нибудь?»

Все заметнее рассвет. Степь вокруг становится все светлее, просторнее, шире. Давным-давно уже отстали, оставшись за горизонтом, конники, пытавшиеся обогнать эшелон. Пахнет летней степью, росами,

стерней... В дальних ложбинах тают седые туманы, в небе на востоке все выше разгорается заря...

Утро республики!

И хотя впереди была неизвестность, хотя где-то там, в степях, он, криничанский коммунар, мог в любую минуту и голову сложить, в груди у него билась радость и бурлило то хмельное, окрыляющее чувство, от которого хотелось петь, и казалось, что утро это никогда не кончится, что, пока он будет жить, вокруг так же, как сейчас над степью, будет становиться все светлее и светлее.

XI

Южная опасность все больше привлекала к себе внимание страны. Политбюро Центрального Комитета партии вынесло специальное решение о выделении врангелевского фронта в самостоятельный фронт. Незадолго до того Центральный Комитет в письме, разосланном всем партийным организациям страны, предупреждал, что внимание партии в ближайшие дни должно быть сосредоточено на Юге, что массы добровольцев и мобилизованных должны отправляться прежде всего на Крымский фронт, хотя бы даже и в ущерб другим фронтам.

Значительная часть прибывающих на Юг свежих сил сосредоточивалась на правом берегу Днепра, в районе Борислава, Каховки. В эти дни можно было видеть на крестьянских подворьях и красных латышских стрелков, и прибывших по партийной мобилизации коммунистов откуда-то из Витебска или Орла, и только что сформированные свежие части из рабочей и батрацкой молодежи, которая рвалась сюда со всех концов республики с таким настроением, что хоть небо штурмовать. На станции Апостолово разгружалась

артиллерия и, совершая напряженные переходы, быстрым маршем двигалась к Днепру, чтобы, заняв позиции на бериславских высотах, нацелить стволы на ту сторону, в занятую беляками каховскую степь.

Еще беляки продвигались вперед во всех направлениях, стремясь расширить занятую территорию, а партия в это время уже разрабатывала план далеко идущего контрнаступления против Врангеля. Реввоенсовет Республики дал директиву о переходе правобережной группы войск в решительное наступление, о форсировании в ночь на седьмое августа Днепра на большом его протяжении.

С вечера перед форсированием тысячи бойцов запрудили бериславский берег, занялись последними приготовлениями. Проверяли оружие, все карманы и под сумки набивали патронами, примеряли только что полученную обувь, а тот, кому не хватало казенных лаптей, тут же шил себе постолы из конской кожи, чтобы не порезать ноги о жесткую таврийскую траву. Армейские понтонеры готовили средства переправы. С наступлением темноты к берегу табунами стали прибывать верткие душегубки, разные дубки и байды, которые днепровские рыбаки гнали и гнали из плавней на помощь войскам.

Комары тучами висели над людьми; дымом бы их разогнать, однако в эту ночь запрещалось зажигать огонь, не курили сигарок, ни один рыбацкий костер не вспыхнул на Днестре, как обычно бывало в такие августовские ночи. «Ничем не прояви себя, ходи тихо, как лень по дну!» — таков был приказ в эту ночь. Звенят комары, вскидывается рыба, идут приглушенные разговоры. Вполголоса, словно враг мог услышать через всю днепровскую ширь, прибывшие бойцы расспрашивают рыбаков о здешних местах, впервые узнают, что здесь, где расположен Берислав, когда-то была турецкая крепость Кизикермен, а весь Днепр был

тут перегорожен железными цепями, чтобы запорожские «чайки» не могли прорваться на простор в Черное море. Подойдет, звякнет носом о цепь — и уже в крепости тревога, уже палят турки по всему Днепру из крепостных пушек. Но какими цепями ни запирали они Днепр, запорожские «чайки» все яге гуляли и по Черному морю, и в Стамбуле, появлялись у султана под самыми окнами.

— А что эти башибузуки нам приготовили? — посматривали бойцы в темноту на противоположный берег, занятый противником. — Тоже, видимо, пальнут из всех батарей, как только услышат.

— А мы постараемся, чтобы не слышали...

В полночь стала грузиться на паромы пехота. Не ожидая, пока паромы тронутся, всплеснул веслами легкий рыбацкий флот, и, оторвавшись от берега, бесшумно рванулись, понеслись во тьму легкие душегубки, байды и дубки с бойцами-разведчиками и с пулеметами на носах. В ночной тишине, в таинственном молчании плавней слышно было лишь, как поскрипывают весла в уключинах.

Врангелевцы, не подозревая о наступлении красных, как раз в эту ночь выслали с левого берега свой десант. Оба десанта — и врангелевский и красный — встретились в плавнях. Завязался жестокий бой. Дружным натиском перебив и пустив на дно внезапно встреченных белых десантников, быстро достигли каховского берега, очищая на своем пути плавни от вражеских застав.

Пока в плавнях шли бои, понтонеры уже налаживали постоянный мост, притащив катером наплавную его часть. Она была заблаговременно подготовлена и теперь быстро наведена взамен той, которую взорвали во время отступления. Вскоре по

мосту уже двигались и пехота, и конница, и артиллерия.

В эту ночь форсирование Днепра велось на широком фронте — от Берислава и до Херсона. К утру херсонская группа заняла Алешки; другие части, форсировав Днепр, заняли Казачьи Таборы, Британы. Одновременно врангелевцы были выбиты из района Большой Каховки.

К вечеру Леонид Бронников, комиссар вновь сформированного полка, был со своими бойцами далеко в степи за Каховкой, преодолев те самые песчаные кучугуры, на которых он два месяца назад держал на левом берегу свой последний рубеж.

Поспешность, с которой врангелевцы отступали в степь, казалась Бронникову подозрительной. Он опасался ловушки. Не заманивают ли нарочно, чтобы затем окружить, вырубить в открытом поле? Мысль об этом все время не давала Бронникову покоя, тем более что высокие подсолнухи и кукуруза мешали вести наблюдение. Стерня, бахчи, подсолнухи и снова то же самое: бахчи, подсолнухи, стерня... Чтобы не быть застигнутым врасплох, Бронников еще в селе приказал бойцам запастись лопатами: в случае чего в степи можно будет быстро окопаться.

Врага, однако, не было видно, и бойцы уже стали успокаиваться, как вдруг несколько передовых застыло на месте.

— Гляньте, товарищ комиссар!

Один из разведчиков передал Леониду бинокль. В подсолнухах, за лощиной, виднелись замаскированные бронемашины. То тут, то там среди подсолнухов темнели офицерские фуражки. Бронемашины внезапно открыли огонь. Их пулеметы, как ножом, скашивали стебли подсолнухов и кукурузы, в которых залегли красноармейцы.

С наступлением сумерек кое-кто, напуганный сильным огнем, стал пятиться назад.

— Ни шагу назад! Окапываться! — скомандовал Бронников.

И вот в тот самый момент, когда первый боец вогнал свою лопату в землю, тут, в степи под Каховкой, и родился Каховский плацдарм.

XII

Известие о возникновении Каховского плацдарма застало Врангеля в Керчи, куда он прибыл, чтобы лично руководить подготовкой десанта на Кубань. Высокую фигуру главнокомандующего видели то в порту, то, еще чаще, на горе Митридат, с которой он рассматривал в бинокль синеющий вдали за морским проливом кубанский берег.

Кубань, Кубань... Та самая Кубань, которая считала его заклятым врагом казачьей независимости, которая не могла простить ему того, что он еще при Деникине разогнал ее казачий парламент, — теперь она привлекала его как земля обетованная, порождала в сердце самые радужные надежды. Каждый день после обеда смотрит он на нее в бинокль с горы древнего Боспорского царства!

Людей, пополнения, солдат! Живых штыков, живых сабель! Вот чего ему сейчас не хватает больше всего. В поисках людских резервов послал он на Дон отряд полковника Назарова, чтобы тот попробовал поднять станичное казачество. Послал гонца в Гуляй-Поле, к «батьку» Махно, предлагая свой союз «украинским повстанцам», а их бандитскому батьку на выбор — генеральский чин либо гетманскую булаву. А теперь вот по настоящему совету американской военной миссии готовит десант на Кубань. Для него не является тайной, почему американцы так заинтересованы в этой операции: с захватом Кубани они надеются овладеть

Северным Кавказом, где больше всего сосредоточено капиталовложений их монополий. Глава их миссии адмирал Мак-Келли по натуре оптимист, он, как и Врангель, твердо верит в успех и на банкетах уже в шутку величает себя «почетным казаком станицы Старочеркасской».

Двенадцать тысяч десантников под командованием генерала Улагая Врангель решил бросить туда, на Кубань. Десантные войска состоят в основном из офицеров. По его, Врангеля, замыслу войска десанта должны стать лишь костяком новых формирований, кадрами той великой «народной армии», о которой он мечтает с первого дня прихода к власти. Он все сделал для того, чтобы помириться с кубанцами. То, за что он еще вчера вешал, сегодня сам дает, преподносит широким жестом. Автономии хотите? Даст вам автономию! Парламент? Даст и казачий парламент! Щедрый вождь, он сейчас даст вам все, только бы склонить на свою сторону ваши контингенты, только бы казачество стало под его знамена! Он знает, что погубило Деникина — тупое великодержавничество, «единая неделимая», неумение найти общий язык с окраинными народностями... Он, Врангель, не повторит этой фатальной ошибки. Уже заключил соглашение с казачьими атаманами Дона, Кубани, Терека. Пообещал им полную независимость внутренней жизни. Однако пьяницы атаманы — это только казачья верхушка, с нею торговаться нетрудно, главное — как поведут себя рядовые казаки. Ведь не за счет атаманов, а за счет этих крепких, жилистых рядовых должны в конечном итоге вырасти его легионы. Агентура сулит верный успех: Кубань ждет его. Передают, что достаточно будет его войскам высадиться, и станицы встретят их колокольным звоном. Твердо веря в успех дела, он, главнокомандующий, уже заранее назначает атаманов в еще не завоеванные станицы: ведь будут же они

завоеваны! Ему нравится, что и высшие офицеры его тоже не сомневаются в счастливом завершении операции и, отправляясь в десант, забирают с собой даже семьи. Туда идут рядовыми и командирами рот, а оттуда будут возвращаться, развернув свои роты в полки, а батальоны в дивизии. То, чего не дала ему Таврия, не дали обшарпанные украинские села, даст ему богатая, недовольная большевиками Кубань.

Погруженного в такие мысли застала Врангеля на горе Митридат весть о том, что красные части, неожиданно переправившись через Днепр, зацепились на клочке земли под Каховкой... Это было как гром среди ясного неба. Если другие не сразу успели оценить всю степень опасности, то сам он с полуслова понял, что это означает. Тет-де-пон. Большевистский плацдарм на левом берегу, в семидесяти верстах от Перекопа! Трамплин, с которого красный тигр сможет в любой момент сделать прыжок на Перекоп! Это было ужас: но, это могло разрушить все его планы. Пока плацдарм не будет уничтожен, его, Врангеля, армия будет связана, скована, не говоря уже о том, что нечего и думать о соединении с войсками Пилсудского. Уничтожить! Уничтожить немедленно, любой ценой!

Он стал быстро спускаться с горы, мрачный, раздосадованный, не зная, на ком выместить свою злость. Тет-де-пон!

И кто допустил? Слащев? Этот непризнанный гений, этот давнишний его соперник, который после падения Деникина тоже целил в диктаторы — в военной верхушке его имя тогда называлось наряду с Врангелем... До сих пор Врангель терпел его. За решительность, за рвение прощал ему и пьянство, и скандалы, и даже то, что вместе со своими кокаиnistками он будто бы возит в штабном вагоне бразильского попугая, которого сам научил кричать

«барон дур-рак»... Никто не скажет, что Врангель мстит ему. Он дал ему корпус, послал в десант, доверил, наконец, Каховку и вот теперь получил от него сюрприз...

— И как он мог?

Начальник штаба Шатилов, еле поспевая за Врангелем, пожимает плечами:

— Слащев намеревался специально заманить их подальше в степь, чтобы потом отрезать от Днепра и истребить.

— Лавров захотелось? Почему же не истребил?

— Когда кинулся, было уже поздно.

— Что значит поздно?

— Окопались.

В словах начальника штаба ему чудится попытка оправдать Слащева, и это еще больше его раздражает.

— Сместить! — нервно бросает он на ходу. — Прогнать в резерв!

Прогнать Слащева, который имеет столько сторонников в офицерской среде... Шатилов разрешил себе выразить удивление:

— Несмотря на его популярность в войсках?

— Плевать на его популярность! В войсках популярен должен быть только один человек — я.

Бронированный автомобиль в тот же день вынес их за город. Мчались на Симферополь. Врангель велел гнать вовсю, Нужно было поскорее тушить пожар, поскорее исправлять положение, создавшееся по вине Слащева. Высочка! Молокосос! Полководческих лавров захотелось, играл с огнем, вот и доигрался. Однако нет худа без добра: у красных появился тет-де-пон, зато навсегда избавился он теперь от Слащева — безо всяких выгонит из армии, умалишенным его объявит.

В тыл, в Константинополь загонит!

Войскам двух вождей не нужно! То, что история доверила ему, Врангелю, он не намерен делить ни с

кем!

В Симферополе настроение главнокомандующего было окончательно испорчено незначительным на первый взгляд инцидентом. При выходе из машины он случайно встретил идущего с каким-то священнослужителем знакомого жандармского полковника, которого, как помнилось ему, он недавно направлял на позиции. Спросил, где тот служит.

— Пребываю в распоряжении генерала Слащева.

Самое имя Слащева взбесило Врангеля. Еле сдерживая себя, он повернулся к Шатилову:

— Есть такая должность — пребывать в распоряжении Слащева?

— Пока не было, — откликнулся Шатилов.

— Кроме того, — растерянно забормотал полковник, — я еще пребываю в распоряжении епископа Вениамина.

— В таком случае, где же кадило? — поднял брови Врангель. — Вам нужно кадило в руки! — И, обернувшись к страже, добавил: — Снять с него погоны! Кадило ему дать!

Даже в штабе долго не мог успокоиться.

— Подумать только, такая наглость... Дворянин, потомок старинного рода и по тылам слоняется!

Зато потом отвел душу разговором со Струве, с этим седовласым, всегда неопрятно одетым стариканом, своим министром иностранных дел.

Белый дом решил наконец открыто оказать энергичную поддержку Крыму. Только что по радио передана нота государственного секретаря Кольби, в которой перед лицом всего мира заявляется, что США никогда не признают Советское правительство. Как это кстати именно сейчас!

— Поручите нашему представителю в Вашингтоне выразить нашу искреннюю благодарность

американскому правительству за этот шаг... Что из Парижа?

— С часу на час ждем официального подтверждения: Франция признает наше правительство де-факто.

Все это были весьма важные, весьма утешительные вести: союзники верят ему, верят в него; жаль только, что этот каховский нарыв появился так некстати...

К удивлению своих штабных, Врангель тут же приказал всю конницу Барбовича — пять тысяч сабель — немедленно снять из-под Александровска и бросить на Каховку, на ликвидацию плацдарма.

XIII

Оборонные работы на плацдарме были в самом разгаре — тысячи людей, сверкая голыми спинами, еще только начинали рыть траншеи и окопы для стрельбы, еще из плавней только подвозили свежие ивовые колья для проволочных заграждений, еще все здесь было незакончено, разрыто, похоже на огромный, необозримый субботник, когда со степи на плацдарм внезапно налетела врангелевская бронекавалерия.

Сочетание первоклассной конницы с массой бронемашин создавало такую силу, перед которой, казалось, устоять невозможно. Казалось, все будет сметено с лица земли вихрем взметнувшихся для рубки сабель, стальным ударом броневиков... Однако защитники плацдарма не дрогнули перед этим черным шквалом.

— По кавалерии противника залпами! Пли! — покатилося по плацдарму из конца в конец.

Отбитая, рассеянная лавина атакующих, отпрянув, бросилась на другие участки, искала стыков, слабых мест и, видимо, находила их, прорывалась в тыл, ибо

грохот и шум боя уже поднимался за спинами тех, которые непоколебимо стояли в траншеях.

Бой начался на рассвете и длился уже бесконечно долго, солнце поднялось высоко и выпило в степи августовскую росу, а кони все еще носились по полю, клинки сверкали, снаряды разрывали землю, и кровь лилась.

Положение защитников плацдарма с каждым часом ухудшалось. Таяли патроны. В траншеях было полно раненых. На руках у Яресько умирал его товарищ Мишка Перелаз из Хоришек, рядом бойцы делились последними патронами, и самому Яресько уже нечем было стрелять — кучи пустых гильз валялись под ногами. Бой не затихал ни на минуту, весь плацдарм словно горел, в раскаленном воздухе стоял неумолчный гул, где-то сзади уже слышен был топот вражеской конницы, пролетающей через окопы с яростным криком: «На переправу!»

Изошел кровью, в последний раз вздохнул на руках у Яресько товарищ, промолвив одно только слово:

— Передай...

Что он хотел передать? Кому?

Яресько и Левко Цымбал осторожно кладут его на дно чадного солдатского рва, где уже немало лежит отстрелявшихся навеки.

Из степи, то скрываясь в складках местности, то снова появляясь, приближаются броневики. Вот один взобрался уже на окоп первой линии и начал оттуда поливать пулеметным огнем. Пули ложатся совсем рядом с окопом Яресько. Кто-то вскрикнул, повалился на дно траншеи... Убит или ранен? Слышно, как невдалеке суровыми голосами перекликаются между собой латыши:

— Патронов!

— У кого есть патроны?

Затянутое пылью небо, горячий воздух, — от солнца или от пальбы? — кучи пустых гильз под ногами... Так, значит, это он и есть — конец всему? Вот здесь, в выжженной степи под Каховкой, на разрытой, угарно горячей земле плацдарма?

Яресько смотрит на свой штык. Сверкающий тульский штык — вот все его достояние и надежда. Остается им теперь лишь голое отчаяние — удар в штыки, а там — почти верная гибель под саблями, под копытами, под тяжелыми броневиками. И вот в этот, казалось бы совершенно безвыходный, момент вдруг пронеслось откуда-то со стороны Днепра, невыразимо радостным криком прозвучало среди бойцов:

— Сибиряки!

— Сибиряки на плацдарме!!!

— Блюхер привел!

Казалось, уже одна эта весть способна была удесятерить силы защитников плацдарма, одна способна была спасти им жизнь. Боевой натиск уральцев и сибиряков решил судьбу плацдарма: бронекавалерия была отбита.

На поддержку артиллерии, которая была и была по противнику, из-за Днепра — не в первый ли раз за время боев? — поднялись в небо красные аэропланы и, догоняя рассеянную в степи врангелевскую конницу, сыпали им на головы тучи острых металлических стрел, выкованных в недалеком тылу на екатеринославских заводах специально для борьбы с конницей противника. Стрелы с лету смертельно ранили людей и лошадей. Преследуемый огнем артиллерии, мечась под железным дождем свистящих стрел, сыплющихся на конницу с неба, противник быстро откатывался в степь.

— Вперед! Крой вперед! — несло над усеянной стрелами степью, по которой уже наступала красная пехота.

Яреськовым хлопцам из пополнения, да и ему самому, казалось, что теперь уже всё: будут гнать без памяти, загонят на край света. Однако в первом же селе пришлось задержаться: навстречу им под натиском белых откатывался какой-то полк, с тревогой передавали, что один из батальонов этого полка только что был окружен в поле вражеской конницей и вырублен до последнего человека и что беляки, подтянув значительные резервы, снова пытаются зайти в тыл, отрезать красных от плацдарма.

Всем имеющим оружие — независимо от того, к какой части они принадлежали, — приказано было немедленно занимать оборону по околице села. Винтовки убитых (а их оказалось немало) раздали местным крестьянам, многие из которых наравне с красноармейцами тоже заняли оборону по огородам. Из степи, отстреливаясь, все время отходили к селу то большими, то меньшими группами красноармейцы разных частей и приносили страшные вести: врангелевцы раненых добивают, давят броневиками нашу пехоту в степи.

Уже под вечер со степного кургана в село перебрались пулеметчики со станковым пулеметом, валясь от усталости, добрела пешая разведка какого-то полка, прискакало несколько всадников на низкорослых сибирских конях. В одном из них Яресько узнал взводного Старкова. Окликнул.

Оба обрадовались, увидев друг друга.

— Вот так встреча! Вот где судьба нас свела! — воскликнул Старков.

Привязав своего коня неподалеку под деревом, Старков прилег рядом с Яресько.

— Хороший скакунок, — похвалил Яресько. — Твой или тут уже где-нибудь подхватил?

— Это моего товарища конь, он в конной разведке был, — с грустью пояснил Старков. — Подумать только:

Сибирь прошел — ни разу нигде не задело, с Байкала вот куда добрался, а тут... — Он тяжело вздохнул. — Картечью вон там, за курганом... В сердце, наповал. Мы с ним еще с Урала были дружками, вместе воевать начинали. Словно вчера было, помню: метель, пурга, а наш рабочий отряд отступает по тракту в горы, к вершинам Урала, чтобы Колчак не достал... Какие холода стояли! Ветер бьет, мороз обжигает, а мы полубосые, в шахтерских куртках на рыбьем меху...

— У нас говорят — ветром подбиты.

— Во-во! Ветром подбиты, на рыбьем меху...

В это время под свист пуль из степи прискакало еще несколько всадников, прибежала гурьба потрепанных пехотинцев, которые, утолив жажду, сразу же стали присоединяться к лежавшим в цепи. Среди тех, кто, прибежав, занимал оборону, внимание Яресько привлек маленький, юркий китаец, промчавшийся перед ним и залегший в картофельной ботве лицом к степи. Он тут же стал заряжать винтовку. При этом он все время живо поводил глазами, словно бы присматриваясь, куда, в какую именно сторону лучше пальнуть.

— Китайчонок этот тоже из нашей дивизии, — промолвил Старков. — Даром что маленький, а в бою никогда не подведет. — И обратился к китайцу: — Жарко, товарищ Ли?

Не успел тот ответить, как по селу стала бить артиллерия. Один из снарядов разворотил сарай — жутко заревела скотина.

— Это они нас хотят в чистое поле выбить, — промолвил кто-то из бойцов.

— А шиш с маслом! — заметил на это Старков и обернулся к Яресько: — Как это по-вашему будет «шиш с маслом»?

— Не знаю, — потер лоб Яресько. — Наверное, «дуля с маком».

— Ну вот они и получают у нас шиш с маслом да дулю с маком, — сказал Старков и вдруг умолк, прислушиваясь. — Слышишь?

Где-то на противоположенной окраине села лихорадочно застрочили пулеметы, слышалось далекое, приглушенное расстоянием «ура»... Трудно было разобрать, кто именно кричал: ведь и те и другие могли кричать «ура».

Несколько снарядов один за другим гроыхнули на огородах, совсем уже недалеко от залегших в цепи. Загорелась солома, возле которой разместились раненые. Санитарки, ухаживающие за ними, с помощью крестьян бросились оттаскивать раненых в глубь огородов, подальше от соломы, от пожара.

Взрывы грохотали один за другим. В воздухе густо жужжали пули. В предвечерней степи появились зловеще мечущиеся силуэты броневигов. Все ближе и ближе сверкали-вспыхивали огоньки выстрелов. Из глубины огородов, словно прямо из пылающей соломы, выскочил совсем молоденький боец-татарин без картуза и опрометью бросился к лошади сибиряка.

— Стой! Ты куда? — окриком остановил его Старков.

— Товарищ командир... Беяк уже в селе... Бронемашин гуляй по дворам... Всю нашу восьмую роту беяк руби, руби!

Страшный грохот заглушил его слова: снаряд попал прямо в пылающую скирду, пламя, разметанное взрывом, поднялось еще выше, осветило все вокруг, и вместе с клочьями огня, с вихрем разлетающихся во все стороны искр бесследно исчез и он, этот перепуганный паренек-татарин, который, видно, впервые участвовал в бою. Убежал? Погиб? Впрочем, думать о нем было некогда: Ярьсько, Старков и все лежавшие рядом с ними уже дружно открыли огонь по вечерней степи, по ее мягким пепельно-серым сумеркам; видно было, как белые, сгибаясь за бронемашинами, бросками

приближаются к селу. Стрельба трещала уже где-то в селе, пули посвистывали со всех сторон.

В тот момент, когда Ярьсько заряжал винтовку, за спиной у него послышался какой-то шелест в картофельной ботве. Оглянулся — на четвереньках подползает крестьянин, запыхавшийся, взъерошенный, с проседью уже — видно, хозяин этого двора.

— Хлопцы, вы ежели что... У меня есть погреб потайной... Сам от кадетов скрывался и вас спрячу! А пока что возьмите который вот эту тыкву, может, пригодится... — И, пошарив в ботве, дядько протянул Старкову большую бомбу, которая и в самом деле смахивала на тыкву.

Старкова это, видно, взволновало.

— Скажи на милость! — обратился он к Ярьсько. — А ведь поговаривал кое-кто: хохлы, мол, такие-сякие, сплошная махновщина. А я вижу — добрый, душевный у вас народ!

Пули свистели все чаще, кольцо, видимо, смыкалось, и чей-то командирский голос уже отдавал приказ перебежками пробираться на западную окраину, быть может, оттуда удастся под покровом ночи пробраться к своим.

— Подожди, браток, коня надо захватить, — бросил Старков Ярьсько и, вскочив на ноги, кинулся через огород к коню. Но не успел он пробежать и десятка шагов, как из-за пылающей скирды соломы прямо на него вылетел броневик. На какое-то мгновение они словно окаменели друг против друга, освещенные жарким пламенем, — человек и броневик. Потом Старков как-то странно наклонился, словно решил прямо головой нанести удар в броню, и рванулся вперед; в руках у него сверкнула бомба... Вот он размахнулся и с силой бросил ее. Грохнул взрыв, сорвав со скирды целую тучу горящей соломы, пепла... Когда пепел рассеялся, броневик уже стоял как-то торчком, а

Старкова не видно было вовсе, только потом заметили его — он лежал темным бугром в картофельной ботве среди развеянного пепла, среди гаснущих на картофельной листве искр.

Яресько и дядько подбежали к нему.

— Умираю... Умираю... — корчился он, хватаясь за грудь, и, заметив над собой Яресько, вдруг крикнул с силой: — Бери коня! Спасайся! Передай... за революцию Старков...

И затих — затих навеки...

— Беги! Я похороню, — крикнул дядько, и Яресько, подлетев к коню, быстро отвязал его, вскочил в седло.

Он уже был за садами в степи, когда перед ним неожиданно, словно из-под земли, снова вырос тот мечущийся паренек-татарин. Он что-то кричал, размахивая руками. Яресько придержал коня.

— Чего тебе?

Боец подбежал ближе:

— Возьми меня!

Их, видно, заметили и откуда-то секанули по ним, пули засвистели у самых ушей. Раздумывать было некогда.

— Хватайся за стремя!

Боец ухватился.

— Не отставай!

Данько пустил коня в карьер.

На западе еще не совсем стемнело: было видно, как а там, на линии горизонта, на фоне еще алеющего неба, разгуливают броневики. Пули с раздражающим звуком пронизывали степь во всех направлениях, и, может, потому она, эта родная чабанская степь, показалась Даньку какой-то незнакомой, он мог бы даже заблудиться в ней, но не еще не потухшему свету заката нетрудно было определить кратчайший путь к плацдарму.

Товарищ, вцепившийся в стремя, бежал быстро, но, не будь его, можно было бы мчаться вдвое быстрее, можно было бы уже выскочить из-под пуль, которые жужжат и жужжат в воздухе. Однако ведь не бросишь его, не бросишь!

Время от времени наклонялся к нему:

— Выдержишь?

Тот в ответ только кивал головой: дескать, выдержу, гони.

Мчались изо всех сил, но пули летели еще быстрее, все время то ниже, то выше посвистывая над степью.

Под пение пуль, под свист воздуха в памяти Данька почему-то возникла Каховка, залитая солнцем ярмарка, и в людской толпе — слепой лирник, который пел-рассказывал «Думу про трех братьев Азовских»...

Как бежали они степью от татар к реке Самарке и как бросили в пути меньшего брата, который вот так же цеплялся за стремя...

А менший брат, піша-пішаница,
За кінними брагами вганяє,
Коні за стремена хапає,
А словами промолвляє:
«Не хочете мене між коні узяти,
Возьміть мене постріляйте-порубайте,
А звіру та птиці на поталу не подайте».

С тех пор Данько никогда больше не слышал этой думы и сам ее не пел, но сейчас, в этой вечерней степи, под скрежет врангелевских, броневигов она почему-то вспомнилась и не покидает его, словно в воздухе звенит, далекая, задумчивая легенда. Она, кажется, наполняет собой всю степь, подернутую вечерней дымкой...

Будемо тобі верховіття у тернів стинати,
Будемо тобі на признаки на шляху покидати...

— Выдержишь?

И снова кивок головы.

Так, не споткнувшись, и промчался он степью у стремени Ярьсько до первых окопов плацдарма.

А на рассвете снова была атака, шли на восток по скупым августовским росам, и, выбив врангелевцев из села, красные бойцы принесли спасение тем, кого еще можно было спасти. Укрытые населением раненые красноармейцы по всему селу выбирались из погребов, спускались с чердаков, вылезали из соломы, которую врангелевцы, разыскивая красноармейцев, всю ночь прощупывали саблями и пиками. И даже если кого-нибудь настигала в соломе острая пика или сабля, он, стиснув зубы, молчал, терпел до последнего, чтобы не выдать себя и товарищей.

Спасенные, вызволенные радостно бросались теперь навстречу своим. Не бросился только навстречу Ярьсько взводный Старков, синеглазый уральский шахтер, который, умирая, передал ему своего коня и тем самым, быть может, спас его от сабля беляка... Там, где упал Старков, на припорошенном пеплом картофельном поле, только кровь впиталась в землю да мрачно чернел, возвышаясь над степью, обгорелый вздыбленный броневик.

XIV

Бои в этом районе теперь не прекращались: то враг бросался штурмовать плацдарм, то, наоборот, защитники плацдарма, вырвавшись на простор,

отгоняли противника далеко в степь, снова потом возвращаясь под натиском его превосходящих сил в траншеи и окопы плацдарма, под укрытие укреплений, которые тут беспрерывно строились и строились.

Возникновение Каховского плацдарма, этой постоянной угрозы Перекопу, заставило Врангеля прекратить наступление на Донецкий бассейн и лучшие свои силы бросить против Каховки. Но хотя он и перебросил сюда, сняв с других участков фронта, вслед за бронекавалерией Барбовича знаменитую свою корниловскую дивизию и другие части, ликвидировать каховский тет-де-пон так и не удалось. Потери были угрожающие. Сейчас, как никогда, он ощутил потребность в большой, подлинно неисчерпаемой армии.

Но где же она?

Кубань не оправдала его надежд. Сначала все как будто предвещало успех десанту генерала Улагая. Высадившись под прикрытием корабельной артиллерии в станице Приморско-Ахтарской, войска его десанта, разбившись на три колонны, повели энергичное наступление в глубину Кубани. В первые же дни были заняты станицы Тимашевская, Брюховецкая, открылась возможность идти на Екатеринодар, который был недостаточно прикрыт красными войсками. Однако, выполняя твердое указание Врангеля, генерал Улагай вынужден был временно прекратить наступление, чтобы провести мобилизацию среди населения захваченных станиц. Но тут, как и в таврийских селах, крымских пришельцев ждало горькое разочарование. Трудовое казачество не захотело признать Врангеля своим вождем, не пожелало пополнять его поредевшие в боях части. Так и не развернулись роты в полки, а полки в дивизии. Под ударами красных войск, которые вскоре перешли в наступление, десантники вынуждены были сдавать станицу за станицей, с каждым днем все

быстрее откатывались к морю, к своим кораблям. В конце августа последние корабли Улагая, покинув кубанские берега, двинулись снова на Крым. Кубань не приняла их, отвернулась от них. Весь белый Крым уже признал это, не хотел признавать один только Врангель. В то время когда в Керчи с кораблей выгружали остатки его так бесславно вернувшегося десанта, он в своих интервью иностранным корреспондентам объяснял терпеливо с внутренней убежденностью, что его десант не разбит — он сам отозвал его с Кубани, поскольку этого, дескать, требуют другие, далеко идущие стратегические замыслы.

После неудачи на Кубани, после того как на Дону такая же участь постигла полковника Назарова, посланного туда с большим отрядом, а возвратившегося в Крым лишь со своим ординарцем, проблема пополнения армии людьми встала перед Врангелем еще острее. Ищущий, голодный взгляд его обратился снова на север, на Украину. По почину самого Врангеля в Крыму в это время все шире рекламировался якобы установленный им дружеский контакт с «повстанческой армией батька Махно». На самом же деле ни один из многочисленных гонцов, которых Врангель посылал в Гуляй-Поле, до сих пор не вернулся. В чем дело? Где они застряли? Из Парижа быстрее доходят вести, чем из Гуляй-Поля!

XV

Среди ослепительной необозримой степи — вдруг вишневые сады, словно кровью обрызганные.

Зеркало воды сверкает в широкой балке.

Подсолнухи — выше соломенных и черепичных крыш...

Это Гуляй-Поле.

Прогуливаются по центральной улице городка девчата в пестрых лентах, грызут семечки, перешучиваются с чубатыми махновскими «сыночками», которые не снимают своих хромовых кожанок даже в такую жару. Сверкает оружие, горят ленты, широкие гармони то тут, то там наяривают «Яблочко» — махновский гимн. С тех пор как стало Гуляй-Поле махновской столицей, «степным Махноградом», здесь отвыкли работать, перешли на легкий хлеб; словно контрабандистское гнездо, Гуляй-Поле живет теперь военной добычей своих «сыночков» — пьет, гуляет, прогуливая награбленное барахло, каждое воскресенье играет гульбища-свадьбы.

У кого ж это сегодня такая пышная свадьба? Бубны звенят на все предместье, песни разносятся по садам — это батько Махно женит одного из ближайших своих людей, телохранителей, взводного «волчьей сотни» Агея Шинкаренко.

Двор гудит под каблуками. Площадку, на которой танцуют, все время поливают водой: горячая земля сохнет, и вскоре из-под каблуков уже снова разлетается пыль, тучей окутывая танцующих. Раскрасневшиеся лица, мокрые чубы, однако никто не сдается — кто попал сюда, танцует до упаду. Тяжело, как сбруя на конях, позвякивает оружие на танцорах, притягивают взгляд красные вышивки широких полотняных рушников на свадебных дружках...

Таким же рушником повязан через плечо и сам батька-атаман. Впрочем, он не танцует, сидит в хате и молча пьет. Хата богатая, когда-то его, глинищанского голодранца, сюда бы и на порог не пустили, а сейчас вот посадили в красном углу, под свадебным деревом, и сам хозяин в рубахе с вышитой манишкой предупредительно суется перед ним, собственноручно подносит закуски:

— Кушайте, кушайте, Нестор Иванович!

Хозяин из тех разбитных гуляй-польских подводчиков, которые до революции разбогатели на торговле хлебом и перед войной уже настолько почувствовали свою силу, что не разрешили железнодорожную станцию строить в самом Гуляй-Поле, а отодвинули ее от местечка подальше, в степь, чтоб зарабатывать на перевозках хлеба...

— Кушайте, кушайте, Нестор Иванович!

Этот мироед-подводчик чем-то неуловимо похож на другого такого же кулака, скопидома Кирика Васецкого, который после тысяча девятьсот пятого года выдал жандармам на расправу гуляй-польских юных анархистов. Возвратившись с каторги в семнадцатом, Махно прежде всего пожаловал в гости к этому Кирику, вывел его на улицу и тут же перед домом уложил навеки носом в пыль.

Он любит себя собой: пришел с каторги, разметал врагов, до основания повырубил вокруг Гуляй-Поля колонистов, у которых с малых лет батрачил, телят да свиней пас. О, это беспросветное сиротское детство, без боли не может он вспоминать о нем! Голова упала на руки, Махно склонился над столом в глубоком раздумье. Свинопас у богатых колонистов... Еще и от земли тебя не видно, а ты уже в неволе, кто-то уже помыкает тобой! Все лето колешь ноги по чужому жнивью, и как ноги в язвах все лето кровоточат, так детская душа кровоточит от повседневных обид и надругательств. Не они ли, эти детские обиды, и искалечили тебе душу, не тогда ли еще накапливалась эта горькая, ненасытная жажда мести, которая и до сих пор жжет, не дает тебе покоя?

Видит себя юным террористом на суде: подросток, приговоренный к повешению. Он не сомневался тогда, что царь повесит его, не простит ему отчаянных, безумно смелых его экспроприаций. Выручили

молодость — смертный приговор заменили пожизненной каторгой.

Колодник... вечная каторга, вечная неволя... Темнота и смрад тюрьмы, где запахи ароматной степи и блеск гуляй-польского солнца ему только грезились во сне! Не там ли за одиннадцать лет разучился смеяться, радоваться, как все люди, так что на эту махновскую свадьбу уже ничего не осталось? Вспомнилось, как пытался зубами перегрызть кандалные цепи в Акатуе. Забившись в угол, он, подобно затравленному упрямому зверьку, грызет и грызет по ночам железо. А когда попытка бежать провалилась, захирел, пал духом, конец бы ему, если б не революция...

Семнадцатый год! Из карцера — прямо в Гуляй-Поле!

Свобода как степь!

Можно ли от нее, от вольной воли, отучить когда-нибудь человека? Не за одиннадцать — за сто одиннадцать лет? Чтобы человек совсем забыл о ней, чтобы перестал стремиться к ней, к безграничной, как небо, свободе?

«Нет такой силы, чтоб от воли отучить, — сказал ему однажды в степи старый пастух. — Как орла не отучить летать, так человека не отучишь стремиться к воле...» Да, к ней, к свободе, всегда будет порываться человеческая душа! За свободу, не за что иное, он со своими «сыночками» бьется — так, по крайней мере, кажется ему. Но почему же так тяжело становится иногда на душе? Почему и сейчас вдруг начинают вставать перед его затуманившимся взором то перекошенные ненавистью лица казненных продотрядовцев, то крестьяне-комбедовцы, зарубленные где-то на сходе, то галещанские красные медсестры, чьи предсмертные крики и до сих пор звучат у него в ушах: «Так вот какова твоя свобода? Будь же ты проклят с нею вместе, палач!»

Но прочь, прочь с глаз гнетущие, как бред, картины!

Ура, ура, ура!
Мы підем на врага!
...За матінку Галину,
За батька за Махна!

Он привык уже к тому, что его повсюду зовут батьком. Вспоминает, как повстанцы впервые нарекли его этим именем в Дибривском лесу. Было это сразу же после того, как он с первыми своими партизанами разгромил в колонии Блюменталь гетманскую стражу и батальон кайзеровских войск. Ни одного из захваченных гетманцев не оставил тогда в живых. С австрийскими же солдатами, которые сдались ему в плен, он поступил иначе: напоил пьяными и отправил всех пешком на станцию с приказом, чтобы немедленно убирались прочь с Украины. Каждому из австрийцев выдал на дорогу по пятьдесят рублей деньгами и по бутылке водки, чтобы они и там, у себя в Вене, вспоминали Гуляй-Поле.

То была — он это сейчас чувствует — лучшая пора его жизни. С каждым днем росло его войско, к признанному всеми батьку, которому еще и тридцати не было, присоединяются отряды Щуся, Белаша, Удовиченко... На подступах к Екатеринославу его многотысячная повстанческая армия вступила в бой с петлюровцами и вместе с рабочими екатеринославских заводов выбила «добродиев» из города. Это принесло ему, пожалуй, самую большую славу в народе. Вскоре он уже «комбриг Третьей Заднепровской», и Дыбенко от имени красного командования жмет ему руку, поздравляет с присвоением высокого революционного чина... Но в городе грабежи, «сыночки» перепились,

распоясались... Екатеринославский ревком хотел обуздать их, но где там!

— Уздечку?

— Мы стихия!

— Мы по вашему же лозунгу: «От каждого по способностям, каждому по потребностям», ха-ха-ха!

Ему, батьку Махно, было приказано унять свою буйную степную вольницу. Но разве мог он ее унять, утихомирить, да и хотел ли? Что осталось бы от него самого, если бы он пошел против этой разбушевавшейся силы-стихии, которая сделала его атаманом, которая поставила его своим верховодом? Впервые тогда закралось в его душу сомнение: кто кого ведет? Он ли ее или она, эта буйная стихия, влечет его за собой? Видно, все-таки она, ибо он не смог противостоять ей: разругавшись с красными, снова ушел в степь, пугая детей по селам грохотом тачанок да черным вихрем своих знамен: «Смерть комиссародержавию! В крошево комбедовцев!»

Растаяла тогда его армия. Впоследствии не раз будет происходить это с ней: то вдруг подымется прибоем до неба, то осядет, растает до горстки ближайших сторонников с десятком тачанок...

Ура, ура, ура!

За батька за Махна! —

до хрипоты орут за окном братья Задовы, «короли сифилиса», заправила его махновской контрразведки. Если нужно кого-нибудь потихоньку убрать, «украсть», Махно поручает это им. На Елисаветградщине, объединившись с Григорьевым, прибрал Григорьева. Позже, заключая договор с Петлюрой, имел тайное намерение расправиться и с Петлюрой, но, к сожалению, не удалось, хотя для этого и была создана

им специальная террористическая группа. Не желает он иметь на Украине соперников-атаманов: хватит с Украины и его одного. Его нынешняя любовница, гуляй-польская учительница, говорит, что он в последнее время стал слишком уж недоверчив, всех подозревает, всюду мерещатся ему происки чекистов, всюду слышатся сговоры соперников — претендентов на его атаманскую власть... Может, и в самом деле он преувеличивает окружающую его опасность? Но если бы он не был таким зорким и осторожным, давно бы его уже съели! Раз и навсегда установил для себя правило не доверять до конца никому — ни мечтателям-набатовцам, ни ближайшим боевым сподвижникам, с которыми вместе закапывал ночью бочки с золотом в Дибровском лесу. Особенно же не доверяет он женщинам — всяким бродячим девкам, которых всегда полно в Гуляй-Поле. Цыганка-ворожея, повстречавшаяся недавно в степи, сказала, что погибнет он от женской руки, — какая-то подосланная чекистка-актриса подаст ему бокал с отравленным вином... Вот почему он теперь в три шеи гонит из Гуляй-Поля актрис и, боясь отравы, крайне подозрительно принимает женские ласки.

Хочется еще пожить. Цистерны спирта стоят на станции — подходи и пей, кому не лень... В тупиках накопилось множество вагонов, груженных разным добром: сахар, сукно, мануфактура. Кажется, только бы и веселиться. Почему же так горько, так беспокойно на душе? Смерти, конца боишься? Пока не был атаманом, пока не имел в руках безграничной власти, никогда столько не думал о себе, не трепетал за свою жизнь, не знал страха. Тюрьма научила не дорожить ни своей жизнью, ни чужой. А сейчас, укладываясь спать, выставляет усиленную охрану, верный Али всю ночь, как пес, неотлучно сидит на пороге, глаз не сомкнет. Чем дальше, тем все гуще окружает себя частоколом

доносчиков, все бдительнее подбирает любовниц, все строже отбирает телохранителей в состав личной охраны — своей доверенной «волчьей сотни»... А как же иначе? Ведь он теперь — батько, атаман, вождь! За ним охотятся, да! Он величина! Да! Его жизнь теперь, быть может, стоит нескольких тысяч простых, обыкновенных, рядовых жизней.

Громкая, молодецкая, точно буйный посвист в степи, она, его жизнь, обрела и славу, и всемирную ценность, она сейчас позарез нужна массам таких... таких, как кто?

— Кушайте, кушайте, Нестор Иванович.

Кто это? Снова этот коршун, этот подводчик со своим жареным поросенком на тарелке, с сальной улыбкой на губах...

— Брысь!

— Кому это вы?

— Тебе говорю: брысь!!!

Гады, подумать не дают! Им веселье, а кому-нибудь, может, уже и похмелье. Почему-то очень не по себе; может, вместо актрисы-чекистки кто-нибудь другой сегодня уже подсыпал ему яду? Каким словом вспомнит о нем Украина, когда погибнет он, пропадет? Или, может, жизнь его, как черный метеор, как эта лакированная черная тачанка, что степью промчится — и ветер за ней пыль развеет? Во дворе бубен гудит, дрожит земля — гуляют его «сыночки». Перед этим сто двадцать верст отмахали, чтоб только поспеть домой к воскресенью. Это так уж у них повелось: где бы ни были, в каких бы краях ни рыскали, а на праздник, на воскресенье — хоть гром с неба — хлопцы его должны быть в Гуляй-Поле. Вражеские заставы прорвут, коней загонят, только бы примчаться в субботу вечером под сень родных садов — кто к девушкам, кто к женкам, а кто к гуляй-польским проституткам... А к кому сам он мчится сюда, к кому спешит?

Душно становится жить, ох, как душно!.. Куда ни мчится на своей тачанке, всюду преследуют его призраки тех, кого зарубили топорами его «сыночки», кому поыворачивали руки, повыкалывали вилками глаза... Вопиют замученные дети, обещанные девушки, незаможники и продагенты с распоротыми животами, в которые «сыночки» насыпали зерно... Бои, грабежи, разгул... Всю весну и лето в рейдах, кочует, как половец; и сам никогда не знает, где будет ночевать, куда двинется завтра и послезавтра его буйная республика на тачанках. Раньше хоть в гуляйпольских оргиях находил забвение, теперь ему уже тоскливо и здесь. На чужой свадьбе гуляет, чужую водку пьет... Нет ни родных, ни близких. Пустырем стоит тот двор, где он родился, на том месте, где когда-то стояла отцовская халупа, теперь одна лишь крапива растет, выше него, Махно, вытянулась!

Пальцы впиваются в длинные космы, в горле застревает горячий клубок... Однако ко всем чертям эти терзания! Махно не сдастся, вам понятно? Да! С грохотом сбрасывая посуду, встает и, твердо ступая, чтобы не покачнуться, выходит из хаты. Солнце так и слепит. Пьяные морды, мокрые чубы, рушники на плечах. Разноцветные ленты в косах девчат.

— Батьку, просим!

— Для батька играй!

А он, не обращая внимания на музыкантов, уже встретился взглядом с седым худущим волкодавом, который лежит у амбара на цепи. Пес, а глаза умные, как у человека, кажется, хочет что-то сказать батьку. Махно неторопливо идет на него.

— Батьку, порвет!

Умолкла музыка, замер весь двор.

— Батьку, это не шутки! Не подходите!

— Он такой — человека растерзает!

А Махно словно не слышит предупреждений. Заложив руки за спину, шаг за шагом приближается к амбару. Присел перед псом, и так сидели они какое-то мгновение друг против друга, будто молча советовались о чем-то. И пес, который другого порвал бы в клочки, горло перегрыз, тут даже не зарычал. Притих, как загипнотизированный... Махно не спеша спустил его с цепи, взял за ошейник и, ни на кого не глядя, повел в дом.

Посадил его за столом рядом с собой.

— Угощай, хозяин, и его: я для вас свободу стерегу, а он — амбары.

Так и сидели мрачно вдвоем — он и тощий цепной пес, пока вдруг не раздался за окнами топот — въехали во двор тачанки.

XVI

Там, где только что плясали, где земля гудела под каблуками, уже стоят несколько запыленных тачанок с пулеметами, направленными во все стороны, даже в окна хозяина. Загорелые хлопцы из полевого дозора выволакивают из передней тачанки опутанного вожжами офицера. Грузный, бритоголовый, глаза завязаны, рот заткнут какой-то портянкой... На плечах сверкают полковничьи погоны. Плотной толпой окружили его гуляющие махновцы. Что за птица? Каким ветром занесло его сюда? Разве не слышал он, что в Гуляй-Поле погоны таким, как он, гвоздями к плечам прибивают? Махновская республика без погон живет!

Так, с завязанными глазами, и вытолкнули его в круг.

— Танцуй!

Офицер упирается.

— О, да он еще и не желает, — поддает ему коленкой под зад кто-то из махновцев. — Спотыкаешься? Подкуем!

— Гвоздями пристегните ему погоны к плечам, тогда сразу затанцует.

Из хаты неторопливо вышел Махно.

Старший из дозорных — рыжебровый матрос с вылинявшей, едва заметной надписью на бескозырке «Дерзкий», схватив офицера за рукав, потащил его к Махно.

— Гостя вам, батьку, привезли! Посланец от черного барона.

Рот заткнут — не приказал освободить. Глаза завязаны — не велел развязать.

— Чего он хочет?

— Врангель, говорит, союз предлагает с Гуляй-Полем заключить. Украину, говорит, вам отдаст.

— Нам дареной не нужно, — обозлился Махно. — Она и так наша.

— Не к лицу нам, батьку, с беляками союзиться, — загудели в толпе. — Не раз уже видели мы, что они с Украиной творят.

— С генералами пойдем — мужики от нас отвернутся!

Отвернутся — это он хорошо понимает. Пока шел против Деникина, его войско словно на дрожжах росло, а как только повернул против красных, сразу растаяло, один этот гуляй-польский «гордый район» верным ему остается...

— Батьку, может, глотку ему откупорить? Может, послушать желаете?

— А что мне его слушать? — Махно сердито встряхнул своими масляными жесткими космами. — С Григорьевым в союзе был, с Петлюрой был, с красными был! А с беляками не был и не буду!

— Верно, верно! — вырвалось из крепких глоток «сыночков». — Не желаем за барона свою грудь под пули красным подставлять!

Схватив вожжи, которыми офицер был связан, Дерзкий посмотрел на Махно.

— Куда прикажете, батьку?

Махно резким движением руки показал вверх, на толстый сук.

— Туда!

Махновцы захохотали.

— Наверх! Поближе к пророку Илье, что по небу на своей тачанке раскатывает!

Через минуту во дворе уже снова ударили бубны: свадьба продолжалась...

XVII

В степи близ Каховки тысячи людей под палящими лучами солнца копают землю, строят плацдарм.

С каждым днем все больше в степи становится разрытой земли, все гуще колючая проволока, которой опоясывают этот клочок отвоеванной у врага земли.

Внешняя линия обороны тянется степью верст на сорок, глубина плацдарма — от внешней его линии до Днепра — достигает двенадцати верст. Вся эта отбитая у белых территория с селами Софиевкой, Любимовкой, Большой и Малой Каховкой, с нивами и приднепровскими виноградниками, степными курганами и разбросанными по полю копнами хлеба называется теперь плацдарм. Все это нужно защитить, удержать, отстоять во что бы то ни стало. Как только перестрелка затихнет или отодвинется дальше в степь, сразу же закипает работа — роют окопы, траншеи, волчьи ямы для танков, подвозят колючую проволоку, затесывают ивовые колья, срубленные в плавнях. От

широкой днепровской синевы, над которой возводятся дополнительные переправы, от душных плавней, где рубят дерево для плацдарма, и до просторов сухой, знойной степи — везде напряженно трудятся люди. Работают бойцы, работают командиры, все население приднепровских сел поднято на ноги и тоже брошено на строительство оборонных укреплений красного плацдарма. Идя по степи сквозь этот кишачий людской муравейник, уже и не разберешь, где здесь бойцы, а где местные крестьяне; одинаково сверкают, лоснятся потом обнаженные спины, одинаково энергично орудуют лопатами огрубелые, натруженные руки. Мужчины роют землю, женщины разносят еду, и даже детвора весь день таскает вдоль окопов ведра с водой.

Все пьют, пьют, пьют...

— Ну как: «Кую и пою»? — подтрунивал Данько над Левком Цымбалом, который, побрякивая, прокладывал рядом траншею в сухой, словно зацементированной земле. — Не угрызешь? Тут, брат, земелька твердая: это мы с твоим отцом когда-то ее так утоптали... Вон по той дороге Гаркуша гнал нас из Каховки на Асканию.

Не разгибаясь, орудует лопатой молодой Цымбал. Кажется, всю свою ненависть к мировой буржуазии и ее черному барону он вкладывает в эту работу.

— До воды докопаешься, пока выроешь «для стрельбы стоя со дна окопа», — подпускают хлопцы шпильки в адрес Левка, намекая на его огромный рост.

Растет парень как на дрожжах: давно ли, кажется, из дому, а уже рукава коротки и из штанов вырос — едва колени прикрывают. А ноги... Товарищи дразнят, что на такую лапу, как у Левка, во всей Красной Армии обутки не сыщешь. Не раз уже земляки подзуживали, чтобы он померился силой с латышами, которые любят в свободное время заняться французской борьбой, собирая вокруг себя толпу зрителей.

Левко все глубже вгрызается в землю. Только тогда и оторвался он от работы, только тогда и разрешил себе выпрямить спину, когда услышал веселые голоса каховских молодок, которые с кошелками приблизились к окопам.

— Латыш, кваску хочешь? — обратилась к Левку одна из них — чернявая, бойкая — и первому подает ему кружку с холодным квасом. Она почему-то принимает Левка за латыша, видно, потому, что рослый такой да суровый.

Хлопцы шутят:

— У нашего латыша только зубы да душа!..

— А что еще нужно? — защищает молодка Левка. — Лишь бы душа, лишь бы сердце... «Хоть под лебедою — абы, сердце, с тобою», — и так улыбается парню, что у того даже уши краснеют.

Разговорившись, хлопцы узнали, что молодница эта — вдова, сама и хлеб косила; вон там вдали, по ту сторону дороги, ее копны стоят... Жалуеться, что не с кем перевезти и смолоть этот хлеб.

— Вот как плацдарм достроим, тогда поможем и вам, — обещает ей Яресько.

— Хорошо, буду ждать, — говорит она, снова улыбаясь Левку.

— Ей-же-ей, у нее на нашего Левка виды, — переговариваются хлопцы, оставшись одни. — Чего доброго, еще и красную свадьбу здесь на плацдарме сыграем.

Данько в краткие минуты перекура задумчиво поглядывает в степь: отсюда ведь рукой подать до Наталки. А она там и не догадывается, что он так близко, что он уже под Каховкой — день хода от Чаплинки — землю долбит, оборонные позиции против врага возводит. Это здесь он впервые и увидел когда-то Наталку среди каховских песчаных кучугур, на краю ярмарки, когда она, худенькая, грустная, сидела с

кружкой воды у изголовья умирающей матери. Как давно все это было!

Даже и не верится — было ли на самом деле. Конечно, трудно и сейчас, но как-то совсем по-другому трудно, так как теперь ты знаешь, ради чего приходится переносить все лишения, знаешь, что скоро им конец и совсем другая жизнь ждет тебя завтра...

Однажды Даньку пришлось присутствовать на большом красноармейском собрании, которое устроено было как раз на том месте, где когда-то происходили каховские «людские» ярмарки. Присев с хлопцами на песчаном холме, Яресько внимательно слушал оратора. Перед красноармейцами выступал Леонид Бронников. Говорил он о прошлом этого края, о тысячах и тысячах батраков-сезонников, которые ежегодно весной шли сюда на каховские ярмарки продавать помещикам свои мозолистые руки. О черных бурях говорил. О летучих песках, которые на своем пути сметают все живое... О том, как паны грабили народ трудовой. В те времена ни во что не ставили трудящихся — их уделом были надругательства, бесправие, издевка. Не захотел народ больше жить такой жизнью, поднялся против неправды, и ничто теперь не может остановить его, а народ этот — вы!

Данько радостно вздрогнул при этих словах, оглянувшись на товарищей: «Мы!»

Словно другими глазами смотрел он теперь на своих боевых друзей, расположившихся по холмам, словно иначе посмотрел и на себя: «Мы! Никакая сила уже не вернет нас к старому! Станем новыми людьми, как сказал Леонид».

— И хотя гремят еще в степи бои и рвутся снаряды, но, думая о завтрашнем дне, мы уже и тут, на плацдарме, должны учиться. Революции нужны сознательные бойцы, революция — это не только освобождение из-под классового гнета, это великий

свет для трудового человека, и потому сегодня мы бросаем клич: «Террор темноте!»

«Террор темноте!» Под этим лозунгом в ближайшие же дни была развернута на плацдарме среди красноармейцев работа по ликвидации неграмотности. Не хватало тетрадей, не было грифельных досок — писали мелом на лопатах. Объявил террор своей темнота и Левко Цымбал. В детстве не во что ему было обуться, и потому он не мог зимой бегать в школу. Как почти все в его семье, даже фамилии не умел нацарапать. Зато сейчас на плацдарме Левко набросился на азбуку с голодной, ненасытной жадностью.

— Не я буду, если не избавлюсь от своей темноты!

Он оказался одним из лучших учеников в том кружке, которым стала руководить молодая учительница Светлана.

Мурашко, недавно прибывшая на плацдарм с херсонской агиткультбригадой. Не обычные были перед ней ученики.

— Учите нас, учите! — требовали настойчиво. — Хоть линейкой по ушам, только бы выучили! К черту темноту! Грамотными хотим ворваться в Крым!

— Штыками распишемся на спине барона!

Нелегко давалась хлопцам наука, нелегко было им зубрить азбуку в этой беспокойной степи, где шальные пули жужжат во время занятий и боевым тревогам нет конца... Учиться в этих условиях удавалось только урывками. Однако не бросали — с охотой учились красные бойцы. Вгрызались в азбуку так же настойчиво, как вгрызались в твердую, неподатливую землю плацдарма. И, наверное, самым счастливым в жизни учительницы Светланы Ивановны был тот день, когда, подходя к своему «классу», она увидела поднятые над окопами лопаты, и на каждой из них была жирно

выведенная мелом буква, из которых слагалось: «*Мы не рабы!*»

XVIII

Артиллерия бьет под Каховкой, а на Гаркушином хуторе стекла звенят. Все лето на хуторе толкнутся разные штабы. Одни со двора, другие во двор. Однако, несмотря на войну, которая гремит вокруг, несмотря на то, что неясно еще, чья возьмет, привычная работа на хуторе не прекращается. Целыми днями старик с Наталкой молотят хлеб на току. Хлебом-солью встречал Гаркуша кадетскую власть. На самую вершину ветряка взбирался, выглядывая крымчаков из-за Перекопа. Но когда они пришли и, не удовольствовавшись хлебом и солью, съели кабана и всех индеек, заплатив за это какими-то ничего не стоящими бумажками, старик заметно охладел к ним. «Видно, правду говорит Савка: не наша это власть... Пока не будет своей Украины, будут обдирать хутор как липку».

Хотели было назначить Гаркушу волостным старостой, но он отказался, сославшись на немощность: уже, мол, ноги не носят. На самом же деле к тому были другие причины: не доверяет он этой кадетской власти, какой-то непрочной, недолговечной кажется она ему. «Болтают о Москве, а сами Каховку под боком не могут взять».

— Когда уже вы с этой каховской болячкой разделаетесь? — не раз с упреком обращался он к штабистам, имея в виду плацдарм. — Офицерские полки, а с какими-то голодранцами не можете справиться.

Штабной писарь, которому известно, что Гаркушины сыновья тоже скрываются где-то от кадетской мобилизации, не упускает случая уколоть старика:

— А сыны ваши где? Пусть уж голытьба бойкотирует, но вы же столыпинцы! На ваших сыновей, можно сказать, вождь все надежды возлагал...

И тут же нудно и пространно начинает перечислять все, чем белый вождь облагодетельствовал и еще облагодетельствует таких, как Гаркуша. Дает им и то и се...

— А Украину он нам даст?

— Украину? — Врангелевец начинает рассказывать, что из Парижа в Крым на днях по приглашению главнокомандующего прибыли представители какого-то «Украинского комитета» и что будто бы вождь сам лично ведет с ними переговоры...

— И на чем же они там сторговались?

— Ну, об этом еще рано...

«Ну, а ежели рано, ежели Украину не даете, то и я не дам же вам ни сыновей, ни коня, ни сала!»

И стал Гаркуша припрятывать от них, не хуже чем от красной продразверстки прятал. Что днем смолотит на току, ночью закопает. Где-то позакапывал и Наталкин хлеб, выросший на ее ревкомовском наделе.

— Твой? А зачем он тебе? У меня будешь жить, у меня и есть будешь. — А заметив, что батрачка недовольна, добавил с издевкой: — Или, может, побежишь в батрацкий союз жаловаться на меня?

Не к кому было бежать девушке. Далеко тот, что мог бы ее защитить от Гаркушиных обид... Вот уже больше года о Даньке ни слуху ни духу. Ворожея, раскидывая карты, говорит, что его нет уже в живых, однако девушка не хочет верить этой черной, зловещей Минодоре, девичье сердце не хочет мириться с тем, что «кости его — видишь — ужа белеют где-то в степи!».

А когда стало известно, что красные, переправившись через Днепр, закрепились на этом берегу под Каховкой и врангелевцы никак не могут сбить их назад, Наталка словно ожила — только и

прислушивалась, что на той стороне. Как загремит под Каховкой, как зазвонят на хуторе стекла, девушке кажется, что это он, Данько, ей оттуда весточку подает: приду, мол, приду. По настроению штабистов она безошибочно угадывала, что происходит на плацдарме. Как переболела у нее душа, когда однажды в небо поднялись аэростаты, а по тракту на Каховку помчались броневики и штаб с хутора быстро направился на конях и в легковых автомобилях туда же. «Завтра, папаша, будем в Каховке, — на прощание заверили хозяина беяки. — Большевицскими трупами запрудим Днепр». А вскорости они стали возвращаться оттуда не похожими на самих себя. Туда шли, как на прогулку, — в английских новеньких френчах и французских галифе, а оттуда возвращались поникшие, растрепанные, покрытые пылью и кровью... Хорошенько, видно, всыпали там! Все на сибиряков валили. Якобы тьма-тьмушая прибыла их в подкрепление плацдарма.

— Вы бы газов на них попросили из-за границы, — советовал беякам Гаркуша, которому слухи о бесстрашных сибиряках тоже теперь не давали покоя.

Бои под Каховкой не прекращались. Тучами шла туда конница, с желтыми ленточками наискосок на кубанках, шли броневики, артиллерия... Разные слухи доходили с плацдарма: то красные белых разобьют, разгонят, размечут по степи, то, наоборот, беяки окружают красную пехоту где-нибудь на открытом месте и изрубят саблями, броневиками передавят.

Случалось, приводили на хутор захваченных в плен красных бойцов, жестоко истязали их, допрашивая, ножами до кости вырезали звезды на лбах. А ночью выводили в степь (хозяин просил, чтобы во дворе не расстреливали), и тогда доносились оттуда далекие предсмертные возгласы расстреливаемых: «За нас отомстят! Да здравствует коммунизм!»

Однажды, когда уже совсем стемнело, на хутор привели десятка полтора захваченных в бою раненых бойцов. Несмотря на то что они едва держались на ногах, беляки выстроили их под окнами штаба.

Конвоиры говорили, что среди пленных будто бы есть важный комиссар, только не знают, который именно.

Молодой однорукий генерал-осетин, появившись перед строем, скомандовал:

— Кто из вас комиссар, три шага вперед!

И после какой-то минуты раздумья шеренга вдруг качнулась и одновременно вся сделала три шага вперед.

На ночь их бросили в сарай, так как сейчас офицерам было не до них. В доме в эту ночь шла попойка, офицеры обмывали чин, только что полученный одним из их компании. Удостоенный нового звания, герой (товарищи называли его бронегероем) сидел за столом на почетном месте, рядом с одноруким генералом. Курчавый бронегерой был еще совсем молод, с его пучеглазого лица все время не сходило напряженное, торжественное выражение, будто он вот-вот рявкнет «ура» и прямо из-за стола бросится в атаку. Был тут среди офицеров и полковой священник, краснощекий здоровяк в рясе, над которым офицеры всегда подтрунивали; правда, он не сердился на них за это и перед боем давал каждому из них целовать руку. Сейчас эта рука привычно и умело разливала по стаканам игристое крымское вино, которое специально для обмывания чина привез только что прибывший из Крыма вояка; он, кажется, в боях еще и не бывал, но вел себя тут как человек обстрелянный и с весом. Лысоватый, с неприятным, следовательским прищуром глаз, он и за столом только то и делал, что набрасывался на каждого присутствующего с

неизменным вопросом: «Как мужики? Главное, как мужики к нам относятся?»

Подавая на стол, Наталка незаметно, но внимательно прислушивалась к их разговорам, хотя и не все в них понимала. Священник, подвыпив, говорил о каком-то чуде, которое якобы должно произойти по воле всевышнего в помощь белому воинству. Прибывший из Крыма рассказывал о том, что там, к сожалению, беспокойно, рабочие в севастопольском порту взорвали склады с американским снаряжением, а двум американцам среди бела дня на Графской пристани какие-то матросы побили морду. Представ потом перед военным судом, они оправдывались тем, что избили этих двоих по ошибке, якобы приняв американцев за англичан, хотя, впрочем, они вовсе не жалели о своей оплошности.

Когда было уже изрядно выпито и охмелевший священник затянул старинную казацкую песню, а бронегерой вступил в горячий спор с военным прокурором о новом, только что введенном Врангелем ордене Николая чудотворца, к столу пригласили и Гаркушу. Пригласил его лысоватый, чтобы, как он выразился, услышать от старика «мудрый голос самого населения». Больше всего крымчака интересовало, как проводится в этих местах врангелевский земельный закон.

— Закон? Это вы так величаете тот книксен, который сделал наш вождь в сторону крестьян? — с улыбкой заметил однорукий генерал.

Крымчак ждал ответа Гаркуши. Старик же, хотя и хорошо знал, с каким возмущением Чаплинка встретила врангелевское покушение на ее земельные наделы, решил быть поосторожнее.

— Об этом нам еще рано разговаривать, — ответил он крымчаку теми же словами, которыми отвечал ему штабной писарь на вопрос об Украине. — Вот вы, как

бывалый человек, лучше скажите мне: можно ли простому хуторянину, такому, скажем, как я, податься в какое-нибудь иностранное подданство? К примеру, как вон то колонисты живут на нашей земле, а законы над ними то наши...

— Вишь, куда загнул старик, — засмеялся, наполняя стаканы, молоденький офицер с тоненькими усиками. — А в какое же вы подданство хотели бы?

— Да нам в какое угодно, — сказал Гаркуша, — только бы не в чаплинское да не в каховское.

— Отец Пансофий! — обратился вдруг из угла к полковому священнику мрачный, уже, видно, совсем опьяневший офицер. — Вы хорошо помните апокалипсис?

— Помню...

— Не правда ли, там весьма точно определена наша судьба? — Офицер встал и глубоким, каким-то нутряным голосом произнес: — Приидут с севера сонмы варваров и загонят вас на полуостров, подобный Синайскому, и будет то конец всему, конец двухтысячелетнему царствию Христа...

— Этого нет в апокалипсисе!

— Нет? — удивился офицер. — А могло бы быть! — И он как-то через силу захохотал.

Речь зашла о красных, защищающих плацдарм, о каком-то мистическом экстазе, которым они якобы охвачены, о распространенном в красных войсках удивительном пристрастии к самопожертвованию во имя своей коммунистической идеи.

— Лежит разрубленный надвое, — рассказывал бронегерой, — станешь ему на грудь ногой, а он тебе: «За революцию умираю! Рад умереть за нее...» Вы понимаете, рад!

— А с этими, которые в сарае, — улучив момент, осторожно напомнил Гаркуша, — вы их в Крым отправите или как?

— Так у вас тут добыча есть? — сорвался с места лысоватый.

— Да еще и не простая: комиссары...

— Прикажете привести кого-нибудь... Хочу на живого комиссара вблизи посмотреть!

По приказу генерала в комнату ввели одного из пленных. Высокий, немолодой уже, с сединой на висках. Видно, рабочий. Сутулясь, остановился возле печи. Наталка с ужасом смотрела из сеней на его руки, безжалостно скрученные за спиной колючей проволокой, черные от запекшейся крови...

Лысоватый выскочил вперед:

— Ты кто?

Пленный молчал.

— Кто среди вас комиссар?

Измученное лицо пленного было непроницаемо.

— Молчишь? — истерично выкрикнул лысоватый. — Но ты еще не знаешь, какую мы цену предложим тебе!

Пересохшие, воспаленные жаждой губы пленного тронула едва уловимая усмешка.

— Какую?

— Жизнь! Разве мало, а?

Пленный выпрямился, мотнул головой.

— Жизнь коммуниста не покупается и не продается. Она принадлежит не ему.

— А кому? — с любопытством подошел к допрашиваемому священник.

Пленный обвел взглядом присутствующих.

— Тем, кто восстал против вас. Кто разобьет вас!

Лысоватый выхватил револьвер, но генерал не разрешил стрелять.

— Уведите! Мы еще с ним поговорим. Он еще начертит нам схему каховских укреплений.

Однако утром им поговорить так и не пришлось...

Офицеры спали в эту ночь как убитые. Спали, где кого сон свалил: тот на лавке, тот склонившись на стол,

кто-то храпел и под столом.

А тем временем из чулана исчезли две квартиры хозяйского самогона.

— Старшие пьют да гуляют, а вы чем хуже? — говорила Наталка, угощая самогоном часовых у сарая.

Часовые попались не из тех, кто отказывается от угощения. Немного прошло времени, как они уже пьяно храпели, обняв свои винтовки, а из потихоньку открытой двери сарая осторожно выходили арестованные, переступали через уснувших стражей и бесшумно исчезали один за другим в степи. Утром старый Гаркуша нашел возле ветряка лишь обрывки окровавленной колючей проволоки, которой скручены были их руки...

В тот же день конные конвоиры погнали степью на Чаплинку Гаркушину батрачку, на которую пало подозрение, что она ночью выпустила из сарая пленных.

XIX

Как морские валы во время шторма разбиваются о скалы, так одна за другой разбивались белогвардейские атаки о неприступный Каховский плацдарм. На других участках фронта — от Донецкого бассейна и до Днепра — бои шли с переменным успехом; можно было даже представить их перед союзниками как незаурядные победы: был взят Александровск, на несколько дней захвачено Синельниково, передовые врангелевские разъезды с высоких курганов уже видели трубы екатеринославских заводов.

И только этот каховский тет-де-пон висел на Врангеле, как проклятье. Врангель болезненно переживал неудачу атак на плацдарм. Он сам ревниво следил за всем, что там происходило. В штабном поезде

не раз врывался он ночью к телеграфистам, оглушая их своим громовым:

— Что в Каховке?

После неудачных атак на плацдарм и понесенных тяжелых потерь настроение в белых полках было подавленное. Не одному белому рыцарю эта широкая украинская степь с древними скифскими могилами казалась в эти дни тем последним полем боя, откуда им не уйти.

Чтобы поддержать упавший дух своих войск, Врангель учредил новый орден Николая чудотворца и первыми удостоил этой награды «ратных орлов своих» — корниловцев. По этому поводу решено было устроить парад корниловских полков. Местом для парада командование избрало большое прифронтовое село Чаплинку.

Корниловцы знали, что Врангель благоволит к ним: он сам с гордостью носит звание почетного корниловца, но для чего понадобился ему этот парад — парад измученных, оборванных на каховских заграждениях героев? Чтобы поддержать дух поредевших офицерских рот? Или, может быть, у вождя есть какие-то другие, свои, тайные, соображения и расчеты? Судя по всему, парад должен был быть торжественным, помпезным. Ходили слухи, что вместе с главнокомандующим сюда придут высшие чины ставки и постоянно находящиеся в Крыму представители военных миссий Америки, Англии, Франции, Сербии, Японии, Польши...

— Инспектировать едут? — с озлоблением говорили в полках участники каховских атак. — Что же, покажемся им, пускай увидят, чего нам стоила Каховка.

В полку, где после помилования служили разжалованные в рядовые Дьяконов и Лобатый, весть о параде была принята как насмешка.

— Пойдем, покажемся твоему Цезарю, — говорил Лобатый Дьяконову, зная, что он, Дьяконов, после того

как Врангель отменил ему смертный приговор, стал с еще большей преданностью служить своему кумиру.

Их полк в упорных неоднократных попытках овладеть Каховским плацдармом поредел едва ли не на половину. Не раз и не два бросались офицерские роты на всё укреплявшиеся позиции ненавистного тет-де-пона и, ничего не достигнув, обливаясь кровью, откатывались назад. Многих потеряли навсегда; были случаи, когда не успевали подбирать раненых, и они потом версты ползли степью по направлению к Перекопу. Наконец эти бесплодные, выматывающие атаки были прекращены. В полку в связи с этим поговаривали, что Врангель якобы решил подождать прибытия танков.

— Давно бы пора, — сказал на это Васько Лобатый. — А то уж больно дешево стали под Каховкой ландскнехты ее величества Антанты.

Был он в эти дни не в духе, обзывал себя и всех батраками Антанты, и, когда поредевший в боях полк, заняв позиции в степи, начал окапываться, Васька хоть и взял лопату в руки, однако больше сбивал ею головки подсолнухов и, лузгая семечки, мрачно издевался над теми, кто неумело и упрямо вгонял непривычными руками лопату в затвердевшую за лето таврийскую землю.

— Ройте, ройте, ваши благородия, — насмешливо бросил он Дьяконову и другим. — Только долго ли будете вы здесь владеть и княжить?

Дьяконов предпочел бы не слушать его мрачных пророчеств, ибо, как это ни странно, Васька Лобатый, этот пьяница, скандалист и циник, не раз уже оказывался прав, как оказался он прав еще тогда, когда, находясь под арестом в Ново-Алексеевском пакгаузе, уверял Дьяконова, что Врангель неминуемо выпустит их, так как ему без них не обойтись: «Мы ведь лошадки для его колесницы!»

И верно, немного времени пришлось им ждать, оба они оказались — не важно, что без офицерских чинов, не важно, что рядовыми в пехоте, но зато в каком! — в «первом из первых», в овеянном славой белом корниловском полку!

Теперь вот должны вывести их на парад. По правде говоря, после непрерывных боев их полк своим внешним видом меньше всего подходил для того, чтобы маршировать по плацу. Однако, когда специально прибывшие интенданты попытались ради такого случая по возможности принарядить белых героев, Васька Лобатый наотрез отказался менять свои боевые рубища на что-либо иное.

— Пусть видит вождь, как общипали под Каховкой ратных его орлов!

И даже обычно сдержанный, Дьяконов присоединился к недовольным:

— Без комедий! Какие есть.

— Только так, в чем есть, — поддержали и командиры. — Пусть видит ее величество Антанта все наши дыры и прорехи!

— Не нам краснеть за них!

И когда настал этот день, корниловцы, прямо из окопов, появились на чаплинской площади такими же, какими были и там, в боях: оборванные, грязные, заросшие щетиной, озлобленные на всех и вся. В своих изодранных на колючей каховской проволоке мундирах они были не похожи на самих себя, однако шли четким строем, с высоко поднятыми головами, которые они с достоинством несли напоказ своему вождю и иностранным миссиям... К месту парада корниловцы прибыли точно в назначенное время — к четырем часам дня, но здесь им пришлось ждать: главнокомандующий с гостями был еще где-то в пути. Впрочем, всех предупредили, что он может появиться с минуты на

минуту, и выстроенные полки, не расходясь, ожидали его приезда на чаплинской ярмарочной площади.

— Чем не Марсово поле? А? — повернувшись к Дьяконову, язвил Лобатый. — Когда-то тут ярмарочные прасолы баранами торговали, а сейчас мы будем держать парад перед высокочтимыми господами атташе... М-да.

Вооруженный с ног до головы, он стоит впереди Дьяконова и впрямь как разбойник в своей пестрой одежде: чуб из-под фуражки свисает почти до глаз, вместо рубахи какая-то клетчатая ковбойка с черными погонами корниловца, на ногах не сапоги, не краги, вместо них поверх узких галифе натянуты серые английские носки... Всю дорогу от окопов до Чаплинки перед глазами Дьяконова мелькали в клубящейся пыли эти английские носки, и он уже не может смотреть на них без раздражения.

Ждать пришлось довольно долго. Когда уходили из степи, еще ярко светило солнце, а тут уже и тучами небо стало затягивать, и ветер, поднявшись, погнал над площадью пыль...

XX

Приезда главнокомандующего ждали в этот день и на Перекопе. Здесь, на Турецком валу, по указаниям и под наблюдением французских военных инженеров все лето проводились работы по укреплению фортификационных сооружений. Западная печать сообщала, что на Крымском перешейке, на этой ключевой позиции, может быть возведена крепость, не уступающая по значению Гибралтару или Суэцу. В спешном порядке строилась специальная железнодорожная ветка, чтобы доставлять из глубины Крыма к Перекопскому валу строительные материалы,

стальные балки и крепостную артиллерию. Строительство железной дороги длилось уже много недель, однако работам еще не видно было конца.

Среди массы людей, согнанных сюда для работы, был с подводой и Оленчук. Несколько раз он пытался отпроситься домой — недалеко ведь! Не отпускают даже и на воскресенье. Уже и лошадь пала, а он все тянет лямку; уже и рубаха на нем изорвалась, а сменить не пускают — хоть пропадай.

Насыпают насыпь для полотна. За старшего здесь ротмистр Гессен, крикун и грубиян, из немецких колонистов. Оленчуку он даже ночью снится с оскаленными зубами. Кажется, он забыл все слова человеческого языка, за исключением брани и окрика: «П'шол!»

Железная дорога должна пройти по целине, испокон веков непаханной. Земля как камень. Для насыпи выбирали грунт лопатами с обеих сторон, предварительно подняв его плантажными плугами. В плуги запрягали по две-три пары волов. В один из дней волов не оказалось: их послали на станцию перевозить какие-то срочные грузы — колючая проволока прибыла, что ли. Работы, однако, не прекратились.

— Канат! — приказал Гессен.

Принесли канат.

— Кто умеет управлять плугом?

Плугом управлять? То есть пахать? А кто же из них, хлеборобов, этого не умеет?

Вызвался какой-то старовер агайманский, с дремучей, включенной бородой; уверенно подошел, стал к чапыгам, не смутился, что новый плуг, заграничный — из тех, которыми землю под виноградник поднимают. Однако кого же запрягать? Волы до сих пор не возвратились со станции. А Гессен, тыкая нагайкой, зачем-то отсчитывает, отделяет от

толпы десятка три самых мускулистых, выстраивает в два ряда... Что это он надумал?

Оленчук оказался впереди, за ним еще мужики, а дальше татары с Армянского Базара, старообрядческая молодежь, которой вера запрещает брать оружие в руки... Переминаются с ноги на ногу, ничего не понимают. Вернее, понимают, но еще не верят, даже мысль такую боятся допустить.

— Канат на плечи!

Как лунатики, как те, которых заставляют самим себе рыть ямы перед расстрелом, нагнулись, берут на плеча крепкий манильский канат.

— П'шол!

Какое-то мгновение они стоят еще неподвижно, словно не слышат команды, словно не в силах осознать, что это относится к ним, что это их, людей, впрягли в плуг и собираются на них пахать!

Свист нагайки приводит их в себя.

— Сыновей красным отдали? А? П'шол!

Согнувшись, как бурлаки, пошли. Лбами вперед, стиснув зубы так, что темнело в глазах. Казалось, не столь тяжело спине и рукам, сколько сердцу... Огненный клубок ворочался в груди Оленчука, жег острой болью и стыдом. Лучше бы убило где-нибудь там, в Карпатах, чем до такого дожить. Дождался, что на тебе, как на скотине, землю пашут! Выть, зверем выть хотелось. От боли, от несправедливости, от обиды. Не посчитались и с возрастом его, не постыдились набросить веревку на его контуженную, за батюшку царя свернутую шею. Самой тяжелой работы не боялся Оленчук; горы труда переверотил, горы соли из Сиваша на себе переносил, еще и сейчас не иссякла его сила. И не тяжесть этой египетской работы гнетет его, гнетет то, что за человека тебя не считают. Кое-кто помоложе пытался шутить, но и в шутках звучала только горечь. Кто-то мрачно ругался, кто-то проклинал Гессена,

придумавшего такое поругание, а Оленчук только сопел, отмеривая впереди шаг за шагом, роняя себе под ноги слезу за слезой.

Во время передышки с возмущением заговорили о том, что Гессен не имеет права так с ними обращаться, что нужно выделить депутацию и подать жалобу начальству. Выделить депутацию, однако, не пришлось: пронесся слух, что сам Врангель должен проехать здесь с иностранными гостями, значит, все сам увидит в натуре.

С того момента, когда со стороны Симферополя на дороге появилась вереница автомобилей, ротмистр Гессен мог уже не подгонять своих пахарей: их словно кто-то сразу подменил — сами тянули так, что жилы трещали, всю силу своей злости вкладывали в этот натянутый манильский канат. Пусть видит белый правитель, на ком здесь пашут, кого здесь вместо скотины запрягают в плуг.

Взъерошенный, в истлевших лохмотьях, выпятив костлявую загорелую грудь, Оленчук шел прямо на Врангеля, шел, обезумевший от обиды, и всем своим упрямым страдальческим видом взывал к правителю: «Смотри, смотри, как здесь строится для тебя дорога!»

Врангель сидел в передней машине, и автомобиль его летел, казалось, прямо на Оленчука, однако так и пролетел не остановившись. Мчась мимо бурлацкой ватаги пахарей, вождь скользнул по ним суровым, хозяйским взглядом.

И это все?

Потом, когда верховный уже вышел из автомобиля и в окружении своих блестящих гостей и адъютантов встал на валу, он подозвал Гессена к себе. Ротмистр бросился бегом. Хорошую, видно, получил взбучку, так как вернулся он еще более свирепым, чем обычно.

Остановившись, пахари ждали, что он скажет, надеялись, что хоть теперь наконец услышат от него

приказ выпрягаться, сбросить лямки прочь... Но вместо этого — даже ушам своим не поверили! — снова раздалось знакомое, только еще более бешеное:

— П'шол! Саботажники! Ковыряетесь, ковыряетесь, а работы не видно!

Оказалось, что выволочка ему была, да только не за то, что предполагали пахари: главнокомандующий был недоволен, что медленно подвигается работа. Нужно проложить каких-нибудь двадцать верст железной дороги, а до сих пор еще и половины не сделано. «Быстрее! Не терять ни минуты!» — такой приказ прозвучал из уст самого верховного.

И снова струной натянулась лямка, снова шагает впереди продубленный солнцем и ветром Оленчук.

Немалое расстояние между ними — между крестьянином и правителем, — огромные кучи колючей проволоки и сгруженных под валом строительных материалов разделяют их, а кажется Оленчуку, будто нет между ними ничего, будто сходятся они вплотную, глаза в глаза — крестьянин и диктатор, и между ними завязывается немой недобрый разговор.

Оленчук. Высоко стоите, ваше превосходительство. На весь край аксельбанты ваши сверкают, но не принесет вам добра ваше величие.

Врангель. Почему?

Оленчук. Вот вы промчались мимо нас, даже не заметив нашей обиды и горя. Темные мы, грубые, одежда на нас истлела, и вши с нас сыплются, а все же мы... тоже ведь люди.

Врангель. Я знаю тебя, Оленчук. Из таких, как ты, всегда выходили хорошие, крепкие солдаты, артиллеристы, саперы, пластуны. Возможно даже, что в прошлую войну ты был в числе тех, которыми я командовал. Я вижу, что сейчас тебе нелегко, тянешь так, что даже ребра выпирают, но, поверь, если бы не такое время, я охотно облегчил бы твою участь.

Оленчук. Вам сейчас не до нас.

Врангель. Да, идет сражение, в котором решается все, и думать я сейчас могу только об одной ответственности — о своей ответственности перед историей: я ее сын и избранник.

Оленчук. Ты сын, а мы, выходит, насыпки? Нас — в плуги?

Врангель. Напрасно волнуешься, Оленчук. Со временем я обещаю подумать и о вас.

Оленчук. А может, хватит?! Может, лучше сами о себе подумаем?!

Врангель. Без таких, как я, вам ничего не достичь. Вас без числа. Вас целые туманности. Но вы только тогда имеете пену, когда чья-нибудь могучая воля объединяет вас, чей-нибудь разум поднимает и ведет вас за собой. Запомни это, Оленчук.

Оленчук. Нас без числа, это правда, и вы привыкли считать нас только полками, батальонами и эскадронами, но шинелям да портянкам... А думали ли вы когда-нибудь, что под каждой шинелью — сердце, а под каждой солдатской шапкой — ум человеческий?!

Врангель. Что за тон, Оленчук? Я тебя не узнаю. Комиссаров наслушался? Не забывай, однако, что я могу тебя в бараний рог... И настоящее и будущее твоё в моих руках!

Оленчук. А ваше?

Врангель. Мое — в божьих!

Оленчук. Вот как? Слыхал я, будто бы у вас теперь мода такая пошла — блюдечко по ночам вертеть, разных духов загробных на совет вызывать; говорят, будто сами наполеоны вам голос с того света подают. Не знаю, что они пророчествуют, все эти духи потусторонние, а я, хотя и не дух, хотя и не колдун, что умеет будущее предсказывать, все же скажу: не вечно вам стоять на этом высоком валу перекопском. Еще узнаете вы гнев народный, и изгнание, и чужбину...

В Чаплинке напротив церкви, перед полками, поставлен аналой, подсвечники, все необходимое для молебна. Многочисленное духовенство, занятое последними приготовлениями, видно, неспокойно — волнуется за успех парада: то один, то другой из церковнослужителей тревожно поглядывает на помрачневшее небо, быстро заволакивающееся тучами.

— Боятся наши благочинные, — злорадно говорит Лобатый. — Хотя бы добрый дождь шпарнул на их мундиры!

— С этого дождя не бывает, — услышал вдруг Дьяконов где-то позади себя спокойный, рассудительный голос. — Сухая гроза...

Оглянулся. Какой-то крестьянин в чабанской шапке с мальчиком идет, прихрамывая, позади выстроенного полка. Оба на ходу поглядывают куда-то вверх, на клубящиеся тучи, на далекие предвечерние молнии.

Сухая гроза... Далеко на горизонте уже несколько раз полыхнуло и впрямь как-то сухо, беззвучно: пых-пых! словно отсветы далеких небесных батарей.

Дьяконову хотелось бы знать, кто он, этот крестьянин, который прошел, прихрамывая, за их спиной. Кажется, кто-то знакомый — не Кулик ли? А может, другой кто-нибудь из тех, с которыми знался, с которыми курил, когда стоял молотобойцем в паре с Оленчуком у наковальни... При воспоминании о кузнице волна какого-то далекого тепла нахлынула на Дьяконова, и ему вдруг стало неловко, он и сам не знает отчего. По временам ему кажется, что он кого-то обманул, надул, но кого же? Не самого ли себя? Где-то там, за церковью, расположена кузница, в которой он стучал молотком прошлой весной. Быть может, именно в этом — в том, что он стоял у наковальни в восставшей

Чаплинке и копался рядом с Оленчуком на его присивашском винограднике не как офицер с подчиненным, нет, а как человек с человеком! — как раз и заключалась та простая подлинная правда, которая ему еще и до сих пор видится то в одном образе, то в другом. «Продана ваша армия». Чей это голос? Оленчука? Он тогда резко возразил ему. — «Мы не от Антанты — мы сами по себе. Хотим такую жизнь завоевать, чтобы на прошлую не была похожа, да и на вашу...» И что же у него осталось от прошлых убеждений, чем вооружена сейчас его душа? «Святая Русь»? Широкая демократия, которую вождь сулил им в первые дни своего прихода к власти?

— Демократия, ха-ха! И ты веришь? — хохочет Лобатый, когда заходит об этом речь. — Штык, а не демократия! Штык и намыленные веревки для всех, кто не согласен, чтобы вождь сам думал за них!

Что же остается? Голос чести? Доблестно стоять до конца, не покидая борта гибнущего «Титаника»? Во всяком случае думать о чем-то другом, искать чего-то другого сейчас уже, видимо, поздно...

— Р-р-равняйсь!

Пружиной вскинулось тело.

Замерли выстроенные полки.

По дороге от Перекопа, растянувшись длинной лентой, мчатся автомобили. Несутся навстречу тучам пыли, навстречу взвихренной соломе и листьям, которые ветер гонит по степи прямо на них.

На полной скорости автомобили влетают в Чаплинку, пугая людей резким металлическим криком сирен. Впереди мышиного цвета «фиат» главнокомандующего. Весь кортеж машин останавливается у церкви. Дьяконов, вытянувшись, видит, как из первого автомобиля выходит главнокомандующий, за ним генералы Шатилов, Кутепов и какие-то незнакомые чины в иностранных

мундирах. Из других машин выходят тоже иностранные гости, те, кого судьба вынудила наконец покинуть непробиваемые каюты своих дредноутов и всерьез заинтересоваться какими-то там Чаплинками, Каховками, Алешками... Длинный проделали путь и, изрядно наглотавшись степной пыли, не спеша утираются теперь платочками, сгрудившись у церковной паперти.

Тем, кто стоит ближе к автомобилям, слышно, как представители миссий, здороваясь с начальником дивизии, громко называют свои фамилии:

- Адмирал Мак-Келли!
- Полковник Кокс!
- Полковник Уолш!
- Капитан Вудворд!
- Майор Этьеван!
- Майор Такахаси!

И еще, и еще... Самоуверенные, держатся независимо, на лицах, в жестах выражение спокойного превосходства.

Свысока поглядывают на все окружающее: на выстроенные полки, на хоругви, на чаплинскую деревянную церквушку, которая, видимо, кажется им очень экзотической.

В душе Дьяконова поднимается какое-то недоброе чувство против этих лощеных атташе, против их элегантных, таких неуместных перед истерзанными полками мундиров и даже против их фотоаппаратов, так бесцеремонно наведенных на старые добровольческие полки. Лобатый, когда на него наводят аппарат, умышленно начинает яростно чесаться. Дьяконов понимает его: сейчас он и сам сильнее, чем когда бы то ни было, чувствует себя... ландскнехтом.

Врангель, окруженный густой толпой мундиров, русских и иностранных, направляется к аналою.

Начинается молебен. Торжественные речитативы молитв то и дело нарушаются сухим щелканьем фотографических затворов. Не только иностранные корреспонденты, но и представители миссий жадно ловят на пленку то мрачно застывшие перед ними полки — «старинные русские полки!», то духовенство в живописных одеждах, то народ. Народ представлен здесь главным образом оборванной чаплинской детворой, которая, подобно воробьям, расселась на деревьях и наблюдает за церемонией оттуда, с высоты колючих чаплинских акаций.

Молебен приближается к концу, хор корниловцев поет «Многая лета», все присутствующие опускаются на колени. Дьяконов слышит, как всхлипывает у него за спиной старый корниловец Млашевский, весь в ранах ветеран полка. Дьяконову тоже тяжело, спазмы сжимают горло. Такая минута! Вся площадь будто опустела в один миг, будто полегла под саблями: все стоят на коленях, покорно склонив головы, словно перед неизбежностью своей судьбы. Слышно, как ветер лопочет в хоругвях да разрывает душу хор корниловцев своей трагической молитвой.

Представители миссий, как и все остальные, тоже стоят на коленях. Вот Мак-Келли... Вот сверкает очками в роговой оправе японец... Какая сила, какая неизбежность, будто подкосив, поставила их на колени здесь, в пыли чаплинской ярмарочной площади? «Стойте, стойте! — с болью и надрывом звучит в душе у Дьяконова какой-то недобрый внутренний голос. — Впервые стоите вы на коленях на этой несчастной, так обильно политой кровью земле...»

Когда хор стихает, откуда-то сверху, с акаций, доносится удивленно-насмешливое:

— Ванька, Ванька, посмотри на того японца: в окулярах, а не видит! Коленями в коровий кизяк угодил!

— Вот кого хотел бы я сейчас заснять в этом виде... В назидание потомкам, — едко говорит Лобатый, обращаясь к Дьяконову, который не отрываясь глядит все туда же, в сторону согбенных, склонивших колени в пыль и навоз чаплинской площади генералов и высоких гостей — представителей «ее величества Антанты».

XXII

Небо все темнеет, все ниже нависают взбаламученные темно-бурые космы туч над площадью, над вытянувшимся перед полками вождем. Чем ближе вечер, тем явственнее, тем грознее на клубящемся горизонте немые небесные вспышки.

Врангелю нравится эта торжественная церемония в бурых тучах пыли, что гонит по степи ветер, при вспышках далеких молний; импонирует вождю и этот хор мрачных корниловцев, выстроившихся для своей трагической молитвы под темным, низко нависшим небом. Вождь готов верить, что сама природа жаждет принять участие в происходящей церемонии, возводит над ним и его войсками свой грозно-величавый храм...

Врангель время от времени испытывал настоящую потребность в парадах. Они подымали его дух, он молодец душой, когда взводы и роты проходили мимо него, печатая шаг, повернув к нему решительные, отупевшие от напряжения лица. На плац-парадах он, как нигде, верил в свою избранность, в то, что его жизненное предназначение — быть вождем. Однако на этот раз назначить в Чаплинке, в прифронтовой полосе, корниловский парад Врангеля побуждали и чисто практические мотивы. Привлечь к своим войскам внимание союзников, подстегнуть всех этих людей, от которых зависят поставки, — вот чего в первую очередь хотел достигнуть главнокомандующий

своим необычным парадом. И то, что потрепанные в каховских атаках «боевые орлы» — корниловцы решили выйти на парад прямо из окопов, решили в своем неприглядном виде продефилировать перед иноземными атташе и представителями иностранной прессы, не только не встретило возражений со стороны главнокомандующего, но, наоборот, вполне отвечало его замыслам и могло только способствовать достижению поставленной цели. Чем хуже, тем лучше!

Дело в том, что в последнее время поставки военного снаряжения из-за границы заметно сократились. Причины... Главная из причин — все возрастающее международное движение протеста рабочих и докеров против военных поставок, против каких бы то ни было военных поставок в Польшу и Крым. Вся Европа бурлит. В городах возводятся баррикады. В Ирландии — красная гвардия, в Лондоне рабочие лидеры грозят в случае интервенции против Республики Советов организовать Советы в самой Англии. На Американском континенте положение осложняется еще и тем, что в Соединенных Штатах в самом разгаре предвыборная кампания — конгрессменам приходится маневрировать между двух огней... Но ведь и он, Врангель, не может ждать! Говорят, завтра. А ему не завтра, а сейчас нужны танки, побольше новых мощных танков, чтоб стереть с лица земли этот ненавистный — он может стать смертельным — каховский тет-де-пон. А ему даже для тех танков, что у него есть, не хватает газа, и аэропланы тоже стоят без горючего, привязанные веревками в степи.

Разговоры с Мак-Келли становятся чем дальше, тем резче. Последний — накануне отъезда сюда — был уже просто нестерпим. Как уверяет глава американской миссии, рабочие Чикаго, Сиэттля и других городов, возмущенные нотой Кольби, угрожая стачками и

созданием, как в Англии, «Комитетов действия», требуют, чтобы ни один патрон не был послан в белый Крым.

— А обращение к морякам всего мира не допускать перевозок оружия?! Думаете, нью-йоркские докеры остались к ним глухи? — с раздражением говорил Мак-Келли. — Они суют палки в колеса не хуже других, уверяю вас! С «Вестмаунта» уже перед самым выходом в море выгрузили назад боеприпасы, а «Истери Виктор» сможет выйти в Крым только на следующей неделе...

— А придет когда? — не сдержавшись, крикнул Врангель. — Когда меня уже разгромят?

Мак-Келли на этот выкрик только пожал плечами. Так пусть же смотрят теперь, пускай из первых рук узнают заокеанские толстосумы, в каких условиях сражается тут горстка «рыцарей белой идеи», противостоя опасности, угрожающей всем им. Глядя на свое выстроившееся словно для встречи с суровой неведомой судьбой войско, глядя на иностранцев, хозяйским глазом обозревающих его овеянные боевой славой полки, Врангель не мог спокойно думать о Мак-Келли и всех тех, что стоят за ним. «Презренные, тупые барышники! Торгуются из-за каждого патрона, из-за каждой пары сапог. А разве только для себя, разве не ради них ходят в атаки и умирают на каховских проволочных заграждениях мои доблестные воины? Так хоть вооружите же их не торгуясь, снарядите по-королевски! Жалко денег, а нашей крови не жалко? Погодите, господа! Еще, может быть, сведет вас судьба один на один с разлившимся по земле красным потоком! Не раз еще тогда вспомните меня и этот мой последний белый Арарат!»

Церемониальный марш открыла знаменитая офицерская полурота. Что это? Врангель чуть ли не вскрикнул от боли при ее приближении. Как поредела! Ведь еще недавно видел ее полностью

укомплектованной, а сейчас... и это всего вас осталось для предстоящих атак?

Четко, стройными рядами проходят оборванные, нахмуренные полки. Смотрят исподлобья! Почему-то не столько на вождя, сколько на иностранных атташе, обступивших его. Проходят, словно интернированные, словно арестанты, как бы намеренно рисуясь своим запущенным видом, как бы испытывая болезненное наслаждение в том, чтобы на глазах у всех, как некогда юродивые на папертях во время великой смуты, раздирать свои раны, срывать струпья. Пускай кровоточат — глядите! Не прячем своих болячек, своей озлобленности, своего неверия и отчаяния...

— Парад обреченных, — бросает кто-то по-английски в кучке журналистов.

Врангель это слышит. Парад обреченных? Ошибаетесь, господа! Еще не все потеряно, нет! Он еще вырвется за Днепр в тылы красных, на соединение с Западом, он еще удивит мир блеском своей стратегии...

И снова слышит разговор среди журналистов об этих его славных офицерских ротах: что-то в них, дескать, есть неестественное. Нонсенс. Офицер, мол, потому и офицер, что он окружен в бою солдатами, что он в центре подчиненных. А эти бессолдатные офицерские роты, на них лежит печать чего-то трагического, какой-то обреченности... В самом деле, где же его армия? Та великая народная армия, которую он надеялся собрать здесь, в украинских степях? Украина наотрез отказала ему в этом, донские станицы тоже не откликнулись, не поднялась на зов его и Кубань... Сегодня по пути сюда он сделал страшное для себя открытие: оголенный тыл! За всю дорогу от Джанкоя до Перекопа и от Перекопа сюда не встретил живой души. А это же основная магистраль, идущая к его передовым позициям. Случись это в недавние времена, в ту войну, на такой дороге с войсками не

разминутся бы: скачут, бывало, без конца вестовые, стрекочут мотоциклисты, тысячами ног пылят резервисты, новобранцы... Сейчас пусто... безлюдно за спиной его войск. Только вихрь переметнется через дорогу, да пастухи там и сям маячат в степи, но ты не их вождь, и о ни не твое войско.

Зато Красная Армия, кажется, не знает, куда девать свои пополнения. Сколько уже перебито, сколько перемолото, а они все идут и идут. Падает сотня, а родит тысячу. В чем дело? И все же, господа, унывать еще нет оснований. Вы еще увидите, что будет с красными, когда он начнет громить их тылы. В конце концов разве дело в количестве? Армии их превратятся в толпы, если пустить на них танки, с которыми они совершенно не умеют бороться...

Через площадь уже идет на рысях кавалерия, любимая его кавалерия, что ходит в атаки, как на праздник, — с папиросой в зубах. Придерживаясь традиции, она и сейчас мчится через площадь, сжав в зубах папиросы, лихо распустив чубы, только почему же в глазах всадников вместо веселья и удали какая-то тяжелая, злобная муть?

— А где броневики? — подойдя к Врангелю, холодно осведомляется полковник Кокс, недавно прибывший из Соединенных Штатов.

— Какие броневики? — делает удивленный вид Врангель, хотя он ждал этого вопроса.

— Я имею в виду те броневики, которые вместе с конницей участвовали в штурме каховских укреплений. Или, может быть, их успели уже растерять?

Дивизия действительно имела на вооружении немало броневиков, но их, как и артиллерию, корниловские командиры с согласия главнокомандующего нарочно решили на парад не выводить. В их расчеты совсем не входило показывать

здесь самое ценное, чем снарядили их союзники. Наоборот, чем хуже, тем лучше!

— Броневики ремонтируются, — сдержанно ответил американцу Врангель. — Сегодня вы их не увидите, как не увидите и тех давно обещанных танков, которых мы так терпеливо ждем.

— Танки будут, — сухо заверил полковник. — Были бы экипажи.

Для завершения парада иноземным гостям был приготовлен сюрприз — джигитовка с «умыканием» казаками девушки-невесты.

Чаплинские оборвыши, еще выше взобравшиеся на деревья, чтобы увидеть все, вдруг закричали на всю площадь:

— Девчат везут! Наталку, Гаркушину наймичку! И тех, что за частушки в холодной сидели.

— Вон казаки уже ставят их в хоровод!

Нервно защелкали фотоаппараты. Казаки-джигиты, мчась, на полном скаку подлетают к построенным в хоровод девчатам, и вот уже один из них, перегнувшись, на скаку выхватывает девушку из круга и мчится с ней дальше, куда-то в степь.

— Наталку схватил! — кричат с деревьев ребята. — В кучугуры помчался!

За похитителем с диким гиком и свистом понеслась, стреляя в небо, погоня. А вслед им — и похитителю, и похищенной, и погоне — в полном восторге стреляли фотоаппаратом иностранцы, стреляли до тех пор, пока казаки не скрылись в потемневшей, затянутой пылью степи.

XXIII

Плацдарм жил своей жизнью: строили, совершенствовали линию обороны, учились.

Воспользовавшись передышкой, красноармейцы добровольно вызвались помочь крестьянам быстрее убрать урожай, из-за непрерывных обстрелов так и неприбранный и дожидавшийся дождей в копнах, разбросанных по полям плацдарма.

— Все на субботник помощи землеробу!

И вот уже видишь латыша высоко на возу, старательно укладывающего снопы, видишь сибиряков, которые подают ему, подцепив на вилы, сразу чуть ли не полкопны, видишь, как какой-нибудь горожанин, смеясь, везет скособоченную, криво наложенную арбу, а целый взвод красноармейцев, окружив ее, дружно поддерживает хлеб плечами. Всюду по дворам, по околицам Каховки, Большой и Малой, вершат вдовам стога, на токах гупают цепи, среди молотильщиков на коленях в свежесбитой соломе опять-таки красноармейцы, и вот уже дядько-селянин, подзвав своего молодого напарника, какого-нибудь металлиста или рудокопа, сроду не державшего цепа в руках, неторопливо растолковывает ему, как надо этим инструментом орудовать, чтоб попадать по снопу, а не дядьку по лбу.

Дождалась помощи и та молодлица, что в первые дни строительства плацдарма все носила хлопцам холодный квас и, приняв тогда Левка Цымбала за латыша, почему-то выделила его среди всех прочих. Дусей звали эту молодицу. И вот для этой Дуси в одну из ночей Цымбалу и Ярьсько выпало возить снопы. Копны ее стояли далеко в степи, и днем это место все время простреливалось; даже ночью подъезжать туда было не совсем безопасно. На их счастье, ночь была темная и ветреная, с запоздалым громом и зарницами с вечера. Ожидали, что ветер нагонит дождь, а его так и не было, только вихри сухой пыли носились по степи.

В такую ночь за шумом ветра врагу не слышно было ни дробного постукивания колес, ни храпа коней, и

можно было, подъехав незамеченными, вытащить копну у врангелевцев из-под самого носа.

Снопы на возу укладывал Данько, Левко с Дусей подавали. Много не накладывали, так как ветер рвал солому, и Дуся боялась, что как налетит, как ударит, так и воз перевернет.

За первую половину ночи успели сделать две ходки, и все пока было в порядке, если не считать того, что порывами ветра несколько раз подымало у Дуси юбку, и Левко, глядя на эти ветровы проказы, хохотал на всю степь. А уже после полуночи в степи заметно посветлело — верно, месяц за тучами поднялся, — и стало все виднее.

Однако не возвращаться же было назад... Только остановили они воз у копны и стали накладывать, как вдруг где-то совсем близко в степи дробно застучал пулемет, джикнула в воздухе пуля, вторая, третья... Шальные или в самом деле заметили и стреляют по ним? Во всяком случае, пришлось остановить работу и переждать. Все трое примостились тут же, под копной: Ярьсько с одной стороны, Левко с Дусей — с другой, за снопом. Они же придерживали за вожжи и лошадей, чтоб, испугавшись, случаем не ускакали.

Стрельба вспыхивала то в одном, то в другом месте. Несмотря на поздний час, Данько знал: тысячи людей сейчас не спят, застыли у пулеметов, лежат в дозорах, прислушиваясь сквозь звон сухих стеблей, не дрожит ли у Перекопа земля под тяжестью этих таинственных новых чудовищ — танков, которые беляки все грозятся пустить на плацдарм... Шумит ветер, теребя на возу снопы, а небо все в летящих облаках, то сизых, то почти голубых — сквозь них все сильнее просачивается свет луны, угадываемый где-то там, за ними...

Из-за снопа до Ярьсько явственно доносится взволнованный, страстный шепот Дуси, которая, обрадовавшись, как видно, перестрелке, решила сама

наконец открыться Левку в своих чувствах. Даньку нравится этот рвущийся наружу жаркий огонь женского сердца, эта пылкая смелость любви, с какой молодница тянется к своему избраннику.

— Отпросился бы ты у командира, пришел бы ко мне хоть ка часочек, — почти песней звучит ее полушепот там, за снопом. — Я б тебе и голову помыла, и чуб твой расчесала бы, замараха ты мой хороший!

Слышно, как Левко довольным баском возражает: медведь, мол, никогда не умывается, а здоров...

Она смеется:

— Придвигайся поближе ко мне.

— Так я уже близко.

— Еще ближе!

— Ха-ха! А не боишься, как обниму?

— Обнимай!

Увлеченные друг другом, они, должно быть, совсем уже забыли о Даньке, обо всем окружающем, не слышат, как постреливают белые. Шутят, смеются, играют, как дети. «Обними меня, обними!» — слышен ее бесстыдный, жадный и радостный голос, и тело ее, кажется, пышет огнем сквозь снопы; вслед за возней сочный звук поцелуев, обрывающийся возгласом Левка: «Т-пру, дьяволы!» Это он на лошадей, которые никак не привыкнут к стрельбе и, пугаясь, то и дело дергают вожжи, мешая им целоваться.

Теперь влюбленные уже договариваются о будущем. Только белякам крышка — так и поженятся. Дуся готова бы и сейчас, не откладывая ни на день, однако Левко бубнит, не соглашаясь:

— Пока Перекоп не будет наш, ты и не думай. А то мировой пролетариат мне этого не простит.

— Простит, простит, — смеется она.

И снова трещат снопы, играют, борются, резвятся, вся копна ходуном ходит не так от ветра и бури, как от их возни, и опять все завершается звуком поцелуев, и

опять лошади, пугливо дергая вожжи при посвистывании пуль, не дают им доцеловаться.

Нестерпимо сладко слушать Даньку, как они блаженно безумствуют, слышать их влюбленный шепот, смех, возню, и особенно это жаркое: «Обними, обними!» Нестерпимо, а в то же время слушал бы и слушал без конца эту буйную радость чужой любви, слушал бы, как прекрасную песню, под которую и своя любовь становится еще дороже, еще желаннее... Где Наталка? Кажется, встал бы и сквозь посвист пуль, сквозь колючую проволоку и окопы, сквозь вражеские заставы пошел и пошел бы разыскивать ее, свою синеокую... Ночь гудит ветром, тучи над степью летят, сквозь их клубящиеся седые пласты луне никак не пробиться. И так же, как луна, что только угадывается за тучами, чудится Даньку где-то там и Наталка и кажется иногда, что вот она уже выплыла из светлой бездны и, на какой-то миг застыв, улыбается ему оттуда.

Стрельба тем временем утихла, и ветер словно бы улегся — над степью простерлась тишина, вокруг потемнело, как это бывает перед рассветом. Данько встал из-под копны.

— Будет вам миловаться, — окликнул он влюбленных. — Пора за работу.

Дуся живо, как девушка, вскочила и заговорщицки счастливо улыбнулась Даньку, а за ней не спеша выбрался из-под копны и Левко.

Не успели они уложить и десятка снопов, как снова поднялась невдалеке пальба, запели пули, и они, бросившись в снопы на арбу, ударили по лошадям.

Остановились в балочке, где пули уже не могли их достать. Стрельба не утихала.

— Опять кто-то через фронт переходит, — высказал догадку Левко, прислушиваясь.

Последнее время редко выпадала ночь без того, чтобы не являлся кто-нибудь оттуда, с белогвардейской

стороны, на плацдарм красных. Попроутся то бедняки селяне, которых непомерное горе пригнало сюда, то связные от крымских партизан или несколько красноармейцев из захваченных в плен, которых не успели расстрелять... Кто-то, верно, пробовал счастья и сегодня...

В степи со стороны позиций слышался неясный гомон. Скоро в предрассветной мгле показалась большая группа людей: красноармейцев, селян, женщин, которые шли с кошелками, как на базар... Впереди вели кого-то под руки. Когда подошли поближе, Яреско разглядел, что ведут девушку, видно только что раненную: лицо бледное, голова бессильно склонилась на плечо какому-то старику крестьянину с растрепанной седой бородой.

Вот еще ближе... Но что это? Даньку показалось, что он теряет рассудок...

— Наталка!

Она подняла глаза. Крик рвался из этих глаз — больших, испуганных.

Бледная, оборванная, косы распущены. Что с ней? Откуда она здесь?

— Намучились мы с нею, — произнес старик, останавливаясь у воза. — Прямо под пули идет, хотела, чтоб убило.

— Это все их джигитовка, — прибавил другой. — «Умыкнули» для забавы иностранцев.

Нетерпимо больно было Даньку глядеть на нее. В глазах — страдание. Губы искусанные, в запекшейся крови... Пока женщины перевязывали Наталку, Данько смотрел ей в глаза, где не было сейчас ничего, кроме горя, смотрел, и — измученная, несчастная — она словно еще дороже становилась ему. Когда перевязали, сам помог поднять ее на арбу, сам уложил на снопах и, встав в передке, взялся за вожжи.

В Каховке, когда сдавал ее в лазарет, его спросили, кто она.

Ответил неожиданно для самого себя:

— Жена моя.

XXIV

Все короче становились дни, холоднее ночи. Все чаще осенними тучами заволакивало таврийское небо. Седые заморозки на рассвете, дыхание северных ветров напоминали обоим воюющим лагерям о неотвратимом приближении зимы. Еще одна военная зима? С голодом, холодом, тифами? Нет, это было выше сил растерзанной, разоренной гражданской войной страны. Народ, Ленин требовали от своей армии, чтобы еще до зимы с войной было покончено.

Южный фронт получал все новые и новые пополнения. На Каховском плацдарме было уже тесно от войск. Массами шли красные добровольцы, прибыла на плацдарм сформированная в Казани Ударная огневая бригада, хорошо экипированная, хорошо оснащенная, с минометами, огнеметами, которых раньше здесь не было.

«Ударники» выделялись среди других не только своими новыми шлемами с ярко-красной звездой, но и хорошей выучкой и крепкой товарищеской спайкой, несмотря на то что у них в бригаде было полное смешение языков: там можно было услышать русских, украинцев, татар, вотяков, чувашей...

Осенью красные войска Южного фронта уже имели значительный перевес в живой силе, в пехоте. Однако Врангель по-прежнему еще сохранял преимущество в кавалерии, броневых частях, в частности в танках — этом новейшем и грозном оружии, которым он надеялся в конце концов сломить Каховскую оборону. Чтобы

ликвидировать перевес Врангеля в коннице, в конце сентября было принято решение перебросить с польского фронта на Южный Первую Конную армию, поскольку в это время с Польшей уже велись мирные переговоры.

Тринадцатого сентября Первая Конная двинулась походным порядком на юг. Ей предстояло преодолеть расстояние почти в семьсот километров, пройти эти сотни километров по разбитым осенним дорогам с разрушенными мостами на усталых от непрерывных переходов лошадях, к тому же пройти как можно быстрее. Сам Ленин в эти дни следил за переходом Первой Конной и призывал для ускорения марша принять все меры, «не останавливаясь перед героическими».

С того дня как Первая Конная двинулась Правобережной Украиной на юг, тревога не покидала белые штабы. Врангель и его генералы отлично понимали, кто идет против них: лучшая конница мира. Нетрудно было догадаться, какой опорой явится для Первой Конной Каховский плацдарм, если до ее прихода его не ликвидировать. Врангель не терял времени. Пользуясь тем, что державы Антанты опять усилили свою помощь поставками новейшей боевой техники, а также пополнив свои корпуса переправленными из Франции военнопленными, белый вождь решил одним молниеносным ударом покончить с красными на юге, разгромить их раньше, чем здесь появятся передовые эскадроны Ворошилова и Буденного.

Поскольку неоднократные попытки взять Каховку в лоб не увенчались успехом, Врангель решил уничтожить Каховский плацдарм другим способом. Замысел его состоял в том, чтоб повторить маневр красных и создать у них в тылу, по ту сторону Днепра, свой плацдарм. С лихорадочной поспешностью

разрабатывался белой ставкой план Заднепровской операции, признанный истинным стратегическим шедевром Врангеля. Разработанный во всех подробностях, план этот не оставлял места для сомнений в его успешном осуществлении: первым ударом отрезают Каховский плацдарм от его тылов, а затем двойным натиском — с тыла и с фронта — ликвидируют его, превращают в братскую могилу. Окружив и уничтожив красных у Днепра, врангелевские корпуса соединяются в районе станции Апостолово и оттуда развивают удар на запад, в глубину Правобережной Украины, навстречу западным союзникам — Пилсудскому, Петлюре или кому бы там ни было.

Уже наступала осень. Пожелтели плавни днепровские. Днепровские плавня — это целый край с прибрежными лесами, заливными лугами, с тихими озерами, заводями и протоками, где еще запорожцы ловили бреднями рыбу, и от самих названий здешних — «Скарбное», «Подпольная», «Базавлук» — веет тайной давних запорожских легенд...

Широк и чист тут Днепр, и в самом деле, как небо разлито по земле. Море — рукой подать, и течет он не торопливо, величаво, разливаясь тысячью рукавов, застаиваясь в лиманах и заливах, оmyвая плавни и песчаные мели, да в кудрявых столетних вербах острова. Полно тут рыбы, видимо-невидимо дичи. До середины лета стоит в плавнях днепровская вода, а когда спадет, на удобренной плодородным илом земле крестьяне разводят огороды, и растет здесь тогда картошка — из каждого куста по ведру выкапывают, наливаются тыквы, что и не обхватишь. Осень в плавнях тихая, спокойная. Беззвучно роняют вербы пожелтевший лист на чистые, неподвижные плесы. Густо синее небо и вверху и внизу. Не слышно ни голосов людских, ни птичьих песен в зарослях, хотя

птицы, отяжелевшие за лето, спускаются здесь целыми стаями, чтобы перед отлетом на юг отдохнуть на плавневых, далеких от гула войны озерах. Но вот война ворвалась и сюда, на десятки верст затрещали вдоль Днепра плавни, поднялись среди ночи птичьи стаи, напуганные гомоном людей и конским ржанием... В ночь на девятое октября в районе Ушкалка и Бабино через Днепр внезапно переправились два врангелевских корпуса — конный и армейский — и сразу же повели наступление в направлении станции Апостолово. Днем раньше в районе острова Хортицы на правый берег переправились три белые дивизии и, отбросив выставленную для прикрытия стрелковую дивизию красных, стали развивать удар согласно поставленной задаче. Вскоре на правом берегу Днепра, в тылу красных войск, врангелевцы уже имели плацдарм глубиной в двадцать с лишком верст.

Два плацдарма образовалось теперь: один на левом берегу Днепра — красный, другой — на правом — белый. Примерно равные по значению, так как каждый из них угрожал всему тылу противника. Какой из них выстоит, какой дольше удержится? Это теперь зависело уже от того, чьи нервы окажутся крепче... Кровавопролитные, жестокие завязались бои. Над плавнями и по всему Заднепровью, от Хортицы до Никополя и ниже не смолкал гул канонады.

Одновременно с ударом по Заднепровью врангелевцы повели наступление и в лоб на Каховку, бросив на защитников плацдарма свою самую грозную силу — танки.

XXV

Впервые шли танки по этой земле. Шли старинным перекопским трактом, тем самым, по которому гнали

когда-то с Украины полонян татары; кошевой Иван Сирко с запорожцами вызволенных пленников по нему из ханской неволи выводил; по соль здесь ходили в Крым чумаки и, скошенные чумой, умирали в степи на безводье у шляха, обратив глаза к небу, к орлам.

Старинным этим шляхом грохочут теперь танки от Перекопа на север. Стальные громыхающие чудовища, они движутся в степь, как воплощение самой войны, ее слепой, все подминающей под себя силы. Сторонятся их чабаны в степи. Напуганные громом, люто лают на них чабанские помощники — овчарки. Вечером танки входят в Чаплинку, и гудит под ними земля, и звенят по всему селу стекла, и, испуганно выглядывая из окон, матери отрешиваются, как от нечистой силы, от насланных сюда панами стальных этих страшилищ. В Чаплинке танки делают остановку. Выстраиваются возле церкви, на той самой площади, где недавно происходил парад, служили молебен и в тучах поднятой ветром ныли стояли, преклонив колени, корниловские полки, врангелевские генералы и иноземные атташе. Молились и вымолили: вот они, стальные горы, здесь, на площади, — такая заденет хату, так и хату развалит, не то что солдатский окоп.

Экипажи сплошь офицерские, одеты в хром, держатся самоуверенно, высокомерно. Перед тем как двинуться дальше, раскупоривают шампанское, весело чокаются:

— До завтра в Каховке!

Распив шампанское, разбегаются по танкам, исчезают в их бронированных чревах и выводят их снова на шлях, чтобы, нестерпимо проскрежетав через село, вонючим чадом прочадив поля, явиться на рассвете в осенней, первым инеем посеребренной степи под Каховкой...

На плацдарме, несмотря на ранний час, никто не спал. Танков еще не было видно, но по отдаленному

грозному гулу, что все явственнее надвигался из глубины подернутой предрассветной мглой степи, тысячи притаившихся в окопах бойцов догадались: это они!

— Танки! Танки!!! — тревожным перекликом прокатилось от передовых позиций до запасных, от запасных до Днепра, до самых переправ.

Черные дни переживал плацдарм. Каждый из бойцов знал, что опасность теперь удвоилась. Ждать нападения теперь приходилось не только со стороны Перекопа, но и оттуда, из-за Днепра, где сейчас ведутся ожесточенные бои с врангелевцами, которые несколько дней назад форсировали реку и громят теперь красные тылы. Известия, одно тревожнее другого, доходили оттуда. Часть войск, в их числе Латышская дивизия, была снята с плацдарма и брошена куда-то под Никополь в поддержку полкам, ведущим борьбу с переправленными Врангелем через Днепр корпусами. Между двух огней оказался плацдарм.

О возможности танковой атаки бойцы давно уже были предупреждены. Командиры и комиссары, в большинстве своем и сами не видевшие танков, рассказывали о них бойцам, учили бороться с ними. Могучее чудовище, это так, но слепое. Броня на нем в палец, а то и больше, но и в броне есть щели... Правда, хотя знали бойцы и о толщине брони, и о уязвимых местах, и о «мертвом пространстве» возле танка, где его огонь тебе уже не страшен, однако, когда эти стальные громады двинулись из степи на линию укреплений, не у одного из бойцов пробежали мурашки по телу.

— Спокойно, товарищи, спокойно, — услышал позади себя Яресько голос комиссара Огневой бригады, который, проходя по траншее от бойца к бойцу, казалось, передавал каждому из них часть своего спокойствия и уверенности.

А танки уже грохочут и там и там, уже видно, как один из них, переваливаясь, утюжит окопы первой линии, давит, подминает под себя, как паутину, проволочные заграждения, ведя по плацдарму пулеметный огонь. За танками идет пехота. Один из танков берет направление сюда, тяжело переваливаясь по неровностям, по земляным волнам, как невиданный наземный дредноут.

— Товарищ взводный! — горячим шепотом обращается к Яресько боец-новичок из последнего пополнения.

— Что такое?

— Страшно! Задавит он нас!

— Без паники, товарищи! — опять слышен где-то за спиной тот же твердый, хотя и несколько взволнованный голос комиссара. — Отступать нам некуда. Победа или смерть!

«Победа или смерть!» — кричит все существо Яресько сквозь намертво стиснутые зубы.

Танк идет прямо на него. Уже видно, как работают его стальные мускулы, как он загребает перед собой землю, точно живое существо, все давя, подминая траву, проволоку заграждений, валы окопов... Преодолевая бруствер перед Яресько, танк всей своей тысячепудовой стальной массой вздыбился над ним, заслонив все небо... Жуткий миг! Кажется, не только над его, Данька, жизнью, вздыбился, но и над Наталкой, и над всем плацдармом, над Каховкой, над Днепром нависла эта громада! Слепая, черная, дышащая чадом железная гидра! Ударила угарным жаром, заскрежетала стальными зубами, и посыпалась земля, и уже не стало Яресько, и только после какого-то долгого мига небытия снова блеснуло рассветное небо над ним — танк прошел через окоп... И не опомнился Яресько, как вместе с толпой бойцов, кинувшихся сзади на танк, кошкой вскарабкался на стальное чудовище и он... В не

чующем страха исступлении колотили прикладами, рубили лопатами, загоняли штыки в щели, стреляя куда-то внутрь, в мотор.

От страха уже не осталось и следа, души полны были лютой жаждой поскорей распотрошить эту гору стреляющей стали, которая еще мгновение назад стояла, вздыбившись, нависнув над всем плацдармом, а сейчас уже была взнуздана ими, прибрана к рукам; они чувствовали в себе сейчас такую силу, что, казалось, могут растоптать ногами, разгрызть зубами эту где-то на заводах Рено выкованную им на погибель сталь. Били, кричали, смеялись от злобной радости. Наконец облепленный бойцами танк, отчаянно скрежетнув, дернувшись вперед, назад, точно в судороге, вдруг остановился, заглох. Сразу стало тихо; наклонившись к люкам, бойцы прислушались, что там, внутри.

— Вылазь! — вдруг стукнул прикладом в броню тот самый боец, который только что в окопе признался Ярьсько, что ему страшно.

— Вылазь! — закричали и другие.

У самых Ярьських ног сталь распахнулась, и показались оттуда, из бронированной ямы, сперва руки, загрубелые от работы на рычагах, потом глаза, побелевшие от страха, и по-офицерски подкрученные усики...

По всей степи, на десятки верст шел бой с танками, с белой пехотой, следовавшей за ними. В порыве бесстрашия кидались бойцы из окопов с гранатами в руках на громыхающие железными гусеницами танки, которые расстреливали их в упор. Артиллеристы соперничали в храбрости с пехотой. Несколько танков, прорвавшись в глубь расположения до самой Каховки, были вскоре подбиты огнем артиллерии, которую бойцы перетаскивали на руках, чтобы удобнее было бить по подвижным целям. От гула орудий, стрелявших и с той

и с другой стороны, не слышно было людских голосов, дрожала земля.

Ко второй половине дня плацдарма уже было не узнать: проволочные заграждения порваны, сломаны, окопы засыпаны, позиции разрушены. Всюду, по всему плацдарму, следы танковых гусениц. А танки? Где они? Один провалился в баню солдатскую, другие темнеют то тут, то там, разбросанные по полю, застывшие и уже не страшные.

Пройдет несколько дней, их перетащат из степи в Каховку, и бойцы на досуге будут фотографироваться на них, одни стоя, другие — разлегшись в свободных, веселых позах людей, отдыхающих после тяжелой работы. Снимется там среди других для Наталки и Данько Яресько.

XXVI

«Доктор индусской философии и египетских тайных паук!

Великий провидец и повелитель духа после поездки по многим странам вернулся на последний островок белой земли. Он не дилетант — состарился и поседел, прорицая судьбу людей и наций. Од предлагает открыть вам прошедшее, настоящее и будущее!»

Дочитав объявление, Врангель откинул газету, прикрыл в задумчивости глаза. Прошедшее, настоящее и будущее... Больше всего его волнует сейчас будущее... Что открыл бы ему, что подсказал бы сейчас этот «великий провидец и повелитель духа»? Штабной поезд медленно движется ночными полями на север. Снова бессонная ночь, полная тревог, недобрых предчувствий и ожидания... Что там за Днепром? Как под Каховкой? Прорвались ли танки к переправам? Все еще ничего определенного, все еще качаются чаши

весов. Долго вынашивал он идею этого комбинированного удара. От того, падет ли под его атаками Каховка, от того, как будет разворачиваться операция за Днпром, зависит в конечном итоге его будущее. Последние донесения, полученные оттуда, пока еще далеки от того, на что он надеялся. Не может он никак понять, в чем причина его последних неудач, хотя, собственно, и неудач-то как будто не было. Странное создается положение: он все время наступает, каждый раз как будто одерживает победы, и в то же время силы его явно тают и тучи сгущаются над головой.

До сих пор шел по жизни уверенно, целеустремленно. Еще в молодости, на великосветских балах в Санкт-Петербурге, он выделялся среди ровесников не только ростом и бравым видом, но и той жадой деятельности, огромным запасом энергии, которая всегда таилась в нем. Может быть, это бурлило в нем честолюбие, как говорили иные? Но разве не помогало оно ему ступенька за ступенькой упорно подниматься вверх, к цели? Молодецкий штандарт-юнкер конной гвардии... Потом он не колеблясь уезжает делать карьеру в Иркутск. Там он вскоре надел черную папаху забайкальского казака.

Но вершиной его, его апофеозом стал, конечно, Крым. После новороссийской катастрофы основная масса разгромленных деникинских войск с помощью флота союзников была переправлена в Крым, куда еще раньше через перешейки отступили остатки слащевского корпуса. С Кавказа в те напряженные дни были перевезены тысячи офицеров и казаков... Все решалось теперь на морских путях: одни корабли перевозили в Крым живую силу, спасая ее от окончательного разгрома, другие в это же время везли из-за границы боевое снаряжение. Но если Антанта при помощи своего флота могла спасти белые войска от

физического уничтожения, то спасти их духовно, превратить деморализованный, разложившийся сброд в первоклассную современную армию мог только человек с задатками полководца, вождя. Вот тогда-то могучие вершители судеб обратили свои взоры на него: молодой, полный энергии генерал, не ведавший со своими казаками поражений, один он способен в этот критический час занять место старого, сокрушенного неудачами Деникина. По правде говоря, главы иностранных миссий, от которых в конечном итоге и зависело его назначение, с самого начала видели в нем не столько Цезаря, сколько отважного авантюриста. Но что с того? Разве все великие полководцы не были в какой-то степени авантюристами? Как он верил в себя тогда! Сам верил и вдохнул эту веру в тех, кого готовил в поход. Вспоминает он экстаз, который охватил в те дни белые войска. В церквах звучат многолетия болярину Петру, армии. Смотры, молебны, трубный глас Вениамина в севастопольском соборе: «Ты победишь, ибо ты Петр!», «Правь нами, ибо ты божией милостью данный нам диктатор!». За короткое время превратился Крым в вооруженный баронский замок. «Я выкую здесь прообраз сильной обновленной России!» Тридцать тысяч штыков! Пятьдесят тысяч сабель! Броневики! Аэропланы! Для первого удара это был такой кулак, перед которым, казалось, не устоять никакой силе. До сих пор у него перед глазами перекопские валы, где он производил смотр войскам перед наступлением, и щиты с огромными надписями: «Перекоп — ключ к Москве!»

И хотя самолюбие его нередко страдало оттого, что его регламентируют, что его подгоняют, что боевые действия его войск ставят в прямую зависимость от положения дел на Западном фронте у Пилсудского, он, вырвавшись на просторы Северной Таврии, упоенный радостью первых побед, уже верил тогда, что он господин положения, что сила его будет все возрастать

в боях и власть шириться без предела! Первым его разочарованием был отказ таврийских крестьян пополнять его армию. Вторым разочарованием — Кубань. За ним не пошли. На его призыв не откликнулись. Но почему, почему? Это осталось для него загадкой.

За лето корпуса его были обескровлены в боях. Наступления его были мощны, но конвульсивны, как судороги. И вот сейчас эта Заднепровская операция, что она принесет? Из последних сил протягивает руку на Запад: встретит ли она там дружеское пожатие или так и повиснет в воздухе?

Убавляются, тают день ото дня его войска, а там... числа им нет, бесконечным их пополнениям. Первая Конная на него идет. А что будет, когда придет и двадцать тысяч сабель ее засверкают здесь, в таврийских степях? Неужто на зиму оттеснят его снова за Перекоп? Ну и что же! Ведь сидел же хан после разгрома Золотой Орды в Крыму сто лет, живя набегам. Почему же не пойти по его стопам?

Странно, что их все еще не удастся сломить. Неужто и в самом деле большевиков силой меча не одолеть, как недавно сказал Ллойд Джордж? Союзники в последнее время, в особенности Америка, резко усилили помощь Крыму. Хуже всего было месяц назад, когда в Соединенных Штатах как раз шла предвыборная кампания и шефы его под нажимом рабочих мисс вынуждены были временно отказаться от поставок оружия в Крым. Впрочем, он и сам отлично понимал, что отрешиваются от него только для видимости, с целью отвести глаза избирателям. Сейчас дело наладилось, грузы идут полным ходом. На его стороне мощнейшая техника, блестящие стратеги, его окружают первоклассные мастера военного дела, а у них? Вахмистры и вчерашние каторжники командуют армиями? И все же как ни дерутся его офицерские

полки, какое оружие ни пускают в ход, так ничего и не могут поделывать с этой необъяснимо живучей людской массой, с этой мужицкой босой армией.

Все лето работал с колоссальным напряжением воли, загонял себя и всех своих приближенных, а каковы плоды? Далеко ли он ушел со своими войсками? Достиг ли той безграничной власти, о которой так жадно мечтал? Чем дальше, тем все яснее, что события разворачиваются независимо от его воли и желаний, что власть его как вождя, вместо того чтобы шириться, наоборот, все сужается, все меньше остается людей в ее орбите. Еще весной не сомневался, что он сердце и мозг неисчислимых человеческих масс, что он и только он управляет ими и без него они ничто. Однако в последнее время иной раз кажется ему, что если он кем и управляет, то скорее штабами, чем массами, а может быть, даже и не штабами, а штабом, ближайшим своим окружением — адъютантами и конвоем. До чего же так можно дойти? Вот и сейчас где-то там бьются его корпуса, история творит свое дело, а он, «божьей милостью диктатор», как может он изменить ход событий? Не существенней ли там сейчас штык рядового красноармейца, чем его цезарская воля?

На столе перед ним поблескивает амулет, полученный сегодня при весьма таинственных обстоятельствах. Во время остановки на одной из станций внимание его привлек шум на перроне. «Я тот, кого ждет мир! Я — мессия!» — услышал он выкрики какого-то неизвестного, которого задержали адъютанты, когда он пытался прорваться к штабному вагону. Приказал узнать, чего он хочет. Выяснилось, что неизвестный хочет вручить ему, главкому, пакет. Это был небольшой замшевый мешочек, в котором оказался золотой, похожий на миниатюрный глобус шарик с четырехлистником наверху. Стоит нажать на его лепестки — и весь шарик, как апельсин, раскрывается

на несколько долек, и в каждой из них, внутри, на вороненой стали, изображен какой-то знак. Очевидно., это масонский амулет.

Придвинув его к себе, нажимает пальцем на лепестки и, когда шарик раскрывается, снова начинает внимательно разглядывать эти таинственные знаки, которые днем так и не разгадал. Что они должны означать? Епископ Вениамин, который тоже едет с ним в штабном поезде, уверяет, что это происки дьявола и что золотое это яблоко немедленно надо выкинуть вон. Кто он такой, этот неизвестный? Сумасшедший? Или в самом деле какой-нибудь провидец? «Я — мессия... Я тот, кого ждет мир!»

Устал. Обволакивает тяжкая дрема, сами собой слипаются веки. Совершенно явственно слышит сквозь дремоту, как кто-то склоняется над ним, шепчет: «Думаешь, ты хозяин? Ты не хозяин, ты ведь только ландскнехт!» И в то же время слышит, как идет поезд, и уже во всем этом поезде, несущемся ночными полями неведомо куда, их осталось только двое: он и матрос. Где он встречал этого молодого матроса? Да это же тот самый, которого он случайно видел, когда его рубили казаки под Мелитополем. Уже обливающийся кровью, кричал он тогда казакам и ему, Врангелю, вслед его автомобилю: «Рубите, так вашу перетак, и все же вам скоро каюк! Коммунизма вам не остановить!»

Тряхнул головой, пытаюсь отогнать кошмар, но через мгновение тот же матрос уже опять перед ним. Чувствовал, как на этот раз сам его рубит, сабля насквозь пронзает тело, он падает, а через миг снова встает и смеется, живой...

Удар буферов. Поезд останавливается. Где это они? Какая-то глухая степная станция. Вскочив с места все еще под гнетущим впечатлением кошмара, спешит в оперативный отдел. Здесь почему-то сбились все: генералы, радисты, даже епископ Вениамин, этот

«разбойник в рясе», как его окрестил еще Деникин... При появлении Врангеля все сразу умолкают, бледные, невольно вытягиваются перед ним.

— Что случилось?

— Трагическое известие. Только что получено из-за Днепра. В бою под Шолоховой погиб генерал Бабиев...

Бабиев! Возникло на миг смуглое лицо бесстрашного осетина, однорукого витязя, еще совсем недавно на его именинах с таким огнем плясавшего лезгинку. Со смертью Бабиева, как гласит депеша, «конница лишилась сердца»...

— Войска наши вынуждены оставить правый берег, сейчас отходят назад...

«Отходят». Он хорошо представляет себе, что значит «отходят» в такой ситуации: не отходят, а наперегонки бегут к переправам, кавалерия давит пехоту, бросают в плавнях орудия, пулеметы...

— А под Каховкой? Танки как?

— Ваше высокопревосходительство... Танков у нас больше нет.

Танков нет... Конница лишилась сердца! Да разве только конница лишилась его?

Все, кто стоял тут перед ним, увидели, как вдруг поник головой их вождь, сгорбился, постарел на глазах.

XXVII

Словно по мосту, перекинутому в будущее, идут они, спускаясь с бериславских высот по понтонам через Днепр на левый каховский берег. Идет лучшая конница мира, перед которой после семисотверстного тяжелого перехода, после лесов и болот Замостья, после крепостных стен Дубно и холмов Новоград-Волынска расстилается ныне в предрассветной осенней мгле гладкая, как море, таврийская степь.

На каховском берегу, у самой переправы, окруженные командирами, стоят Ворошилов и Буденный. Оба в полушубках: холодно. Внимательно следят за бесконечным движением конных полков, что текут и текут через Днепр, по узенькой ленточке понтонного моста. Вот прошла Четвертая дивизия Тимошенко. За ней к мосту приближается славная Четырнадцатая во главе с Пархоменко. Впереди — молодой начдив, в бекеше, с усами запорожца, на тонконогом, похудевшем за время перехода скакуне. Следом за ним под кумачом боевых стягов идут герои краснознаменцы. Недавно, во время марша на пути с польского фронта, в селе Знаменка дивизию встретил Михаил Иванович Калинин и за победы над белополяками вручил эти боевые знамена и награды отважнейшим.

Оглядывая колонну краснознаменцев, Ворошилов встретился с кем-то взглядом, улыбнулся:

— Дома, значит, товарищ Килигей?

— Почитай, что так, товарищ Ворошилов, — отозвался смуглый краснознаменец в высоком шлеме.

У него, как и у многих других, видно, не зажила еще рана, и из-под шлема белеет повязка.

Проходит конница, серым простором раскидывается перед ней плацдарм, о котором не раз уже слышала по пути и который такой дорогой ценой удерживали здесь для нее на протяжении почти двух месяцев.

Становится все светлее, и небо низкое, осеннее в степи за Каховкой словно поднимается над Килигеем, открывая глазам широкий, с детства знакомый простор. Войска все дальше уходят в степь.

Едет Килигей знакомыми местами, где прошла его молодость, где в бурях революции подымался народ против Антанты. По всем селам тут знают его, «защитника труда», как знают и многих из его бойцов, с которыми ходил он штурмовать греческие корабли.

Немало бывших его повстанцев и до сих пор с ним. С какой гордостью возвращаются они в родной край! Тогда отступали партизанским отрядом в чабанских папах, теперь возвращаются в высоких буденновских шлемах. Больше года ждали их матери, жены да невесты и наконец дождались, хотя и не совсем еще: дети по селам еще не знают, что отцы их уже здесь, так близко...

— Товарищ командир, может, и правда нынче дома ночевать будем? — весело обращается к Килигею его вестовой сын Оленчука.

— Нет, хлопче, дома подождут. Больше ждали...

Вся степь говорит с ним: и ветром, и тучами, и древними курганами, и рваной колючей проволокой да разрытыми траншеями с пересекающими их следами танков.

Конница шла на восток, а глаза Килигея все обращались направо, где прятались за горизонтом Чаплинка и Хорлы, родной тополиный порт. Как терзали этот край, сколько пришлось ему вытерпеть за эти годы! Дредноуты и сверхдредноуты подходили с моря к этим побережьям, обстреливали из тяжелых орудий, высаживали десанты... Менялись мундиры, менялись лица, вместо обманутых Антантой чернокожих сенегальцев и мелких, похожих на подростков греков в бой вступали другие — черные бароны и бледные юнкера, однако суть борьбы остается все той же: против наемной, против чужой армии идет народная вооруженная сила, прославленная конница республики, под копытами которой гудит таврийская степь.

Вспоминает Килигей, какое горячее волнение охватило его, когда узнал, что Первую Конную перебрасывают на Южный фронт. Перед выходом на марш всю ночь беседовал с земляками-конармейцами, и ясно стало, что главное желание, которым они жили,

которое их еединоло, — быстрее покончить с фронтами! Не допустить еще одной зимней кампании!

А в дороге, когда на одном из митингов Калинин передавал им привет от Ленина, они услышали те же слова: не допустить еще одной военной зимы! Килигей даже переглянулся с товарищами: как он, Ильич, угадал их мысли, их желания? Угадал именно то, чего они всего сильнее жаждали... Казалось, все время, что они были на марше, за каждым их переходом, за каждым шагом неотрывно следил зоркий прищуренный ленинский глаз. Нестерпимо трудно было им идти. По осеннему бездорожью, на конях, падающих от истощения и усталости. И все-таки даже в пути использовали каждую возможность, чтобы учиться, ликвидировать неграмотность, принимали участие в субботниках на железной дороге.

И вот теперь с полками Первой Конной Килигей снова в той самой степи, откуда уходил с небольшим партизанским отрядом. Только было тогда раннее лето, а теперь глубокая осень. Рубцов на теле прибавилось да седины в усах, зато душой словно бы помолодел. Сколько уж бьется, а не покидает его вера в то, что каждым ударом сабли он приближает что-то долгожданное, выстраданное, прекрасное. Что это будет? Мир? Счастливая жизнь всего народа? Конец неправды в мировом масштабе? Знает только: что то прекрасное, за которое он так упорно боролся каждым ударом своей сабли, сейчас ближе, чем когда бы то ни было. Занятый этими мыслями, он в то же время командирским оком оглядывает товарищей, внутренне проверяя и себя, все ли в порядке, все ли готово для последнего боя. Да, все. Конь крепок, шашка наточена, в сердце отвага и решимость.

Гудит ветер в голых ветвях асканийских парков. Убого одетый пожилой человек стоит на опушке, печально склонившись, разглядывая что-то у своих ног. Что он разглядывает?

Еще вчера, видно, подымалось здесь дерево, шумело ветвями на ветру, а сейчас — только пенек с прожилками-кольцами отложившихся лет.

Из степи мчится группа всадников. Кумачовый значок, развеваясь, трепещет высоко над ними на конце пики. Подъехав, всадники остановились перед человеком.

— Аскания-Нова?

— Да.

— А вы кто?

— Садовник здешний. Мурашко. А вы?

Всадник, говоривший с ним, отрекомендовался:

— Мы конармейцы. Это вот товарищ Буденный. Это Шпитальный — мой ординарец, а я Ворошилов.

Глаза садовника глядели все так же грустно, и Ворошилов, заметив это, кивнул на свежий пенек:

— Жалко?

Мурашко, подняв голову, спокойно посмотрел ему в глаза.

— Жалко.

Он еще не рассказал им, каких трудов стоило вырастить этот единственный живой оазис в открытой степи. Еще не слышали они от него о тысячах батраков, что копали здесь пруды, сажали и поливали эти деревья, своими телами прикрывали их от ударов черных бурь. Об этом Мурашко расскажет им потом, но сейчас по самому его тону, по одной этой печали в глазах они узнали, как ему больно и как он огорчен. На дрова, на костер, видно, пошло дерево для какого-нибудь эскадрона, что грелся здесь ночной порой.

— Кто-нибудь из наших? — неодобрительно спросил Ворошилов.

— То-то и обидно, что из наших. О тех и говорить бы нечего, после них — хоть потоп, а то ведь хозяева, должны бы задуматься, прежде чем рубить.

— Привыкли хлопцы, что панское, — заметил ординарец. — Пощады не дают.

— А привыкать надо к другому, — сурово глянул на него Ворошилов. — Пора привыкать, что наше это теперь... Народное достояние. — И обернулся к Буденному: — Я думаю, хорошо бы, Семен Михайлович, Первой Конной взять шефство над этим таврийским оазисом.

— Сам степняк, — кивнул Буденный, — знаю, что значит вырастить дерево в степи.

Уже отъезжая, Ворошилов обернулся к Мурашко, сказал подбадрывающе:

— Сегодня же выдадим охранную грамоту на Асканию-Нову. Веточки никто не тронет. Будут шуметь тут ваши парки еще не одно поколение...

Пустив коней вскачь, они всей группой понеслись в глубь поместья.

А в степи со стороны Каховки уже снова трепещут высоко в воздухе кумачовые значки на пиках: оттуда идут все новые и новые войска.

По всей таврийской степи сверкали в эти дни сабли конармейцев: разворачивалась битва, равной которой еще не знал этот край. Задача заключалась в том, чтобы отрезать белые войска от перешейков, окружить и уничтожить их здесь, в просторах Северной Таврии. Выполняя эту задачу, дивизии Первой Конной стремительно двигались на восток, прорываясь на Ново-Алексеевну, на Геническ.

Ударные силы врангелевских войск в это время сосредоточивались в районе Серогояы — Агайман. Появление Первом Конной у них за спиной было полной неожиданностью: к белым войскам многие верили слухам, что Первая Конная погибла в боях с

белополяками, потонула в болотах Замостья и Волыни. И вот внезапно пронеслось среди войск:

— Буденновцы в тылу!

Сперва не верили:

— Откуда? С неба?

— Не с неба, а из Каховки!

Белому командованию удалось все же избежать паники. Более того, разведав, что дивизии Первой Конной, двигаясь на восток, все более отдаляются от Каховского плацдарма, Врангель отдал приказ захватить Каховку, отрезать войска Первой Конной и уничтожить ее, пользуясь своим преимуществом в вооружении, в частности в бронесилах и аэропланах, которых Первая Конная не имела здесь совсем.

В чрезвычайно трудных условиях пришлось конармейцам вести бои. Крупные соединения врангелевской конницы, пробивая себе путь броневиками, нанося аэропланами удары с воздуха, с озлоблением и упорством обреченных рвались с севера к крымским перешейкам. Невозможно было разгадать, в каком месте налетят, на кого обрушат свой бронированный удар.

Один из самых упорных боев красным конникам пришлось выдержать в селе Отрадном, куда из Аскании-Новой переместился полевой штаб Первой Конной. Тучи вражеских войск, при поддержке артиллерии и броневиков, неожиданно двинувшись с севера, стали обходить село. Создалась угроза полного разгрома находившихся здесь частей Первой Конной. Бои завязались на улицах села. Части Особой кавбригады и дивизиона Реввоенсовета Первой Конной, которые лично водили в атаки Ворошилов и Буденный, до позднего вечера сдерживали в неравной борьбе натиск все сильнее наседавших вражеских войск.

Никому в этих боях не было пощады. Казалось, сошлись равные силы и, пока не вырубят друг друга до

одного — этой сече не завершиться. Рубились в степи, рубились на улицах сел, который уже день не расседывая коней, не выпуская сабель из рук. Начальники и комиссары дивизий наравне с рядовыми бойцами ходили в атаки, не жалея жизни, чтобы только преградить врагу путь к перешейкам.

Наконец первый этап борьбы был завершен. Вся огромная территория Северной Таврии, захваченная в течение лета противником, после многодневных боев была очищена. Только часть вражеских войск успела прорваться за перешейки и укрыться в Крыму. Противник понес в этих боях огромные потери. Было захвачено около двадцати тысяч пленных, свыше ста орудий, почти все обозы и огромное количество боеприпасов — десятки тысяч снарядов и миллионы патронов. В районе Геническа и Салькова передовые части Первой Конной, окружив армейские тылы противника, захватили вместе с ними и несколько чинов американской миссии, пребывавших при белых войсках якобы «для борьбы с мародерством» в их рядах.

XXIX

Вскоре после того как белые войска отступили в Крым с намерением там зимовать, Врангель в сопровождении представителей иностранных военных миссий инспектировал укрепления Турецкого вала на Перекопе.

Огромный старинный вал, возведенный в незапамятные времена руками рабов и упоминаемый еще Геродотом, сейчас весь был начинен бетоном и сталью, а глубокий ров-канал перед ним, по которому когда-то в древности будто бы ходили даже корабли, был заминирован фугасами, опутан непроходимой чащей колючей проволоки. Проволочными

заграждениями было покрыто все перекопское предполье. Растянувшись почти на одиннадцать верст в длину, вал пересекал перешеек от моря до моря, наглухо закрывая северные ворота в Крым.

Несколько часов высокое начальство обследовало свои мощные укрепления. Предусмотрительно нагибаясь, шныряло по соединительным ходам, придирчиво осматривало многочисленные пулеметные гнезда, бойницы блиндажей, артиллерийские площадки... Грозные жерла орудий направлены на север, в открытую таврийскую степь, по-осеннему серую и неприветливую. Дно рва — все в колючей проволоке. Она тянется вдоль всего вала — от заводей Сиваша до Перекопского залива, поблескивающего сталью на западе. Там ряды заграждений с суши переходят в море и скрываются где-то в воде. В открытой степи ни души, лишь там и тут торчит согнутый ветром стебель подсолнечника, артиллеристы поясняют: «Это для пристрелки... Мы их называем „вехи смерти“».

Во время осмотра прислуга вся на местах, в боевой готовности. Странная это была прислуга! Обязанности рядовых пулеметчиков выполняли здесь юнкера и ротмистры, наводчиками у тяжелых орудий можно было увидеть даже стариков в полковничьих погонах. Мрачные, заросшие, стояли, вытянувшись по-солдатски, всем своим видом показывая, что они здесь не командиры, а простые номера. Чтобы спросить их о чем-нибудь, не приходилось вызывать переводчика: почти все они свободно могли ответить по-английски или по-французски.

Странные были и гости. Большинство из них вовсе и не чувствовало себя здесь гостями. Экзаменовали, как дома. Не церемонясь отстраняли офицеров-рядовых, становились сами к бойницам, примериваясь, проверяя, как и куда будет вестись отсюда огонь.

То тут, то там устраивали испытания батарей, и тогда тяжело ухали многодюймовые орудия и далеко на горизонте — в степи или на Сиваше — подымался высоко в небо буро-черный фонтан огня, грязи и дыма.

Осматривали все по-хозяйски, хозяйский тон слышался даже в похвалах заморских гостей, в коротких репликах, с которыми они обращались то к прислуге, то к Врангелю, то — чаще всего — к французским военным инженерам, руководившим здесь всеми фортификационными работами.

— Вот он, господа, наш вал смерти, — заговорил Врангель, когда гости, облавив укрепления и изрядно намерзшись, собрались наконец в блиндаже командного пункта. — Теперь вы сами видите, что ключ спасения от большевизма не в Париже, не в Лондоне, не в Нью-Йорке, а здесь, у нас, на этом вот валу. Тут мы намерены зимовать.

— Под такой крышей, черт возьми, можно сто зим зимовать! — воскликнул адмирал Мак-Келли, задрав голову и с довольным видом разглядывая стальные балки перекрытий. — Вас защищает лучшая в мире американская сталь! Бьюсь об заклад, господа, что такую сталь не перегрызут самые зубастые армии большевиков, несмотря на весь их фанатизм...

— Я считаю, что для защиты Крыма сделано все, что в силах человеческих, — сказал Врангель, обращаясь к седому, уже в годах генералу Фоку — руководителю фортификационных работ, и тут же от имени белых войск выразил ему благодарность.

Принесли коньяк. Зябко потирая руки, представители миссий столпились вокруг полковника Уолша, главы английской миссии, который самолично взялся раскупоривать бутылки.

Когда рюмки были наполнены, Врангель взял инициативу в свои руки.

— За лучшую в мире американскую сталь, — угрюмо обратился он к Мак-Келли, потом взглянул на остальных. — За ваше здоровье, господа. За тех, чей вечно деятельный ум воплотился в несокрушимой мощи этих укреплений: за адмирала Сеймура, за генерала Кейза, за графа де Мертеля и особо за вас, наш дорогой Фок... Россия никогда не забудет, чем она обязана своим верным союзникам.

Выпили, и беседа сразу оживилась.

— Новый Верден, — слышались возгласы среди гостей. — Эти форты, блокгаузы, бетонированные блиндажи — великолепны!

— А непроходимая сеть проволочных заграждений! Фугасы! Одних пулеметов сколько на валу!.. Нет, господа, никогда им не одолеть этой стены!

В оживленной беседе не принимал участия только начальник японской военной миссии майор Такахаси. Он был здесь впервые и сейчас, сгорбившись в углу, быстро записывал что-то в свой блокнот.

— А ваше мнение, майор? — подходя к японцу, спросил его генерал Фок.

— То, что я сегодня здесь увидел... колоссально, — закрывая блокнот, ответил Такахаси. — Это настоящее чудо военного искусства. На открытой долине такой вал, такая масса огня, первоклассные фортификационные сооружения! Никакой армия в мире — и даже большевистской — не под силу их взять, — и, минуту подумав, прибавил: — По крайней мере в лоб...

— А обойти их невозможно, — заметил Врангель, который, очевидно, прислушивался к их разговору. — На Чонгаре у нас укрепления не хуже, а даже лучше. Единственно, где противник мог бы прорваться в Крым, это на Арабатской стрелке. Но, как вы знаете, Арабатская стрелка...

— Хелло, джентльмены, — перебивая Врангеля, весело крикнул от стола Мак-Келли. — Пью за новый

Верден! Пью за нашего современного хана!

Врангеля передернуло. Грубая бестактность этого наглого янки резнула его, ударила по самому больному месту.

— Хотя, говоря по правде, — разглагольствовал между тем адмирал, — я до сих пор толком не знаю, кто они были, эти самые ханы?

— Так назывались когда-то местные крымские вассалы турецких султанов, — объяснил полковник Уолш, наливая себе из бутылки коньяк.

Врангель еле сдерживал ярость. Выходило так, что он, заняв на Турецком валу позиции бывших крымских ханов, играет ту же, что и они, вассальную, холопскую роль!

— Однако и за Арабатскую стрелку мы спокойны, — раздраженно продолжал Врангель, обращаясь главным образом к Такахаси, который слушал его с явным интересом. — На всем своем протяжении она наделаю прикрыта огнем с моря...

— Там и мышь не проскользнет, — прохрипел полковник Уолш, потягивая коньяк и прислушиваясь одним ухом к разговору. — Корабли британского королевского флота имеют на этот счет твердый приказ. Стрелка под нашей опекой.

— Но есть еще Сиваш? — Протирая очки, японец вопросительно посмотрел вверх на долговязого Врангеля, потом на Мак-Келли.

Мак-Келли даже улыбнулся. Как неосведомлен этот желтый самурай.

— Вариант с Сивашом, безусловно, отпадает, — небрежно махнул рукой Врангель. — Только армия, решившая покончить самоубийством, способна полезть в его трясины...

— Но говорят, что иногда Сиваш замерзает? — не унимался японец.

— Если это и случается, то раз в сто лет, — успокоил его Врангель. — Сама природа здесь на нашей стороне.

Вышли из блиндажа и стали в бинокли разглядывать Сиваш, его сизо-стальную водную гладь. Там и сям темнеют кустики камыша, отмели, косы... Море! Гнилое непроходимое море... Бескрайние трясины, ил, болото... Чуть мерещатся по ту сторону за сивашскими водами раскинувшиеся по побережью убогие села, облитые холодным вечерним солнцем. А за ними — от перешейка и до самого горизонта — степи и степи. Точно полигон, плоские, безлюдные, загадочные...

— Прерии... — проговорил Мак-Келли, передавая бинокль японцу. — Того и жди, что вылетят оттуда ватаги краснокожих.

Такахаси долго не опускал бинокль.

Красное, воспаленное, садилось солнце. Японцу не понравилось это солнце и взвихренная пылающая корона вокруг него.

— Ждать циклопа, — сказал японец, когда корона солнца коснулась линии горизонта.

— Ветер! Скифский ветер! — сердито произнес полковник Уолш, подымая воротник шинели. — Не довольно ли на сегодня, господа?

Уже смеркалось, когда участники инспектирования спустились вниз, к своим автомобилям. Отсюда, издали, еще раз окинули взглядом мощный темный вал, таинственно протянувшийся через весь перешеек. Пятнадцать метров в длину, двадцать — со дна рва в высоту... Семнадцать рядов колючей проволоки, без числа пулеметов, пушек, бомбометов... Кое-что, конечно, надо еще здесь доделать, надо довести, наконец, железнодорожную колею до самого вала, в целом же осмотром все остались довольны.

Грандиозно. Непрístupно.

Вал смерти.

Ол райт.

XXX

Разумеется, ни генерала Врангеля, ни его высоких иноземных советников не могло интересовать, что думает о Сиваше и об укреплениях Турецкого вала Иван Иванович Оленчук, строгановский житель. Смешно было бы признанным военным специалистам считаться с соображениями, да и с самим существованием какого-то там Оленчука.

А между тем Оленчук существовал. Пускай не какой-нибудь известный стратег, а все же старый солдат и активный деятель строгановского комбеда. Тот самый, что отдал сына в красные войска и которому за это беляки, ворвавшись в Строгановку, сочли нужным расписать спину.

Все лето врангелевцы гоняли присивашских селян с подводами в Крым. Гоняли и Оленчука. Кормил блох по татарским хуторам, на себе таскал плуг на постройке железной дороги от Юшуни к Перекопу и в то же время наблюдал за приготовлениями, что велись на перешейке. Видел, как подвозили и устанавливали на валу огромные пушки, попы их потом кропили святой водой, видел, как, подымая пыль, носились туда и сюда в блестящих автомобилях заморские гости и разные специалисты. Как-то под Армянском, остановившись у обочины, они и Ивановы лохмотья щелкнули аппаратом, пожелали рассмотреть поближе чабанские заскорузлые его постолы и даже сбрую на лошадке, показавшуюся им чудною.

С хохотом допытывались:

— Скажи, «экспроприировал экспроприаторов»? Ну? Говори, не стесняйся!

А чаще равнодушно проезжали мимо, ибо таких, как он, обтрепанных, густо загорелых подводчиков да извечных грабарей было здесь много. Рабочим скотом считали их господа тут, на Перекопе. Дошло до того, что на них пахали. Но и в ярме каждый из них исподлобья поглядывал на вал и примечал про себя, что там делается.

Все на Перекопе было тщательно размерено, все предусмотрели стратеги и фортификаторы, все рассчитали. Забыли только, что есть на свете Оленчук, продубленный, пропеченный сивашскими ветрами крестьянин, который вырос на этой земле, оросил ее своим потом и чувствует себя законным хозяином этого края. С ним стратеги должны были бы посчитаться!

...Вскоре после того, как красные части вступили в Строгановку, Оленчук был вызван в штаб.

Всякие догадки строил Оленчук, шагая улицей следом за штабным посыльным. Не знал еще, зачем зовут его в штаб, но предчувствие чего-то важного, необыкновенного уже бродило в нем, радостно тревожило душу. Может, с сыном встретится? Передавали знакомые люди из Аскании, что видели его там, прошел с конармейцами. «Передайте отцу, — крикнул, — что живой я, на Чонгар иду!»

Суровая присивашская осень гудит ветрами. Как огромные паровозы, со свистом несутся они из степи и, влетая в разлогую низину Сиваша, на всем ее просторе гонят воду все дальше от берега, в море, оголяя болотистое дно. Небо клубится тучами, земля под ногами тверда, скованная ранним морозом. Грохочут, как по граниту, обозы и орудия, звонко цокают лошадиные подковы.

В селе уже полно войск. По огородам связисты, перекликаясь, торопливо тянут куда-то к Сивашу провод. Везде по дворам стоит гомон, из труб валит дым: в хатах готовят бойцам ужин. Уже греются по

строгановским закуткам, набившись по целому взводу в хату, а из степи все идут и идут новые пехотные колонны — замерзшие, обледеневшие, с развернутыми красными знаменами.

Никогда еще Строганов ка не видела такой массы войск; радовалось сердце Оленчука этакой силе. Однако для чего же все-таки вызывают его в штаб? Попробовал дорогой расспросить посыльного, но тот оказался не из разговорчивых.

— Там скажут.

Часовые у штаба расступились перед Оленчуком, без задержки пропустили его внутрь.

Зашел, с порога поздоровался:

— Добрый вечер.

— Вечер добрый.

В комнате, уже тронутой сумерками, видны фигуры военных. Должно быть, идет какое-то совещание. Несколько военных сидят вокруг стола, другие стоят рядом, склонившись над разостланной картой. Прибыли сюда, видно, совсем недавно, не обжились еще: шинели, не уместившиеся на гвоздях, брошены прямо на подоконники.

Перешагнув порог, Оленчук заметил, что все взгляды разом обратились на него, на его нескладную фигуру в новых постолах, в бараньей шапке, в колушке. На миг воцарилась тишина.

— Проходите сюда, — раздался низкий, спокойный голос. — Вот стул, садитесь...

Оленчук, сняв шапку, молча сел на указанное ему у стола место.

Внесли лампу, большую, с чисто протертым стеклом. Стали видны серьезные, сосредоточенные лица. Который же из них старший? Тот ли худощавый в очках или этот, что сидит напротив, широколобый, смуглый, с русыми пушистыми усами?

— Оленчук... Иван Иванович? — первый нарушил молчание широколобый.

— Верно, Иванович.

— Я Фрунзе, командующий Южным фронтом.

— Слышал про вас, — сказал Оленчук.

Фрунзе наклонился над картой.

— Скажите, Иван Иванович... вы хорошо знаете Сиваш?

Оленчук точно ждал этого: ни один мускул не дрогнул на его широком, вспаханном морщинами, густо загорелом лице. Хорошо ли он знает Сиваш? Вся жизнь его прошла на Сиваше, вдоль и поперек исходил он это мертвое, Гнилое море... Еще мальчишкой бегал с ребятами на ту сторону разорять утиные гнезда по пустынным кручам Крымского берега, на так называемой Турецкой батарее. Позднее, взрослым уже, не раз ходил через Сиваш в Крым на ярмарки да на подработки в тамошние имения. Многие годы потом собирал соль. Насквозь пропитался сивашской рапой, сгребая ночами соляную наледь — скупые, убогие дары Гнилого моря...

— На Сивашах родился, на Сивашах, видно, и помру, товарищ Фрунзе.

— А как сейчас Сиваш? Вода в нем идет как будто на убыль?

— Вчера еще был полон воды, а сейчас ветер с запада поднялся, сгоняет понемногу. Такой коли ночь подует, к утру одна грязь останется.

— Кстати, какой ширины, вы считаете, в этом месте Сиваш?

— На версты... не мерил, врать не хочу. Думаю, верст десять будет.

Фрунзе высыпал на стол несколько спичек, склонился над картой, стал мерить.

— По прямой восемь верст.

Оленчук не стал спорить: восемь так восемь.

Фрунзе в задумчивости слегка постукивал пальцами по карте.

— Вы знаете, товарищ Оленчук, что через перешейки путь в Крым для Красной Армии закрыт, — сказал он и взглянул на Оленчука серьезно и доверчиво, как на человека, вполне способного понять его мысль и перед которым незачем таиться. — Мы могли бы провести наши войска вот здесь, — он показал на карте, — через Арабатскую стрелку, как это сделал уже когда-то — в тысяча семьсот тридцать втором году — фельдмаршал Ласси. То был блестящий маневр. Ласси, незамеченный, провел свои войска через Стрелку в тыл крымскому хану, стоявшему с главными силами на Перекопе. Но для нас и Стрелка закрыта: на всем своем протяжении — а длина ее свыше ста верст — она простреливается с моря кораблями противника. Итак, у нас остается, — прибавил он, все так же внимательно глядя на Оленчука, — вы сами понимаете что.

Оленчук кивнул: да, он понимает.

— Нас интересуют броды через Сиваш. Вы их знаете лучше других, ведь правда?

Оленчук не спешил с ответом, понимая, что от его слова, от его совета сейчас слишком много зависит. Кому, как не ему, Оленчуку, было знать скрытые сивашские ходы, никем не исследованные, не нанесенные ни на одну карту. Надо и вправду вырасти на Сиваше, чтобы каким-то тончайшим чутьем угадывать их в самую темную ночь, бредя с мешком соли на плечах между трясиными, между островками чахлого камыша на отмелях, шаг за шагом пробираясь среди бесчисленных гнилых ям, песчаных наносов и черных коварных омутов. Упорно в течение всей жизни изучал Оленчук нрав удивительного моря. Иногда оно радовало его солью, белеющей до самого горизонта, сияя под солнцем, точно покрытое нетронутым первым снегом. Иногда же, в жару, прибрежные села

проклинали сивашское бескрайнее болото, задыхаясь от горячего смрада мертвых, гниющих в воде водорослей, что нагнало ветром из Азовского моря...

Тысячами капканов, множеством коварных ловушек подстерегает Сиваш человека. А самые опасные из них — черные гнилые омуты, так называемые чаклаки. Едва заметные среди камышовых зарослей, кипят и кипят они день и ночь, вечно клопоча подземной водой, неумоимо выбрасывая из таинственных глубин ил и песок и снова втягивая их в свою хлипкую, гнилую бездну. Ночью без привычки чаклаков не заметишь. Горе тому, кто отважится двинуться через Сиваш, не зная бродов! Не один уже ушел с головой в смрадную вязкую трясиину. В такую пору, как сейчас, Сиваш еще опаснее: когда ветер угонит воду и морозом сверху прихватит топь, кажется, можно по ней пройти, а ступишь — уйдешь с головой. Нет дна у чаклаков, ненасытны их пасти: попадись один — проглотят одного, попадись армия — проглотят и армию... Было над чем задуматься Оленчуку, прежде чем ответить на вопрос командующего.

— Или, может, Сиваш и впрямь непроходим, как считает белое командование?

— Это как для кого: для одних непроходимый, а для других...

Под самыми окнами процокали копыта. Адъютант, появившись в дверях, доложил, что прибыли Ворошилов и Буденный.

Следом вошли и они и, поздоровавшись со всеми, тоже присели к столу.

— Совещание продолжается, — с шутливой ноткой в голосе провозгласил Фрунзе. — Тут и от инфантерии, и от кавалерии... Мы вот с товарищем Оленчуком насчет сивашских бродов советуемся.

— Так, значит, броды есть? — дружески обратился к Оленчуку Ворошилов.

— Если поискать, то найдутся, — ответил Оленчук.

— Конь пройдет? — спросил Буденный.

— Насчет коня не скажу, а человек пройдет.

Фрунзе молча переглянулся с Ворошиловым.

Худощавый в очках медленно водил карандашом по карте.

— До чего же бездарен царизм: даже путной карты Сиваша не мог нам оставить.

— На карте все не уместить, товарищ, — заметил Оленчук. — Больно их там много — гиблых мест.

— Карта, даже самая лучшая, не заменит практического опыта народа, — задумчиво заговорил Фрунзе. — Нам, товарищ Оленчук, нужны сейчас люди, которые в совершенстве знают Сиваш, умеют ориентироваться на нем не только днем, но и ночью, в абсолютной темноте. Одним словом, нам нужны проводники. Кого бы вы нам посоветовали?

Задумался Оленчук. Бывший солдат, он понимал, что значит пойти проводником, какая ответственность ляжет на человека, который возьмет это на себя не одного, не двух перевести — перевести надо армию. Судьбу стольких людей, жизни тысяч и тысяч сынов революции должен будет взять на свою совесть.

Заметив его раздумье, Фрунзе встал из-за стола.

— Тем, в Крыму, помогает буржуазия всего мира, — заговорил он. — На них работают лучшие военные специалисты. Весь огромный опыт империалистической войны они вложили в укрепления Чонгара и Перекопа. Врангель все свои расчеты строит на них. Наша же армия, армия рабочих и крестьян, рассчитывает только на себя, на поддержку народа. В данном случае для нас много значит мнение, разум и опыт простого трудового человека, опыт таких, как вы, солевозов, батраков, чабанов. Поэтому-то именно к вам мы обращаемся за советом: кто бы мог? Кому мы можем доверить перевести наши войска на ту сторону?

Оленчук тоже поднялся, крутоплечий, взъерошенный, медно-красный от лампы.

— Что ж, коли надо, то... я поведу.

В комнате, казалось, легче стало дышать. Все повеселели, заговорили.

— Сразу видно солдата, — заметил один из штабных, стоявший у окна. — Ведь вы тоже были в свое время на фронте?

— Пришлось. Все Карпаты облазил.

— Семья большая? — спросил Ворошилов.

— Полна хата мелюзги... А старший где-то у вас, в Первой Конной.

— Значит, орел! — сказал Буденный и засмеялся.

Фрунзе подошел к Оленчуку.

— Считаю лишним предупреждать вас, Иван Иванович, что разговор у нас тут шел о делах абсолютно секретных.

— Насчет этого будьте спокойны, товарищ командующий... Самому ведь первым идти.

— Верно. Значит, договорились. Будьте дома и никуда не отлучайтесь.

Уже надевая шапку, Оленчук вдруг спохватился.

— Записку бы мне какую-нибудь... Чтоб с обозом не послали.

— Ладно, — улыбнулся Фрунзе. — Это я вам сейчас устрою.

Присев к столу, написал:

«Иван Иванович Оленчук занят по делам службы.

Команд — юж Фрунзе».

Сосредоточенный, задумчивый вышел Оленчук из штаба. Была уже ночь. Ветер разгуливался холодный, пронзительный. Налетая порывами из-за строений, подталкивал Оленчука в спину, и ноги сами несли его к Сивашу.

Село полно было гомона войск. На окутанных тьмой улицах не прекращалось движение — грохотали повозки с патронами, спешили куда-то верховые, пробираясь между только что прибывшими пехотными частями, которые останавливались тут же, прямо на дороге, видимо, в ожидании дальнейших распоряжений. Во всех подветренных уголках темнели кучки людей, поблескивали огоньки сигарок. А дороги, уходившие из Строгановки на север, в ветреные темные поля, сотрясались от непрерывного грохота колес, от тяжелого топота марширующих из степи колонн: оттуда все прибывали и прибывали новые части.

Медленно, уверенным шагом шел Оленчук мимо остановившейся колонны, прислушиваясь к гомону красноармейцев.

— Говорили, море, а где оно? — звучал в темноте молодой голос.

— Где же эти золотые пляжи да буржуйские дворцы?

— Зуб на зуб не попадает, а ему пляжи подавай, — смеясь, отвечал другой. — Сперва через Сиваш переберись.

— А что такое Сиваш?

— Трясина, болота бескрайние., вот тебе и Сиваш...

Какой-то боец, пряча уши в воротник и пританцовывая на месте, попросил у Оленчука прикурить.

— Дозвольте, папаша...

Оленчук усмехнулся в темноте. «Эх, не знаешь ты, сынок, что за папаша стоит перед тобой...»

На всех и на все смотрел сейчас Оленчук глазами проводника. Перед ним были не просто тысячи бойцов, а близкие, дорогие ему люди, которых он поведет по тонкой трясине ночного Сиваша и рядом с которыми, может быть, и сам сложит голову где-нибудь там, на Крымском берегу. Никто еще не знал о поставленной перед ним задаче, об историческом совещании, в котором он только что за одним столом с народными полководцами принимал участие, для всех этих бойцов он всего только обыкновенный крестьянин, местный житель, усатый «папаша» в чабанской шапке, а он между тем был уже во власти предстоящего ему подвига, и все окружающее воспринималось им как-то по-новому, и все эти тысячи бойцов, скопившиеся сейчас в селе, стали уже для него как собственные сыны, которых предстоит ему вести. Думал ли он, сивашский соленос, что его житейское, на протяжении десятилетий копившееся знание тайн Сиваша окажется так необходимо для всего народа?

Не заметил, как очутился на берегу Сиваша. Днем, когда нет тумана, отсюда видны справа Перекоп, а по ту сторону — чуть темнеющая полоска Крымского берега. Сейчас просторы Сиваша были скрыты мраком, туманом, обложены с неба тяжелыми осенними тучами. Шумят на ветру знакомые островки камыша. Оленчук спустился с берега; тускло сереет под ногами ровное оголенное дно. Отсюда воду уже согнало, сверху тину успело прихватить морозом, однако только ступи — нога проваливается, глубоко вязнет в топкой грязи... Трудной будет дорога на ту сторону, даже если знаешь Сиваш как свои пять пальцев. Но ведь не отказываться же было ему там, в штабе! Известное дело, дома жена и куча детей, которых не хотелось бы оставить сиротами, но разве не за их счастье он и поведет через Сиваш войска?

Поднявшись на бугор, он пристально вглядывался в ту сторону, в ночную темень, куда ветер гнал низкие клубы туч. Иной, новой мерой мерил он сейчас и ночную ширь Гнилого моря, его косы, отмели, путанные броды, хоженные-перехоженные за нелегкую жизнь. Отныне не издавна знакомым соляным промыслом лежал перед ним Сиваш, а огромным бродом для его армии.

Мысль его снова и снова возвращалась к тем, с кем он навеки связал свою судьбу, с кем разделит свой будущий путь. Полностью до конца принадлежит он отныне им, а они ему. Там, где по хатам сейчас ужинают красноармейцы, веселые, беззаботные, ничего не подозревающие, он уже среди них. Где оборванные, полубосые, чтобы согреться, пританцовывают в колоннах, и там он с ними, в колоннах. И даже с теми, что приближаются сейчас гулками промерзшими полями к Строгановке, уже идет он, Оленчук, холодным, ветреным полем.

XXXII

Передовые части сибиряков и уральцев еще несколько дней назад, преследуя отступающего противника, с ходу атаковали перекопские позиции, пытаясь на плечах белых ворваться в Крым. Атакующие прорвались к самому Перекопскому валу. Было это ночью, местность вокруг незнакомая. Об укреплениях противника никто точного представления не имел, и все же войска с ходу пошли на штурм, настолько велик был их порыв, жажда не дать врагу укрепиться в Крыму на зиму. Однако в ту ночь ворваться на вал не удалось, и, когда стало ясно, что такими силами его не взять, войска, понеся большие потери, вынуждены были отойти назад, в степь.

Санитарные пункты и полевые штабы сбились на хуторе Преображенском, в нескольких верстах от Перекопа, неподалеку от залива. Когда-то здесь была одна из резиденций Фальцфейнов, стоял помещичий дом, окруженный серебристыми тополями; под тяжелыми черепичными крышами горбились саманные батрацкие казармы, за которыми до самого моря расстилались виноградники. Зная, что хутор переполнен красными, противник из Перекопского залива нещадно громил его огнем тяжелых морских орудий. С корнем выворачивало деревья, рушились дома, живьем погребая под развалинами раненых.

Без устали молотила вражеская артиллерия и по городку Перекоп, даром что от него осталась только куча развалин, белеющих в степи перед валом, словно гора перемытых дождями костей... Города нет, все разбито, разрушено дотла, однако артиллерия все бьет и бьет, зная, что и там, в развалинах, скрываются смельчаки разведчики. Из-за кое-где уцелевших печных труб, из-за каждого камня настороженно следит чей-то глаз, изучает мрачные, нависшие над степью вражеские укрепления.

С севера тем временем все прибывают новые красные части, идут пополнения, подтягивается артиллерия. Присивашские села в эти дни забиты войсками. Но не только села наводнили они, и в открытой степи перед Перекопом всюду войска, войска. Одни, оттянутые на север, за сферу артиллерийского огня противника, терпеливо учились брать с ходу провололочные заграждения, резать и рвать колючую проволоку, другие, прижатые огнем вражеской артиллерии к земле, лежали, раскиданные по всей степи, целыми днями не имея возможности поднять голову, и только тысячами зорких глаз следили за ошетилившейся бесчисленным количеством стволов твердыней, которую им предстояло взять.

В один из этих дней красное командование предложило белым войскам сдаться и выслать для переговоров парламентаря. В ответ на это белые открыли с Перекопского вала еще более яростный огонь, однако в назначенный для переговоров час огонь вдруг прекратился и с вала в сопровождении солдата-трубача с белым флагом спустился, направляясь в степь, высланный для переговоров офицер.

Это был недавно восстановленный в своем прежнем чине капитан Дьяконов.

Навстречу ему из степи, тоже с трубачом, приближался красный парламентар.

Перед тем его вызвал начдив Блюхер. Объяснив суть дела, откровенно предупредил об опасности:

— Скорее всего, тебя убьют еще на полдороге. Пойдешь?

— Пойду!

Два человека сближаются среди перекопской степи на виду у двух притаившихся, готовых к поединку армий. Два смертельно враждующих стана тысячами глаз следят за каждым их шагом, пока они сходятся на поросшем бурьяном пригорке. Сошлись, остановились друг против друга, трубачи застыли поодаль.

Казалось, ждали от них чего-то сверхъестественного, превышающего человеческие силы. Может, и в самом деле договорятся? И не выть больше снарядам в воздухе, не стонать раненым, перестанет витать смерть над этим полем, не прольется больше человеческая кровь? Разве не может так быть? А вдруг эти трубачи с блестящими трубами только и ждут, чтоб обернуться и возвестить каждый своему войску радостную весть?

Хмурое поле под низко нависшими тучами. Дует резкий ветер Сиваша, развевая белый флаг парламентаря.

О чем они там говорят? Говорят или, может быть, остановившись, только разглядывают друг друга?

А они и в самом деле стоят и смотрят. Направляясь сюда, Дьяконов ожидал увидеть грозного комиссара с железной «рабоче-крестьянской» челюстью, а к нему легким шагом приближался худощавый юноша в плохонькой шинельке, в суконном шлеме, с малиновой звездой во весь лоб. Кто он? Латыш или полтавец, вятский или, может, туляк? Что привело его сюда, какая сила втянула в могучий водоворот революции? И какие у него основания, какое право диктовать сейчас свою волю им, последним защитникам белого Арарата?

Плохо, почти по-летнему одетый, в разбитых на маршах ботинках, юноша старается не показать, что ему холодно, но тело, пронизанное стужей, само ежится, лицо до слез нахлестало ветром, и все же веселое оно какое-то, кажется улыбающимся, хотя он и не смеется. Что у него на уме? Что означает эта внутренняя скрытая улыбка — улыбка молодого сфинкса?

— Кто вы?

— Я красный парламентар. А вы?

— Я белый парламентар. Что вы имеете мне передать?

— Вот приказ: гарнизону Перекопа сдаться.

Дьяконов молча взял приказ.

— Мы не кровожадны, — продолжал юноша в шлеме. — Красноармеец страшен врагу в бою, а лежачего мы не бьем. Если сдадитесь, мы обещаем вам жизнь.

Он говорит твердо и убедительно. Лицо у него открытое, вызывающее доверие. Дьяконов ловит себя на том, что в нем растет какой-то почти болезненный интерес к своему противнику. Странная ситуация: за спиной у Дьяконова высятся лучшие в мире укрепления с тысячами бойниц, со стальными блиндажами,

укрепления, воплотившие в себе мысль лучших военных инженеров Европы, воплотившие опыт грозного Вердена; а что за ним, какая сила поддерживает его, этого пронизанного ветром красного парламентаря? Голая степь за его спиной, никаких укреплений, и все же не Дьяконов ему, а он Дьяконову диктует здесь волю свою и своих войск.

— Не секрет, крови пролито много, но это необходимость заставила нас, большевиков. А сейчас, если сложите оружие, всему шабаш!

Где оно, войско? Ни одной души не видно в степи, хотя из там, Дьяконов знает, без числа. Серые, незаметные, лежат на серых, открытых ураганному огню просторах перекопских равнин. Пока ничем не обнаруживают себя, не поднимают головы под нацеленными на них жерлами орудий и только тысячами глаз сторожко следят за этим своим посланцем, что открыто стоит перед валом, говорит от их имени.

— Революция великодушна. Не война наша цель, а мир, чтобы новую жизнь строить.

Уже можно бы идти, пакет уже был у Дьяконова в кармане, а он все не находил в себе силы двинуться с места. Ему хотелось еще что-нибудь услышать от этого юноши в шлеме и в обтрепанной шинели, хотелось спросить о чем-то очень важном, может быть, самом важном в жизни.

Однако не Дьяконов к нему, а он первый обратился к Дьяконову с этим самым важным:

— А вы? Знаете ли вы, за что воюете?

В страстной его интонации Дьяконов ясно услышал наивное желание тут же, на месте, распропагандировать его, белого парламентаря, не ожидая капитуляции Перекопа.

— За что? Ради чьей выгоды кровь свою льете? — горячо повторил он.

— Я не уполномочен говорить с вами на эту тему.
Красный парламентар улынулся.

— А я с вами уполномочен говорить обо всем, что подскажет совесть моя большевистская. Побьем мы вас, что бы там ни было, — побьем, если не сдадитесь! — сказал он с гордым и радостным вызовом и, переведя взгляд на вал, прибавил: — На что надеетесь? На укрепления эти? Неприступные, думаете? Нет для нас неприступного!

— Почему? — невольно вырвалось у Дьяконова.

— Народ за нас. Сотня упадет, а поднимется тысяча!

Дьяконов смотрел на него и чувствовал, какая сила, какая необоримая вера бьет ключом в этом юноше. Безоружный, почти босой, полураздетый, один подставил грудь всем бойницам вала, а, видно, чувствует себя тверже тех, кто укрылся там, на валу.

— Можно убить меня, но идею нашу, то, что таится вот здесь, — он стукнул себя в грудь, — не убить никому!

Вечерело, еще ниже стало осеннее небо над Перекопом, когда парламентары под пение труб двинулись каждый к своим. Шли и, подняв трубы, на ходу трубили трубачи, и напряженно прислушивались к этим звукам войска, пытаясь по тембру угадать, что они вещают. Может, и в самом деле перестанет литься кровь? Не нужны сразу станут ни колючая эта проволока, которой опутано все поле, ни заложенные в землю фугасы, ни жерла орудий, расставленных по всему валу батарей.

Все отдаляются друг от друга парламентары, все отдаляются, тонут в вечерней мгле трубачи. Уже почти не видно их в ранних осенних сумерках, и звуки труб едва слышны над огромным перекопским полем, где сквозь завывание ветра уже и не разберешь: то ли все еще трубят, расходясь в разные стороны, трубачи, возвещая каждый своему войску свою суровую и

тревожную правду, то ли трубят и свищет пронзительный ветер, гоня по степи перекасти-поле куда-то в темные бездны Сиваша.

А когда совсем стемнело, ударили огнем батареи с Турецкого вала и мощные прожекторы, рассекая простор, метнули из-под туч свои голубые мечи куда-то в глубину притихшей, заполненной войсками степи.

XXXIII

Седьмого ноября, в третью годовщину Октябрьской революции, во всех присивашских селах, запруженных войсками, и в разбросанных по открытой степи красноармейских частях проходили летучие митинги. Выступающие давали клятву ознаменовать славную годовщину новой победой, водрузить над Крымом Красное знамя. Повсюду в войсках царил такой подъем, так хотелось поскорее покончить с войной одним ударом, что командирам стоило усилий сдерживать бойцов от преждевременного выступления, от немедленной атаки Перекопа.

И хотя не был еще оглашен боевой приказ, каждому бойцу ясна была стратегия и направление основных ударов — одни штурмуют твердыню в лоб, другие бредут в обход через Сиваш. Третьего пути нет.

— Мы это Гнилое море своими телами устелим, а Крым будет наш, — грозя кулаком в сторону Сиваша, возбужденно кричал на митинге в Строгановке молодой боец с забинтованной рукой; он, как и многие другие раненые, отказался идти в лазарет.

После митинга до самого вечера в селе играли гармони, звучали песни, бурлило народное гулянье.

Оленчука с Фрунзе видели в этот день над Сивашом. Сперва стояли на холме у пологой впадины — спуска к Сивашу, а потом подкатила к ним тачанка, они оба

уселись и поехали вдоль Сиваша в направлении Владимировки.

О чем мог идти у них разговор, какие были меж ними тайны — между простым таврийским чабаном и известным всей стране полководцем красных войск? Может быть, Оленчук делился со своим собеседником мыслями, рассказывал о своей жизни, убогой радостями, богатой горем, трудной трудовой жизни простого человека. Может быть, наоборот, Фрунзе рассказывал ему, Оленчуку, о себе, о юности, прошедшей на баррикадах да в царских тюрьмах, о бессонных ночах в Николаевском каторжном центре, о ссылке и побеге потом через дремучую тайгу.

Фрунзе был одним из тех новых народных полководцев, выдвинутых революцией, которые, оказавшись на высших постах, всегда помнили, что каждый из них прежде всего коммунист, революционер. Свою военную работу Фрунзе не представлял себе без теснейшего контакта с трудовым населением тех мест, где приходилось действовать его войскам, в трудные минуты он искал поддержки именно здесь, в самой гуще народа. Так было на Восточном, когда в критический момент все трудовое население окрестных губерний было поднято на защиту Волги. Так было в Туркестане. Так и здесь. Именно эта черта, свойственная не столько полководцам, сколько революционерам, и свела его в присивашском селе с Оленчуком.

Едут они в тачанке вдоль осеннего Сиваша и, не думая о разнице в званиях и чинах, об условном расстоянии, которое, казалось бы, должно было отделять крестьянина от полководца, чувствуют себя просто — два равных человека, и серьезная, вдумчивая идет меж ними беседа.

Рассказывал Оленчук, а Фрунзе больше слушал, лишь изредка прерывая вопросом то о том, то о другом

неторопливую Оленчукову исповедь.

— С детства мы, бывало, растем, как трава, мрет нас половина, а когда подыдемся, царь с радостью забривает нас в солдаты, и мы становимся тогда пластунами, гусарами, артиллеристами, кавалеристами... Нам не жалеют «Георгиев», нам не жалеют похвал, но самого дорогого — воли, свободы жалеют: для ярма наши шеи, говорят, больно подходящие... Так, бывало, задержают, так взнуздают, что уже и пахут на тебе, а ты только сопишь, словно и не человек ты. А потом разогнешься, оглянешься — да нет, человек все-таки!

А вышли мы, строгановские, из казаков Сечи Запорожской. Как раздавала земли Катерина, нам Гнилое это море отдала, и мы назвали его Сивашами, потому все оно от соли сивое, когда ветер из него воду сгонит. Вот тут и живем. Хату мою вы видели — из лебеды да глины, ни дать ни взять чабанский курень на берегу Сиваша. Так и живем из рода в род здесь, на юру, над Гнилым морем. Ветром одеваемся, небом укрываемся...

Как песня, как дума тоскливая, течет рассказ, а Фрунзе слушает, и уже не полководец армий он в эти минуты, а рядовой боец великой ленинской партии, революционер, что жизнь посвятил борьбе за счастье народное. Тюрьмы, ссылки, каторжные централы — все ради этого. Вспомнил последнюю свою встречу с Ильичем в Кремле. Столкнулись на лестнице, Ильич как раз куда-то спешил. «Значит, едете, молодой комфронта? Счастливо! Счастливо!» — и крепко пожал руку на прощание. Уже спускаясь по лестнице, еще раз обернулся, прищурился: «Советуйтесь с народом! Прошу вас, советуйтесь как можно чаще...»

Глубоко запали в душу эти слова, запечатлелись в ней, как памятка: советуйтесь с народом.

— А что у нас была за жизнь, товарищ Фрунзе... Повезешь, бывало, соль в Чаплинку или в Каховку, продашь, напьешься — набьешь кому-нибудь морду или тебе набьют... Только всего и было нашей радости. И овец пас по имениям, и колодцы пробивал, и соль собирал. Из лета в лето ноги в язвах: бродишь босой по соленым лиманам...

— Соляные промыслы были здесь, что ли?

— Главные промыслы это там, дальше, их крымские купцы арендовали. А мы здесь, у себя, больше ночами да тайком, потому и за соль стражники ловили... Каторжный промысел. В жару рапа, как в чане, кипит. Ноги тебе разъест, руки разъест, а ты все бродишь, лазишь по кипящим лиманам, потому как это твой хлеб.

Льется и льется печальная дума Оленчукова, и в ответ ей отзывается в душе у Фрунзе все пережитое в тюрьмах, выношенное на этапах, передуманное в ссылке. Никогда не бывал в этих краях, не видел, как жили здесь, собирая соль, эти люди — изгнанники на родной земле, но, кажется, и не зная их, не раз уже думал о них, о горькой их доле...

«Советуйтесь, чаще советуйтесь с народом...»

Уже здесь, на Южном, получил от Ленина телеграмму: «Помните, что надо во что бы то ни стало на плечах противника войти в Крым. Готовьтесь обстоятельнее, проверьте — изучены ли все переходы вброд для взятия Крыма». Ленин, вождь мирового пролетариата, среди бесчисленных важнейших дел находит время подумать о том, изучены ли броды через Сиваш... Одной красноармейской храбрости, готовности идти через топи и болота Сиваша здесь недостаточно. Здесь надо поставить на службу революции всю силу народной мудрости, весь житейский опыт таких вот, как он. Фрунзе взглянул на Оленчука.

— А во Владимировке, в других селах, как вы думаете, удастся найти нам проводников?

— Насчет этого не сомневайтесь, Михаил Васильевич. Для Красной Армии проводники везде у нас найдутся, от Чонгара и до Перекопа. Это кабы для белых довелось, так для них у нас — нету. Прошлый год, еще как только начали французы первые укрепления возводить на перешейке, интересовались ихние спецы Сивашами тоже. Расспрашивали мужиков: не замерзает ли, мол, зимой да есть ли надежные броды, по которым можно было бы войскам пройти... Так толком ни до чего и не допытались.

— Не выдали, значит, тайну? — улыбнулся Фрунзе.

— Для сынков своих, для своего, для народного войска люди тайну берегли.

— Многие, выходит, знают?

— Старые люди рассказывают, что броды эти сивашские еще запорожцам известны были. От них, должно, и нам в наследство перешло. Из колена в колено передавалось, пока не дошло до сего дня, чтобы сынам нашим, чтоб войску народному послужить... Так что в проводниках, Михаил Васильевич, недостатка не будет.

— Но мы в проводники не каждого возьмем. Тут нам нужны люди особо надежные. — И, близко наклонившись к Оленчуку, Фрунзе спросил: — Знаете, кого поведете?

Оленчук пожал плечами:

— Бойцов, известно.

— Не просто бойцов. Доверяем вам самое дорогое, что у нас есть, — цвет Красной Армии. Лучших из лучших поведете, штурмовую колонну коммунистов.

— Что ж, товарищ Фрунзе, — сказал после паузы Оленчук, — что вам дорого, то и нам дорого. Как и вы, мы тоже твердо за Ленина стоим. Впервой, можно сказать, родную власть узнали и «владеть землей имеем право», как это в «Интернационале» поется.

Все дальше и дальше катится степью вдоль Сиваша тачанка. Вода спала, и Гнилое море оголило дно, сереет, покрытое соляным налетом, под которым застыла вязкая крутая топь. Слушая Оленчука, Фрунзе в то же время не отрывает взгляда от просторов Гнилого моря, в которых чудится ему что-то тревожное. Бескрайнее поле неразгаданных загадок и нераскрытых тайн, до самого горизонта раскинулось оно. По зыбкому, гнилому дну этого моря должны пройти его дивизии на ту сторону, а что там? В живом воображении Фрунзе уже встают берега мертвого полуострова, опутанные проволокой, все лето укреплявшиеся противником; поднимаются высокие земляные брустверы, и, повернув жерла, целятся со всех этих далеких крымских холмов и круч навстречу его штурмовикам мощные батареи...

XXXIV

К вечеру Оленчук вернулся домой. Вошел в хату и, глядя на жену, первым делом спросил:

— Где дети?

Жена рылась в сундуке. Обернувшись удивленная, насторожилась:

— А что?

— Да так... Ничего.

По голосу его, глуховатому, суровому, жена сразу догадалась: что-то случилось. Что-то важное на сердце принес. Допытываться, однако, не стала.

— Побежали к соседям на гармошку, — ответила и, оставив открытый сундук, стала собирать ужин.

Иван, скинув кожушок, опустился на лавку.

— А постояльцы где?

— Тоже там... Веселятся, аж хата ходуном ходит.

Подав ужин, жена снова занялась сундуком.

— Будет и у нас лазарет, Иван.

— Лазарет? — Спрашивая, он, видимо, думал о чем-то своем. — Какой лазарет?

— Прибегал Вдовченко из ревкома, сказал, чтоб готовили хату... Так вот я на холст гляжу. Как думаешь, Иван, сгодится на бинты?

Стоя у сундука, жена перекинула через плечо сувой домотканого небеленого холста.

— Собиралась детям сорочки к пасхе пошить, да когда еще та пасха? А их же надо будет чем-то перевязывать. Правда, толстое, грубое, да зато чистое...

В суровой задумчивости смотрел Оленчук на холст в руках жены, с которой столько лет делил радость и горе. Не знаешь еще ты, Харитина, кого будешь перевязывать... Может, обовьешь чистым полотном и самого хозяина, пробитого пулями, изрешеченного картечью... А может, и вовсе останешься с детьми на старости лет вдовою...

— Ты что ж молчишь, Иван? — подошла к нему жена. — Вчера молчал и сегодня сидишь, как туча! Чего они хотят от тебя там, в штабе? Отчего ты такой?

Иван точно пробудился от сна, улыбнулся каким-то своим мыслям.

— Не-ет, не знает еще фон барон Оленчука, — заговорил как бы сам с собой. — Думает, верно, что Оленчукова спина — это ему доска грифельная... чтоб по ней вечно шомполами писать... А может, хватит? — И прибавил, бодро потирая руки: — Давай-ка ужинать, Харитина...

Он и не заметил, что кулеш давно уже стынет перед ним на столе.

Мигал каганец. Стекла дребезжали под ветром. Тоскливо пела в трубе осень.

Только взялся за ложку, как с грохотом отворилась дверь, и веселой толпой вместе с постояльцами ввалилась в хату детвора своя и соседская.

— Тату, а мы стих знаем! — подлетел к столу
Мишко, средненький:

Ми стали волі на сторожі,
Іі не зрадімо ніде!

А Кирилко, младший, вынырнув из толпы
красноармейцев, живо добавил:

Тремтіть, недобитки ворожі,
Червона Армія іде!

Смеялись постояльцы, смеялась и мать у печи,
переводя взгляд с одного звонкоголосого вояки на
другого: они так и летали по хате в своих крылатых
лохмотьях.

Не успел Оленчук и несколькими словами
перекинуться с постояльцами, как в окно кто-то громко,
настойчиво постучал.

— Кто там? В хату заходи!

Вбежал штабной посыльный, бойкий парнишка с
карабином на плече.

— Пошли, батя! Ждут вас.

Все, примолкнув, недоуменно и уважительно
свели за хозяином. Не спеша поднявшись, Оленчук
надел колушок, натянул шапку, взял в углу посох.

Дети, почуяв что-то, облепили его:

— Тату, куда вы?

Он положил ладонь на голову младшему.

— Не закудакивайте.

Уже с порога обернулся еще раз, встретился
взглядом с женой. Она, все поняв, молча перекрестила
его на дорогу.

У Сиваша уже стояла штурмовая колонна. Шелестело в темноте развернутое знамя. Вверху над головами бойцов темнели длинные, с пучками камыша на концах, еще днем заготовленные вехи.

Было около десяти вечера. Сиваш потонул в густом холодном тумане. Секла лицо, била в глаза острая, как осколки стекла, ледяная крупа. Кое-где в сплошной стене штурмовиков — конца ей не видно — тлели огоньки самокруток, время от времени освещаая строгое худое лицо, поднятый воротник, натянутый на уши шлем.

— Товарищ комиссар! — звонко доложил посыльный. — Проводник прибыл.

— Здравствуйте, товарищ Оленчук... Вот мы и опять встретились. Не узнаете?

— А вы кто?

— Я — Бронников Леонид, старший колонны. Вы готовы?

— Готов.

Комиссар повернулся к бойцам.

— Бросайте курить, товарищи. Передайте по колонне: двигаться будем без огня, без шума. Проверить все на себе. Поправить ножницы, гранаты, чтоб ничто не стукнуло, но брякнуло... — И, обращаясь к Оленчуку, скомандовал: — Проводник, вперед!

Оленчук двинулся вперед. Слышал, как где-то совсем над его головой хлопает по ветру знамя. Слышал, как вдруг глухо и мощно, точно из-под земли, возник, нарастая, знакомый торжественный мотив...

Это есть наш последний
И решительный бо-ой...

Под это пение колонна стала спускаться с берега на дно Сиваша.

Сколько раз доводилось Леониду Бронникову слышать «Интернационал», но сейчас, когда его, отправляясь на Сиваш, запела в темноте хриплыми, простуженными голосами штурмовая колонна коммунистов, пролетарский гимн прозвучал для Леонида как-то особенно проникновенно и взволновал его, как никогда.

С ним, с «Интернационалом», с самых юных лет связал Леонид беспокойную свою судьбу. От подпольной матросской группы на корабле с ночными тайными беседами в кубрике; от дружбы с хорлянскими портовиками, которые спасли его от неминуемой каторги, отправив своего юного друга в далекое плавание, откуда он, очаковский паренек, беглый военный матрос Леонид Бойко, вернулся уже профессиональным революционером Леонидом Бронниковым; через скитания кочегаром на иностранных лайбах; через водяные стачки в фальцфейновских степях; через революцию и фронты — до этого последнего решительного штурма. Нет, если бы ему пришлось начинать жизнь сначала, он снова начал бы ее так же!

Отзвучала песня, и слышно уже, как шуршат на ходу шинели, как глухо шаркают в темноте тысячи ног по подсушенному морозом морскому дну.

— Тут и артиллерия пройдет, — говорит кто-то из идущих вперед. — Твердь.

— Покуда твердь, — отзывается на голос проводник, — а там захлюпает.

— Рыбачили?

— Рыба здесь не живет, товарищ. Соль собирал. Ничто не выдерживает, одна соль только и родит. А уж

как и она не уродит, да как хлеба не наменяешь, тогда зубы на полку.

— Нелегко, видать, и вам здесь кусок хлеба доставался.

— Ой, нелегко, товарищ. А вы сами откуда будете?

— Я питерский. Путиловец.

— Давно, верно, дома не бывали?

— Третий год, как не видел семьи.

— Теперь уже скоро...

— Нужно, чтоб скоро. Как можно скорее нужно. — Собеседник Оленчука, наклонясь на ходу, глухо, простуженно кашляет. — Сегодня письмо получил, товарищи с завода пишут: «Ждем к зиме тебя домой, товарищ Капитонов» (это фамилия моя Капитонов). К зиме... Тут, брат, догадывайся сам. Разруха, блокада, а если сверх этого тяготы еще одной военной зимы... Нет, пора кончать!

«Пора, пора!» — откликается и в душе Леонида. Это чувство, которым живет здесь каждый в колонне, было самым пылким желанием и его, Леонида, ибо знал, что за этим последним боем откроется совсем новая жизнь, вольно вздохнут люди, и там, если он доживет до тех дней, можно будет жить только радостью мирного труда, там можно будет ему больше никогда не разлучаться с женой и сыном... Кринички! Весенние, в вишневом цвете Кринички, как далеки они отсюда, от этого осеннего, тревожного, чавкающего под ногами Сиваша.

Все меньше кажутся далекие огни костров, разложенных на оставленном берегу. Это маяки. Знает Бронников, что их разожгла армия специально для них, для красных своих авангардов, чтобы легче им было ориентироваться в Сиваше. Знает, что не одной строгановской колонне светят этой ночью маяки, зажжены они и в соседних селах, так как кроме штурмовой колонны, вышедшей только что из

Строгановки, параллельно ей движутся сейчас во тьме Сиваша штурмовики других красных дивизий, и впереди, палкой прощупывая дно, идут такие же, как Оленчук, проводники из местных жителей. Промелькнули в памяти Леонида трагические картины прошлогоднего херсонского отступления, разобранные колонистами пути, недовольный гул и брожение среди бурлящих повстанческих масс. Мог ли думать тогда этот самый Оленчук, трясясь незаметным обозным в отступающих войсках, что пройдет год — и станет он проводником железных регулярных частей и первый пойдет с ними через Сиваш.

Шагая впереди, Оленчук все чаще останавливается, чтобы сориентироваться. Потом, словно оправдываясь, говорит, обращаясь к Бронникову:

— Верите ли, товарищ комиссар, никогда еще так не боялся ошибиться, потерять дорогу, как в этот раз... Сам заблудишься, так сам и пропадешь, а заблудиться с вами, когда тебе доверено такую силу вести, — не простят тебе промаха ни дети, ни внуки, весь народ тебя проклянет.

Уже растаяли, скрылись в тумане строгановские костры-маяки, холодный мрак окутал колонну со всех сторон. Под ногами все сильнее чавкает, дно прогибается, точно дышит Сиваш.

Третью пути прошли они почти по твердому грунту, и только здесь началось то, за что, собственно, Сиваш и назван Гнилым морем. Илистое дно запружило под ногами, со всхлипом уходит верхний пласт в гнилые подгрунтовые впадины и снова подымается. Дышит трясина. Захлюпала мертвая, никогда не замерзающая топь; густо раскинулись по серому дну черные как деготь таинственные омуты чаклаков.

— Берегись! — бросает то и дело Оленчук, петляя между чаклаками и прощупывая палкой дно, и его

«берегись!», глухо повторенное за ним, передается дальше по всей колонне.

Двигаются теперь значительно медленнее, забирая то влево, то вправо. Ноги все чаще проваливаются, вязнут по колено в густой холодной грязи. Чавкает и чавкает без конца зыбкая, засасывающая топь. Каждый шаг дается с трудом, все тело напряжено. Бронников чувствует, что в сапогах у него уже полно ледяной воды, грязи. Натруженные, потертые ноги нестерпимо щемят от соляной рапы. Штаны и шинель — все уже мокрое, тяжелое, липкая рапа ползет по телу все выше, даже волосы уже слиплись на голове.

На холод, на мороз, от которого колом становится одежда, уже никто не обращает внимания. Бойцы расстегнулись, бредут, обливаясь потом, тяжело, надрывно дыша. По двое, по трое несут на руках пулеметы.

Через каждые сто шагов ставят веху. Все меньше вех в колонне, все больше остается их на пройденном пути. Вехи — это для тех, кто вскоре двинется через Сиваш следом за ними, за высланной вперед штурмовой колонной, где собраны самые отборные, выдержанные бойцы, гранатометчики и резальщики проволочных заграждений, которые должны, пусть ценой жизни, проложить проходы для главных сил. Бронников мысленно видит за собой все вехи, расставленные по дну Сиваша, представляет, как пойдут по ним — а может быть, и идут! — артиллерия, конница, массы войск, запрудившие Строгановку и другие присивашские села. Сознание того, что он со своими товарищами сейчас прокладывает путь для целой армии, держит Бронникова все время в возбуждении, в состоянии крайнего напряжения и предельного подъема всех физических и душевных сил.

Впереди неизвестность, опутанный колючей проволокой полуостров, ливень огня, под которым,

может быть, и сложат они свои головы, все эти идущие первыми, но сильнее смерти, сильнее всех тревог, навеянных мрачным видением вражеского берега, было чувство гордости за товарищей по колонне, за роль, что выпала на их долю в эту историческую ночь. Это все идут товарищи его по партии, идут те, у кого есть нечто более дорогое, нежели собственная жизнь. Бывшие каторжане, подпольщики, пролетарии, крестьяне, матросы, они посвятили себя одному делу — добыть счастье народу. Отсюда их бесстрашие, отсюда готовность, презирая смерть, брести этим ночным болотистым, непроходимым Сивашом. Все лето бились в степях, и страшны были врагам их штыки, но еще страшнее — их вера, целеустремленность, боевой порыв их сердец!

— Товарищи, яма!

— Тону!

— Затягивает!

— Руку, товарищи!

Кого-то вытаскивают, до кого-то уже не дотянуться. Стоит лишь сбиться в сторону на несколько шагов, и человек проваливается по самую шею. Пришлось взяться за руки и двигаться дальше плотными рядами, поддерживая друг друга.

Внезапно где-то справа зловеще мелькнул в тумане голубой невесомый луч прожектора. Коснулся тучи и сразу погас. После этого окружающий мрак стал еще гуще.

Вскоре прожекторы прорезали тьму сразу в нескольких местах, слева и справа, нервно перебегая в тумане, шаря по самому дну Сиваша.

Штурмовики были к этому готовы. Мгновенно присели, замерли группами, кто где стоял. И когда один из прожекторов, блуждая, добрался сюда, прощупывая, нет ли живого человека на Сиваше, кучки бойцов в его

жутком свете можно было принять за островки камыша да темные пятна чаклаков.

Прожектор переметнулся в сторону, и снова из уст в уста побежала команда:

— Вперед!

Неожиданно наступило безветрие, но, кроме Оленчука, никто этого не заметил. Проводника затишье встревожило. «Не повернул бы после этого ветер, не погнало бы воду с Азова...»

Было уже за полночь, когда колонна, миновав полосу трясины и чаклаков, измученная, облепленная грязью, выбралась наконец снова на более надежный, прочный грунт.

Двинулись почти бегом с винтовками наперевес.

— Да скоро ли, наконец? — в нетерпении спрашивали Оленчука.

— Уже близко...

И вдруг, словно при вспышке молнии в воробьиную ночь, людей на миг ослепило сияние прожекторов, наведенных откуда-то прямо на них — бледных, заросших, забрызганных сивашской грязью. Темнота расступилась, открыв справа и слева контуры береговых круч и совсем близко густой частокोल бесчисленных проволочных заграждений, покрывавших все побережье. Это уже был Крым.

— В цепь! — пронеслось по колонне. — Резать проволоку!

Комиссар Бронников с гранатой в руке, обгоняя Оленчука, успел бросить ему:

— А вы возвращайтесь! Вам еще других переводить!

И побежал. Усылая Оленчука из-под огня, командир, очевидно, и мысли не допускал, что сам он тоже не заговорен от пуль, что опасность грозит и ему. Кинулся вперед так, точно ждала его там, на Литовском полуострове, не война с колючей проволокой, с тысячами смертей, а только тяжелая срочная работа,

которую он должен выполнить во что бы то ни стало, оставаясь при этом живым и невредимым. И — странно — Оленчуку в эти напряженные секунды и в самом деле верилось, что все они, кого он вел и кто в полный рост ринулся теперь вперед, так в полный рост и пройдут под прожекторами сквозь проволоку, сквозь огонь Литовского полуострова и ничто их не коснется.

Огненным ливнем ударило с круч, все гуще звенели в воздухе пули, ухнул первый снаряд, подняв со дна Сиваша фонтан грязи, но никакая сила уже не могла остановить штурмующих, что могучей волной накатывались из фантастически освещенного прожектором Сиваша и бурей паслись вперед.

Оленчук не узнает штурмовиков. Вместо измотанных, смертельно усталых бойцов, только что изнемогавших в трясилах Сиваша, мимо него сейчас лавиной несутся как будто другие, словно окрыленные люди. В длинных шинелях и высоких шлемах, они кажутся сейчас какими-то великанами в мертвенно-голубом сиянии прожекторов...

— Вперед! Вперед!

Падают под пулями и снова встают в полный рост, бросаются на штурм береговых укреплений, пробивают проходы гранатами, оглушая все побережье дружным кличем:

— Даешь Крым!

XXXVI

Весть о том, что колонны коммунистов, перебравшись ночью через Сиваш, прорвали береговые укрепления Литовского полуострова, вызвала переполох в белых штабах. Перебрали море, заходят в тыл! Чтобы ликвидировать прорыв, Врангель вынужден был повернуть лицом к полуострову две дивизии из-под

Перекопа, бросить сюда лучшие свои резервы. Жерла орудий с перекопских позиций тоже были повернуты на Сиваш. Красные полки, двинувшиеся вслед штурмовым колоннам, могли идти по открытому дну уже только перебежками, глохли от адского грохота тяжелых снарядов, что рвались и рвались по всему Сивашу, вскидывая к небу огромные столбы грязи. Вряд ли кто знал и когда-нибудь узнает, сколько их, безыменных героев, в эти часы штурма вместе с артиллерией, лошадьми, вместе с винтовками и пулеметами навеки погрузилось в бездонные трясины Сиваша.

Наступил день восьмого ноября — первый день боев уже по ту сторону Сиваша, на крымской земле.

Данька Яресько этот день застал в открытой перекопской степи, на заброшенном чабанском стойбище, где в ожидании атаки нашли себе приют бойцы одного из батальонов 455-го стрелкового полка.

Холод пробирал до костей: при полном бесснежии температура спускалась ниже десяти градусов. Много было в эти дни обмороженных. Тысячи тех, кому выпало маяться в открытой степи, с завистью поглядывали на далекие, оббитые ветрами присивашские села: там человеческое тепло, там можно было бы обогреться. В степи даже бойцы-сибиряки, привыкшие к суровым северным зимам, больше всего страдали именно от лютой этой холодины, от бесснежной черной таврийской зимы с ее пронзительными буранными ветрами.

В таких условиях это полуразрушенное чабанское стойбище оказалось для красноармейцев просто находкой. Яресько здешние места знакомы давно, знакомо ему и это стойбище, среди чабанов называвшееся когда-то табором Пекельным. Еще батрача у Фальцфейнов, он не раз, спасаясь от буранов, забредал с отарой сюда, в отдаленный степной табор, где были тогда огромные загоны для скота и теплые

печи в землянках для батраков и чабанов, чтоб могли они отогреться здесь после целодневных блужданий на стуже, в открытой степи. За годы войны стойбище разрушилось, пришло в запустение, кошары растащили, землянки развалились, остались только кучи глины да часть плетеных загоронок, под которыми укрылись, прижавшись друг к другу, Яреськовы однополчане.

Скорей бы уж атака на вал! Этим чувством полон каждый боец. Знают, что вся страна в эти праздничные революционные дни смотрит на них, ожидает от них последнего удара. Знают, что товарищи их уже бьются на Литовском, переправившись ночью по ледяным болотам Сиваша. Весь день гремит артиллерия. Первые волны атакующих, прижатые к земле ее ураганным огнем, лежат уже где-то перед самым валом. И дальше вглубь вся степь полна ими, как птицами осенью перед отлетом.

— Товарищ комиссар, когда же мы? — в нетерпении спрашивают красноармейцы своего комиссара Безбородова, в прошлом ивановского ткача.

— Выдержка, выдержка, товарищи, — говорит он, переходя от бойца к бойцу, проверяя, наточены ли ножницы в порядке ли оружие.

— А правда ли, товарищ комиссар, — обращается к Безбородову молодой боец Ермаков, — что товарищ Фрунзе наш земляк, что он тоже не то ивановский, не то шуйский?

— Слышал и я, что он наш, из нашей красной губернии, — улыбается Безбородов.

Присев неподалеку от Яресько, комиссар некоторое время наблюдает, как этот бывший чабанок, окруженный товарищами, молча складывает небольшой костер из кизяка и стеблей бурьяна.

— Сразу видно чабанского умельца, — замечает комиссар, тепло глядя на Яресько. — Немало, видно, товарищ Яресько степных огоньков тут пораскладывал?

— Да пришлось, — отвечает Данько и, растянувшись на земле, принимается старательно дуть в чуть живой костерок.

— Только дым разгоняйте, чтобы противник не заметил, — посоветовал бойцам Безбородов и сам стал отгонять дым рукой.

Взметнулись первые язычки пламени, и вот уже со всех сторон навалились на него дрожащие от холода бойцы, ловя слабое тепло.

Шутя стали припоминать, где и кому из них жарче всего пришлось, и кто-то из ветеранов полка рассказал, как они еще в Оренбургских степях с Блюхером на охваченном пламенем поезде от белоказаков к своим пробивались. Двигались так: впереди платформа с тюками ваты, за ней паровоз и сзади опять платформа с ватой.

— А беляки бьют, вата загорелась, ветер раздувает огонь. Что делать? На ротном одежда тлеет, а он: «За мной, товарищи!» — и на полном ходу из огня да под откос, а мы всей командой за ним. Блюхер тоже недалеко от нас с «гочкисом» в цепи лежал. Отбивались, пока подмога не подспела.

Кое-кто из бойцов тем временем, приноровившись, стал жарить над огнем где-то раздобытый ячмень.

— Бери! Черный рис! — трясет перед Яресью жестянкой с подгорелым ячменем знакомый китаец.

С аптекарской точностью он отмерил горсть ячменной поджарки Яресью, насыпал подряд другому и третьему.

— Бери и ты! — говорит китаец, обращаясь к комиссару, который, стараясь не показать, что он голоден, с равнодушным видом ждал, пока очередь дойдет до него.

Повеселели от этого угощения, едят, губы черные, хрустит у бойцов на зубах горелый перекопский рис.

Однако недолго наслаждались они прикрытым шинелями теплом. Начался обстрел, стали ложиться в степи снаряды, и костер пришлось погасить...

Съежившись, лежит среди товарищей Ярьсько на холодной, мерзлой, содрогающейся от канонады земле. Еще год назад, когда он носился здесь по степи с Килигеевыми повстанцами, была у них только одна пушка с тремя снарядами, и они, как малые дети, которые играют в войну, били из нее по этой вон перекопской колокольне... То была пристрелка. И Хорлы, и первый тогдашний «с воловьими батальонами» штурм Перекопа, и крымский рейд — все это была только пристрелка перед несравненно более тяжелыми боями, которые теперь и начались. Странно складывается его, Ярьсько, судьба. Столько прошел дорог, и вот снова он лицом к лицу с Перекопом, только все тут теперь словно по-иному: и степь, и тучи, и Турецкий вал, по-тигриному вытянувшийся на горизонте через весь перешеек. Есть в нем что-то таинственное, что-то такое, что привлекает, приковывает к себе взгляды бойцов.

Когда после ожесточенных боев за плацдарм степями, что все лето и осень были одним необъятным полем сражения, полки впервые подошли сюда, и сталью блеснули впереди осенние воды Перекопского залива, и увидели они вал, Ярьсько всем своим существом понял, что нет отсюда пути назад, что здесь можно только умереть или победить.

Немеют руки, коченеют ноги, кровь застывает в жилах. Кажется, что и земля здесь зябнет, что и ей холодно. Весной теплая, вся в цветах, сейчас она даже трескается, схваченная ранним сухим морозом. Пролетают снежинки. Припомнились почему-то Ярьсько цветущие степи ковыльные, весенние, и еще острее почувствовал, как холод иголками пронизывает его насквозь. Долго ли еще мерзнуть? Скорей бы уж атака.

Встанут и пойдут они серой осенней этой степью, что простерлась здесь до моря, а там — до самых Сивашей. Пришлось ему походить с чабанской герлыгой по этой степи и в жаркий зной, и в осенние бураны, когда перелетные птицы, замерзая на лету, падали прямо на головы чабанам. Черные бури вспомнил: ходил с хоругвями днем, при солнце, а точно ночью. Тоскливые высвисты сивашских ветров — сколько переслушал он их по таким вот чабанским стойбищам, и вот снова корчится от стужи в родной степи в своей ветром подбитой шинели. Ну что ж... Холод? Перенесут! Голод? Вытерпят! Ведь это ж в последний раз! Потому что не будет больше, не должно уже быть после этого штурма ни батрачества горького, ни черных бурь, ни материнских слез!

Хоть бы уж скорее... Никакая сила не остановит их в этом последнем штурме. Кажется, со всего света собрались такие же, как он, гонимые и бесправные в прошлом, а теперь готовые на все ради новой жизни. Сибиряки. Ивановские ткачи. Красные латыши, которых революция привела сюда от берегов Балтики. Китаец, побратавшийся с такими же, как он, бедняками Полтавщины. Это все люди, у которых не было жизни. Не потому, что они ее не любили, а потому, что им не давали жить. Терпели долго, но осточертело наконец, и вот теперь поднялись, чтобы добыть все, что принадлежит человеку по нраву, и никакая сила не остановит их на этом пути.

Посиневшие от холода, они, как только прекращается обстрел, вскакивают, начинают греться, кто как может. Тот приплясывает на месте, тот, разгоняя кровь, машет-бьет руками, точно крыльями. Кое-кто совсем без шинели — плечи прикрыты мешковиной, на ногах какое-то тряпье...

Свистит и свистит у Ярьсько над ухом. Ветер ли сквозь кураи рвется или тоскливо напевает кто-то

рядом? Звенит железо о железо. Оглянулся — прикрывшись свиткой, молча точат Левко Цымбал топор, а Ермаков лопату: рубить ночью колючую перекопскую проволоку. То тут, то там перекидываются словечком бойцы, обмениваются адресами. Тот, слышь, с Урала, тот из Иванова, тот из Чернигова... А почему ж китайчонок сидит такой грустный, никому не дает своего адреса?

— Тебе-то куда писать? — обращается к нему Ярьсько.

— Обо мне, если что... товарищу Ленину напиши.

— Кому, кому? — переспрашивают те, что не расслышали.

— Ленину, вождю мировой революции.

Уже смеркалось, когда в распоряжение полка приехал Фрунзе.

Здороваясь с Безбородовым, он вдруг задержал его руку в своей, внимательно посмотрел в лицо, мужественное, с запавшими щеками, с сединой на висках...

— Ванюша?

— Товарищ Арсений?

Они крепко обнялись.

— Вот где довелось встретиться, — взволнованно произнес Фрунзе. — Не близкий путь от ивановских подвалов до твердынь Перекопа.

— От первых баррикад до штурма последней цитадели контрреволюции...

И сразу же перешли к делам насущным.

— Как бойцы, товарищ Безбородов? Как настроение?

— Люди рвутся в бой.

— Много обмороженных?

— Процент небольшой, но есть... Обносился народ. Видите, в рубище?

Для Фрунзе это не было неожиданностью. В других частях, где ему пришлось побывать сегодня, положение

не лучше. Везде в отрепьях народ. Полубосых видел, обмороженных, посиневших от холода, как и эти вот. Даже то, что есть, не подвезти никак. И все-таки, несмотря на это, не слышал нигде ни одной жалобы. Сотнями подают заявление в партию, горят желанием немедленно ринуться в бой, чтобы взять перекопские укрепления, порадовать своих родных в тылу, победой отметить третью годовщину революции.

Бойцы тесным кольцом обступили командующего.

Фрунзе смотрел на них, и теплое братское чувство переполняло его сердце.

— Как живется, товарищи?

— Хорошо. Живем, не горюем!

— Холодно?

— Да покусывает. Кабы дрожать не умели, так уже позамерзли бы.

И смеются. Зуб на зуб не попадает, а смеются. Странно было слышать смех этих полубосых, съезжившихся от холода людей, что, прижимая к себе винтовку, поцокивая зубами, греют друг друга собственным теплом... Что мог им сказать командующий? Как мог укрыть от лютого ветра, что бритвой режет в этой открытой приморской степи?

— Нелегко. Трудно. А надо, товарищи...

— Понимаем, Михаил Васильевич... На зиму затягивать никак нельзя. Спешить приходится.

— Слышите? Бурлит Литовский полуостров. Еще с ночи там бьются ваши товарищи, чтоб легче вам было штурмовать укрепления отсюда в лоб. Надеюсь, до утра красное знамя будет водружено на валу?

— Водрузим, товарищ комфронта!

— Так и Ленину передайте: хоть гром с неба, а вал будет наш!

Уже прощаясь, Фрунзе снова подошел к Безбородову.

— Ну, Ванюша, желаю успеха. С таким народом... ничто нам не страшно. — И, обращаясь к бойцам, громко сказал: — До завтра! До победы, товарищи!

XXXVII

Ночью после объезда частей командующий прибыл в Строгановку, в штаб Пятнадцатой дивизии.

На околице, над самым Сивашом, прилепилась обитая ветрами мазанка. Гудят голые акации, похаживают в темноте, ежась от холода, часовые. То и дело хлопает перекошенная дверь; в мазанке, как в улье, гул голосов. Многочисленные телефонные провода — одни тянутся откуда-то из степи, другие — снизу, с Сиваша, — сходятся пучком к освещенному окну, скрываются в нем.

В хате полно военных, глаза у них красные от бессонницы. Чадят каганцы, пол покрыт сивашским илом, нанесенным сапогами штабных.

Фрунзе присел к столу, слушает информацию начштаба о положении на Литовском полуострове.

Положение тяжелое. Противник насеждает. Потери огромны. В штурмовых колоннах погибло больше половины. Части Пятнадцатой и Пятьдесят второй дивизий, днем продвинувшиеся было вперед, сейчас снова прижаты к самому Сивашу. Не хватает патронов, нет даже пресной воды для питья. Ни патронных повозок, ни кухонь переправить на полуостров не удалось: все вязнет в болоте...

Не успел еще начштаба закончить свой рапорт, как на пороге неожиданно вырос бледный, весь заляпанный сивашской грязью боец-телефонист.

— Товарищи... Море! Море идет на нас!

Фрунзе встал, окинул телефониста суровым взглядом:

— Без паники! Докладывайте, в чем дело.

Связист, видно, только сейчас заметил Фрунзе.

— Ветер повернул, товарищ комфронта... Вода поднимается, заливает броды!

— Немедленно туда. Выяснить. — В сопровождении работников штаба Фрунзе вышел из помещения.

Слепая мгла пронизана свистом ветра. Словно над кратером вулкана, багровеет небо над Перекопом. Левее, где-то над Литовским, тоже поднимается зарево: горит Караджанай. Сиваш тонет во мраке, не видно, есть там вода или нет, но по морской влажности воздуха, которым тянет оттуда, можно догадаться, что вода и в самом деле приближается.

— Сперва было по щиколотку, — взволнованно рассказывает на ходу телефонист, — потом по колени, а теперь некоторые уже по пояс стоят в воде, держат провод на руках.

— Почему на руках?

— Вода соленая, разъедает изоляцию...

— Подвесить на шестах.

— Нет шестов, товарищ комфронта. Вместо шестов рота связи поставлена на Сиваш.

Представил Фрунзе, как часами стоят на ветру в ледяной воде его телефонисты, растянувшиеся цепочкой через покрытый водой Сиваш, держа в окоченелых руках нитку провода.

В сопровождении штабных Фрунзе спустился на дно Сиваша. Там, где вчера было еще сухо, сейчас хлупает вода. Где-то в темноте за камышами слышится шум голосов, ругань: артиллеристы вытягивают увязшую в болоте пушку.

Фрунзе, взяв правее, вскоре выбрался с товарищами на песчаный горбок — еще не залитую полосу брода. Здесь было видно, как наступает вода. С каждым порывом ветра волна набегают все дальше на запад, все

больше захлестывает брод. Если так будет прибывать, к утру вода покроет Сиваш до самого перешейка.

Скрывая тревогу, штабные ждали, что скажет командующий. Каждому было ясно, чем это грозит. Скоро зальет все броды, полки Пятнадцатой, а потом и Пятьдесят второй будут отрезаны там, на Литовском. Без патронов, без пищи, без воды... Какой же выход предложит комфронта? Может быть, даст приказ спастись, пока не поздно, переправиться через Гнилое море обратно?

— Нет, только вперед! — произнес Фрунзе, как бы отгоняя собственные сомнения. И тут же распорядился: — Вызвать кавалерию! Бросить на Сиваш Повстанческую группу. Пускай, пока еще возможно, немедленно переправляются на ту сторону на поддержку товарищам...

— Что передать Пятьдесят первой?

— Пятьдесят первой еще раз подтвердить приказ: немедленно атаковать Турецкий вал в лоб, взять любой ценой.

Через несколько минут от штаба уже мчались во всех направлениях верховые; летели по проводам на Перекоп, обгоняя наступающее море, приказы командующего:

«Сиваш заливают водой. Положение угрожающее. Немедленно идти на штурм!»

XXXVIII

В Строгановке ревком ударил в набат. Все село было поднято на ноги.

— Все на Сиваш! Море гатить! — покатило из края в край села по ночным улицам, по дворам.

Срывали двери с хлебов и сараев, валили плетни, ворота, калитки. Все складывалось на возы, ничего не

жалела Строгановка для родного войска. Скоро загрохотали в темноте, спускаясь к Сивашам, крестьянские подводы, нагруженные деревом, соломой, камышом, хворостом, камнями, загомонили, поспешая туда же, мужики, женщины, подростки с лопатами в руках.

Иван Оленчук прибыл к броду во главе целого обоза, поднял всех жителей своего конца — от старого до малого — спасать броды.

Вторую ночь уже не спит Оленчук, вторую ночь не просыхает на нем тяжелая, пропитанная сивашской рапой одежда. Несколько колонн перевел он за это время на Литовский полуостров, под артиллерийским огнем пересекая Гнилое море туда и назад. Когда переводил последних, Сиваш уже заливало водой, большую часть пути пришлось брести по пояс, и немалого труда стоило ему угадывать в темноте затопленные броды. Если бы не вехи, расставленные штурмовой колонной, так и самого бы уже, верно, проглотили чаклаки. В селе много раненых, переправленных с той стороны. Несут и несут их на носилках через Сиваш. Невольно приглядывается к ним Оленчук: не сына ли несут? Знает, что пошел на Чонгар, а приглядывается — не здесь ли. Нет среди раненых и тех, кого переводил: ни комиссара Бронникова, ни путиловца, ни других из коммунистической колонны. Говорят, что большинство из них полегло на заграждениях, а кто и ранен, не хотят уходить в тыл, остаются на Литовском до последнего.

Опасным, гибельным стал Сиваш, когда броды скрылись под водой. Сколько идешь, только и слышишь в темноте тревожные крики людей, что, застряв с орудиями и патронными повозками, из последних сил бьются, вытаскивают из трясины коней. А там, еще где-то дальше, во мраке, тоже мучаются люди. «Тону, братцы, спасите!» — вскрикнет и уже провалился, ушел

в илистый омут, нет уже его. По силе ветра, все больше разгуливающегося, по тому, как напористо прибывает вода, видел Оленчук, что это еще не конец, что угроза не только не миновала, а, наоборот, с каждым часом растет. Уже выбираясь из Сиваша, поделился своей заботой с телефонистом, сказал, чтобы немедленно доложил в штаб: дело плохо, надо спасать броды. И вот — тревога...

Тревога застала Оленчука босым возле печи. Насквозь промокший, измученный долгой ходьбой, он как раз сидел, подсушиваясь, у огня, когда село поднял брошенный ревкомом клич: «Все на броды!»

Имея на руках справку от командующего, к тому же только что вернувшись с Литовского, Оленчук мог бы остаться дома. Раненые бойцы, тесно уложенные на соломе по всей хате, для которых жена грела и грела воду в печи, так и считали, что хозяин не преминет воспользоваться своей предоставленной ему как проводнику привилегией, но, к их удивлению, Оленчук, услышав тревогу, сразу стал собираться.

— Куда, хозяин?

— А туда. — Он наматывал на ноги еще сырые портянки. — Слышите — море прудить.

— Вы же только что вернулись... Обсушитесь хотя, согрейтесь в хате.

— Ой, и не говорите, товарищ, — вмешалась Харитина. — Вы его еще не знаете. Разве он в такую ночь усидит дома? Другой бы мышью притаился...

— Будет, старуха, — поднялся Иван. — Чья тропинка, тот ее и спасать должен.

И вот спасает. Коченея в ледяной воде, забивает обухом колья, распоряжается, как старшой среди строгановских своих земляков.

— Дядько Иван, это не тот лес, что вы раздобыли на стропила?

— Тот самый. Давай клади его сюда.

И кленовые бруссы, которые годами берег для новой хаты, ложатся вдоль гати на дно Сиваша.

Все прибрежные села вышли в эту ночь на работы. Растянувшись далеко во тьму Сиваша, трудятся плечом к плечу селяне и армейские саперы, роют вдоль бродов канавы, возводят дамбу из грязи, укрепляя ее соломой, камышом, камнем... Работа еще в самом разгаре, а по незаконченной гати, по настанным через Гнилое море крестьянским калиткам и дверям уже двинулась кавалерия в ночную, хлещущую ветром тьму, где живыми вехами стоят через весь Сиваш молчаливые связисты, держа провод в зачоченелых руках.

XXXIX

Надвигается, низко стелется по степи черная туча. Нет, это не туча — конница по степи идет. Вот уже слышно звяканье уздечек, бряцание сабель. Чернее ночи развеваются в воздухе знамена. Глухо гудит земля под копытами коней. Яростный ветер нещадно треплет буйные, годами немытые махновские чубы.

Махновцы тоже идут на Сиваш [\[11\]](#).

Кому из них нужен этот поход? Кого из них обрадовал лютый атаманский свист, условный знак тревоги, что поднял их из теплых хат и вывел, как на добровольную расправу, сюда, в ночное гудящее поле? Ни батько Махно, что прыгает сейчас на костылях в своей гуляй-польской столице, ни Каретников, который их ведет, ни сами хлопцы — никто из них не хотел этого похода. Не хотели — и все же идут. Есть что-то такое на свете, противиться чему выше их сил. Как человека, что попал на самую быстрину и, как ни барахтается, не может выплыть, так и их подхватило каким-то могучим водоворотом, каким-то неодолимым течением и тянет, влечет даже туда, куда и не хотели бы! В первый раз,

укротив в себе дух бесшабашной вольницы, которая ни с чем, кроме собственных желаний, не считалась, идут воевать за то, что им не любо, идут штурмовать холодный осенний Сиваш, это бескрайнее Гнилое море, где, может, и коней своих потопят, и сами с головой провалятся в трясину...

Стужа осенняя бьет им в лицо. Ночь расстилается перед ними, кажется, нет ей конца.

— Эй, Каретник, куда мы идем? Может, вернемся, пока не поздно?

— Вернемся? А куда?

«Куда-а-а?..» — несет ветер над степью, над темной массой конницы.

Через некоторое время уже в другом месте перекликаются всадники:

— Сотник Дерзкий, это, кажется, твои края?

— А что?

— Чертям да ведьмам тут только жить... Ветрище какой...

— Ох, ветрище!..

А сотнику Дерзкому, который едет, накинув на себя мохнатую кавказскую бурку, и все вглядывается в темноту, этот край предстает в ином образе — в солнце слепящем, в весеннем цветении, в смелом и радостном, как сама молодость, рейде на Хорлы... Что это были за дни! Как трясли там степные повстанцы продажные души «ишаков Антанты», в каком восторженном опьянении шли тогда — с голыми руками! — на дредноуты, не подпуская их к тополиному порту, к светлым таврийским берегам... Почему жаль ему сейчас всего этого, почему грусть и тоска все время томят грудь тупой, непонятной болью? Тысячу раз рисковал головой, а что добыл, кроме этой наполненной ветром бурки? Может, напрасно отвернулся от брата тогда, при отступлении с бронепоездами на север, может, брат вернее дорогу выбрал? Как далеко разошлись с тех пор

их пути! А сейчас будто сближаются вновь, на болотистом сходятся Сиваше: прослышал уже, что брат Дмитро в составе Первой Конной снова здесь, в родных степях... Что сказал бы отец, старый Килигей, если бы увидел их вдруг обоих разом перед собой? Где был ты, а где ты? Пока сабля одного где-то под самой Варшавой сверкала, ты в Гуляй-Поле самогон глушил да с пьяными шлюхами на тачанках раскатывал!

Куда же теперь? Вину искупать идешь? После гуляй-польских гульбищ в вечную, может, купель непролазных трясин Сиваша? А если перебредешь, то там, за Сивашом, что? Что там взору откроется? Кому — рай коммунистический, а кому — Крым с табаком да винными складами?

Над Перекопом не утихает канонада. Небо то пригаснет, то снова вспыхнет, как над пеклом, как над разверстым жерлом вулкана. Мощные прожектора то упираются в тучи, то неслышно прощупывают Сиваш. Свищет ветер, и кони, запрудившие степь, кажется, сами, вопреки воле всадников, мчат в эти бескрайние болотистые просторы, за которыми неизвестность...

XL

— Товарищ комфронта, Повстанческая группа прибыла!

В подчеркнуто четком фельдфебельском рапорте слышится насмешка. Фрунзе внимательно разглядывает прибывших. При тусклом свете, пробивающемся из окон штабной хибарки, видны выступающие из темноты покрытые пеной конские морды, что грызут и грызут удила, пытаюсь выплюнуть их. Над ними во тьме чуть вырисовываются неприветливые, настороженно-подозрительные, по большей части молодые лица. Чубы, оружие всех видов, поблескивающие кожанки,

надутые ветром бурки — так вот какова она, неприкаянная кулацкая вольница, никем еще не прибранная к рукам, степная махновская стихия?

Тот, что привел группу, отдав рапорт, так и остался в седле. Один из главарей, один из ближайших сподвижников Махно. Папаха лихо заломлена набок. Подкручивая ус, ждет, каков будет приказ, и в полутьме кажется, что на губах его притаилась под усами умная, насмешливая улыбка.

Обращаясь к нему, Фрунзе четко излагает задание: немедленно, пока еще можно, пока не совсем затопило броды, всей группой идти через Сиваш...

Верховые, стоящие впереди, прикидываются, что из-за ветра не расслышали:

— Куда, куда?

Фрунзе повторяет громче:

— На Сиваш!

И, как от выстрела, сразу все забурлило.

— Мы стихия!

— Нас сюда революционная мечта привела, а вы нас на Гнилое море хотите загнать?

— Не будет этого, не будет!

Шум в темноте нарастает. Брань, матерщина...

— Слышите? На море гонят!

— Гонят, где море самое глубокое!

— С конями, с тачанками в трясину!

Из тьмы, сквозь ветер, доносится возмущенный многоголосый шум.

— Потопить хотят!

— Дураков нашли!

— Своих сперва пусть пошлют.

Фрунзе был к этому готов. Сдерживая себя, сообщил, что лучшие его части уже там, они уже вторые сутки дерутся на Литовском.

Махновцы на миг притихли. Наконец кто-то из них нашелся:

— То пешие!

И снова загудело в темноте:

— Пешим можно! А конница через Сиваш не пройдет!

Фрунзе предвидел и это.

— Полчаса назад, — жестко возразил он, — через Сиваш пошла Седьмая кавалерийская. Пошла и прошла. Или, может, у вас кони не такие, как у них?

Уж этого, видно, ни Каретников, ни другие верховоды не ожидали. Седьмая кавалерийская пошла, значит, Сиваш для конницы проходим, отговариваться больше нечем...

Фрунзе тем временем еще энергичнее настаивал:

— В последний раз предлагаю: либо на Сиваш, либо мы отменяем соглашение.

На мгновение все застыли. Черные дула пулеметов, притаившиеся на тачанках, смотрели из темноты прямо на Фрунзе. Слышно было, как хлопает ветер башлыками и полотнищами анархистских приспущенных флагов. Потом разом люто рванулись вверх оскаленные, разорванные удилами конские морды и, покрывая свист ветра, раскатисто, бесшабашно прозвучало в ночи:

— Прямо на море — марш!

С тяжким топотом проносится мимо Фрунзе гуляй-польская вольница, исчезает во мраке, точно навеки проваливается в темную таинственную пасть Сиваша...

«Чем, какой силой заставил ты их идти? — думал Фрунзе, глядя махновской коннице вслед. — Стальной волей своей? Но воля и у них такая, что удила перегрызет! Нет, не тем ты их взял, не тем победил... Правда революции на твоей стороне — это она их одолела, она своей силой заставила их идти штурмовать этот гиблый, ненавистный им Сиваш!»

От Перекопа докатывался гул орудий, все чаще вспыхивают на Турецком валу огни батарей, лихорадочно шарят по степи и выше, по движущимся

тучам, прожекторы, точно и там, в тучах, отыскивают бойцов...

Значит, снова пошли на штурм. По всей степи перекопской идут сейчас в атаку, катятся волна за волной, тысячами живых тел бросаются на колючую проволоку...

— Товарищ комфронта! — окликнули его. — Важное донесение.

Фрунзе вернулся в штаб.

— Полки Пятьдесят первой и огневая Ударная бригада, — докладывали ему оттуда, с Перекопа, — под ураганным огнем противника, неся огромные потери, одолели все семнадцать рядов проволочных заграждений и даже прорвались в отдельных местах на вал. Однако закрепиться не успели. Сплошным пулеметным огнем, бешеной контратакой свежих офицерских частей были снова отброшены назад. Залегли перед валом. Сто пятьдесят вторая бригада погибла почти вся. Большинство командиров и политработников, которые, встав в цепь, вели атакующих, пали смертью героев.

Тяжко опечаленный, застыл Фрунзе у стола. Целая бригада полегла, каких людей теряем, а сколько еще их ляжет до утра! Лучшими своими сынами жертвует в эту ночь партия, лишь бы не допустить еще одной военной зимы. Но что же делать? Тяжело вздохнув, передал:

— Идти на третий штурм!

XLI

Непроглядную темь степей перекопских, где под каждым кураем ждет призыва к атаке боец, третий раз рассекает клич: «На штурм!»

Подымаются, разворачиваются в цепи, идут.

Наклоняясь против ветра, напрягая взор, вглядывается Ярьсько в зловещий мрак перед собой. Что там, за ним? Непрístupная твердыня, говорят? Стеной пушечные стволы и пулеметные дула? Что ж, он пойдет и на них. На пушки, на пулеметы, на колючую проволоку, которой опутано там все поле.

Встает перед глазами изможденное тяжелым трудом лицо матери, что из далеких Криничек словно смотрит сейчас на него, как он поднялся здесь и идет, может, в последнюю свою атаку. Словно что-то хочет сказать ему скорбный ее взгляд. «Вы что говорите, мамо?»

«Иди!»

Видит сестру, и она говорит:

«Иди!»

Видит дивчину нареченную, и она говорит:

«Иди, иди!»

Идут быстро, но команда: еще ускорить шаг.

— Скорее! Скорее! — звучит в темноте голос комиссара Безбородова.

Они знают, почему скорее. Сиваш заливают водой. Их товарищей вот-вот отрежет на Литовском.

Слева и справа ветер свистит в штыках. Не видно Ярьсько во тьме, сколько их идет, но чувствует, что нет им числа, что вся степь заполнена ими, теми, что идут штурмовать. Нет больше для них ни холода, ни голода, есть только одно — жажда немедленного яростного удара: «Даешь вал!»

Безмерно гордым чувствует себя Ярьсько за этот необозримый людской поток, словно он сам их собрал, сам поднял и сам ведет штурмовать ненавистную твердыню горя и бесправия. С каждым шагом растет его сила. Чувствует, что если даже пуля пронзит его и упадет он, то и мертвый поднимется, и мертвый пойдет дальше, вперед. Ведь это идет он войной на неправду людскую. На батрачество свое горькое. На каховские

невольничьи ярмарки, на черные бури, что днем заслоняют солнце!

Вдруг впереди все осветилось — от земли и до неба. Десятки прожекторов на валу ударили лучами, ослепляя наступающие войска и в то же время освещая им путь. Длинные языки пламени вырвались с батарей. Тяжелые снаряды с грохотом рвут мерзлую землю. Столб огня взметнулся перед самым Яресько, ослепил нестерпимым блеском, и вот уже со злобной силой откинуло его куда-то назад, уже его нет. Убит или жив? Ранен или контужен? Еще в голове звенит и все тело словно чужое, а он, вскочив, подобрал свою или не свою винтовку, уже догоняет волну атакующих, занимает место в ряду товарищей.

— Даешь вал!

Освещенная, как днем, степь бурлит лавами наступающих. Волна за волной идут за броневиками, поблескивают штыки, сколько видит глаз, сколько захватит в степном просторе луч прожектора. Передние уже достигли вала, уже где-то там слышен их исступленный крик: «Даешь!» И видно, как сверху потоком льется на них огонь. Внезапно из земли, точно из самых клокочущих недр ее, вырывается пламя, камни — это первые атакующие напоролись на заложенные в землю перед валом фугасы. Туда! Туда! Уже видит Яресько, как, сбрасывая на бегу шинель, кидается вперед комиссар Безбородов, бегут бойцы, срывает с себя шинель и Яресько, и легко становится ему, словно ветром несет его вперед. Добежав до сплетения колючей проволоки, бросает на нее шинель и по ней перепрыгивает дальше и снова в темноте натывается на заграждения. Скрежещут ножницы. Тяжело дыша, бойцы лихорадочно режут проволоку, пробивают проходы. Вспышки ракет на миг выхватывают из мрака тысячи путающихся в проволоке, ожесточенно работающих людей, которые рубят ее лопатами, рвут

штыками, готовы зубами грызть. У Яресько руки уже залиты кровью: колючей проволокой порезал их до кости, ноги тоже изрезаны, все тело, кажется, разорвано у него, жжет, горит, но, прорываясь сквозь проволоку по кучам трупов, он вместе с живыми рвется все дальше и дальше.

— Вперед! — само рвется из груди Яресько.

Вот уже он на дне рва, где с каждой минутой все больше и больше набирается атакующих. Отсюда, со дна, отвесная стена вала пугает своей высотой, кажется, подымается она — обледенелая, крутая — куда-то к самым облакам.

Не успели еще передохнуть, как снова:

— Вперед, товарищи!

Безбородов это или уже кто-то другой во главе вой цепи, которую он сюда привел? Начинают карабкаться по крутизне на вал. Изрезанными, липкими от крови руками Яресько хватается в темноте за мерзлую, обледенелую землю, за какие-то выступающие камни. Срывается, скатывается назад, чтоб сразу же, с еще большей яростью кинуться на обледенелую стену, цепляясь, взбираться все выше и выше. Вся стена облеплена людьми. То тут, то там вспыхивает короткий бой — атакующие штыками выбивают из укрепленных гнезд противника. Раненые с предсмертным криком валятся назад, на дно рва, откуда навстречу им поднимаются другие. Бойцы разных рот, разных полков, все они уже перемешались между собой. Кто-то подает мысль попробовать пробраться по дну рва направо. Где-то там кончается же вал и начинается море, может быть, удастся обойти укрепления морем? Наскоро подбирается группа охотников, и вот она уже движется по дну рва туда, где должен окончиться вал и где он через некоторое время действительно кончается, но за ним колючие проволочные заграждения, которые уходят куда-то далеко в глубь залива, в море. Уже

бойцы забрели по пояс, а колючей проволоке нет конца, уже ледяная вода им по грудь, а в ней все еще тянется в море та же колючка. Не останавливаясь, бредут все глубже в воду бойцы, кончатся же где-нибудь эти заграждения, они все-таки обойдут их, чтобы с моря, с тыла кинуться на противника.

Все выше взбирается на вал Яресько с атакующими. Будет ли когда-нибудь конец этой обледенелой крутизне? Где ее вершина? Кажется, в самые тучи поднимается она, но он взберется и туда!

Еще из глубины степи катятся и катятся освещенные прожекторами волны атакующих, еще все поле перед валом пылает огнем, кричит живой болью повисших на проволоке, а откуда-то сверху, точно с темного неба, уже звучит, передается по фронту:

— Рота Четыреста пятьдесят пятого на валу!

— Рота Четыреста пятьдесят шестого на валу!

— Ударники на валу!

И так через весь перешеек, сквозь грохот битвы, до самой штабной мазанки, что всю ночь светит оконцами в ветреной тьме над Сивашом.

Работники штаба стоят вокруг Фрунзе, а он напряженно вслушивается в донесения оттуда.

— Так... так... так, — приговаривает он, слушая Пятьдесят первую, а усталое лицо его все светлеет.

Вот уже трубка выскальзывает у него из рук, он даже покачнулся, кажется, сейчас упадет со стула, но через мгновение порывисто встает, точно помолодевший.

— Товарищи, поздравляю вас, — голос у него срывается от волнения, — передать всем... полкам на Литовский полуостров, крестьянам на броды... товарищу Ленину передать; ворота в Крым распахнуты. Планы Антанты биты. На Перекопском валу поднят Красный флаг.

Известие о падении Перекопа потрясло весь мир. Непрístupный белый Верден, который, рассчитывали, может держаться годы, пал за три дня.

Дальнейшие события развернутся с головокружительной быстротой. Вскоре Тридцатая Иркутская прорвет Чонгарские укрепления, враг будет выбит из Юшуньских позиций и в прорыв ринутся героические полки Первой Конной и других соединений красной кавалерии, которые погонят по крымским дорогам отступающие к южным портам врангелевские полчища.

Паника охватит отступающих: побегут, как обезумевшие, потеряв волю к сопротивлению, бросая оружие, срывая с себя погоны. Будет отдан приказ топить в море все: технику, артиллерию, обозы, конный состав, и полетят с крымских обрывов в Черное море огромные обозы вместе с лошадьми, станут сбрасывать с круч на дно морское автомобили и грозную антантовскую артиллерию на тракторной тяге, казаки станут пристреливать коней.

Так наконец наступит тот день, когда капитан Дьяконов, оказавшийся на борту одного из многочисленных набитых разгромленными войсками кораблей, увидит, как убирают поспешно трапы, связывавшие его с родной землей...

Поверженный, агонизирующий Крым, лучше бы его не видеть! Он уже ничей. Черным дымом заволокло небо: горят склады в Южной бухте. По городским улицам и пристаням бродят тысячи загнанных, измученных лошадей, которых пожалели или не успели пристрелить. Много дней не расседланные, тоскливым ржанием призывают тех, кто, бросив их, нашел себе последнее пристанище на переполненных, готовых к

отплытию судах. Скоро они отчалят и пойдут холодным осенним морем неведомо куда. Далеко не всех могли вместить корабли. Серые толпы озлобленных, разочарованных «рыцарей белой идеи» теснятся на берегу, в возмущении и отчаянии посылают своему вождю проклятия. Дьяконов слышит все эти выкрики, адресованные тому, кто был его кумиром, и сам уже не находит в своем опустошенном сердце ничего, кроме тупого отчаяния, разочарования и проклятий. Крах. Потерпели крах все его идеалы, напрасна была его преданность, его беззаветное служение тому, кому так верил и кто его так жестоко обманул. Мог ли подумать, что все так трагически кончится, когда в бурлящей толпе офицеров, подхваченный волной белой истерии, встречал здесь, на этой же пристани, нового, только что прибывшего из Турции избранника? Вот он, думалось тогда, тот, кто воскресит в войсках белую идею, очистит ее от позора, от тех преступлений, какими она запятнала себя в руках Антона Деникина. И что же? Кем он оказался, этот их новый диктатор? Рубя головы деникинской камарилье, не замечал, как вокруг него еще обильнее растет уже своя, врангелевская, камарилья, этот смертоносный микроб наемных, обреченных армий. Кричали о святой Руси, а оказались просто наемным войском, ландскнехтами, которые с чужим оружием в руках, с чужими советниками при штабах слагали свои головы в боях за чужое дело. Сколько таких, как он, лежит сейчас там, на Перекопе, на Юшуни, где собирались зимовать. Держались до последней возможности, но какая сила могла удержать разбушевавшийся людской океан, что под лучами прожекторов неся из степи без конца, без края в фанатическом своем экстазе, словно и в самом деле охваченный мистическим революционным энтузиазмом, о котором сейчас говорит вся Европа...

Один за другим отчаливают корабли, выходят в открытое море. Постепенно отдаляются, тают в холодной осенней мгле родные, так бесславно брошенные берега. Никогда уже тебе не увидеть их. Для чего ж были годы солдатчины, окопов, крови, за что горел ты в жару степных атак и шел на гибель в ночи ожесточенных героических штурмов? Чтоб дымом развеялись все твои иллюзии, чтоб так вот уползали морем в неизвестность караваны обреченных бесприютных кораблей? Что же теперь? Этот холодный ветер осенний, куда он погонит твои корабли, какие гавани их примут? Пустынные острова Эгейского моря? Бельгийские шахты? Или снова с винтовкой в иностранные легионы усмирять непокорные племена где-нибудь в африканских пустынях?

Слышно, как кто-то истерически рыдает в группе офицеров. Никто не обращает на него внимания. Все провожают взглядом родные берега.

Прощай, прощай все. Из трюма передают, что застрелился какой-то юнкер, пустил пулю в лоб прапорщик из кубанцев... Что ж, может быть, это и выход?

Сумерки спускаются на море. Скрылись, растаяли берега. Не отходя от борта, Дьяконов нащупывает в кармане револьвер. Рука сама подносит его к виску...

Звучит еще один выстрел.

XLIII

Яресько дошел с наступающими войсками только до Симферополя. Там пришлось задержаться: разоружали махновцев, а потом в жизни его и вовсе произошел крутой поворот — в числе лучших бойцов-перекопцев Яресько был отобран для направления в Харьков, в школу красных командиров.

Ранним утром едет с товарищами — будущими курсантами по дороге, ведущей на Перекоп. По обочинам — брошенные орудия, зарядные ящики с перерубленными постромками, разбитые артиллерией бронемашины. На полях покрываются инеем заочеренные окровавленные трупы. На погонах у многих еще можно разобрать то «М», то «Д»: марковцы, дроздовцы... Кое у кого из рядовых погоны пришиты к шинели проволокой, чтоб в панике не срывали, когда красные нажмут...

Шляхом, перекопским без конца движутся красные войска — те сюда, те туда. Кавалерия, обозы, пехота. У всех, как и у Ярьсько, приподнятое, радостное настроение. Сокрушена последняя баррикада белого мира. Открыта дорога к мирной жизни, не будет еще одной трудной военной зимы. Как тогда, во время первых боев, когда все небо звенело жаворонками и они, таврийские повстанцы, гуляли с Килигеем по степи, выкуривая интервентов, и казалось, была во всем мире только воля и весна — так хорошо было у Ярьсько на душе и сейчас. Наталка уже в Чаплинке, ждет его. Он идет учиться, станет командиром. Только устроится — и ее в Харьков заберет. Какая широкая, большая жизнь открывается впереди!

Там, слышно, пущена еще одна домна, там задымил трубами еще один завод... Не за горами тот час, когда и по селам радостные матери будут встречать бойцов-перекопцев, что героями вернутся домой. Заживет народ! Терпко-радостное ощущение утра жизни, ее беспредельности обнимает, свежестью обдает Ярьсько.

На Перекопе, там, где дорога пересекает вал, красноармейская застава проверяет проезжающих.

Подозрительно оглядывают и Ярьсько с товарищами на их загнанных, еще забрызганных сивашской грязью махновских лошадах. К седлам у хлопцев приторочены

огромные тюки желтого крымского табаку — это, видно, и вызвало особую настороженность бойцов заставы.

— Кто такие?

— Разве не видите кто? — Яресько коснулся рукой красной звезды на шлеме.

— Табак?

— Что ж табак? Путь дальний, вот и запаслись... В Харьков отбываем, в школу красных командиров.

Откуда-то сверху вдруг раздался строгий голос:

— Кто старший?

Яресько поднял голову и глазам своим не поверил: в длинной кавалерийской шинели с малиновыми петлицами во всю грудь, на валу стоял Дмитро Килигей. Еще больше почернел, обожжен ветрами, брови раскосматились...

— Дмитро Иванович, не узнали?

— О! — Кустистые брови Килигея поднялись в изумлении. — А ну, мотай сюда!

Передав коня товарищу, Яресько через минуту уже был на валу. Словно отец на сына, смотрел Килигей на бывшего своего повстанца. Изменился, возмужал, только по этой улыбке, открытой, душевной, и узнать можно.

— Какими судьбами?

— Да вот посылают учиться на краскома, — взволнованный встречей, не мог скрыть радости Яресько. — А вы?

— А меня здесь комендантом Перекопа поставили, махновцев вылавливать.

— Мы с ними в Симферополе тоже было схватились. Склады грабить начали.

— Вот-вот, «борцы за идею». Бесчинствуют, мародерствуют. В Саках комбрига Латышской зарезали. Ну, мы с ними еще поквитаемся...

Они медленно шли по гребню вала. Со звоном рассыпались под ногами кучи стреляных, покрытых

окалиной гильз. Пасти развороченных блиндажей ощерились бетоном, оголенными металлическими прутьями. Везде в беспорядке валялось ломаное оружие, пустые коньячные бутылки, консервные банки и покрытые инеем, в окровавленных английских шинелях трупы офицеров. Неподалеку жители присивашских сел уже разбирали укрепления на топливо и на постройки: получили на это разрешение командования.

— На совесть потрудились инженеры Антанты, — сказал Килигей, с усилием отгибая стальной прут, мешавший им пройти. — Все свое умение пустили в ход, все у них пристреляно и размерено было, в одном только просчитались...

— В чем?

— Не учли, на что способен народ, когда он за права свои поднимется.

Приблизившись к северному краю вала, Килигей кивнул куда-то вниз:

— Ишь какие индюки!

Ярьсько тоже поглядел туда. Там, на дне рва, между кучами колючей проволоки под охраной красноармейских штыков стояли толпой задержанные махновцы. В красных башлыках, в черных кавказских бурках, они и в самом деле были похожи на индюков.

— Это когда же вы их столько?

— Да вот утром уже. С час назад.

Ярьсько стало вдруг как-то не по себе. Почувствовал, что чей-то недобрый взгляд ощупывает его. Что такое? Со дна рва из толпы махновцев на него пристально, хмуро смотрел Дерзкий.

— И этот здесь?

— Да вот и его по-родственному заарканил... Пораздуло всех от барахла, так что уже и не подлетят. Из-за барахла не успели и за своим вожаком выпорхнуть.

— А были такие, что и выпорхнули?

— До меня, говорят, проскользнуло их тут через перешеек немало. Пристроились ночью к нашим обозам и — догоняй их теперь.

Словно чувствуя, что речь идет о них, махновцы поглядывали снизу неприязненно, диковато, точно звери из клетки. Курили. Некоторые изредка невесело пересмеивались меж собой, должно быть, перекидываясь хмурыми шутками. И снова опускали в задумчивости головы. О чем думали они сейчас, сбившись под конвоем на дне колючего перекопского рва? О том, быть может, что не придется уже им гулять по степям в неуловимых тачанках, как тем, что успели проскочить через перешеек обратно на Украину, к своему гуляй-польскому «батьку». В одну из глухих осенних ночей Махно, проскользнув из Гуляй-Поля сквозь кольцо красных войск, с выкраденным чужим паролем пойдет в свой последний разбойничий рейд. Год еще будет кружить он по разным губерниям, пока в августе двадцать первого не пробьется с горсткой самых отчаянных к румынской границе, чтобы склонить буйные чубы на милость румынского короля. Но этим не кончится их путь. Увидит потом еще Сахара эти черные махновские тачанки, на границе африканских пустынь будут рыскать они, покрывая себя позором службы в иностранных легионах, под чужим небом сражаясь... За кого? За что?

— А это, Яресько, запомни...

И оба они, Килигей и Яресько, перевели взгляд туда, где перед ними простерлась вдаль бескрайняя перекопская равнина. Впервые спокойным было таврийское небо, что еще несколько дней назад гудело снарядами, свистело пулями и шрапнелью. Спокойно, неподвижно лежат по всей степи погибшие герои. Множество их висит на проволоке. Где-то там и комиссар Безбородов, и Левко Цымбал, и тысячи

других... Как рвались вперед, так и застыли в вечном порыве, окаменевшие, скованные морозом на колющих заграждениях. Конца не видно раскинувшимся по полю серым шинелям. Сколько их тут? Должно быть, за все три русские революции не пролилось крови столько, сколько пролилось ее за трое суток здесь, под Перекопом. Сознательно почти на верную смерть шли вперед штурмовики-коммунисты — резальщики проволоки, гранатометчики, которые должны были проложить дорогу другим. Не счесть, сколько их тут пало. Те, кто подымался им на смену, видели их смерть, но это их не страшило. Не потому не страшило, что не дорога была им жизнь, а потому, что желание победить было в них сильнее страха смерти. Шли в трясины Сиваша, брели в темноте по соленым ледяным лиманам, бесконечными штурмовыми лавами рвались вперед по твердой, развороченной снарядами земле перешейка. Никто их не гнал, никто не заставлял — сами стремились в атаку, чтобы все решить в бою, шли на проволоку, чтобы перегрызть ее, ступали на фугасы и взлетали в воздух, беря штурмом обледенелый, неприступный вал! Был он для них как бы последней преградой на пути к чему-то неизведанному, сказочно прекрасному.

«За счастье народное...» — думал Ярьсько, окидывая взглядом усеянное шинелями бескрайнее перекопское поле.

1953-1957

notes

Примечания

1

Шматок — часть отары в несколько сот овец (укр.).

В ответ на этот подарок Ленин тогда же прислал такую телеграмму: «Приношу свою самую глубокую благодарность и признательность товарищам Второй Украинской Советской Армии по поводу присланного в подарок танка.

Этот подарок дорог нам всем, дорог рабочим и крестьянам России; как доказательство героизма украинских братьев, дорог также потому, что свидетельствует о полном крахе казавшейся столь сильной Антанты.

Лучший привет и самые горячие пожелания успеха рабочим и крестьянам Украины и Украинской Красной Армии.

Председатель Совета Обороны *В. Ульянов (Ленин)*». (Прим. автора.).

Дум-дум — разрывные пули, которые впервые были использованы англичанами в англо-бурской войне.

«Ще не вмерла Україна» — петлюровський гімн.

Цупком — Центральный украинский повстанческий комитет — руководящий петлюровский центр, возглавлявший подготовку националистических восстаний перед наступлением белополяков в 1920 году. (*Прим. автора.*).

В двадцатых годах предатель Левченко был задержан в Днепропетровске. Его судили открытым судом и приговорили к расстрелу. (*Прим. автора.*).

Здравствуй, Цезарь, обреченные на смерть приветствуют тебя! (*лат.*) — восклицание римских гладиаторов, с которым они перед боем проходили мимо ложи Цезаря.

Крымской авантюрой (*франц.*).

По заданию Врангеля генерал Бредов формировал на территории Польши так называемую Третью армию (*Прим. автора*).

Суть Врангелевского закона сводилась к тому, что земля крестьянам передавалась за крупный выкуп. Закон этот был направлен против интересов трудового крестьянства. *(Прим. автора.)*.

В сентябре, когда врангелевцами были заняты Александровск, Синельниково и Гуляй-Поле, махновцы, расположившись в это время в районе Старобельска, решили предложить Украинскому Советскому правительству свои услуги по борьбе с Врангелем. Из Старобельска в Харьков была послана правительству телеграмма о готовности махновской армии прекратить военные действия и заключить с Советской властью союз. Предложение было принято. Махновцы соглашались в оперативном отношении подчиняться красному командованию. На семьи махновцев распространялись льготы, которыми пользовались семьи красноармейцев. Согласно договоренности, махновская конница должна была принять участие в штурме Перекопа. (*Прим. автора.*)